

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiуmax
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiуmaxim.ru/> Приятного чтения!

Собрание сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894.
Максим Горький

Девушка и смерть
(сказка)

I
По деревне ехал царь с войны.
Едет – чёрной злобой сердце точит.
Слышит – за кустами бузины
Девушка хохочет.
Грозно брови рыжие нахмуря,
Царь ударил шпорами коня,
Налетел на девушку, как буря,
И кричит, доспехами звеня:
– Ты чего, – кричит он зло и грубо,
Ты чего, девчонка, скалишь зубы?
Одержал враг надо мной победу,
Вся моя дружина перебита,
В плен попала половина свиты,
Я домой, за новой ратью еду,
Я – твой царь, я в горе и обиде, –
Каково мне глупый смех твой видеть?
Кофточку оправя на груди,
Девушка ответила царю:
– Отойди – я с милым говорю!
Батюшка, ты лучше отойди.

–
Любишь, так уж тут не до царей, –
Некогда беседовать с царями!
Иногда любовь горит скорей
Тонкой свечки в жарком божьем храме.

–
Царь затрясся весь от дикой злости.
Приказал своей покорной свите:
– Ну-те-ко, в тюрьму девчонку бросьте,
Или, лучше, – сразу удавите!
Исказив угодливые рожи,
Бросились к девице, словно черти,
Конюхи царёвы и вельможи, –
Предали девицу в руки Смерти.

II
Смерть всегда злым демонам покорна,
Но в тот день она была не в духе, –
Ведь весной любви и жизни зёрна
Набухают даже в ней, старухе.
Скучно век возиться с тухлым мясом,
Истреблять в нём разные болезни;
Скучно мерять время смертным часом –
Хочется пожить побесполезней.
Все пред неизбежной с нею встречей
Ощущают только страх нелепый,
Надоел ей ужас человеческий,
Надоели похороны, склепы.
Занята неблагодарным делом
На земле и грязной, и недужной,
Делает она его умело, –
Люди же считают Смерть ненужной.
Ну, конечно, ей обидно это,
Злит её людское наше стадо,
И, озлясь, сживает Смерть со света
Иногда не тех, кого бы надо.
Полюбить бы Сатану ей, что ли,
Подышать бы вволю адским зноем,
Зарыдать бы от любовной боли
Вместе с огнекудрым Сатаною!

III

Девушка стоит пред Смертью, смело
Грозного удара ожидая.
Смерть бормочет – жертву пожалела:
– Ишь ты ведь, какая молодая!
Что ты нагрубила там царю?
Я тебя за это уморю!
– Не сердись, – ответила девица, –
За что на меня тебе сердиться?
Целовал меня впервые милый
Под кустом зелёной бузины, –
До царя ли мне в ту пору было?
Ну, а царь – на грех – бежит с войны.
Я и говорю ему, царю,
Отойди, мол, батюшка, отсюда!
Хорошо, как будто, говорю,
А – гляди-ко, вышло-то как худо!
Что ж?! От Смерти некуда деваться,
Видно, я умру, не долюбя.
Смертушка! Душой прошу тебя –
Дай ты мне ещё поцеловаться!
Странны были Смерти речи эти, –
Смерть об этом никогда не просят!
Думает: «Чем буду жить на свете,
Если люди целоваться бросят?»
И на вешнем солнце кости грея,
Смерть сказала, подманив змею:
– Ну, ступай, целуйся, да – скорее!
Ночь – твоя, а на заре – убью!
И на камень села, – ожидает,
А змея ей жалом косу лижет.
Девушка от счастья рыдает,
Смерть ворчит: – Иди скорей, иди же!
IV

Вешним солнцем ласково согрета,
Смерть разула стоптанные лапти,
Прилегла на камень и – уснула.
Нехороший сон приснился Смерти!
Будто бы её родитель, Каин,
С правнуком своим – Искариотом,
Дряхленькие оба, лезут в гору, –
Точно две змеи ползут тихонько.
– Господи! – угрюмо стонет Каин,
Глядя в небо тусклыми глазами.
– Господи! – взывает злой Иуда,
От земли очей не поднимая.
Над горою, в облаке румянном
Возлежит господь, – читает книгу;
Звёздами написана та книга,
Млечный путь – один её листочек!
На верху горы стоит архангел,
Снопик молний в белой ручке держит.
Говорит он путникам сурово:
– Прочь идите! Вас господь не примет!
– Михаиле! – жалуется Каин, –
Знаю я – велик мой грех пред миром!
Я родил убийцу светлой жизни,
Я отец проклятой, подлой Смерти!
– Михаиле! – говорит Иуда, –
Знаю, что я Каина грешнее,
Потому что предал подлой Смерти
Светлое, как солнце, божье сердце!
И взывают оба они в голос:
– Михаиле! Пусть господь хоть слово
Скажет нам, хоть только пожалеет –
Ведь прощенья мы уже не молим!
Тихо отвечает им архангел:
– Трижды говорил ему я это,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax

Дважды ничего он не сказал мне,
В третий раз, качнув главою, молвил:
– Знай, – доколе Смерть живое губит,
Каину с Иудой нет прощенья.
Пусть их тот простит, чья сила может
Побороть навеки силу Смерти.
Тут Братоубийца и Предатель
Горестно завывали, зарыдали
И, обнявшись, оба покатались
В смрадное болото под горою.
А в болоте бесятся, ликуя,
Упыри, кикиморы и черти.
И плюют на Каина с Иудой
Синими, болотными огнями.

V

Смерть проснулась около полудня.
Смотрит, – а девица не пришла!
Смерть бормочет сонно: – Ишь ты, блудня!
Видно, ночь-то коротка была!
Сорвала подсолнух за плетнём,
Нюхает; любит, как солнце
Золотит живым своим огнём
Лист осины в жёлтые червонцы.
И, на солнце глядя, вдруг запела
Тихо и гнусаво, как умела:
– Беспощадною рукой
Люди ближнего убьют
И хоронят. И поют:
«Со святыми упокой!»
Не пойму я ничего! –
Деспот бьёт людей и гонит,
А издохнет – и его
С той же песенкой хоронят!
Честный помер или вор –
С одинаковой тоской
Распевает грустный хор:
«Со святыми упокой!»
Дурака, скота иль хама
Я убью моей рукой,
Но для всех поют упрямо:
«Со святыми упокой!»

VI

Спела песню – начинает злиться,
Уж прошло гораздо больше суток,
А – не возвращается девица.
Это – плохо. Смерти – не до шуток.
Становясь всё злее и жесточе,
Смерть обула лапти и онучи
И, едва дождавшись лунной ночи,
В путь идёт, грозней осенней тучи.
Час прошла и видит: в перелеске,
Под росистой молодой орешней,
На траве атласной, в лунном блеске
Девушка сидит богиней вешней.
Как земля гола весною ранней,
Грудь её обнажена бесстыдно,
И на коже шелковистой, ланьей,
Звёзды поцелуев ярко видны.
Два соска, как звёзды, красят грудь,
И – как звёзды – кротко смотрят очи
В небеса, на светлый Млечный путь,
На тропу синеволосой ночи.
Под глазами голубые тени,
Точно рана – губы влажно алы.
Положив ей голову в колени,
Дремлет парень, как олень усталый.
Смерть глядит, и тихо пламя гнева
Гаснет в её черепе пустом.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax

– Ты чего же это, словно Ева,
Спряталась от бога за кустом?
Точно небом – лунно-звёздным телом
Милого от Смерти заслоня,
Отвечает ей девица смело:
– погоди-ко, не ругай меня!
Не шуми, не испугай беднягу,
Острою косою не звени!
Я сейчас приду, в могилу лягу,
А его – подольше сохрани!
Виновата, не пришла я к сроку,
Думала – до Смерти недалёко.
Дай ещё парнишку обниму:
Больно хорошо со мной ему!
Да и он – хорош! Ты погляди,
Вон какие он оставил знаки
На щеках моих и на груди,
Вишь цветут, как огненные маки!
Смерть, стыдясь, тихонько засмеялась:
– Да, ты будто с солнцем целовалась,
Но – ведь у меня ты не одна –
Тысячи я убивать должна!
Я ведь честно времени служу,
Дела – много, а уж я – стара,
Каждую минутой дорожу,
Собирайся, девушка, пора!
Девушка – своё:
– Обнимет милый,
Ни земли, ни неба больше нет.
И душа полна нездешней силой,
И горит в душе нездешний свет.
Нету больше страха пред Судьбой,
И ни бога, ни людей не надо!
Как дитя – собою радость рада,
И любовь любит себя собой!
Смерть молчит задумчиво и строго,
Видит – не прервать ей этой песни!
Краше солнца – нету в мире бога,
Нет огня – огня любви чудесней!
VII

Смерть молчит, а девушкины речи
Зависти огнём ей кости плавят,
В жар и холод властно её мечут,
Что же сердце Смерти миру явит?
Смерть – не мать, но – женщина, и в ней
Сердце тоже разума сильней;
В тёмном сердце Смерти есть ростки
Жалости, и гнева, и тоски.
Тем, кого она полюбит крепче,
Кто ужален в душу злой тоскою,
Как она любовно ночью шепчет
О великой радости покоя!
– Что ж, – сказала Смерть, – пусть будет чудо!
Разрешаю я тебе – живи!
Только я с тобою рядом буду,
Вечно буду около Любви!

–
С той поры Любовь и Смерть, как сестры,
Ходят неразлучно до сего дня,
За Любовью Смерть с косою острой
Тащится повсюду, точно сводня.
Ходит, околдована сestroю,
И везде – на свадьбе и на тризне –
Неустанно, неуклонно строит
Радости Любви и счастье жизни.
Емельян Пиляй

– Ничего больше не остаётся делать, как идти на соль! Солона эта проклятушая
работа, а всё ж таки надо взяться, потому что этак-то, не ровен час, и с голоду

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
подохнешь.

Проговорив это, мой товарищ Емельян Пиляй в десятый раз вынул из кармана кисет и, убедившись, что он так же пуст, как был пуст и вчера, вздохнул, сплюнул и, повернувшись на спину, посвистывая, стал смотреть на безоблачное, дышавшее зноем небо. Мы с ним, голодные, лежали на песчаной косе верстах в трёх от Одессы, откуда ушли, не найдя работы. Емельян протянулся на песке головой в степь и ногами к морю, и волны, набегаая на берег и мягко шумя, мыли его голые и грязные ноги. Жмурясь от солнца, он то потягивался, как кот, то сдвигался ниже к морю, и тогда волна окатывала его чуть не до плеч. Это ему нравилось. Я взглянул в сторону гавани, где возвышался лес мачт, окутанных клубами тяжёлого чёрно-сизого дыма, оттуда плыл глухой шум якорных цепей, свист локомотивов. Я не усмотрел там ничего, что бы возродило нашу угасшую надежду на заработок, и, вставая на ноги, сказал Емельяну:

– Ну что ж, идём на соль!

– Так... иди!.. А ты сладишь? – вопросительно протянул он, не глядя на меня.

– Там увидим.

– Так, значит, идём? – не шевеля ни одним членом, повторил Емельян.

– Ну конечно!

– Ага! Что ж, это дело... пойдём! А эта проклятая Одесса – пусть её черти проглотят! – останется тут, где она и есть. Портовый город! Чтоб те провалиться сквозь землю!

– Ладно, вставай и пойдём; руганью не поможешь.

– Куда пойдём? Это на соль-то?.. Так. Только вот видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не будет, хоть мы и пойдём.

– Да ведь ты же говорил, что нужно туда идти.

– Это верно, я говорил. Что я говорил, так говорил; уж я от своих слов не откажусь. А только не будет толку, это тоже верно.

– Да почему?

– Почему? А ты думаешь, что там нас дожидаются, дескать, пожалуйста, господа Емельян да Максим, сделайте милость, ломайте ваши кости, получайте наши гроши!.. Ну нет, так не бывает! Дело стоит вот как: теперь ты и я – полные хозяева наших шкур...

– Ну ладно, будет! Пойдём!

– погоди! Должны мы пойти к господину заведывающему этой самой солью и сказать ему со всем нашим почтением: «Милостивый господин, многоуважаемый грабитель и кровопийца, вот мы пришли предложить вашему живоглотию наши шкуры, не благоугодно ли вам будет содрать их за шестьдесят копеек в сутки!» И тогда последует...

– Ну вот что, ты вставай и пойдём. До вечера придём к рыбацким заводам, поможем выбрать невод – накормят ужином, может быть.

– Ужином? Это справедливо. Они накормят; рыбацки народ хороший. Пойдём, пойдём... Но уж толку, братец ты мой, мы с тобой не отыщем, потому – незадача нам с тобой всю неделю, да и всё тут.

Он встал, весь мокрый, потянулся и, засунув руки в карманы штанов, сшитых им из двух мучных мешков, пошарил там и юмористически оглядел пустые руки, вынув их и поднеся к лицу.

– Ничего!.. Четвёртый день ищу, и всё – ничего! Дела, братец ты мой!

Мы пошли берегом, изредка перекидываясь друг с другом замечаниями. Ноги вязли в

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
мягком песке, перемешанном с раковинами, мелодично шуршавшими от мягких ударов набегавших волн. Изредка попадались выброшенные волной студенистые медузы, рыбки, куски дерева странной формы, намокшие и чёрные... С моря набегал славный свежий ветерок, опахивал нас прохладой и летел в степь, вздымая маленькие вихри песчаной пыли. Емельян, всегда весёлый, видимо унывал, и я, замечая это, стал пытаться развлечь его.

– Ну-ка, Емеля, расскажи что-нибудь!

– Рассказал бы я тебе, брат, да говорилка слаба стала, потому – брюхо пустует.

Брюхо в человеке – главное дело, и какого хочешь уroda найди – а без брюха не найдёшь, дудки! А как брюхо покойно, значит, и душа жива; всякое деяние человеческое от брюха происходит...

Он помолчал.

– Эх, брат, коли бы теперь тысячу рублей море мне швырнуло – бац! Сейчас открыл бы кабак; тебя в приказчики, сам устроил бы под стойкой постель и прямо из бочонка в рот себе трубку провёл. Чуть захотелось испить от источника веселия и радости, сейчас я тебе команду «Максим, отверни кран!» – и буль-буль-буль – прямо в горло. Глотай, Емеля! Хо-оро-шее дело, бес меня удави! А мужика бы этого, чернозёмного барина – ух ты! – грабь – дери шкуру!.., выворачивай наизнанку. Придёт опохмеляться: «Емельян Павлыч! дай в долг стаканчик!» – «А?.. что?.. В долг?! Не дам в долг!» – «Емельян Павлыч, будь милосерд!» – «Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам». Ха-ха-ха! Я бы его, чёрта тугопузого, пронзил!

– Ну, что уж ты так жестоко! Смотри-ка – вон он голодает, мужик-то.

– Как-с? Голодает?.. А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю, а этого в законе не писано. Н-да-с! Он голодает – почему? Неурожай? У него сначала в башке неурожай, а потом уже на поле, вот что! Почему в других-прочих империях неурожая нет?! Потому, что там у людей головы не затем приделаны, чтоб можно было в затылке скрести; там думают, – вот что! Там, брат ты мой, дождь можно отложить до завтра, коли он сегодня не нужен, и солнце можно на задний план отодвинуть, коли оно слишком усердствует. А у нас какие свои меры есть? Никаких мер, братец ты мой... Нет, это что! Это всё шутки. А вот кабы действительно тысячу рублей и кабак, это бы дело серьёзное...

Он замолчал и по привычке полез за кисетом, вынул его, выворотил наизнанку, посмотрел и, зло плюнув, бросил в море.

Волна подхватила грязный мешочек, понесла было его от берега, но, рассмотрев этот дар, негодующе выбросила снова на берег.

– Не берёшь? Врёшь, возьмёшь! – Схватив мокрый кисет, Емельян сунул в него камень и, размахнувшись, бросил далеко в море.

Я засмеялся.

– Ну, что ты скалишь зубы-то?.. Люди тоже! Читает книжки, с собой их носит даже, а понимать человека не умеет! Кикимора четырёхглазая! Это относилось ко мне, и по тому, что Емельян назвал меня четырёхглазой кикиморой, я заключил, что степень его раздражения против меня очень сильна: он только в моменты острой злобы и ненависти ко всему существующему позволял себе смеяться над моими очками; вообще же это невольное украшение придавало мне в его глазах столько веса и значения, что в первые дни знакомства он не мог обращаться ко мне иначе, как на «вы» и тоном, полным почтения, несмотря на то, что я в паре с ним грузил уголь на какой-то румынский пароход и весь, так же как и он, был оборван, исцарапан и чёрен, как сатана.

Я извинился перед ним и, желая его успокоить до некоторой степени, начал рассказывать о заграничных империях, пытаюсь доказать ему, что его сведения об управлении облаками и солнцем относятся к области мифов.

– Ишь ты!.. Вот как!.. Ну!.. Так, так... – вставлял он изредка; но я чувствовал, что интерес его к заграничным империям и ходу жизни в них невелик против обыкновения, – Емельян почти не слушал меня, упрямо глядя в даль перед собою.

– Всё это так, – перебил он меня, неопределённо махнув рукою. – А вот что я тебя спрошу: ежели бы нам навстречу теперь попался человек с деньгами, и большими деньгами, – подчеркнул он, мельком заглянув сбоку под мои очки, – так ты как бы, ради приобретения шкуре твоей всякого атрибуту, – уколошил бы его?

– Нет, конечно, – отвечал я. – Никто не имеет права покупать своё счастье ценою жизни другого человека.

– Угу! Да... Это в книжках сказано дельно, но только для ради совести, а на самом-то деле тот самый барин, что первый такие слова придумал, кабы ему туго пришлось, – наверняка бы при удобном случае, для сохранности своей, кого-нибудь обездушил. Права! Вот они, права!

У моего носа красовался внушительный жилистый кулак Емельяна.

– И всяк человек – только разным способом – всегда этим правом руководствуется. Права тоже!..

Емельян нахмурился, спрятав глаза глубоко под брови, длинные и выцветшие.

Я молчал, зная по опыту, что, когда он зол, возражать ему бесполезно.

Он швырнул в море попавшийся под ногу кусок дерева и, вздохнув, проговорил:

– Покурить бы теперь...

Взглянув направо в степь, я увидел двух чабанов, лежащих на земле, глядя на нас.

– Здорово, панове! – окликнул их Емельян, – а нет ли у вас табаку?

Один из чабанов повернул голову к другому, выплюнул изо рта изжёванную им былинку и лениво проговорил:

– Табаку просят, э, Михал?

Михаил взглянул на небо, очевидно испрашивая у него разрешения заговорить с нами, и обернулся к нам.

– Здравствуйте! – сказал он, – где ж вы идете?

– К Очакову на соль.

– Эге!

Мы молчали, располагаясь около них на земле.

– А ну, Никита, подбери кишень, чтоб её галки не склевали.

Никита хитро улыбнулся в ус и подобрал кишень. Емельян скрипел зубами.

– Так вам табаку надо?

– Давно не курили, – сказал я.

– Что ж так? А вы бы покурили.

– Гей ты, чёртов хохол! Цыц! Давай, коли хочешь дать, а не смейся! Выродок!

Аль потерял душу-то, шляясь по степи? Двину вот по башке, и не пикнешь! – гаркнул Емельян, вращая белками глаз.

Чабаны дрогнули и вскочили, взявшись за свои длинные палки и став плотно друг к другу.

– Эге, братики, вот как вы просите!.. а ну, что ж, идите!..

Чёртовы хохлы хотели драться, в чём у меня не было ни малейшего сомнения.

Емельян, судя по его сжатым кулакам и горевшим диким огнём глазам, тоже был не прочь от драки. Я не имел охоты участвовать в баталии и попытался примирить стороны.

– Стойте, братцы! Товарищ погорячился – не беда ведь! А вы вот что – дайте, коли не жаль, табаку, и мы пойдём себе своей дорогой.

Михаил взглянул на Никиту, Никита – на Михаила, и оба усмехнулись.

– Так бы сразу и сказать вам!

Затем Михаил полез в карман свиты, выволок оттуда объёмистый кисет и протянул мне.

– А ну, забери табаку!

Никита сунул руку в кишеню и затем протянул её мне с большим хлебом и куском сала, щедро посыпанным солью. Я взял. Михаил усмехнулся и подсыпал ещё мне табаку.

Никита буркнул:

– Прощайте!

Я поблагодарил.

Емельян угрюмо опустил на землю и довольно громко прошипел:

– Чёртовы свиньи!

Хохлы пошли в глубь степи тяжёлым развалистым шагом, поминутно оглядываясь на нас. Мы сели на землю и, не обращая более на них внимания, стали есть вкусный полубелый хлеб с салом. Емельян громко чавкал, сопел и почему-то старательно избегал моих взглядов.

Вечерело. Вдали над морем родился мрак и плыл над ним, покрывая голубоватой мутью мелкую зыбь. На краю моря поднялась гряда жёлто-лиловых облаков, окаймлённых розовым золотом, и, ещё более сгущая мрак, плыла на степь. А в степи, там, далеко-далеко на краю её, раскинулся громадный пурпуровый веер лучей заката и красил землю и небо так мягко и нежно. Волны бились о берег, море – тут розоватое, там тёмно-синее – было дивно красиво и мощно.

– Теперь покурим! Чёрт вас, хохлов, растаскай! – И, покончив с хохлами, Емельян свободно вздохнул. – Мы дальше пойдём или тут заночуем?

Мне было лень идти дальше.

– Заночуем! – решил я.

– Ну и заночуем. – И он растянулся на земле, разглядывая небо.

Емельян курил и поплёвывал; я смотрел кругом, наслаждаясь дивной картиной вечера. По степи звучно плыл монотонный плеск волн о берег.

– А клюнуть денежного человека по башке – что ни говори – приятно; особенно ежели умеючи дело обставить, – неожиданно проговорил Емельян.

– Будет тебе болтать, – сказал я.

– Болтать?! Чего тут болтать! Это дело будет сделано, верь моей совести!

Сорок семь лет мне, и лет двадцать я над этой операцией голову ломаю. Какая моя жизнь? Собачья жизнь. Нет ни конуры, ни куска, – хуже собачьей! Человек я разве? Нет, брат, не человек, а хуже червя и зверя! Кто может меня понимать? Никто не может! А ежели я знаю, что люди могут хорошо жить, то – почему же мне не жить? Э? Чёрт вас возьми, дьяволы!

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Он вдруг повернулся ко мне лицом и быстро проговорил:

– Знаешь, однажды я чуть-чуть было не того... да не удалось малость... будь я, анафема, проклят, дурак был, жалел. Хочешь, расскажу?

Я торопливо изъявил своё согласие, и Емельян, закурив, начал:

«Было это, братец ты мой, в Полтаве... лет восемь тому назад. Жил я в приказчиках у одного купца, лесом он торговал. Жил с год ничего себе, гладко; потом вдруг запил, пропил рублей шестьдесят хозяйских. Судили меня за это, законопатили в арестантские роты на три месяца и прочее такое – по положению. Вышел я, отсидев срок, – куда теперь? В городе знают; в другой перебраться не с чем и не в чем. Пошёл к одному знакомому тёмному человечку; кабак он держал и воровские дела завершал, укрывая разных молодчиков и их делишки. Малый хорошей души, честнейший на диво и с умной головой. Книжник был большой, многое множество читал и имел очень большое понятие о жизни. Так я, значит, к нему: «А ну, мол, Павел Петров, вызволи!» – «Ну что ж, говорит, можно! Человек человеку, – коли они одной масти, – помогать должен. Живи, пей, ешь, присматривайся». Умная башка, братец ты мой, этот Павел Петров! Я к нему имел большое уважение, и он меня тоже очень любил. Бывало, днём сидит он за стойкой и читает книгу о французских разбойниках – у него все книги были о разбойниках, слушаешь, слушаешь... дивные ребята были, дивные дела делали – и непременно проваливались с треском. Уж, кажется, голова и руки – ах ты мне! а в конце книги вдруг – под суд – цап! и баста! всё прахом пошло.

Сижу я у этого Павла Петрова месяц и другой, слушая его чтение и разные разговоры. И смотрю – ходят тёмные молодчики, носят светлые вещички: часики, браслеты и прочее такое, и вижу – толку на грош нет во всех их операциях. Слямзит вещь – Павел Петров даст за неё половину цены, – он, брат, честно платил, – сейчас гей! давай!.. Пир, шик, крик, и – ничего не осталось! Плёвое дело, братец ты мой! То один попадёт под суд, то другой угодит туда же...

Из-за каких таких важных причин? По подозрению в краже со взломом, причём украдено на сто рублей! – Сто рублей! Разве человеческая жизнь сто рублей стоит? Дубьё!.. Вот я и говорю Павлу Петрову:

«– Всё это, Павел Петров, глупо и не заслуживает приложения рук.» – «Гм! как тебе сказать? – говорит. – С одной, говорит, стороны, курочка по зёрнышку клюёт, а с другой – действительно, во всех делах у людей уважения к себе нет; вот в чём суть! Разве, говорит, человек, понимающий себе цену, позволит свою руку пачкать кражей двугривенного со взломом?! Ни в каком разе! Теперь, говорит, хоть бы я, человек, прикосновенный моим умом к образованию Европы, я продам себя за сто рублей?». И начинает он мне показывать на примерах, как должен поступать понимающий себя человек. Долго мы говорили в таком роде. Потом я говорю ему: «Давно, мол, у меня, Павел Петров, есть в мыслях попытать счастья, и вот, мол, вы, человек опытный в жизни, помогите мне советом, как, значит, и что». – «Гм! – говорит – это можно! А не оборудовать ли тебе какое ни то дельце на свой риск и по своему расчёту, без помочей? Так, например... Обаимов-то – говорит – с лесного двора через Ворсклу в единственном числе на беговых возвращается; а как тебе известно, при нём всегда есть деньжонки, на лесном от приказчика он получает выручку. Выручка недельная; в день торгуют они на три сотни и больше. Что ты можешь на это сказать?» Я задумался. Обаимов – это тот самый купец, у которого я служил в приказчиках. Дело – дважды хорошее: и отместка ему за поступок со мной, и смачный кусок урвать можно. «Нужно обмозговать», – говорю. «Не без этого», – отвечает Павел Петров».

Он замолчал и медленно стал вертеть папироску. Закат почти угас, только маленькая розовая лента, с каждой секундой всё более бледнея, чуть окрашивала край пухового облака, точно в истоме неподвижно застывшего в потемневшем небе. В степи было так тихо, грустно, и непрерывно лившийся с моря ласковый плеск волн как-то ещё более оттенял своим монотонным и мягким звуком эту грусть и тишину. Над морем, одна за другой, ярко вспыхивали звёздочки, такие чистенькие, новенькие, точно вчера только сделанные для украшения бархатного южного неба.

«Н-да, браток, покумекал я над этим делом и в ту же ночь в кусты около Ворсклы

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiymax залёг, имея с собой шкворень железный фунтов семи весом. Дело-то было в октябре, помню – в конце. Ночь – самая подходящая: темно, как в душе человеческой... Место – лучше желать не надо. Сейчас тут мост, и на самом съезде с него доски выбиты, – значит, поедет шагом. Лежу, жду. Злобы, брат ты мой, в ту пору у меня хватило бы хоть на десять купцов. И так я себе это дело просто представил, что проще и нельзя: стук! – и баста!.. Н-да!.. Так вот и лежу, знаешь, и всё у меня готово. Раз! – и получи денежки. Так-то. Бац! – значит, – и всё тут!

«Ты, может, думаешь, что человек в себе волен? Дудки, браток! Расскажи-ка мне, что ты завтра сделаешь? Ерунда! Никак ты не можешь сказать, направо или налево пойдёшь завтра. Лежал я и ждал одного, а вышло совсем не то. Совсем несообразное дело вышло!

Вижу: от города идёт кто-то – пьяный как будто, шатается, в руках палка. Бормочет что-то; нескладно бормочет и плачет, – всхлипывает... Ещё ближе подошёл, смотрю – баба! Тьфу тебе, треклятая! Намылю шею, думаю, подойди-ка. А она идёт к мосту прямо и вдруг как крикнет: «Милый, за что?!» Ну, брат, и крикнула! Я так и вздрогнул. «Что за притча?» – думаю. А она прямо на меня. Лежу, прижался к земле, дрожу весь – куда моя злоба девалась! Вот-вот налезет, ногой наступит сейчас! А она опять как завопит: «За что?! за что?!» – и бух наземь, как стояла, почти рядом со мной. И заревела она тут, братец ты мой, так, что я и сказать тебе не могу, – сердце рвалось, слушая. Лежу, однако, ни гугу. А она ревет. Тоска меня взяла. Убегу, думаю себе, прочь! А тут месяц вышел из тучи, да таково ясно и светло, просто страх. Приподнялся я на локоть и глянул на неё... И тут, брат, всё и пошло прахом, все мои планы и полетели к чертям! Смотрю – так сердце и ёкнуло: ма-аленькая девчоночка, дитё совсем – беленькая, кудряшки на щёчках, глазёнки большие такие – смотрят так... и плечики дрожат-дрожат, а из глаз-то слёзы крупнущие одна за другой так и бегут, и бегут.

«Жалость меня, брат ты мой, забрала. Вот я, значит, и давай кашлять: «Кхе! кхе! кхе!» Как она крикнет: «Кто это? Кто? Кто тут?!» Испугалась, значит... Ну, я сейчас тово... на ноги встал и говорю: «Это, мол, я». – «Кто вы?» – говорит. А глаза-то у самой во какие сделались, и вся так, как студень, дрожит. «Кто вы?» – говорит».

Он засмеялся.

«Кто я-то, мол? Вы прежде всего не бойтесь меня, барышня, – я вам худа не сделаю. Я – так себе человек, из босой команды, мол, я». Да. Соврал, значит, ей; не говорить же ведь, чудак ты, что я, мол, купца убить залёг тут! А она мне в ответ: «Всё, говорит, мне равно, я топиться пришла сюда». И так это она сказала, что меня аж озноб взял – серьёзно уж очень, братец ты мой. Ну, что тут делать?»

Емельян сокрушённо развёл руками и смотрел на меня, широко и добродушно улыбаясь.

«И вдруг тут, братец ты мой, заговорил я. О чём заговорил – не знаю; но так заговорил, что аж сам себя заслушался, больше всё насчёт того, что она молодая и такая красавица. А что она красавица, так это уж так, то есть – раскрасавица! Эх ты, брат ты мой! Ну уж! А звали Лизой. Так вот я, значит, и говорю; а что – кто его знает – что? Сердце говорило. Да! А она всё смотрит, серьёзно так и пристально, и вдруг как улыбнётся!..»

– заорал Емельян на всю степь со слезами в голосе и на глазах и потрясая в воздухе сжатými кулаками.

«Как улыбнулась, так я и растаял; хлоп перед ней на колени: «Барышня, говорю, барышня! – и всё тут! А она, братец ты мой, взяла меня за голову руками, глядит мне в лицо и улыбается, как на картине; шевелит губами – сказать хочет что-то; а потом осилилась и говорит: «Милый вы мой, вы тоже несчастный, как и я! Да? Скажите, хороший мой!» Н-да, друг ты мой, вот оно что! Да не всё ещё, а и поцеловала она меня тут в лоб, брат, – вот как! Чуешь? Ей-богу! Эх ты, голубь! Знаешь, лучше этого у меня в жизни-то за все сорок семь лет ничего не было! А?!

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
То-то! А зачем я пошёл? Эх ты, жизнь!..»

Он замолчал, кинув голову на руки. Подавленный странностью рассказа, я молчал и смотрел на море, похожее на чью-то громадную грудь, ровно и глубоко дышавшую в крепком сне.

«Ну, а потом она встаёт и говорит мне: «Проводите меня домой». Пошли мы. Я иду – ног под собой не чую, а она мне всё рассказывает, как и что. Понимаешь ты, она одна дочь была у родителей, купцы они, – ну, и того, значит, балованная; а потом тут студент приехал и стал, значит, её там учить, и влюбились они друг в друга. Он потом уехал, а она стала его ждать – как, дескать, кончит там свою науку, чтобы приехать венчаться; уговор у них такой был. А он не приехал, а послал ей письмо: дескать, ты мне не пара. Девке, конечно, обидно. Вот она было и того, значит... Ну, рассказывает она это мне, и дошли мы таким манером с ней до дома, где она жила. «Ну, говорит, голубчик, прощайте! Завтра я, говорит, уеду отсюда. Вам денег, может быть, надо? Скажите, не стесняйтесь». – «Нет, говорю, барышня, не надо, спасибо вам!» – «Ну, добрый вы мой, не стесняйтесь, скажите, возьмите!» – пристаёт она. А я такой оборванный был, однако говорю: «Не надо, барышня». Знаешь, брат, как-то не до того было, не до денег. Простились мы с ней. Она так ласково говорит: «Никогда-де я не забуду тебя; совсем, дескать, ты чужой человек, а такой мне...» Ну, это наплевать»,

– оборвал Емельян, снова принимаясь закуривать.

«Ушла она, Сел я на скамью у ворот. Грустно мне стало. Ночной сторож идёт. «Ты, говорит, чего тут торчишь, али слязнить хочешь чего ни то?» Крепко эти самые слова взяли меня за сердце! Я его в морду – рраз! Крик, свист... в часть! Ну что ж, в часть так в часть, вали хоть во всю целую – мне всё равно; я как двину его снова! Сел на лавочку и бежать не хотел. Ночевал; поутру отпустили. Иду к Павлу Петрову. «Где погуливал?» – спрашивает, усмехаясь. Поглядел я на него – человек, как и вчера; но как будто что-то новое вижу. Ну, конечно, рассказал ему всё, как и что. Слушал он серьёзно таково, а потом сказал мне: «Вы, говорит Емельян Павлыч, – дурак и болван; и не угодно ли, говорит, вам убраться вон!» – Ну, что ж тут? Али он не прав? Я ушёл, и всё тут. – Так-то вот было дельце, браток!»

Он замолчал и растянулся на земле, закинув руки под голову и глядя на небо – бархатное и звёздное. И кругом всё молчало. Шум прибора стал ещё мягче, тише, он долетал до нас слабым, сонным вздохом.

Макар Чудра

С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, жёлтые листья и бросали их в костёр, раздувая пламя; окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева – безграничную степь, справа – бесконечное море и прямо против меня – фигуру Макара Чудры, старого цыгана, – он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас.

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют её, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову в мёртво молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра.

– Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай – вот и всё!

– Жизнь? Иные люди? – продолжал он, скептически выслушав моё возражение на его «Так и надо». – Эге! А тебе что до того? Разве ты сам – не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому.

– Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми?

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiymax
Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить?
Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее
– те ничего не получают, и всякий сам учится...

– Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле
вон сколько, – он широко повел рукой на степь. – И все работают. Зачем? Кому?
Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом
силы свои источит на землю, а потом ляжет в неё и сгниёт в ней. Ничего по нем не
останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, – дураком.

– Что ж, – он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да и умереть, не
успев даже могилы самому себе выковырять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна?
Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб – как только родился, всю жизнь
раб, и всё тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет
немного.

– А я, вот смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коли написать всё
это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи,
в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал.
Так нужно жить: иди, иди – и всё тут. Долго не стой на одном месте – чего в нём?
Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай
от дум про жизнь, чтоб не разлюбить её. А задумаешься – разлюбишь жизнь, это
всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

– В тюрьме я сидел, в Галичине. «Зачем я живу на свете?» – помыслил я со скуки,
– скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! – и взяла меня тоска за сердце, как
посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он
живёт? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и всё
тут! И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я
тогда чуть не удавился поясом, вот как!

– Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек, из ваших, русских. Нужно,
говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в божьем слове.
Богу покоряйся, и он даст тебе всё, что попросишь у него. А сам он весь в
дырках, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у бога.
Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать
людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже
– учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо,
во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня-думка. Это пела
красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого, грудного тембра, всегда
как-то странно, недовольно и требовательно звучащий – пела ли она песню,
говорила ли «здравствуй». На ее смуглом, матовом лице замерла надменность
царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах сверкало сознание
неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама.

Макар подал мне трубку.

– Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет?
Хорошо! Так и надо – не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться
лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал ее – и умерла воля в твоём
сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать – нельзя, и
отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись девок! Лгут всегда! Люблю, говорит,
больше всего на свете, а ну-ка, уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце.
Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни
и, как запомнишь, – век свой будешь свободной птицей.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия, и Чехия, и
Славония, и все, что кругом моря, знало его, – удалый был малый! Не было по тем
краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить
Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат
поставь сторожить того коня – все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге!
разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы,
коли б не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям
подарил бы по пинку в рыла – это уж как раз!

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiymax
И все таборы его знали или слышали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго – поедит, да и продаст, а деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного – нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!

Наш табор кочевал в то время по Буковине, – это годов десять назад тому. Раз – ночью весенней – сидим мы: я, Данило-солдат, что с Кошутым воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка.

Ты Нонку мою знаешь? Царица девка! Ну, а Радду с ней равнять нельзя – много чести Нонке! О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает.

Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния, сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, – важный был господарь старый! Смотрел, смотрел, да и говорит Радде: «Гей! Поцелуй, кошель денег дам». А та отвернулась в сторону, да и только! «Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковой», – сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель – большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и все тут.

– Эх, девка! – охнул он, да и плетью по коню – только пыль взвилась тучей.

А на другой день снова явился. «Кто ее отец?» – громом гремит по табору. Данило вышел. «Продай дочь, что хочешь возьми!» А Данило и скажи ему: «Это только паны продают все, от своих свиней до своей совести, а я с Кошутым воевал и ничем не торгую!» Взревел было тот, да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись, да и пошли. День идем и два, смотрим – догнал! «Гей вы, говорит, перед богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жены мне: все поделю с вами, богат я сильно!» Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались.

– А ну-ка, дочь, говори! – сказал себе в усы Данило.

– Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? – спросила нас Радда. Засмеялся Данило, и все мы с ним.

– Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голубок ищи – те податливей. – И пошли мы вперед.

А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была Радда, сокол!

– Да! Так вот раз ночью сидим мы и слышим – музыка плывет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было, или, коли жить, так – царями над всей землей, сокол!

Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас.

– Эге, Зобар, да это ты! – крикнул ему Данило радостно. Так вот он, Лойко Зобар!

Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка – целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете!

Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то! А слушай-ка дальше.

Радда и говорит: «Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это делал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?» А тот смеется: «Я сам делал! И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка, ну, да я умею смычок в руках держать!»

Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердца, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и Лойко тож. Но – не на ту попал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала: «А еще говорили, что Зобар умен и ловок, – вот лгут люди!» – и пошла прочь.

– Эге, красавица, у тебя остры зубы! – сверкнул очами Лойко, слезая с коня. – Здравствуйте, братья! Вот и я к вам!

– Просим гостя! – сказал Данило в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать... Крепко спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного.

Э, э, э! Поняли мы, кто тот конь, и улыбнулись в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, все равно, лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно!

Живем мы да живем на том месте, дела у нас о ту пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадыарскую понимал. Бывало, пойдет говорить – век бы не спал, слушал его! А играет – убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл! Проведет, бывало, по струнам смычком – и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз – и замрет оно, слушая, а он играет и улыбается. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра молодца! Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг – гей! Громом гремит вольная, живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню! Вот как, сокол!

Каждая жила в твоём теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойко: «В ножи, товарищи!» – то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Все он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили, только Радда одна не смотрит на парня; и ладно, коли бы только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дергая себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойко, и плачет до утра его скрипка, плачет, хоронит Зобарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем: как быть? И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя – изувечат. Так и шло дело.

Вот сидели мы, все в сборе, и говорили о делах. Скучно стало. Данило и просит Лойко: «Спой, Зобар, песенку, повесели душу!» Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было! И запел Лойко:

Гей-гей! В груди горит огонь,
А степь так широка!
Как ветер, быстр мой борзый конь,
Тверда моя рука!
Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи певуну. Вспыхнул, как заря, он.

Гей-гоп, гей! Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперед!?
Одета степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!
Гей-гей! Летим и встретим день.
Взвивайся в вышину!
Да только гривой не задень
Красавицу луну!
Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда и говорит, точно воду цедит:

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
– Ты бы не залетал так высоко, Лойко, неравно упадешь, да – в лужу носом, усы запачкаешь, смотри. – Зверем посмотрел на нее Лойко, а ничего не сказал – стерпел парень и поет себе:

Гей-гоп! Вдруг день придет сюда,
А мы с тобою спим.

Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда
В огне стыда сгорим!

– Это песня! – сказал Данило. – Никогда не слышал такой песни; пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я!

Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Зобарова песня! Только Радде не понравилась.

– Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот передразнивая, – сказала она, точно снегом в нас кинула.

– Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? – потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку, да и говорит, весь черный, как земля:

– Стой, Данило! Горячему коню – стальные удила! Отдай мне дочку в жены!

– Вот сказал речь! – усмехнулся Данило. – Да возьми, коли можешь!

– Добро! – молвил Лойко и говорит Радде: – Ну, девушка, послушай меня немного, да не кичись! Много я вашей сестры видел, эге, много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и... нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно б было!.. Беру тебя в жены перед богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь – я свободный человек и буду жить так, как я хочу! – И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку, – вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь затылком – грох!..

Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ременное кнutowище за ноги, да и дернула к себе, – вот отчего упал Лойко.

И снова уж лежит девка не шевелясь да усмехается молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо, да и пошел в степь, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне: «Смотри за ним!» И пополз я за Зобаром по степи в темноте ночной. Так-то, сокол!»

Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и, лежа, смотрел в его старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но все еще мощный, крепкий и гордый силой своей. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер все так же носил его шепот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней.

«Шел Лойко нога за ногу, повеся голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но все ж не подошел к нему. Словом горю не поможешь – верно?! То-то! Час он сидит, другой сидит и третий не шелохнется – сидит.

И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далеко все видно.

Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет.

Весело мне стало! «Эх, важно! – думаю, – удалая девка Радда!» Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо; вздрогнул Лойко, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я, и уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу:

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
– Брось! Голову разобью! – Смотрю: у Радды в руке пистоль, и она в лоб Зобару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше?

– Слушай! – Радда заткнула за пояс пистоль и говорит Зобару: – Я не убить тебя пришла, а мириться, бросай нож! – Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат! Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц да я – и все тут.

– Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю! – говорит Радда. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам.

– Видала я молодцов, а ты удалей и краше их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил – моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги, захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой и телом, слышишь? – Тот усмехнулся.

– Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну-ка, скажи еще!

– А еще вот что, Лойко: все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени – впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов-цыган, не зазвучат по степям больше – петть ты будешь любовные, нежные песни мне, Радде... Так не теряй даром времени, – сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу юнаку. Поклонись мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою – и тогда я буду твоей женой.

Вот чего захотела чертова девка! Этого и слыхом не слыхано было; только в старину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган – никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь голову, не выдумашь!

Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненный в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

– Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко?

– Слышу! Сделаю, – застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.

Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привел его в себя.

Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут!..

Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть – что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойко. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились; он опустил их и, не подымая, сказал нам:

– Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только – и все тут! Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойко Зобара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петть вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? – Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как Лойко Зобар упадет в ноги девке – пусть эта девка и Радда. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– Ну! – крикнула Радда Зобару.

– Эге, не торопись, успеешь, надоест еще.. – засмеялся он. Точно сталь зазвенела,
– засмеялся.

– Так вот и все дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же, – простите меня, братцы!

Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

– Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь!.. – да и умерла...

Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

– Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! – на всю степь гаркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

Что ты скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: «Надо связать его!..» Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой, да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами, на том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

– Вот так! – повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушел догонять Радду.

А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица.

Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой, как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи.

Было тут над чем плакать, сокол!

..Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и все, сокол!»

Макар замолчал и, спрятав в кiset трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом.

– Гоп, гоп, эгой! – крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: – Спать пора! – Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк.

Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками.

А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы...

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев цыган – Лойко Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец
Лойко поравняться с гордой Раддой.

О маленькой фее и молодом чабане Валашская сказка
У людей очень много грустных сказок; промолчим на вопрос, почему это так, и
послушаем одну из них, новую сказку на старую тему, сказку, которую рассказывают
на Дунае, голубой реке...

Над Дунаем есть лес, старый, мощный лес. Он начинается с берега и уходит далеко
в глубь полей; ветви его деревьев нависли над синими звучными волнами реки, и
корни их, узловатые и сморщенные, вода целует и моет, набегая на берег с тихим,
ласковым звуком.

Жили в том лесу эльфы и феи, и старые, мудрые гномы построили в нём, под корнями
деревьев, дворцы свои, сидя в которых они думали думы про жизнь и всё другое,
про что нужно думать, чтобы быть мудрецом.

Ночами они выходили на тенистый берег реки и, сидя на камнях, поросших мягким
тёмно-зелёным мохом, и на старых, поваленных бурей стволах деревьев, смотрели на
волны и слушали то, что они шептали, тихо пробегая до моря из непонятной,
туманной мглой занавешенной дали.

В том же лесу жила и старая царица фей и четыре её дочери; а из них самая
меньшая была самой весёлой, красивой и смелой. Она была очень маленькая, и её
головка, вся в серебряных волнистых кудрях, походила на пышно расцветшую лилию.

Целые дни она бегала по лесу, а когда уставала, то садилась на ветви старого
дуплистого бука; он стоял близко к тому краю леса, что выходил в степь. Это было
её любимое место, и с него, чрез пышный полог душистых зелёных ветвей,
волновавшийся, как море, чуть над ним промчится ветер, – она видела бесконечную
ширь степи, начинавшейся сейчас же за лесом и уходившей туда – в
розовато-голубую даль, где её край касался мягкой синевы неба.

Она сидела высоко на ветках, ветер тихо качал их под ней, и она пела, нежась на
солнце, о том, как хорошо быть феей и жить в старом, тенистом лесу.

Птицы, бабочки и все, кто жил вместе с нею, очень любили её, и ей жилось хорошо,
очень хорошо.

И вот с нею-то и случилась эта грустная история, о которой рассказывали мне
дунайские рыбаки.

Был май, – славный, весёлый май; свежая, ярко-зелёная листва, рождённая им,
ликовала; шум её лился широкой и звучной струёй в лазурное, яркое небо, – а в
нём тихо плавали белые пуховые облака и таяли в ярких лучах весёлого солнца
весны.

Фея качалась на ветках могучего бука и пела; старые ветви музыкально и тихо
скрипели, и зелень их шумно шептала хвалу песне красавицы-феи:

Хорошо на ветках бука
В ясный майский день качаться
И волной душистой звука
Песни леса упиваться!
Эта была её любимая и бесконечно длинная песня.

Хорошо весёлой белкой
Прыгать с той на эту ветку,
Разрывая белой ножкой
Паука лесного сетку!..
И вдруг до её слуха донеслась, как бы в ответ ей, другая звонкая и смелая песня:

Хорошо в степном просторе,
Напоённом мягким зноем,
Наблюдать, как в небе-море
Мчатся тучки лёгким строем!
Фея удивилась и испугалась немного; эта песня прилетела со степи, и тот, кто её
пел, умел петь; звонко и стройно звучал его голос и, точно поддразнивая её,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
вызывал на состязание.

Ветра буйного порывы
Степью бешено летят,
Точно в небе крошки-звёзды
Погасить они хотят!
Это пел не один из жаворонков и никто из соловьев; она знала все их песни! Кто же это пел? Ей захотелось узнать.

Как красива сеть ветвей
Дуба мощного и вяза!
Она замолчала, – и, так как она была женщина, она была тщеславна, а потому тотчас же и подумала, что со дня своего рождения лес не слышал такой красивой и звучной песни, как вот эта, которую она только что спела. Но не успел ещё лес шумом ветвей сказать ей спасибо, как со степи полилось:

Степь родная! От края до края
Ковылём поросла ты седым;
Вольный ветер, с ним нежно играя,
Над тобой мощной птицей летает
И весёлые сны навевает..
И плывут, и клубятся, как дым,
Стаи туч с высоты голубой
Далеко, далеко над тобой!..
Маленькая фея белкой взобралась на самую вершину бука и смотрела в степь. В ней догорал день, и её край, о котором пелось, был окрашен в яркий пурпур, точно там был развешен громадный бархатный занавес и в складках его горело золото. А на пышном фоне этого занавеса рисовалась такая красивая и странная фигура кого-то с длинной палкой в руках и в белой овечьей шкуре на плечах и поясе. Она стояла на одном из тех маленьких холмиков, под которыми живут суслики и кроты, и, простирая руки к лесу, пела. Больше ничего не было видно. А когда песня, звонкая и смелая, была пропета, фее так сильно захотелось посмотреть поближе на того, кто пел её, что она готова была побежать туда, но, вспомнив рассказы матери о том, что по степи часто ходят люди и что с ними лучше не встречаться, коли не хочешь несчастья, – удержалась и молча, не отрываясь, всё смотрела на певца. А он, кончив свою песню, взмахнул над головой палкой, свистнул и, крикнув к лесу: «Эгой! Прощай!», лёгкими шагами пошёл туда, в степь, откуда выплывали навстречу ему тонкие стаи мутно-голубой мглы, – пошёл и снова стал петь.

Есть ли что-нибудь для глаза
Поля голого мертвей?!
Как серебряные колокольчики, звенел её голос, когда она пела эту песенку-вызов, и в ответ получила:

Сеть из сучьев чёрных сплёл
Этот старый, хмурый лес,
И лазурный свод небес
Глаз мой в нём бы не нашёл.
Это фею рассердило. Разве сквозь ветви деревьев не видно лазурного неба? Тот, кто пел эти песни, никогда не бывал в лесу. А вот что хорошего в бесконечно большом и голом поле, – это трудно сказать и мудрецу! Она громко закричала в степь:

Если по степи проносятся вьюги,
Дико и буйно в ней ветер поёт,
Лес в это время в тоске и испуге
Страшно шумит и мне спать не даёт!
Когда она прислушалась – в степи кто-то весело смеялся.

– Ах, как это невежливо! – вскричала фея и почувствовала в себе желание победить.

Лесу хвалу я пою!
– запела она звонко. Весь лес до последнего кустика ласково зашумел бархатной листвой, и её голос жаворонком взвился в небо.

Слушайте, птицы, меня!..
И неугомонно певшие птички замолчали, чтоб послушать и поучиться славить лес.

Песнь моя! громко звеня,
Лейся ты в небо прекрасное!
Солнце! ты песнь мою
Златом лучей облеку
И преврати в огоньки,
Чистые, кроткие, ясные!..
Пусть они песнью без слов
Ночью по лесу летают
И светляками сияют
В зелени мощных дубов!..
И тут она встала на толстый сук бука, вдохновенно закинув голову назад, и,
подняв маленькие белые ручки к небу, пела далее:

Мой старый, добрый, чудный лес!
Ты тайны мир, ты мир чудес!
Купаясь в запахе густом
Тобой взлелеянных цветов,
Весёлых пташек дивный хор
Тебе хвалы поёт!..
Под каждой веткой и листком
Живут букашки, мотыльки..
А меж корнями в мраке нор
Живёт суровый крот;
И робкий кролик, и лиса,
И жёлтый уж, и острый ёж,
И резвый эльф, и мудрый гном
В тебе нашли приют!
О лес!.. Всех птичек голоса,
Пускай хоть век они звенят –
За ночью ночь и день за днём –
Тебя не воспоят,
Мой старый, чудный, мощный лес!
Тихо ветер тучки гонит,
Тени их на степь упали..
И ковыль головки клонит, –
Это тени стебли смяли.
Тихий шорох ковыля
Плавно льётся в небеса,
Точно чьи-то голоса
Шепчут сказки, веселя
Душу юную мою.
Хищный беркут плавно вьётся
Там высоко точкой чёрной,
И оттуда клёкот льётся,
Клёкот мощный и задорный.
Царство силы и свободы –
Степь могучая моя...

Потом слова песни сделались неслышными, в лес летели одни только звуки, и фее было сладко слушать их; а когда и они пропали, потерявшись в безграничной степной равнине, она вместе с ними потеряла и силуэт певца, утонувшего в мягком море мглы. Тогда она задумчиво спустилась на землю и тихо пошла в свой дворец; но то, что раньше интересовало её, – игры эльфов с мотыльками, и сиянье светляков, и работа меж ветвями домовитых пауков, шорох листьев под ногою, тени мягкие на всём, и согнувшийся дугою погулять идущий гном, – всё это не останавливало на себе её ясных глаз; она думала о том, кто так много и так славно пел там, в степи, и ей хотелось узнать, что это было. Вот она пришла к себе. Её мать и сёстры собирались на свадьбу к одному почтенному кроту и стали звать её с собой, но ей не захотелось и этого; тогда мать спросила её:

– Что ты такая грустная, Майя? Ты устала или тебя опять напугали эти старые разбойники – вороны?

– Нет, не это, мама, совсем не это!

И она рассказала всё, что с нею было, а потом спросила, что такое было это.

Сёстры её не удивились её рассказу, они вскричали:

– Просто это чабан! а ты – дурочка! – и убежали куда-то, смеясь, бросая друг в друга цветами и крича: – Мы вас ждём!

– Да, это только чабан, моя дочка! – сказала фея-мать. – Он ещё молод, должно быть, вот и распелся так; когда поживёт, так разучится петь.

Она опытная была, эта царица фей.

– Что значит чабан, мама? – спросила Майя.

– Чабан – это тоже человек. Он пасёт овец и потому называется чабан. Чабаны, впрочем, всё-таки лучше других людей, не так злы и лживы, как те; должно быть, это потому, что они всё время живут с овцами.

– Он не может ничего дурного мне сделать, мама?

– Он-то? Нет, я думаю, что может, потому что ведь он всё-таки человек. Но ведь он к тебе не пойдёт, ты к нему – тоже? Не так ли? Тебе нечего бояться, девочка!

И опять скажу: царица фей была редкая женщина; она была умна и хорошо знала людей, но, видно, позабыла кой о чём на этот раз.

Майя замолчала, и они пошли на свадьбу крота. Там было весело, собрался чуть не весь лес: громадная толпа кузнециков и стрекоз составила очень звучный оркестр и славно играла; эльфы, мотыльки и другие обитатели леса танцевали и пели, а царица фей с дочерьми сидела на пышном троне из тюльпанов, и майские жуки служили ей, поднося то росу с соком фиалок, то молоко из лесных орехов и разные другие кушанья и сласти; мудрые гномы толковали между собой о жизни и других тайнах; мудрейшие ещё больше убеждались в том, что действительно всё суета сует и томление духа. Было очень весело!

Жених был приветлив и очень важен, потом – он был неглуп и очень зажиточен. Гости ни на что не могли пожаловаться и с любезными улыбками выслушивали его рассуждения о том, что главное в жизни общества – семья, он это понимает и вот женился, чем в некотором роде оказал обществу услугу, добавив к общей сумме его звеньев-семей ещё одну.

Невеста была, должно быть, очень счастлива, потому что всё время молчала, и, когда её спрашивали о чём-нибудь, она вместо ответа улыбалась такой мягкой и доброй улыбкой.

Майе было скучно. Улучив минутку, она спросила крота, что он думает о чабанах.

– Чабаны?! Скрр!.. брр!.. Я-таки близко знаю их! О да, принцесса, я-таки имел с ними дело! Они бедны всегда, и поэтому все негодяи и разбойники. О да, это уж верно! Это так! Чабаны?! Огэ! Они не имеют никакой собственности, кроме самих себя; а всякий, не имеющий собственности, – вор, ибо чем бы он жил, раз он не вор?! Но, впрочем, он может быть нищим, это ещё хуже, потому что воровать – это всё-таки труд. Один из чабанов раз бросил в меня своей длинной палкой и бежал за мной до той поры, покуда я не убрался в нору; да, это было так!

– Зачем он бросил? – спросила Майя.

– Зачем? Я думаю, просто затем, что я имел неосторожность пройти близко от него, вот и всё, отнюдь не больше. Ведь чабаны – люди, как хотите, и с них спрашивать много нельзя!

Майе стало ещё скучней. Всё, что происходило перед её глазами, было совсем не так интересно, как интересно оно было раньше. Она была очень рада, когда мама объявила, что пора идти домой. И вот они пошли. Светляки бежали перед ними, светя им; лес уже спал, и небо спало, а звёзды смотрели с него на землю и улыбались ей задумчиво и тихо.

Потом пришли домой.

Майя легла спать на свою кроватку из ландышей, а когда заснула, то видела бесконечно широкую, сожжённую солнцем степь, и там на холмах стояло много

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
чабанов с длинными палками в руках, и ветер играл их чёрными кудрями; они пели
громкую, страшную песнь о свободе и о степи и бегали за кротами, громко крича:
«Эгой! гой!» Они были злы и страшны и очень пугали её, но это не помешало
всё-таки ей, как только взшло солнце, побежать на своё любимое место и
взобраться на ветви бука.

Он был там и пел:

В лесу над рекой жила фея,
В реке она ночью купалась
И раз, позабыв осторожность,
В рыбацкие сети попалась.
Смотрели рыбаки, дивились...
Любимый товарищ их, Марко,
Взял на руки нежную фею
И стал целовать её жарко.
А фея, как гибкая ветка,
В могучих руках извивалась
Да в Марковы очи смотрела
И тихо над чем-то смеялась.
День целый они целовались,
А чуть только ночь наступила, –
Пропала красавица-фея,
А с нею и Маркова сила.
Дни Марко все рыскала по лесу,
А ночи сидел над Дунаем
И спрашивал волны: «Где фея?»
А волны смеются: «Не знаем!»
Повесился Марко на горькой,
Трусливо дрожащей осине...
И други его схоронили
Над синим Дунаем в теснине.
Ночами к нему на могилу
Та фея сидеть приходила...
Сидит и над чем-то смеётся...
Ведь вот как веселье любила!
Купается фея в Дунае,
Как раньше, до Марка, купалась...
А Марка уж нету! От Марка
Лишь песня вот эта осталась!
Это была очень весёлая песня, в голосе чабана ясно звучал смех, беззаботный и
вольный, как сам чабан.

«Вот странная песня! – думала фея. – У кого он научился петь её? И фея в этой
песне странная, и Марко тоже странный. Почему он повесился, и что это значит –
повеситься?» Ей казалось, что это не весёлая песня, а очень грустная. Чабан же
поёт её так весело... Она смотрела на него через вершины деревьев и хотела, чтоб он
подошёл ближе.

Но он не шёл, а всё пел и в такт своей песне помахивал палкой в воздухе; кончая
одну песнь, звонко вскрикивал: «Эгой!» и начинал другую:

А то ещё есть песня
О старом казаке,
Что плыл куда-то ночью
На лодке по реке.
Будил он рыб и воду
Ударами весла...
А в сонном небе ночи
Над ним луна плыла.
И нежно там сияли
Красавиц-звёзд огни,
И знали всё, что будет
Со стариком, они.
Майя слушала и думала о певце, что, пожалуй, никто другой не знает столько таких
песен, сколько он! Какие хорошие грустные песни, и как это верно спето про
звёзды, которые знают всё, что может быть завтра и дальше вперёд! Хорошо слушать
такие новые песни... И Майя незаметно для себя по ветвям деревьев добралась до самой

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax опушки леса.

А было вот что: в лодку
Русалка села вдруг
И вырвала со смехом
Весло из старых рук...
– продолжал певец и тут остановился, задумчиво глядя вдаль и тихо насвистывая мелодию своей песни. «Эгой!»

Была она красива,
Нага и молода,
С волос её струилась
Алмазами вода.
Смеясь, она играла
Казачьей бородой
И говорила: «Хочешь
Любить меня, седой?
Но, впрочем, где тебе уж!
Вот ты и дряхл, и стар,
Ты не погасишь лаской
Кипучей страсти жар!
Ты не обнимешь крепко,
Ты слишком слаб, казак...
А ну-ка, поцелуй-ка,
Как я!.. вот так!.. вот так!..»
Она его схватила
И стала целовать,
И стала в уши песни
Тихонько напевать.

Майя слушала и думала о том, как это красиво было: в лучах луны тело русалки казалось голубым и прозрачным, его осыпали тяжёлыми прядями густые волосы, и оно сверкало между них ослепительно ярко. Она извивалась змеей на широкой груди казака, серебряные волосы его бороды мешались с зелёными волосами русалки, а она ласково и нежно пела, и её песня, наверное, была мягка, как осенний шум волн в камышах, и глаза её горели так ярко, ярко, как звёзды, которые, сияя из густо-синего бархата неба, улыбались и обливали светом своих тонких лучей реку и лодку, и тех, что, сидя в ней, целовали друг друга... Это было красиво!.. И ещё была музыка... музыка шёпота волн и звука поцелуев, шелеста деревьев на берегах, тонувших в мгле, мягкой и волнистой, и тихих песен русалки... Всё это сливалось и звучало тихим и кротким гимном, которому имя – счастье жить! А певец продолжает:

Остатки силы юной
Проснулись в казаке...
«Могу!..» пронёсся шёпот
По дремлющей реке.
Он берегов уснувших
Во мгле не разбудил...
Как тучка в небе ясном,
Он, тихо тая, плыл
И замер где-то грустно...
Мир божий сладко спал,
И больше ничего уж
В ту ночь он не слышал.
Как раньше, катит волны
Красавица-река...
Но среди живых уж нету
Бедняги казака!
Теперь русалки око
Не соблазнит его...
Зарыт бедняк глубоко
И... больше ничего!

Вот как кончилась песнь чабана! Майя не ожидала такого конца, и ей стало грустно. Это было так красиво и кончилось так страшно! И зачем это «больше ничего»? Было так много красивого!.. Она смотрела на певца – теперь он был близко от неё – и видела, что и ему грустно. Он низко наклонил голову и тихо покачивал ею, глядя в землю. Ей захотелось поговорить с ним и, не думая о том, что из этого выйдет, она крикнула:

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
– Здравствуй! А скажи мне, почему у твоих весёлых песен такие грустные концы?

Чабан встал с земли, подошёл к самой опушке леса и, найдя её в ветвях своими карими глазами, улыбнулся, кивнул ей головой и отвечал:

– Почему? Да потому, что все песни имеют концы! А до сей поры, я слышал, ничто не кончено так, как начато. Это ты распеваешь в лесу? Вот ты какая! Я так и думал, что ты маленькая, гибкая и тонкая; у тебя и голос такой же, как сама ты.

Они замолчали и стали рассматривать друг друга. Он опёрся о палку локтем одной руки и, положив на её ладонь голову, смотрел вверх на ветви, из которых, улыбаясь, смотрело на него её маленькое белое личико с ясными карими глазами. И хорошо же оно было в рамке майской зелени!

– Ты славно поёшь! – сказала Майя, вдоволь насмотревшись в его чёрные, как омут, глаза и на смуглые, золотым пухом покрытые щёки.

– Пою, как умею, не лучше и не хуже этого, девушка! Сойди вниз, я посмотрю на тебя поближе. Ты ведь красавица, знаешь ли?

Ну, это-то она знала как нельзя более твёрдо. Когда по ночам засыпали ручьи, что текли по лесу, она частенько-таки любовалась в них своей рожницей и всем остальным. Все красавицы знают, что они такое, и почти всегда раньше времени знают это; можно думать, что коли бы этого не было, так и ещё кое-чего не было бы!

Майя хотела сойти, но вспомнила о том, что говорили ей крот и мать.

– А ты злой? – спросила она.

– Я-то? Не знаю.. Я – чабан..

– Это я знаю! – торопливо сказала Майя. – Значит, ты добрый?

– Не знаю! – весело тряхнул кудрями чабан.

– Ну, так я не приду к тебе, потому что ты, наверно, злой! Есть только злые и добрые, а больше никаких нет, и ты меня обманываешь.

– Э, да ты глупенькая какая! – крикнул чабан. – Как хочешь, не придёшь – не приходи, а придёшь – я тебя поцелую!

– Не хочу я, чтоб ты меня поцеловал!

– Ну, это ты врешь! Каждая девушка хочет, чтоб её целовали; разве я не знаю, ты думаешь?

– А я не хочу!

– Теперь – может быть; а через час или завтра и ты тоже захочешь. Всю жизнь по деревьям лазить не станешь ведь? Ну, вот то-то же!

Майя задумалась. «Может быть, лучше – поцеловать его сейчас, если это так неизбежно? Это, должно быть, очень хорошо поцеловать его вон в эту ямочку на щеке, что сделалась от улыбки, и в ту – на другой щеке.»

– Ну хорошо, я сойду! – засмеялась она и прыгнула с веток прямо ему на руки.

– Какая ты лёгонькая! – глядя ей в очи, сказал он и поцеловал её в губы.

Ох, как это хорошо!.. Сладкий, как сок ландыша, и горячий, как летний солнечный луч, поцелуй чудной новой кровью потёк по жилам к сердцу, и оно затрепетало до боли сильно и сладко.

Она и сама поцеловала его, а он ей ответил, и ещё, и ещё, и бесконечно много целовались они.

Уже наступал вечер. Заходило солнце; лес темнел, и из дали по степи поползли

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax тени, посланники ночи. Тогда Майя вспомнила, что нужно идти домой. Ей не хотелось этого – с чабаном было так хорошо!..

– Ты уж уходишь? – спросил её чабан. – Скоро! Но ты приходи завтра; я тебе что-то скажу, как придёшь.

– Я приду; мне с тобой так хорошо; но ты скажи то, что хочешь, сейчас, чтоб мне не думать об этом ночью, – сказала Майя.

– А ты разве не станешь думать, когда узнаешь, что это?

– Что же думать о том, что знаешь?

– Нет уж, иди. До завтра!

– До завтра!

Они поцеловались, и Майя пошла в свой лес, а чабан пел ей вслед одну из своих песен, только на этот раз тихую и нежную, как летний вечер, а не одну из старых – сильных и смелых, как ветер степной.

Майя пришла домой и рассказала всё, что случилось с ней в этот день. Эге, за всю свою жизнь до этой поры она не видала своей матери и сестёр такими испуганными и огорчёнными, как они были испуганы и огорчены, когда выслушали её. Мать то сердилась, то плакала, и всё говорила: «Что ты сделала, глупая! Что?!..» Сёстры молчали, и лес молчал, молчал задумчиво и неодобрительно. Майя чувствовала это, и ей было страшно чего-то.

– Дочка моя! – плакала мать. – Ты погубила себя!

Сёстры убито молчали и тоже плакали.

– Почему же, мама? Ведь в том, что мы целовались, нет ничего страшного, это только приятно. И потом, он говорит, что целоваться всё равно нужно; не нынче – завтра, это неизбежно!

– Дочка моя! Ведь он человек!

Но Майя не понимала, как глубока та пропасть, которую скрывает это слово, и говорила своё, что целоваться приятно, что чабан так хорош и что то, что вышло, неизбежно должно было выйти. И та и другая были правы и, чем больше спорили, тем правее считали себя, и кончился спор, как всегда, – они почувствовали себя обиженными и рассердились друг на друга.

– Ты не уйдёшь больше из дома дальше вот этого дуба! – сказала мать.

Этот дуб был в трёх шагах от маленького теремка Майи; это её ещё сильнее обидело. Она пошла к нему и села под густой тёмно-зелёный навес его ветвей. И осталась одна, потому что мать и сёстры ушли во дворец, взволнованно шепча о чём-то между собой. Всё это утомило её, и она уснула крепко, – в сущности, ведь ее совесть была чиста, как только что павшая с неба росинка, – уснула и видела степь, всю залитую горячим солнцем, и чабана; он пел песни, улыбался и целовал её; у него ярко искрились глаза и зубы блестели, как жемчуг, из-под пушистых и чёрных усов; ей было так славно! И когда она проснулась, ей – эх ты, как! – захотелось побежать туда, в степь; но она вспомнила, что это запретили маленькой девочке Майе, и ей стало обидно и грустно. Может быть, было бы лучше не говорить о чабана дома!.. Но она не умела не говорить о том, что в ней или с ней было.. Вот идёт мать. Её старые, седые волосы чешет ветер, и мотыльки, летая венцом вокруг её головы, следят, как бы не попала пылинка на доброе старое лицо, которое теперь так убито и строго.

– Я пойду в степь, мама! – не то попросила, не то решила Майя.

– Ты не пойдёшь, девочка! Ты погибнешь, если пойдёшь! – подойдя к ней, заговорила царица-мать, и долго говорила она о том, что лучше не знать того, что приносит минуты радости и годы страданий, и о том, что только тогда душа свободна, когда она ничего не любит; о том, что человек слишком любит себя, чтоб надолго полюбить другого, и ещё о многом, что было и мудро, и, может быть,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax верно, но что совсем не было так приятно, как поцелуй чабана, и что не могло даже быть похоже на них. Майя слушала и очень внимательно, и долго, вплоть до той поры, пока со степи не принеслось и не прокатилось по лесу звонкое «Эгой!» – и вслед за ним не поплыли славные и стройные звуки песни чабана:

Терять минуты не годится
Тому, кто хочет много жить,
кто хочет жизнью насладиться!
Тому, кто хочет счастлив быть,
Терять минуты не годится.
О, иди! Я тебя страстно жду!
Поскорей!.. Для тебя я в груди
Много песен весёлых найду...

О, иди! Поскорее иди!..
Майя слушала эту песню, и её сердце повторяло её. Голос матери звучал, как жужжанье пчелы, звуки песни – как клёкот орла.

– Нет, я пойду! – сказала Майя, и лес зашумел в ответ на громкий крик горя царицы-матери:

– Дочка, не ходи!!.

– Ведь это жестоко, мама! Я хочу – ты не хочешь; почему же нужно, чтоб было так, как хочешь ты? Пойми, что хочу я! Я хочу!..

– Дочка моя!.. Я знаю, что будет из этого! Не ходи!..

– А я не знаю и пойду!

– Так тогда ты больше не будешь моей дочерью, – вскричала царица, и лес не раз повторил её крик.

Бедные матери почему-то всегда забывают то время, когда они сами были только дочерьми, и отсюда выходит много лишнего крика; но это ничуть не мешает тому, чтоб всё шло своим чередом.

Майя испугалась и, когда увидала, что мать уходит от неё, испугалась ещё больше. А со степи неслось:

О, иди!.. Счастьем жизнь так бедна!..

Торопись же! Она так кратка!

Нужно пить чашу жизни до дна

Поскорей – не остыла пока!..

Майя посмотрела кругом... Корявые сучья дубов и белые гибкие ветви берёз переплелись между собой, тесно переплелись они, и никогда сквозь густую сеть их не проникало в лес так мало солнца, как сегодня! Воздух был влажен и душен; пахло не столько цветами и свежей майской зеленью, сколько перегнившим листом и ещё чем-то, таким же тяжёлым... А там, в степи, просторно и ярко! И оттуда неслась песнь:

О, иди!.. Хочешь жить, будь смелей!

Поскорей!.. Страх и жалость отбрось!

Только сердце свое ты жалея,

Только с ним не пытайся жить врозь!

Майе стало казаться, что лес ещё гуще переплёл свои ветви и хочет помешать ей уйти и вершины деревьев, кланяясь ей, шепчут: «Не уходи отсюда!.. Там ждёт тебя горе и ещё что-то!» Она чувствовала, что вот они повалятся ей на дорогу... но всё-таки хотела и решила пойти. У неё прямо из сердца полилась песня вызова и желания:

Звук этих чарующих песен

Отраду мне в грудь тихо льёт.

О лес! Почему ты стал тесен?

Мне страшно!.. Мне больше даёт

Звук этих чарующих песен!..

Мой лес! В тебе солнца так мало,

В тебе не умеют так петь!..

Мне скучно! Я жить здесь устала!

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax

Угрюма ветвей твоих сеть...
И солнца в ней мало, так мало!
Я воли хочу, хочу степи!
Мне грудь тяжело давит твой мрак!
Прочь эти зелёные цепи!..
Пусти!.. а не то ты – мой враг!
Я воли хочу, солнца, степи!..
– Майя!!.. – вскричали сёстры и встали все рядом у неё на дороге.

– Дочка! Ты ведь разорвёшь сердце мне!.. – простирая к ней руки, горько крикнула царица-мать.

Майя остановилась. Ей холодно и страшно стало, как никогда не бывало прежде. А со степи несло:

Иди!.. Мое сердце устало
Тебя, моя девочка, ждать!
Хоть счастья в жизни и мало,
Но всё я могу его дать!..
Майя и не посмотрела на мать, и на сестёр не посмотрела, бросилась вперёд, толкнув их, и ушла, а когда они опомнились, её уже не было. Глухо гудел лес, и у корней могучего дуба лежала старая царица в короне серебряно-седых волос, широко раскинув руки и не дыша.

– Вот я! – крикнула Майя, подбегая к чабану. – Вот я! Вырвали меня из леса твои песни, и из моего сердца вырвали они всё, что в нём было до той поры, пока не услышала их, вырвали и породили там что-то новое и сильное, и вот я бросила и лес, и мать, и всё... и пришла к тебе!

– Ну, что ж! Вот и славно!.. Теперь ты свободна, и смотри-ка: вот она, степь, нет у ней края, и вся она – твоя! И я твой, коли это нужно, а ты – моя! А то – так нет здесь ни тебя, ни меня, а есть мы, и ты – это я! Видишь, как славно! Только в степи и хорошо, потому что в ней свобода! Мы будем жить, как птицы; я буду петь тебе свои песни, а ты мне – свои, и обоим нам будет так хорошо, как никому никогда не бывало! И забудь ты то, что осталось там, сзади тебя, и будь моей милой!

– Да! – вздохнула Майя, – я буду твоей милой! Ты так хорошо поёшь! А то, что в лесу, я уж забыла. Мне не жалко леса... и мать... и сестёр... только вот там осталась моя постелька из ландышей... её жалко! Ведь здесь жёстко так, – на чём спать стану я?!.

– Э, о чём она! На моих руках будешь спать ты и на грудь ко мне положишь свою головку. Разве это дурно? Вот так, а я буду петь тебе тихо, тихо и баюкать тебя своими песнями. Я много знаю песен.

Он взял её на руки, и она положила головку к нему на смуглую, сильную грудь... Он запел, и солнце смотрело на них с ярко-голубого неба; там не плавали маленькие пуховые облака, оно было чисто, как душа девочки-феи, и только невидимые глазом жаворонки вплетали звуки своих песен в солнечные лучи... и над степью, в безбрежной равнине небес, плавала дивная, громкая музыка. Чабан сел в тень от одинокой берёзы, что, любя свободу, выдвинулась из леса далеко в степь и стояла в ней гордо и смело, тихо качая ветвями под ласками ветра, летевшего со стороны моря по степи... Он, глядя в глазки Майи, играл её покрывалом из крыльев мотыльков, накинутым на её плечики, и нежно пел ей:

О цветков мой! Бархат скинь
С утомлённых зноем плеч...
Неба свод так чист и синь,
Так прохладна эта тень!
Славно в ней на отдых лечь
В этот жаркий день!
Тонкими серебряными колокольчиками звенел его голос:

Ветер нежен и душист,
Он несёт со всех сторон
Тихий шелест, стрёкот, свист...
О, как сладко мы уснём!

Сон наш будет тих и чист

Этим чудным днём!..

Майя засыпала под звуки этой песни, засыпала сладким сном счастья и сквозь дымку сна видела, что лучи из глаз чабана прямо в сердце льются ей. Он её жёг поцелуями, и она, не скупясь, отвечала ему. Это было так приятно! И потом она куда-то полетела быстрой птицей, и навстречу ей небо улыбнулось страстной, знойной улыбкой...

А когда она очнулась, уже ночь плыла над степью... Как прекрасны и могучи вы, свобода и любовь! И Майя спела одну старую соловьиную песню, в которой воспевалась любовь, – от себя вставив в неё хвалу свободе. Но вино не смешивай с огнём, и огонь не заменишь вином!.. Это вышла плохая песня; хвала свободе звучала и смело и громко, но эти смелые и громкие звуки шли в разлад с тихой и нежной мелодией хвалы любви. Но чабан целовал её, она отвечала ему, и никто, кроме птиц, не заметил того, что не ладится песня свободы с песней любви.

Так вот и зажили они. Пели и целовались, чуть только начинался день, и целовались и пели, когда ночь покрывала собою степь, и ходили по степи туда и сюда, свободные и весёлые, как птицы. Так вот и жили они. Иногда вечером, когда солнце угасало и тонкой мглой окутывалась степь, эта мгла ложилась и на душу Майи, чуть туманя ясный блеск её очей; но чабан целовал её тогда чаще и крепче, и пока он её целовал, из-за леса являлась луна, обливала всю степь голубым серебром, и мгла таяла и в степи, и в душе маленькой феи. Хорошо им жилось!..

Но однажды гроза собралась там, вдаль: незаметно она собралась и сначала явилась маленьким тёмно-сизым облачком; оно торопливо пробежало над степью, облитой горячим сиянием солнца, и, когда оно бежало, от него ложились тени, они казались степи тёмной, виноватой улыбкой, точно облако хотело сказать, что оно не по своей воле закрывает солнце и пугает птиц, а уж так ему повелел ветер. Пробежало это облако, и за ним медленно поплыли другие облака, побольше и поменьше его, – они плыли и хмуро смотрели на степь и на Майю с чабаном, что сидели там; а потом они стали собираться в тёмно-синие, мрачные стаи и закрыли собою всё небо.

Ветер странным порывом промчался над степью в сторону моря, он мчался и выл что-то грозно и дико и гнал перед собой стаю сухих листьев, ковыль робко клонился к земле, Майя испуганно кинулась на грудь чабана, а тот громко крикнул:

– Эгой! – и спросил её, крепко целуя в щёчки: – Чего ты боишься? Это просто гроза собралась. Ты посмотришь, как это будет весело! Ничего нет в свете сильней и красивей грозы. Эх. как она пролетит над степью, сколько золотых стрелок бросит в землю, сколько грозных песен прогудит ей!.. Знаешь ты, почему бывает гроза? Эх ты!.. не знаешь! Это потому, видишь ли, что небо смотрит, смотрит на землю и потом рассердится на неё за то, что она забывает о нём. Оно и жалеет её и, может быть, любит немного... И вот, когда оно рассердится, то соберёт все тучи, какие у него есть, и, вооружив их молниями, с громом пустит их лететь над землёй: смотри, дескать, захочу – и вся ты в пыль разлетишься!.. Вот что такое гроза. Теперь ты знаешь?

– Я боюсь теперь! – вздохнула Майя. – Уйдём туда! – и она показала в сторону, где стоял лес.

– От грозы-то уйти! Вот уж сказала! Коли ты не хочешь её, иди к ней навстречу, – так она скорее минует тебя, а избежать её – всё равно не избежишь! Да и бояться её не нужно. Гроза!.. Эго! Что ж такое? Будь тверда, вот и всё!

Но всё, что он говорил, нимало не утешало её; она боязливо дрожала, обняв его крепко, и не хотела посмотреть туда – в даль, теперь уже матово-чёрную.

Вот на землю начали падать холодные крупные капли, и там, куда падала капля, вздымался маленький пыльный дымок. Потом прилетело из дали глухое ворчанье, и даль эта вспыхнула синим огнём. И вдруг тучи прыгнули в небо и с страшным громовым ударом порвались на клочья; в прорыве их, мрак освещая, блеснула раскалённая стрела молнии, ринулась на землю и, не долетев, погасла.

По степи пронёсся ропот, широкой и мрачной волною он нёсся, и лес отвечал ему эхом. И хлынул дождь, – вот он!..

Стрелы молний рвали тучи, но они опять сливались и неслись над степью мрачной,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax наводящей ужас стаей. И порой, с ударом грома, что-то круглое, как солнце, ослепляя синим светом, с неба падало на землю; и блестяи грозно тучи и казались взгляду ратью страшных, чёрных привидений, в бархат с золотом одетых, потрясающих мечами, что покованы из золота и калёными из горна были прямо в руки взяты.

Привиденья рокотали и гремели, угрожая замолчавшей в страхе степи, и волною беспрерывной и громадной, с море ростом, их проклятья и угрозы неустанно вдаль летели и звучали так, как горы вдруг бы, вдребезги разбившись, пали с грохотом на землю и, во прах её разрушив, вместе с нею полетели в бесконечное пространство, камень, камень раздробляя, – и звучали так, как небо зазвучало б, изломавшись на куски и с выси синей быстро падая на землю...

Вот как тучи те звучали!..

Ужас сердце чует в этот краткий миг, который делит гул громовый на удары; а они гремят, и тучи разрываются, бросая золотые стрелы молний из рядов своих на землю. Гром гремит, пылают тучи, и огонь их синь и страшен, и дрожит пустыня неба, и земля трясётся робко... И на свете нет явлений больше сильных, больше страшных, чем гроза в степи широкой и на море бури бой!..

Степь молчала робко, странно, и над нею всё катился дикий ропот.

И, когда чернели тучи, в их огне сверкали сталью нитки тонкие дождя; он струился беспрерывно, и звучал он монотонно плачем горя за кого-то...

Твёрдо, как скала, чабан стоял в степи, подставив грудь дождю и порывам ветра; и молнии, прядая по небу, точно не смели пасть на него, точно боялись они разлететься огненной пылью, ударившись в смуглую грудь чабана... А он с улыбкой смотрел на тучи, любясь их мрачной красотой и силой, и в его чёрных очах горел огонь зависти им, огонь такой же яркий, как сами молнии. Он забыл и о Майе, что лежала на земле, охватив своими тонкими ручками его ноги и крепко прижав к ним свою маленькую головку, – и о себе, и о степи... Ему самому хотелось летать с тучами и петь громкие песни с ними...

Гроза уж не гудела без отдыха, как раньше, а минутку, и две, и три останавливалась и, точно присматриваясь к смелому человеку, одному пред нею, глухо ворчала, должно быть, немножко не понимая, зачем он тут стоит и чего дожидается в пустынной степи под дождём... А потом, помолчав немного, снова встряхивала тучами и играла молниями, градом сыпя их на землю, а тонкие нити дождя всё опускались из неё вниз и всё блестяи в огне молний и казались сетью из тонких стальных проволок, которую гроза кидала на землю, чтоб та запуталась в ней, и тогда гроза унесла бы её с собой в страну, где живёт Ночь и она сама, где всегда темно и где у грозы уже много натаскано таких, как земля, шаров, которыми она играет, когда ей скучно и нельзя уйти из дому.

А в степи было холодно, темно и мрачно. Когда молнии летели над нею, то казалось, что она тяжело и утомлённо вздохнула, и, поднятая вздохом, её широкая грудь так и замерла в страхе; а когда молнии падали на неё, она со стоном опускалась, её давила тьма, и над ней монотонно плакал дождь.

Чабан стоял и пел, и в груди его всё горело это могучее, смелое, что позволяло ему одиноко стоять грудью к грозе и не бояться; он всё пел, и раз, когда все тучи сразу вспыхнули ослепительным голубым огнём, он невольно опустил глаза к земле и увидел у ног своих Майю, о которой забыл. Она лежала вся мокрая на мокрой земле, и её маленькое личико было синим и мёртвым, глазки закрыты, и плотно сжатые розовые губки были бледны.

– Умерла! – вскричал он удивлённо. – Отчего же?

И наклонился над ней и, взяв её на руки, прижал к своей груди. Она была так жалка, и в углах глаз её замерли две слезинки; маленькая, беспомощная, она откинула головку назад, и ручки её повисли так жалко и слабо.

– Умерла ты, Майя? – тихо спросил он её и почувствовал, как что-то режет ему сердце острой, невыносимой болью. Он никогда не испытывал такой боли, даже тогда, как, раз упав, сломал себе кость руки, – и эта боль была жалость.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Он даже застонал страшным, рыдающим стоном... и в ответ ему дико и насмешливо
захохотал гром прямо над его головой.

Чабан вздрогнул и согнулся, – посмотрел кругом, куда бы спрятать маленькую девочку Майю от грозы, и в первый раз пожалел о том, что не имеет шалаша. И его жалость к девочке перешла в страх за неё. Вот он вскинул на руках Майю высоко над своей головой и с тоской, рвавшей ему сердце так, что он чувствовал, как из этого сердца брызжет внутри его груди горячая кровь, – с тоской и со страхом крикнул изо всей силы:

– Пощади!

Гром хохотал, тучи мчались, дождь всё падал и плакал, степь вздрагивала, а там, вдали, глухо и скорбно рыдал лес... Но в стороне, откуда мчались тучи, мрак становился бледней, и порой там сверкали ласковые голубые улыбки неба.

Чабан стоял и держал высоко над головой маленькую фею, а сам тоскливо смотрел ввысь, где мчались тучи, которым совсем никакого дела не было ни до чабана, ни до Майи. Они пришли потому, что пришли, и уходят потому, что настала пора уйти. Они убили бы его, если б убили, но этого не случилось, – и им нет ровно никакого дела до чабана и Майи; они, может быть, хотят чего-то, но уж не так мало, как чабан и его фея! Они проносятся над землёй и веселятся по-своему.

Вот вдали блеснуло солнце с непокрытого тучами неба; там была уже широкая ясно-голубая лента.

А чабан стоял и всё держал Майю, подымая её к небу и в тоске ожидая, скоро ли и над его головой блеснёт солнце; он даже позабыл и о том, что можно бы пойти к нему навстречу.

Вот оно и блеснуло... и на побитых дождём стеблях ковыля засияли в его лучах алмазы и яхонты капель; и попадали эти лучи на личико Майи и её грудь... А там, куда умчались тучи, ещё гудел гром. Тогда фея вздохнула и тихо простонала:

– О мама! мама!..

А чабан крепко прижал её к груди, и ему стало так радостно!

– Так ты жива! Эх, как это хорошо! А я думал, что гром-то убил тебя!

– Я в лес хочу! Здесь мне страшно!.. – тихо сказала Майя.

– Да ведь она уж ушла, гроза-то! – вскричал чабан.

– Она опять воротится назад! Неси меня в лес!

– Но как же снесу тебя? я не пойду туда! Чего там? Деревья, и всё!..

– Нет, скорей отнеси меня! – настаивала фея.

– А я останусь один здесь? – спросил её чабан и задумался... Тут есть что-то нехорошее!.. Что же в том, что один? Он всегда был один. И степь так близка и родна ему. Но почему же ему не хочется отнести её в лес? А отнести-то очень не хотелось!

– Знаешь, – сказал он, – мне кажется, что, коли я отнесу тебя туда, так это будет похоже на то, как бы я разрезал себя на две половинки и они разошлись в разные стороны, – одна в степь, другая – в лес, вот что! Пожалуй, лучше этого не делать. А? что ты скажешь?

– Но я боюсь здесь! Я хочу в лес! Мне тоже будет скучно без тебя... ты думаешь – не будет? Ах нет! очень будет... но я хочу в лес! я боюсь здесь!.. какая гроза!!.

– Ну, так как же мы будем? Тебе будет нехорошо без меня, а мне – без тебя. Останься-ка со мной! Что тебе гроза? как придёт она, я запою песню и буду петь до той поры, пока она будет метаться по степи, – вот и всё!

– Ах, разве ты можешь с ней сладить? Она схватит тебя и со мной и может кинуть

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax так далеко, что мы долетим до моря!

– До моря – это не далеко!.. – задумчиво говорил чабан. – Но как же я отнесу тебя, когда мне этого так не хочется!.. Э?!. И потом – здесь я дал тебе счастье, и ты мне, а в лесу... Ну-ка, скажи, что ты видела там?

Тут и Майя задумалась и, немножко помолчав, печально сказала:

– Это так, счастье здесь! но... ведь его так мало! Это я тебе тогда ещё, в первый раз, хотела сказать. Оно, пожалуй, только ожидание; вот что твоё счастье!..

Им стало грустно после этого; а над ними небо, освежённое грозой, тихо и ласково улыбалось. Чабан посмотрел на него и вдаль кругом себя и нигде не нашёл ответа на свои думы.

– Ну, пойдём! Я отнесу тебя до опушки.

Он понёс её молча и смотрел не в глазки её, как раньше, а в тёмную, смоченную дождём землю, и она, сидя у него на руках, молчала. В них обоих было что-то новое, чего они не понимали, но что мешало им так весело целоваться, как раньше они целовались.

– Прощай!.. Когда ты выйдешь из леса ко мне? – спросил он, опуская её с рук на землю у опушки леса, под ветви, осыпанные, точно драгоценными камнями, каплями дождя, горевшими на солнце и молчаливо отдохавшими от бури.

– Приду? Не знаю, когда... Когда захочу, – не раньше! – ответила Майя.

– Ну, так поцелуй на прощанье.

Она крепко, крепко обняла его и поцеловала – горьким поцелуем сомнения, а потом пошла в лес, не оглянувшись на него. На неё падали с потревоженных веток холодные крупные капли, и от них ей было холодно. Лес молчал угрюмо и сосредоточенно, тропинка сделалась почему-то густой, но менее красивой, чем прежде, и цветы были не так красивы, и меньше было их... и всё было странно, не так, как прежде, точно у Майи теперь были новые глаза.

А как просторно там, в степи, и как там ярко! Он, наверно, сидит под ветвями осоки и думает, глядя вдаль, положив на руки голову. Часто он так сидит и много думает. Часто, когда она засыпала у него на руках, а он переставал баюкать её песней, она сквозь дрему наблюдала за ним, и, хотя ей казалось, что его сердце не с нею, всё-таки хорошо было смотреть в его горячие очи!.. Она шла. Ветви деревьев осторожно дотрагивались до её плеч и рук и точно хотели сказать ей шёпотом что-то; но она чувствовала ничего, кроме того, что печаль наполняла ей сердце...

Вот на дороге у неё стала царственно пышная лилия, и отягчённая дождём её серебряно-бархатная пышная чашечка почему-то так грустно качается. И эта лилия так бела, чиста, свежа! И, кажется, так гордится всем этим.

Майя наступила на неё ножкой, стебель жалобно хрупнул... и вот она, эта чистая лилия, лежит в грязи, вся измятая.

Майя посмотрела на неё, и ей стало за что-то стыдно и чего-то жалко.

– Я сделала сейчас так же, как эта Страшная Судьба, о которой рассказывал мне в степи он! А вот дворец матери!

Он стоял таким же красивым, как раньше, но в нём было что-то грустное.

– Мама!!.. – рыдая, вскричала Майя и смотрела на ступени перед дверями дворца.

Как и раньше, они были обвиты тёмной зеленью плюща; ярко блестели белые душистые жасмины и жёлтые азалии бархатной зелени и дышали густым ароматом в открытые окна дворца. В одном из них, из-за цветов, смотрели вниз на Майю её сёстры, и их лица были строги и печальны, хотя и казались тоже чашками белых тюльпанов.

– Мама?!.. – спросила сквозь слёзы Майя, не входя на ступени.

Лес повторил вслед за нею угрюмо: «Мама!?!» Сёстры качнули печально и строго головками; деревья тоже качнули вершинами, и с их ветвей попадали частые, крупные слёзы.

– Ты убила её! – сказала старшая сестра.

– Ты не сестра нам больше! – добавили две остальные.

Майя посмотрела на них с холодом в сердце... Мать умерла, значит?... Умерла?!.

Маленькая фея наклонила головку на грудь, и ей показалось, что маленькая змейка ужалила её в сердце... «Но ведь мать–то старушка уж была, и умерла ли она оттого, что я не послушалась её, или оттого, что пришло время смерти, – едва ли знают это сёстры!..» Зачем же они говорят так строго и теперь вот смеются над нею там, вверху, меж цветов? Или им оттого, что они сказали ей, стало легче? Что она им сделала дурное? Ничего! Ну, и пусть их остаются себе! Ей их не жалко, потому что они обидели её, и лес ей больше не нравится.

Майя пошла по лесу к своему любимому буку и забралась в его густую пахучую листву, омытую дождём. Она смотрела в небо; там уже вспыхивали звёзды, они были ещё малы и тусклы, мигали так грустно; небо было печально; а лес, казалось ей, молчал укоризненно, сухо, сердито... Она была одна и заплакала.

Слёзки из её глаз падали на листок бука, с него – на другой, третий, потом на землю... и, когда она проснулась на другое утро, под буком из травы выглядывали анютины глазки, а со степи над лесом плыла песня:

Э! Э!.. Почему тебя нет?
Давно уже солнце блестит,
Но нынче я им не согрет,
И сердце в груди моей спит!
И что-то в нём петь не даёт...

Эгой!.. Как тот жалок, кто ждёт!

Э! Э!.. Кабы я да умел
По ясному небу летать,
Я много бы огненных стрел
У грома старался отнять
И той, что вчера целовал,
Из них бы корону сковал!..

«Вот он уже и поёт! Как грустно звучит его голос один! Отвечу ему...» – подумала она и запела:

Весь покоем и мглой
Лес угрюмый объят...
Лишь деревья листвою
Тихо, нежно шумят.
Вот в просвете меж туч
Пышных, тёмных ветвей
Солнце бросило луч
В скрытый тенью ручей.
Оживлён, освещён
Этим ярким лучом,
Загорелся весь он
Разноцветным огнём, –
Точно гном-чародей
Щедрой дланью своей
Бросил в этот ручей
Драгоценных камней!..
– Эгой!!.. – радостно несло со степи.

Лентами песни твоей
Сердце себе я украшу!
Солнце сияет светлей,
Слушая песенки наши!
Эх, как я жадно ловлю
Трель твоих маленьких песен!
Степи простор стал мне тесен,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
Вот как тебя я люблю!!.

А она продолжала:

Я дыханьем цветов
Ароматным дышу,
И тебя я спешу
Целовать!
«Понеси ты ему
Сладкий наш аромат!» –
Мне цветы говорят,
Я иду!..
И в две минуты она была уже у опушки.

Он кинулся к ней навстречу, и ей показалось, что от поцелуя всё небо вспыхнуло мягким ярко-розовым огнём. Сладко это было!..

И снова зажили они. День за днём жизнь бежала, и, когда они привыкли друг к другу, им стало скучно. Чабану хотелось всё ходить то туда, то сюда, а у Майи ножки болели от этой ходьбы.

И меж ними легла однажды тень, незаметно для них. Всякий знает, как бывает это; что ж говорить много!

Раз они сидели рядом друг с другом и молчали. День был такой яркий, молодой, сильный. Степной богатырь был этот день! Им было грустно. Майя посмотрела в очи чабана и увидела, что темны они, эти очи, и чёрные брови над ними сурово сдвинулись.

– Что ж ты не скажешь мне ничего? – спросила она тихо и тихо стала играть его кудрями.

– А что бы сказать тебе? – двинул он плечами. – Сказал бы я тебе, что меня вон туда тянет, где так мглисто и мягко, вон в ту даль, где видно, что лучи солнца прямо на землю упали такими широкими лентами... Вот это я сказал бы тебе, да ведь ты не пойдёшь со мной далеко; ножки заболят твои! Ну, а без тебя как же?

Он замолчал, и Майя молчала, печально понутив головку... А вот степь так разговаривала тысячью голосов сразу.

– Ну, и ещё мог бы я тебе два-три слова сказать, коли бы ты не обиделась на меня за них.

Она ласково посмотрела на него.

– Как не видал я тебя, так и тоски во мне не было. В ту пору свободен я был и не хотел ничего, и не жалко мне было никого; славно было! Жил, да пел, да из конца в конец рыскал по степи, а по ночам смотрел в небо и думал, кому и на что нужно, чтоб в нём столько звёзд горело? или о том, что там, выше неба, есть? И хотелось мне тогда многого... И знать я хотел, и делать всё, – а теперь вот, как ты со мной, уж и нельзя жить мне так, как я хотел бы и как раньше жил, потому что уйти одному – обидеть тебя, а я тебя и люблю и жалею; вон ты какая красивая и молоденькая! А уж коли любишь и жалеешь или хочешь и боишься чего-нибудь, так ты и несвободен!.. Вот что я сказал тебе! И мне больно за то, что всё это правда...

И чабан замолчал, глядя вдаль и печально кивая головою чему-то.

И душе Майи стало холодно, когда она услышала его и из глаз её тихо закапали слёзы.

– Ты говоришь – это правда, и я скажу то же. Как жила я в лесу, плохо разве было в нём для меня? Вот уж нет!.. И это ведь ты, коли не забыл, выманил меня оттуда своими песнями! Я пошла, потому что думала – здесь с тобой лучше. Я пошла – и потеряла мать, сестёр, мой дом, всё!.. За что отдала я их, скажи-ка? Не за те ли минутки, когда поцелуи становятся так жарки, что даже больно?!.. Дорого заплачено, коли так!.. А всё, что я узнала от тебя, лучше бы и не знать, потому что обо всём этом думается!.. Ты говорил мне о судьбе и о смерти... ну, что в них хорошего? Кабы я не знала, что они есть, мне было бы веселее; оттого что, если умеешь думать, совсем не лучше жить!.. Вот и я сказала тебе кое-что и, может,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax больше бы сказала, кабы могла вынуть из груди сердце и поднести его на руке к твоим очам: посмотрел бы ты, что в нём есть! Умён ты, а вот скажи – зачем всё это у нас вышло?

Он сам думал о том же... А зачем, в самом деле? Столько ли они оба получили друг от друга, сколько отдали друг другу?

На первый вопрос ни сам чабан, ни степь, ни небо, которые он грустно осматривал, – не отвечали, а на второй уже было отвечено и им и Майей.

– Эх, как хороши, покойны и сильны эти две – бескрайная степь и бездонное небо! Нет, моя горленка, мудреца, который сказал бы – зачем; нет такого, я думаю; а как посмотреть попристальнее, так, может, и ещё многого чего нет!.. Винываты ли мы друг перед другом? Нет, я думаю! Ляг же ко мне на грудь, а я обниму и поцелую тебя!

Майя посмотрела на него. Хорош он был раньше, сильный и смелый, с ясным челом и огненными глазами! хорош и теперь – исхудалый немного, задумчивый. И глубок, как небо, стал взгляд у него. Она обняла его и, положив ему головку на грудь, сказала:

– Спой мне одну твою прежнюю песенку! Давно уж не пел ты.

– Не поётся теперь мне; не поётся, голубка! Видно, уж спеты все мои песни!.. Знаешь что? песни-то ведь были не мои, чужие всё песни, – все их поют, слышал я, и вот сам запел... А они, может быть, только так... и, может быть, в них есть вредное для сердец.

Говорил он и грустно качал головой; а она плакала, потому что что же ещё оставалось ей?..

Так и зажили они. Так зажили и, глядя один на другого, становились всё больше лишними, всё больше мешали друг другу и больше понимали и видели... И всё больше чабану хотелось идти куда-нибудь далеко, далеко, где бы не было ничего такого, что он знал или что мог себе представить, а Майя хирела и бледнела с каждым днём и всё думала: «Зачем?.. зачем?..»

А осень приближалась. Всё чаще грозы пролетали над степью, и всё чаще и мрачнее хмурилось небо, дни становились короче, чаще тени ночные... и порою в них Майя видела седую голову своей матери, мать печально качала головой, и страшной тоской светились её старые очи... и лес золотился на солнце, надевая пурпурный осенний убор.

Чабан всё сидел рядом с Майей и жадно посматривал вдаль и молчал; а иногда вдруг обнимал маленькую фею и так целовал её, что она чуть не задохалась в его руках. И всё хирела, хирела Майя.

Раз как-то утром, – совсем уж осеннее то было утро, пасмурное, и тучи низко нависли над землёй, тяжёлые, хмурые – вот, вот упадут на степь и покроют её толстым пуховым сизым покрывалом, – вот этим-то утром проснулась Майя и сказала чабану:

– Умираю я, милый! да, умираю!..

Горем и радостью вместе блеснули чабановы очи, и он поднял её с земли.

– Полно, голубка! – сказал он в тревоге.

– Нет, умираю!.. Умерло лето, и я вслед за ним! Неси меня к лесу скорее!

Он взял её и понёс.

Тёмен и мрачен был лес; уж не шептал он, как прежде, бывало, так нежно и мощно в одно время, и когда-то ярко-зелёная листва его зарделась осеннею краской, и много этой листвы попадало к корням. Тихо в нём было, стояли деревья, молчали и думали думы про лето; и тучи повисли над их вершинами низко, низко и плакали о чём-то мелким и частым осенним дождём.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
У опушки остановила Майя чабана и сказала тихо:

– Положи меня на землю!

Он положил её, а сам сел рядом.

Порыв ветра прилетел со степи и много листьев сорвал с деревьев; они посыпались, крупные и красные, на головы Майи и чабана; деревья зашумели – монотонно они зашумели, – и был ли это их привет Майе, или смеялись они нею и укоряли её, нельзя было разобрать.

– Прощай! – сказала она чабану. – и ты, лес, прощай! Прощай и солнце там, за тучами! И вы, тучи, прощайте! вы пугали меня раньше вашей буйной отвагой, но теперь я знаю, что вами правит ветер, а им – ещё что-то, и над всем царицею – Судьба, и она, наверно, тоже у кого-нибудь в неволе, может быть, у Смерти, что хочет взять меня... Но, наверное, и Смерть не свободна! никогда она не складывает рук, всё работает и работает... Зачем?.. Ну, прощай же, ещё раз, мой смелый! Теперь ты снова свободен, как орёл; но зачем тебе это? спрашивал ли ты себя?.. Прощай! Буду ли я пеной в море, или голубою мглой на горах, или вечерней тенью степной, – я всегда буду помнить о тебе. Прощай! поцелуй ещё раз!..

И, когда он её целовал, она умерла.

Лежала она под деревьями, и они глухо роптали на что-то; и была она такая маленькая и спокойная, личико её сделалось бледнее лилий... и тучи ещё ниже опустились над степью и лесом и ещё пуше заплакали... а у чабана пало сердце в груди и тоской, тоской переполнилось оно...

Он смотрел на неё, – она не была уж так хороша, как живая, но дороже была ему теперь, и больше любил он её в эту-то грустную минуту. Да, больше он любил её, потому что потерял... и ныло его сердце, и плакало... и злоба закипела в нём горячим ключом.

Он запел, в последний раз, может быть:

Пусть бы тот, кто первый влил
В чашу жизни страсти яд,
Сам бы чашу эту пил
Долго, долго, бесконечно!..
И, желая смерти, жил,
Жил бы вечно!
И по лесу зазвучало гулкое эхо: «Жил бы вечно!..»

Но это что же за песня?! Чабан уж видел, что это не песня, и ему чего-то жалко и стыдно стало.

Взмахнув над головой своей длинной палкой, он свистнул тихо и жалобно, пошёл вдаль, навстречу тучам – и пропал там.

А фея всё лежала на опушке леса, и мокрые листья всё падали, падали на неё... К вечеру солнечный луч проскользнул между тучами и не видал у опушки ничего, кроме высокой кучи красных и жёлтых листьев; а над нею, на чёрной и мокрой ветке дуба, сидел зимородок и посвистывал грустно и тихо. Тогда солнечный луч снова спрятался; стало темно, – и весёлая маленькая фея Майя так и осталась под осенними листьями...

Вот и всё.

В тот вечер, над Дунаем, на сваленном бурей мшистом дубе сидели три мудрые гнома и говорили о смерти весёлой Майи. Они уже знали, что она умерла, так как они знают всё, что где-либо случается, и знают даже немножко из того, что может случиться завтра; говорили они, – и один сказал так:

– Вот и вся жизнь маленькой Майи! Что ж! она получила, сколько могла; право, ей не на что жаловаться.

– Мне кажется, что любовь называют наслаждением потому только, что это уж очень сильная боль, и мне не жалко фею, как ничего не жалко, – потому что всё глупо! –

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiymax сказал, немного погодя, второй, который был помудрее первого.

А третий, набрав в руку камешков, задумчиво бросал их в речные волны и смотрел, улыбаясь, как от камней расходятся по воде круги и пропадают, стёртые течением; он ровно ничего, ни слова не сказал, хотя думал не меньше, чем товарищи, и ещё больше морщин, чем у них, резало его чело. Он ничего не сказал.

Он-то и был мудрейший.

Ну, вот я и рассказал эту сказку. Не новая эта сказка, и, может быть, она самой жизнью давно уже написана в твоём сердце; да ведь говорят, что и нет ничего на свете такого, чего бы уж раньше не было!..

..А рассказать-то мне так хотелось!

Биограф [ия]
(набросок)

Она была одета в чёрное платье, чёрную бархатную кофточку с белыми меховыми оторочками и на голове имела широкую чёрную шляпу с множеством лент и белым большим пером. – Вы видите – моя дорогая – что я не игнорирую прекрасное, павшее на мою долю, и что я помню его со всеми мельчайшими подробностями. – Эта маленькая женщина была вашей предтечей, – что так очевидно! Она ещё тем была хороша, что сейчас же ушла, и таким образом то, что она дала мне, навсегда осталось чистым и целым. Вы, может быть, усмотрите в этом нечто намекающее и намеренное с моей стороны. Вы ошибётесь.

– Я вас люблю, и вы это знаете. Но как бы было хорошо, если б люди сеяли из желания оплодотворить почву, а не с целью собрать жатву! – Вот что я хотел сказать и знаю, что это глупо. Разве можно подозревать человека в бескорыстии и надеяться на него.

Следует возвращение в недра семейства моих хозяев.

– Выздоровел? – Вопрос гуманно-хозяйственный. – Книжек читать не станешь, небойсь? – Вопрос насмешливо предостерегающий. Этим заканчивается встреча, и снова начинается ряд однообразнейших безобразий, именуемых воспитанием сироты, дальнего родственника.

Я снова читаю книжки, ворую деньги на свечи и, наконец, пойман как раз на месте преступления, с пятиалтынным, только что вытасненным из кармана и крепко сжатым в руке. Следует допрос, строгий и всесторонне уясняющий. Побуждаемый желанием подзадорить судей ещё больше, я откровенно сознаюсь во всех грехах, неведомых им доселе, чувствую себя героем и до мельчайших деталей изъясняю, как я ревизовал карманы, умалчивая только о том, что уделял малу толику из наворованного и бабушке. – Получаю предварительную порку и обещание генеральной с двумя пожарными солдатами, как только прибудет дедушка.

Наступает ночь. Это была славная, манящая на волю весенняя ночь, из окна кухни я смотрел на небо, там всё было прекрасно, чисто и грустно, как всегда весенними ночами, впрочем, но та ночь была первой такой величественно ласковой и много обещавшей.

Поэтому я отворил окно, вылез на крышу и, оставив его открытым, слез с крыши на соседний двор, где, я знал, по ночам не запирались ворота, вышел на улицу и направился в поле. Ибо нигде так легко и хорошо не думается, как в поле. Но я не нашёл в ту ночь предметов, достойных дум, а просто лёг и стал смотреть, как горели и искрились звёзды, пока не уснул.

Проснулся оттого, что солнце жгло мне лицо. – Подумал, что надо идти к деду, – но вспомнил, что он говорил, и, зная его за человека, который не любит словами шутить, раздумал. Ворочаться туда, откуда убежал, даже и не подумал. Встал и пошёл.

Почему-то на набережную зашёл и остановился там смотреть, как пароход собирается отплывать. Есть хочется. Идёт человек в белой куртке и колпаке – повар, – в руках у него корзина с кучей французских булок. – Дяденька, дайте мне одну! – Пошёл ты!

– кричит тот. – Стой, погоди, идём со мной! – Этот неожиданный переход пугает меня тем более, что повар идёт на пароход, который сейчас уходит. Я вырываю руку. – Иди, дурашка, не бойся – я тебя так накормлю, что весь век сыт будешь. – Это он говорит так ласково и ободряюще, что у меня пропадает страх, и я вприпрыжку следую за ним.

Мы приходим в кухню, всю из железа, плита раскалена, как уголь, приятно и вкусно пахнет, и жарко, как в печи. – Ешь и слушай. – Мне дают хлеба и холодных котлет, я ем и слушаю. – Хочешь быть поварёнком? – Так как рот у меня полон, то я говорю головой – да! – Через час я весь в поту старательно мою посуду, шмыгаю носом, утираю его рукавом рубахи, направо и налево плещу водой и всячески развожу вокруг себя грязь – что, взятое всё вместе, значит – «быть поварёнком»!

Мне понравилась эта бойкая, разнообразная впечатлениями жизнь с постоянной сменой лиц и картин природы. Повара и лакеи, конечно, были грязны и грубы и пошлы, но они любили меня за что-то, и за это, должно быть, я тоже любил их. Рабочий день начинался с шести часов утра и кипел безостановочно до десяти-одиннадцати вечера, а потом я уже был свободен от работы, и тут начиналось нечто передаваемо хорошее и возвышавшее душу. Убрав кухню, я, иногда один, но большей частью в компании тех же поваров и лакеев, выходил на отвод парохода, мы готовили чай, ставили стол и долго сидели, разговаривая. Говорилось о разных житейских делах и о странных человеческих поступках, вызывавших мины и возгласы недоумения у собеседников.

Рассказывались странные, необъяснимые истории и случаи, иногда сказки, и чем позднее становилось, тем более разговор утрачивал грубый, скотский характер и принимал более чистый и человеческий. Это объяснялось тем, что луна всегда так ласково и нежно обливала реку, река задумчиво и увлекательно гудела под колёсами парохода и мягким, примиряющим звуком плескалась о берега, а они, эти берега, представляли из себя бесконечный ряд поэм, красивых, не поддающихся описаниям и заставлявших и думать и чувствовать глубже, чище, добрее.

– Грешники все мы! – вздыхал старый гренадёр Потап Андреев, старший повар, вглядываясь в плывшие мимо картины, покрытые чистым и ясным небом и залитые голубым серебром луны. Все вздыхали и иллюстрировали это неоспоримое положение, иногда рассказывая что ни то из своей жизни, подтверждавшее его, иногда вспоминая слышанное.

И в этих рассказах и в тоне их было столько теплоты, задушевности, хорошего и доброго, учившего меня понимать и любить человека. Эти публичные покаяния с полным отсутствием самолюбия в передаче хода совершения того или другого недоброго поступка давали понять ясно и просто, – как не дадут пятьсот томов книг, – что человек всё-таки хорош, и если он грязен и пошл, то это как будто бы не его вина – а так уж требуется кем-то или чем-то, и давали почувствовать, что он гораздо более глуп, чем зол.

Иногда и я рассказывал что ни то из прочитанного, и тогда Потап сажал меня на колени, пристально смотрел в лицо и говорил, когда я кончал рассказывать:

– Чудашноватый ты парень будешь, лёнька, уж это верно! Кончим рейс, скажу хозяину, чтоб он тебя совсем на кухню взял. Ступай-ка спи, пока что!

Но я не хотел спать, а оставался на отводе и смотрел фантастичные узоры, падавшие от берегов, поросших деревьями и кустарниками, на ласковые и сильные волны Волги, сливавшиеся в одно широкое, гладкое зеркало, радушно отражавшее в себе и бесконечно глубокое небо с огненными пятнышками звёзд и всё, чему хотелось посмотреть на неё. Я наполнял пространство картинами будущей жизни, она всегда была скромна и вся из поучительно добрых поступков. Вот я брожу с места на место и всем помогаю, уча грамоте и ещё чему-то. Меня все любят и ласкают, и везде я всем родной, и все мне родны и дороги, и чёрт знает до чего глупо и хорошо жилось под сладкую музыку из поэм природы с шёпотом волны, из звучных, детски чистых грёз и многого другого, чего теперь уже не помнишь и чего никогда больше не почувствуешь. Было и горе, но его можно на этот раз оставить, не вспоминая. Из этого не будет ущерба ничему.

По окончании первого рейса известил я тихонько бабушку о себе и передал ей три

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
рубля – первые заработанные мной деньги, и затем ездил вплоть до глубокой осени. Наконец, последний рейс – и я слезаю на берег с чувством грусти, недоумения, куда направить стопы мои и двадцать семь рублей в кармане. Иду к деду. «Ага, явился, бродяга! Здравствуй, здравствуй!» У него было злое лицо, и он, я чувствовал, намерен был побить меня. Но пять или шесть месяцев, проведённые вне его ферулы, сгладили во мне страх пред ним и развили самостоятельность, а двадцать семь рублей дополняли ко всему этому чувство независимости. Решив держаться твёрдо и не позволять над собой насилия, я хладнокровно бросил узелок с вещами в угол на пол, храбро сказал:

«Здравствуйте!» и не менее храбро, вынув из кармана папиросу, стал раскуривать её.

Это его поразило, и он сел на стул против меня, вытаращив глаза и раскрыв рот. Ура! Я решил продолжать в том же духе и между двумя затяжками спросил его, сколько в месяц он возьмёт с меня за хлебы? Я рассчитал верно – его жадность взяла верх над горьким сознанием утраты своего авторитета и власти.

Когда пришла бабушка, мы с ним уже сидели и толково, ласково разговаривали.

Через две недели я поступаю в иконописную мастерскую Салабанова без жалованья – в качестве мальчика. Двадцать три человека горьких пьяниц и славных ребят, писавших лики бога и его святых, размашистых и с полным отсутствием во всех действиях чувства меры, пришлись мне по душе, и я им – тоже. Кончая работу, мы уходили в трактир пить песни и пить вино и до поздней ночи пели и пили.

Через два месяца я взят в лавку, опять как мальчик. Мой начальник, низенький во всех отношениях человек – приказчик С.Ш. – сначала очень внимательно и гуманно относился ко мне, даже записался по моей просьбе и совету членом в библиотеку и вместе со мной читал романы Салиаса, Мордовцева, де Трайля – и восхищался моим пониманием толка в книгах, но, когда однажды я заметил ему, что обворовывать хозяйку – слабую, пьяную старуху, – которая так любит его, нехорошо, он, должно быть, испугался, что я передам ей о его деяниях, и изменил отношения на более официальные и уместные между приказчиком, с одной стороны, и мальчиком, с другой. В сущности, я заметил это не потому, что был убеждён в преступности воровства, а потому, что такие деяния не имели ничего общего с благородными поступками господ Атоса, Портоса, Арамиса, короля Генриха IV и иными героями романов, к подражанию которым, по обоюдному нашему соглашению, и должна целиком сводиться всякая человеческая жизнь. После, кажется, пятимесячного [?] пребывания в лавке я поссорился с ним и получил от него очень подлую пощечину, данную мне очень трусливо и нерешительно. За это я разбил ему лицо – а за это был изгнан с места.

Очень дружно и тепло расстался с мастерской, где пользовался любовью, и снова поступил на пароход. Снова пять или шесть месяцев вольной, хорошей жизни, хотя и обильной работой, грязной и утомительной. Но я здоров, и работа мне была нипочём, а в конце её всегда стояло нечто восхитительно хорошее – именно чтение и беседы с матросами и служащими буфета – и созерцание красот Волги. Для чтения книги покупались мной на базаре – это были всё славные романы, рисовавшие хорошую любовь и добрые, человеческие подвиги, всегда идеально бескорыстные и самоотверженные.

О жизни они не давали ни малейшего представления, но этого от них и не требовалось, потому что все слушатели уже знали её и без книг прекрасно. И я знал её, больше, чем всякий другой в мои лета. Порой у меня так больно сжималось сердце и мне становилось так тошно и грустно, что эта боль долго ничем не гасилась и по целым дням и ночам посасывала меня. Ещё бы, на каждом шагу встречались люди, и в книгах таких не рисовалось, там даже злодеи были чисты и злодейски честны и человечны, а тут и «хорошие люди» были гораздо грубее, пошлее, грязнее и всячески уже их. Разговаривая о поступке какого ни то героя, человека с душой, чистой, как утренняя росинка, – мои дорогие слушатели весьма нередко обрывали на середине разговор, увлекаясь какой ни то пикантной и сольной подробностью, сыпя иглы остроумия и расплываясь в смачных улыбках по поводу её или переходя к игре в карты по первому предложению. Пикантные подробности были мне тогда противны почему-то и страшно мучили меня, являясь главной темой разговора, карт я не любил, потому что за ними всегда злятся[?]. И уж, как рано бы я потерял веру в хорошее и чистое человека, если б не надеялся, что за этим миром есть мир Атосов, Портосов, Д'Артаньянов и иже с ними! Да прибавьте к этому

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
природу, бескорыстно тёплую и ласковую, заставлявшую идти ближе к людям, но ещё
не успевшую научить меня глубже смотреть в их души – и потому всё возвышавшуюся
в моих глазах в ущерб человеку.

Были, помню, моменты, когда я весь наполнялся странным чувством – хотелось
спокойно и холодно обидеть всех, кто перед глазами, – обидеть до слёз! За что? Я
бы не формулировал, наверно. Но это – скоро пропадало, уступая место горячо
любопытному настроению, полному желания узнать: почему? зачем? как? – Дошлый
мальчишка Лёнька этот! – говорили матросы, когда я одолевал их вопросами. – А на
кой тебе ляд знать это? Пшёл! – осаживали меня, когда я слишком далеко
высовывался из своего положения.

На что мне это, я не знал, конечно, – но что было нужно, это я чувствовал. Меня
похваливали и удивлялись мне часто, может быть, чаще, чем я заслуживал этого.
Как известно, у людей слабо развито чувство меры, и они, несмотря на свою
ограниченность, всегда переступают границы. Я не могу смолчать о том, что
похвалы эти пролетали мимо моих ушей и что сердце моё не обливалось маслом
самообожания, – но моменты, когда я нравился себе, были очень кратки, они тотчас
же поглощались поступающими ко мне запросами со стороны и нарождавшимися во мне
самом. Я пытался вникать, уяснить, разлагать и чувствовал себя маленьким,
бессильным мальчиком, который вскорости имеет быть раздавлен жизнью, если только
не поспешит чему ни то научиться и приобрести себе точку опоры. Оглядываясь
кругом и заглядывая вперёд, я видел, что мне неоткуда ждать помощи, и чувствовал
нечто очень горькое и обидное. Сколько есть на свете гимназистов и других
учёных, думалось мне, которым совсем не хочется быть такими, а вот... и хотел бы,
да некогда, не зн...[1]

– Дни летели, ночи тихо про[ходили?], я – работал, вечно потный и грязный, и
думал, думал, думал. Но это было совершенно бесполезно. Это доводило меня до
слёз, которые я тщательно скрывал, и рождало унылое, нелюдимое настроение,
заставлявшее меня избегать людей. Но я не избегал их и моей репутации весёлого и
живого парня не портил – смутно чувствуя, что я делаю недурно, переламаывая себя.
Приходилось очень много лгать и притворяться, очень много. Я смотрел во все
глаза и ждал помощи. А перед ними вместо этой помощи вскакивали мутные пузыри
человеческих отношений, назойливо предлагавшие мне разгадать их до тонкости.
Количество их всё увеличивалось и поражало меня своей двуличностью, пошлостью и
хитрой простотой или простой хитростью. Я констатировал удивительные явления.
Вот он, человек номер 1, час тому назад дружески распивши бутылку водки с
номером 2, говорит номеру 3, что номер 2 мерзавец – номер 2 дружелюбно
докладывает номеру 4, что номер 1 дурак и не худо бы его облапошить во славу
божью и ради науки впредь. Номер 4 сообщает с предупредительностью номеру 1 и,
получив должное вознаграждение, уговаривается с номером 3 относительно общей
атаки на тот же номер 1 – номера 5, 6, 10, 101 – все только и помышляют, как бы
это поблагочестивее объегорить друг друга. Лгут и притворяются и по
необходимости, то есть ради успеха в делах, и бескорыстно, науки и техники ради,
и в видах бескорыстного служения чистому искусству лганья и притворства, и,
наконец, без всякой видимой причины. Конечно, были факты и бескорыстной дружбы и
самопожертвования и взаимопомощи. Я видел их много, и некоторые из них до сей
поры целы и чисты. Но большинство хорошего оказывалось, по некотором изучении,
ещё хуже дурного. Им или прямо хвалились, или, совершая его, отправлялись из
желания похвалы публики. Хвалясь, смотрели на публику сверху вниз, а публика
вслух одобряла, а втихомолку посмеивалась, злилась и всячески показывала свою
независимость от благотворного влияния хорошего поступка. Конечно, я всё это
скорее понимал, чем чувствовал. И, разумеется, всё это угнетало меня, наводило
тоску, иногда я зверел, иногда думал о самоубийстве и, в глубине души надеясь на
уяснение, жадно посматривал по сторонам, не идёт ли, мол, тот, кто даст мне
точки, необходимые для жизни точки опоры.

Навигация кончилась. Я рассчитался и с неделю жил у деда, ища работы. В это
время мне было особенно скверно. Денег я привёз мало, и дед торопил меня слезть
с его шеи. Раз, рассердившись на что-то, он прямо посоветовал мне убраться, хотя
бы, например, к чёрту. Я задумался и вышел в сени, разделявшие...

Дед Архип и Лёнька

Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрелина
быстрые и мутные волны Кубани у их ног. Лёнька задремал, а дед Архип, чувствуя
тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На тёмно-коричневом фоне земли их
отрёпанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими комками, один –

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax побольше, другой – поменьше, утомлённые, загорелые и пыльные физиономии были совсем под цвет бурым лохмотьям.

Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась поперёк узкой полоски песка – он жёлтой лентой тянулся вдоль берега, между обрывом и рекой; задремавший Лёнька лежал калачиком сбоку деда. Лёнька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от деда – старого иссохшего дерева, принесённого и выброшенного сюда, на песок, волнами реки.

Дед, приподняв на локте голову, смотрел на противоположный берег, залитый солнцем и бедно окаймлённый редкими кустами ивняка; из кустов высовывался чёрный борт парома. Там было скучно и пусто. Серая полоса дороги уходила от реки в глубь степи; она была как-то беспощадно пряма, суха и наводила уныние.

Его тусклые и воспалённые глаза старика, с красными, опухшими веками, беспокойно моргали, а испещрённое морщинами лицо замерло в выражении томительной тоски. Он то и дело сдержанно кашлял и, поглядывая на внука, прикрывал рот рукой. Кашель был хрипл, удушлив, заставлял деда приподниматься с земли и выжимал на его глазах крупные капли слёз.

Кроме его кашля да тихого шороха волн о песок, в степи не было никаких звуков... Она лежала по обе стороны реки, громадная, бурая, сожжённая солнцем, и только там, далеко на горизонте, еле видимое старческим глазом, пышно волновалось золотое море пшеницы и прямо в него падало ослепительно яркое небо. На нём вырисовывались три стройные фигуры далёких тополей; казалось, что они то уменьшаются, то становятся выше, а небо и пшеница, накрытая им, колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг всё скрывалось за блестящей, серебряной пеленой степного марева...

Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда притекала из дали почти к самому берегу реки, и тогда сама она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба, такой же чистой и спокойной, как оно.

Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением, потирал свои глаза и тоскливо думал про себя, что эта жара да степь отнимают у него и зрение, как отняли остатки силы в ногах.

Сегодня ему было более плохо, чем всегда за последнее время. Он чувствовал, что скоро умрёт, и хотя относился к этому совершенно равнодушно, без дум, как к необходимой повинности, но ему бы хотелось умереть далеко, не здесь, а на родине, и ещё его сильно смущала мысль о внуке... Куда денется Лёнька?..

Он ставил перед собой этот вопрос по нескольку раз в день, и всегда при этом в нём что-то сжималось, холодело и становилось так тошно, что ему хотелось сейчас же воротиться домой, в Россию...

Но – далеко идти в Россию.. Всё равно не дойдёшь, умрёшь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани подают милостыню щедро; народ всё зажиточный, хотя тяжёлый и насмешливый. Не любят нищих, потому что богаты...

Остановив на внуке увлажнённый слезой взгляд, дед осторожно погладил шершавой рукой его голову.

Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза, большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся ещё больше на его худом, изрытом оспой личике, с тонкими, бескровными губами и острым носом.

– Идёт? – спросил он и, приложив щитком руку к глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи солнца.

– Нет ещё, не идёт. Стоит. Чего ему здесь? Не зовёт никто, ну и стоит он... – медленно заговорил Архип, продолжая гладить внука по голове. – Дремал ты?

Лёнька неопределённо покрутил головой и вытянулся на песке. Они помолчали.

– Кабы я плавать умел, купаться бы стал, – пристально глядя на реку, заявил Лёнька. – Быстра больно река-то! Нет у нас таких рек. Чего треплет? Бежит, точно опоздать боится...

И Лёнька недовольно отвернулся от воды.

– А вот что, – заговорил дед, подумав, – давай распояшемся, пояски-то свяжем, я тебя за ногу прикручу, ты и лезь, купайся...

– Ну-у!.. – резонно протянул Лёнька. – Чего выдумал! Али ты думаешь, не стащит она тебя? И утонем оба.

– А ведь верно! Стащит. Ишь как прёт... Чай, весной-то разольётся – ух ты!.. И покосу тут – беда! Без краю покосу!

Лёньке не хотелось говорить, и он оставил слова деда без ответа, взяв в руки ком сухой глины и разминая его пальцами в пыль с серьёзным и сосредоточенным выражением на лице.

Дед смотрел на него и о чём-то думал, щуря глаза.

– Ведь вот... – тихо и монотонно заговорил Лёнька, стряхивая с рук пыль. – Земля эта теперь... взял я её в руки, растёр, и стала пыль... крохотные кусочки одни только, чуть глазом видно...

– Ну, так что ж? – спросил Архип и закашлялся, посматривая сквозь выступившие на глазах слёзы в большие сухо блестящие глаза внука. – Ты к чему это? – добавил он, когда прокашлялся.

– Так... – качнул головой Лёнька... – К тому, что, мол, вся-то она эвона какая!.. – Он махнул рукой за реку. – И всего на ней понастроено... Сколько мы с тобой городов прошли! Страсть! А людей везде сколько!

И, не умея уловить свою мысль, Лёнька снова молча задумался, посматривая вокруг себя.

Дед тоже помолчал немного и потом, плотно подвинувшись к внуку, ласково заговорил:

– Умница ты моя! Правильно сказал ты – пыль всё... и города, и люди, и мы с тобой – пыль одна. Эх ты, Лёнька, Лёнька!.. Кабы грамоту тебе!.. далеко бы ты пошёл. И что с тобой будет?..

Дед прижал голову внука к себе и поцеловал её.

– Погоди... – высвобождая свои льняные волосы из корявых, дрожащих пальцев деда, немного оживляясь, крикнул Лёнька. – Как ты говоришь? Пыль? Города и всё?

– А так уж устроено богом, голубь. Всё – земля, а сама земля – пыль. И всё умирает на ней... Вот как! И должен потому человек жить в труде и смирении. Вот и я тоже умру скоро... – перескочил дед и тоскливо добавил: – Куда ты тогда пойдёшь без меня-то?

Лёнька часто слышал от деда этот вопрос, ему уже надоело рассуждать о смерти, он молча отвернулся в сторону, сорвал былинку, положил её в рот и стал медленно жевать.

Но у деда это было больное место.

– Что ж ты молчишь? Как, мол, ты без меня-то будешь? – тихо спросил он, наклоняясь к внуку и снова кашляя.

– Говорил уж... – рассеянно и недовольно произнёс Лёнька, искоса взглядывая на деда.

Ему не нравились эти разговоры ещё и потому, что зачастую они кончались ссорой. Дед долго говорил о близости своей смерти. Лёнька сначала слушал его сосредоточенно, пугался представлявшейся ему новизны положения, плакал, но постепенно утомлялся – и не слушал деда, отдаваясь своим мыслям, а дед, замечая это, сердился и жаловался, что Лёнька не любит деда, не ценит его забот, и наконец упрекал Лёньку в желании скорейшего наступления его, дедовой, смерти.

– Что – говорил? Глупенький ты ещё, не можешь ты понимать своей жизни. Сколько тебе от роду? Одиннадцатый год только. И хил ты, негодный к работе. Куда ж ты пойдёшь? Добрые люди, думаешь, помогут? Кабы у тебя вот деньги были, так они бы помогли тебе прожить их – это так. А милостыню-то собирать – не сладко и мне, старику. Каждому поклонись, каждого попроси. И ругают тебя, и колотят часом, и гонят... Рази ты думаешь, человеком считают нищего-то? Никто! Десять лет по миру хожу – знаю. Кусок-то хлеба в тыщу рублей ценят. Подаст да и думает, что уж ему сейчас же райские двери отворят! Ты думаешь, подают зачем больше? Чтобы совесть свою успокоить; вот зачем, друг, а не из жалости! Ткнёт тебе кусок, ну, ему и не стыдно самому-то есть. Сытый человек – зверь. И никогда он не жалеет голодного. Враги друг другу – сытый и голодный, веки вечные они сучком в глазу друг у друга будут. Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга...

Дедушка воодушевился злобой и тоской. От этого у него тряслись губы, старческие, тусклые глаза быстро шмыгали в красных рамках ресниц и век, а морщины на тёмном лице выступили резче.

Лёнька не любил его таким и немного боялся чего-то.

– Вот я тебя и спрашиваю, что ты станешь делать с миром? Ты – хилый ребёночек, а мир-то – зверь. И проглотит он тебя сразу. А я не хочу этого... Люблю ведь я тебя, дитятко!.. Один ты у меня, и я у тебя один... Как же я буду умирать-то? Невозможно мне умереть, а ты чтоб остался... На кого?.. Господи!.. за что ты не возлюбил раба твоего?! Жить мне невмочь и умирать мне нельзя, потому – дитё, – оберечь должен. Пестовал семь годов... на руках моих... старых... Господи, помоги мне!..

Дедушка сел и заплакал, уткнув голову в колени дрожащих ног.

Река торопливо катилась вдаль, звучно плескалась о берег, точно желая заглушить этим плеском рыдания старика. Яркое улыбалось безоблачное небо, изливая жгучий зной, спокойно слушая мятежный шум мутных волн.

– Будет, не плачь, дедушка, – глядя в сторону, суровым тоном проговорил Лёнька и, повернув к деду лицо, добавил: – Говорили обо всём уж ведь. Не пропаду. Поступлю в трактир куда ни то...

– Забьют... – сквозь слёзы простонал дед.

– Может, и не забьют. А вот как не забьют! – с некоторым задором вскричал Лёнька, – тогда что? Не дамся каждому!..

Но тут Лёнька вдруг почему-то осёкся и, помолчав, тихонько сказал.

– А то в монастырь уйду...

– Кабы в монастырь! – вздохнул дед, оживляясь, и снова начал корчиться в припадке удушливого кашля.

Над их головами раздался крик и скрип колес...

– Паро-о-м!.. Паро-о – гей! – сотрясала воздух чья-то могучая глотка.

Они вскочили на ноги, подбирая котомки и палки.

Пронзительно скрипя, на песок въехала арба. В ней стоял казак и, закинув голову в мохнатой, надвинутой на одно ухо шапке, приготовлялся гикнуть, вбирая в себя открытым ртом воздух, отчего его широкая, выпяченная вперёд грудь выпячивалась ещё более. Белые зубы ярко сверкали в шёлковой раме чёрной бороды, начинавшейся от глаз, налитых кровью. Из-под расстёгнутой рубахи и чохи, небрежно накинута на плечи, виднелось волосатое, загорелое на солнце тело. И от всей его фигуры, прочной и большой, как и от лошади, мясистой, пегой и тоже уродливо большой, от колёс арбы, высоких, стянутых толстыми шинами, – разило сытостью, силой, здоровьем.

– Гей!.. Гей!..

Дед и внук стащили с своих голов шапки и низко поклонились.

– Здравствуйте! – гулко отрубил приехавший и, посмотрев на тот берег, где из кустов выползал медленно и неуклюже чёрный паром, стал пристально оглядывать нищих. – Из России?

– Из неё, милостивец! – с поклоном ответил Архип.

– Голодно там у вас, а?

Он спрыгнул с арбы на землю и стал что-то подтягивать в упряжке.

– И тараканы с голода мрут.

– Хо, хо! И тараканы мрут? Значит, аж крошек не осталось, всё поели? Ловко едите. А вот работаете, должно, погано. Потому, как хорошо работать станешь, не будет голоду, – Тут, кормилец, главная причина – земля. Не родит. Высосали землю-то мы.

– Земля? – тряхнул казак головой. – Земля всегда должна родить, на то она и дана человеку. Говори: не земля, а руки. Руки плохи. От хороших рук камень не отобьётся, родит.

Подъехал паром.

Двое здоровых, краснорожих казаков, упираясь толстыми ногами в пол парома, с треском ткнули его о берег, покачнулись, бросили из рук канат и, взглянув друг на друга, стали отдуваться.

– Жарко? – оскалил зубы приехавший, вводя на паром свою лошадь и дотрагиваясь рукой до шапки.

– Эге! – ответил один из паромщиков, глубоко засунув руки в карманы шаровар, и, подойдя к арбе, заглянул в неё и повёл носом, сильно втянув в себя воздух.

Другой сел на пол и, кряхтя, стал снимать сапог.

Дед и Лёнька вошли на паром и прислонились к борту, посматривая на казаков.

– Ну, едем! – скомандовал хозяин арбы.

– А ты не везёшь ничего с собой попить? – спросил у него тот, что осматривал арбу. Его товарищ снял сапог и, прищурился глазом, смотрел в голенище.

– Ничего. А что? разве в Кубани воды мало?

– Воды!.. я не о воде.

– А о горилке? Не везу горилки.

– Как же это ты не везёшь? – задумался спрашивавший, уставив глаза в пол парома.

– Ну-ну, едем!

Казак поплевал на руки и взялся за канат. Переезжавший стал помогать ему.

– А ты, дед, что же не поможешь? – обратился паромщик, возившийся с сапогом, к Архипу.

– Где мне, родной! – жалобным тоном и качая головой, пропел тот.

– И не надо им помогать. Они и одни управятся!

И, как бы желая убедить деда в истине своих слов, он грузно опустился на колени и лёг на палубе парома.

Его товарищ лениво ругнул его и, не получив ответа, громко затопал ногами, упираясь в палубу.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Отбиваемый течением, с глухим шумом плескавшим о его бока, паром вздрагивал и качался, медленно подвигаясь вперёд.

Глядя на воду, Лёнька чувствовал, что у него сладко кружится голова и глаза, утомлённые быстрым бегом волн, дремотно слипаются. Глухой шёпот деда, скрип каната и сочный плеск волн убаюкивали его; он хотел опуститься на палубу в дремотной истоме, но вдруг что-то качнуло его так, что он упал.

Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над ним смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый пень на берегу.

– Что, заснул? Хилый ты. Садись в арбу, довезу до станицы. И ты, дед, садись.

Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед, кряхтя, влез в арбу. Лёнька тоже прыгнул туда, и они поехали в клубах мелкой чёрной пыли, заставлявшей деда задыхаться от кашля.

Казак затянул песню. Пел он странными звуками, отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом. Казалось, он разбивает звуки с клубка, как нитки, и, когда ему встречается узел, обрывает их.

Колёса жалобно скрипели, вилась пыль, дед, трясая головой, не переставая кашлял, а Лёнька думал о том, что вот сейчас приедут они в станицу и нужно будет гнусавым голосом петь под окнами: «Господи, Иисусе Христе»... Снова станичные мальчишки будут задирать его, а бабы надоедать расспросами о России. Нехорошо в эту пору смотреть и на деда, который кашляет чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и больно, и говорит таким жалобным голосом, то и дело всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде и никогда не было... Говорит, что в России на улицах мрёт народ, да так и валяется, и убраться некому, потому что все люди обалдели от голода... Ничего этого они с дедом не видали нигде. А нужно всё это для того, чтобы больше подавали. Но куда её, милостыню, здесь денешь? Дома – там можно всегда продать по сорок копеек и даже по полтине за пуд, а здесь никто не покупает. Потом приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать из котомок в степи.

– Сбирать пойдёте? – спросил казак, оглядывая через плечо две скорченные фигуры.

– Уж конечно, почтенный! – со вздохом ответил ему дед Архип.

– Встань на ноги, дед, покажу, где живу, – ночевать ко мне придёте.

Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком о край арбы, и глухо застонал.

– Эх ты, старый!.. – буркнул казак, соболезнуя. – Ну, всё равно, не гляди; придёт пора на ночлег идти, спроси Чёрного, Андрея Чёрного, это я и есть. А теперь слезай. Прощайте!

Дед и внук очутились перед кучкой тополей и осокорей. Из-за их стволов виднелись крыши, заборы, повсюду – направо и налево – к небу вздымались такие же кучки. Их зелёная листва была одета серой пылью, а кора толстых прямых стволов потрескалась от жары.

Прямо перед нищими между двух плетней тянулся узкий проулок, они направились в этот проулок развалистой походкой много ходивших пешком людей.

– Ну, как мы, Лёня, пойдём – вместе или порознь? – спросил дед и, не дожидаясь ответа, прибавил: – Вместе бы лучше – мало больно тебе дают. Не умеешь ты просить-то...

– А куда много-то надо? Всё равно ведь не поедем... – хмуро ответил Лёнька, оглядываясь вокруг.

– Куда? Чудашка ты!.. А вдруг подвернётся человек да и купит? Вот те и куда!.. Деньги даст. А деньги дело большое; ты с ними небось не пропадёшь, как умру-то я.

И, ласково усмехаясь, дед погладил внука рукой по голове.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– Ты знаешь ли, сколько я за путину-то скопил? А?

– А сколько? – равнодушно спросил лёнька.

– Одиннадцать с полтиной!.. Видишь?!

Но на Лёньку не произвели впечатления эта сумма и ликующий тон деда.

– Эх ты, малыш, малыш! – вздохнул дед. – Так порознь, что ли, идём?

– Порознь...

– Ну... К церкви приходи, буде.

– Ладно.

Дед свернул в проулок налево, а Лёнька пошёл дальше. Сделав шагов десять, он услышал дребезжащий возглас: «Благодетели и кормильцы!..» Этот возглас был похож на то, как бы по расстроенным гуслим провели ладонью с самой густой до тонкой струны. Лёнька вздрогнул и прибавил шагу. Всегда, когда слышал он просьбы деда, ему становилось неприятно и как-то тоскливо, а когда деду отказывали, он даже робел, ожидая, что вот сейчас разрешётся дедушка.

До слуха его ещё долетали дрожащие, жалкие ноты дедова голоса, плутовавшие в сонном и знойном воздухе над станицей. Кругом было всё так тихо, точно ночью. Лёнька подошёл к плетню и сел в тени от свесившихся через него на улицу ветвей вишни. Где-то гулко жужжала пчела...

Сбросив котомку с плеч, Лёнька положил на неё голову и, немного посмотрев в небо сквозь листву над его лицом, крепко заснул, укрытый от взглядов прохожих густым бурьяном и решётчатой тенью плетня...

Проснулся он, разбуженный странными звуками, колебавшимися в воздухе, уже посвежевшем от близости вечера. Кто-то плакал неподалёку от него. Плакали по-детски – задорно и неугомонно. Звуки рыданий замирали в тонкой минорной ноте и вдруг снова и с новой силой вспыхивали и лились, всё приближаясь к нему. Он поднял голову и через бурьян поглядел на дорогу.

По ней шла девочка лет семи, чисто одетая, с красным и вспухшим от слёз лицом, которое она то и дело вытирала подолом белой юбки. Шла она медленно, шаркая босыми ногами по дороге, вздымая густую пыль, и, очевидно, не знала, куда и зачем идёт. У неё были большие чёрные глаза, теперь – обиженные, грустные и влажные, маленькие, тонкие, розовые ушки шаловливо выглядывали из прядей каштановых волос, растрёпанных и падавших ей на лоб, щёки и плечи.

Она показалась Лёньке очень смешной, несмотря на свои слёзы, – смешной и весёлой... И озорница, должно быть!..

– Ты чего плачешь? – спросил он, вставая на ноги, когда она поравнялась с ним.

Она вздрогнула и остановилась, сразу перестав плакать, но всё ещё потихоньку всхлипывая. Потом, когда она несколько секунд посмотрела на него, у неё снова дрогнули губы, сморщилось лицо, грудь колыхнулась, и, снова громко зарыдав, она пошла.

Лёнька почувствовал, как у него что-то сжалось внутри, и вдруг тоже пошёл за ней.

– А ты не плачь. Большая уж – стыдно! – заговорил он, ещё не поравнявшись с ней, и потом, когда догнал её, заглянул ей в лицо и переспросил снова: – Ну, чего ты разревелась?

– Да-а!.. – протянула она. – Кабы тебе... – и вдруг опустилась в пыль на дорогу, закрыв лицо руками, и отчаянно заныла.

– Ну! – пренебрежительно махнул рукой Лёнька. – Баба!.. Как есть – баба. Фу ты!..

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
Но это не помогло ни ей, ни ему. Лёньке, глядя, как между её тонкими розовыми пальцами струились одна за другой слезинки, стало тоже грустно и захотелось плакать. Он наклонился над нею и, осторожно подняв руку, чуть дотронулся до её волос, но тотчас же, испугавшись своей смелости, отдернул руку прочь. Она всё плакала и ничего не говорила.

– Слышь!.. – помолчав, начал Лёнька, чувствуя настоятельную потребность помочь ей. – Чего ты это? Поколотили, что ли?.. Так ведь пройдёт!.. А то, может, другое что? Ты скажи! Девочка – а?

Девочка, не отнимая рук от лица, печально качнула головой и наконец сквозь рыдания медленно ответила ему, поводя плечиками.

– Платок... потеряла!.. Батка с базара привёз... голубой, с цветками, а я надела – и потеряла. – И заплакала снова, сильнее и громче, всхлипывая и стонущим голосом выкликая странное: о-о-о!

Лёнька почувствовал себя бессильным помочь ей и, робко отодвинувшись от неё, задумчиво и грустно посмотрел на потемневшее небо. Ему было тяжело и очень жаль девочку.

– Не плачь!.. может, найдётся.. – тихонько прошептал он, но, заметив, что она не слышит его утешения, отодвинулся ещё дальше от неё, думая, что, наверное, от отца достанется ей за эту потерю. И тотчас же ему представилось, что отец, большой и чёрный казак, колотит её, а она, захлёбываясь слезами и вся дрожа от страха и боли, валяется у него в ногах...

Он встал и пошёл прочь, но, отойдя шагов пять, снова круто повернулся, остановился против неё, прижавшись к плетню, и старался вспомнить что-нибудь такое ласковое и доброе...

– Ушла бы ты с дороги, девочка! Да уж перестань плакать-то! Пойди домой да и скажи всё, как было. Потеряла, мол... Что уж больно?..

Он начал говорить это тихим, соболезнующим голосом и, кончив возмущённым восклицанием, обрадовался, видя, что она поднимается с земли.

– Вот и ладно!.. – улыбаясь и оживлённо продолжал он. – Иди-ка вот. Хочешь, я с тобой пойду и расскажу всё? Заступлюсь за тебя, не бойся!

И Лёнька гордо повёл плечами, оглянувшись вокруг себя.

– Не надо... – прошептала она, медленно отряхивая пыль с платья и всё всхлипывая.

– А то – пойду? – с полнейшей готовностью громко заявил Лёнька и сдвинул себе на ухо картуз.

Теперь он стоял перед ней, широко расставив ноги, отчего надетые на нём лохмотья как-то храбро заершились. Он твёрдо постукивал палкой о землю и смотрел на неё упорно, а его большие и грустные глаза светились гордым и смелым чувством.

Девочка искоса посмотрела на него, размазывая по своему личику слёзы, и, снова вздохнув, сказала:

– Не надо, не ходи... Мамка не любит нищих-то.

И пошла от него прочь, два раза оглянувшись назад.

Лёньке сделалось скучно. Он незаметно, медленными движениями изменил свою решительную, вызывающую позу, снова сгорбился, присмирел и, закинув за спину свою котомку, висевшую до этого на руке, крикнул вслед девочке, когда она уже скрывалась за поворотом проулка:

– Прощай!

Она обернулась к нему на ходу и исчезла.

Приближался вечер, и в воздухе стояла та особенная, тяжёлая духота, которая

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax предвещает грозу. Солнце уже было низко, и вершины тополей зарделись лёгким румянцем. Но от вечерних теней, окутавших их ветви, они, высокие и неподвижные, стали гуще, выше... Небо над ними тоже темнело, делалось бархатным и точно опускалось ниже к земле. Где-то далеко говорили люди и где-то ещё дальше, но в другой стороне – пели. Эти звуки, тихие, но густые, казалось, тоже были пропитаны духотой.

Лёньке стало ещё скучнее и даже боязно чего-то. Он захотел пойти к деду, оглянулся вокруг себя и быстро пошёл вперёд по переулку. Просить милостыню ему не хотелось. Он шёл и чувствовал, что у него в груди сердце бьётся так часто, часто и что ему как-то особенно лень идти и думать... Но девочка не выходила из его памяти, и думалось: «Что с ней теперь? Коли она из богатого дома, будут её бить: все богачи – скряги; а коли бедная, то, может, и не будут... В бедных домах ребят-то больше любят, потому что от них работы ждуть». Одна за другой думы назойливо шевелились в его голове, и с каждой минутой томительное и щемящее чувство тоски, как тень сопровождавшее его думы, становилось тяжелее, овладевало им всё более.

И тени вечера становились удушливее, гуще. Навстречу Лёньке попадались казаки и казачки и проходили мимо, не обращая на него внимания, уже успев привыкнуть к наплыву голодающих из России. Он тоже лениво скользил потускневшим взглядом по их сытым крупным фигурам и быстро шёл к церкви, – крест её сиял за деревьями впереди его.

Навстречу ему нёсся шум возвращавшегося стада. Вот и церковь, низенькая и широкая, с пятью главами, выкрашенными голубой краской, обсаженная кругом тополями, вершины которых переросли её кресты, облитые лучами заката и сиявшие сквозь зелень розоватым золотом.

Вот и дед идёт к паперти, согнувшись под тяжестью котомки, и озирается по сторонам, приставив ладонь ко лбу.

За дедом тяжёлой, развалистой походкой шагает станичник в шапке, низко надвинутой на лоб, и с палкой в руке.

– Что, пуста котомка-то? – спросил дед, подходя ко внуку, остановившемуся, ожидая его, у церковной ограды. – А я вон сколько!.. – И, кряхтя, он свалил с плеч на землю свой холщовый, туго набитый мешок. – Ух!.. хорошо здесь подают! Ахти, хорошо!.. Ну, а ты чего такой надутый?

– Голова болит... – тихо молвил Лёнька, опускаясь на землю рядом с дедом.

– Ну?.. Устал... Сморился!.. Вот ночевать пойдём сейчас. Как казака-то того звать? А?

– Андрей Чёрный.

– Так мы и спросим: а где, мол, тут Чёрный Андрей? Вот к нам человек идёт... Да... Хороший народ, сытый! И всё пшеничный хлеб едят. Здравствуйте, добрый человек!

Казак подошёл к ним вплоть и медленно проговорил, в ответ на приветствие деда:

– И вы здравствуйте.

Затем, широко расставив ноги и остановив на нищих большие, ничего не выражавшие глаза, молча почесался.

Лёнька смотрел на него пытливо, дед моргал своими старческими глазами опросительно, казак всё молчал и наконец, высунув до половины язык, стал ловить им конец своего уса. Удачно кончив эту операцию, он втащил ус в рот, пожевал его, снова вытолкнул изо рта языком и наконец прервал молчание, уже ставшее томительным, лениво проговорив:

– Ну – пойдёмте в сборную!

– Зачем? – встрепенулся дед. У Лёньки дрогнуло что-то внутри.

– А надо... Велено. Ну!

Он повернулся к ним спиной и пошёл было, но, оглянувшись назад и видя, что оба они не трогаются с места, снова и уже сердито крикнул:

– Чего ж ещё!

Тогда дед и Лёнька быстро пошли за ним.

Лёнька упорно смотрел на деда и, видя, что у него трясутся губы и голова и что он, боязливо озираясь вокруг себя, быстро шарит у себя за пазухой, чувствовал, что дед опять нашалил чего-то, как и тогда в Тамани. Ему стало боязно, когда он представил себе таманскую историю. Там дед стянул со двора бельё и его поймали с ним. Смеялись, ругали, били даже и, наконец, ночью выгнали вон из станицы. Они ночевали с дедом где-то на берегу пролива в песке, и море всю ночь грозно урчало... Песок скрипел, передвигаемый набегавшими на него волнами... А дед всю ночь стонал и шёпотом молился богу, называя себя вором и прося прощения.

– Лёнька...

Лёнька вздрогнул от толчка в бок и посмотрел на деда. У того лицо вытянулось, стало суше, серее и всё дрожало.

Казак шёл впереди шагов на пять, курил трубку, обивал палкой головки репейника и не оборачивался на них.

– На вот, возьми!.. брось.. в бурьян.. да заметь, где бросишь!.. чтобы взять после... – чуть слышно прошептал дед и, плотно прижавшись на ходу ко внуку, сунул ему в руку какую-то тряпицу, свёрнутую в комок.

Лёнька отстранился, дрогнув от страха, сразу наполнившего холодом всё его существо, и подошёл ближе к забору, около которого густо разросся бурьян. Напряжённо глядя на широкую спину казака-конвоира, он протянул в сторону руку и, посмотрев на неё, бросил тряпку в бурьян...

Падая, тряпка развернулась, и в глазах Лёньки промелькнул голубой с цветами платок, тотчас заслонённый образом маленькой плачущей девочки. Она встала перед ним, как живая, закрыв собой казака, деда и всё окружающее... Звуки её рыданий снова ясно раздались в ушах Лёньки, и ему показалось, что перед ним на землю падают светлые капельки слёз.

В этом почти неменяемом состоянии он пришёл позади деда в сборную, слышал глухое гудение, разобрать которое не мог и не хотел, точно сквозь туман видел, как из котомки деда высыпали куски на большой стол, и эти куски, падая глухо и мягко, стучали о стол... Затем над ними склонилось много голов в высоких шапках; головы и шапки были хмуры и мрачны и сквозь туман, облекавший их, качаясь, грозили чем-то страшным... Потом вдруг дед, хрипло бормоча что-то, как волчок завертелся в руках двух дюжих молодцов...

– Напрасно, православные!.. Неповинен, видит господь!.. – пронзительно звизгнул дед.

Лёнька, заплакав, опустился на пол.

Тогда подошли и к нему. Подняли, посадили на лавку и обшарили все лохмотья, покрывавшие его маленькое тельце.

– Брешет Даниловна, чёртова баба! – громыхнул кто-то, точно ударив по ушам Лёньки своим густым и раздражённым голосом.

– А может, они спрятали где? – крикнули в ответ ещё громче.

Лёнька чувствовал, что все эти звуки точно бьют его по голове, и ему стало так страшно, что он потерял сознание, вдруг точно нырнув в какую-то чёрную яму, раскрывшую перед ним бездонный зев.

Когда он очнулся, его голова лежала на коленях деда, над лицом его наклонилось дедово лицо, жалкое и сморщенное более, чем всегда, и из дедовых глаз, испуганно моргавших, капают на его, Лёнькин, лоб маленькие мутные слёзы и очень щекотят,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
скатываясь по щекам на шею..

– Оклемался ли, родной?!. Пойдём-ка отсюда. Пойдём, – отпустили, проклятые!

Лёнька поднялся, чувствуя, что в его голове налито что-то тяжёлое и что она вот-вот упадёт с плеч... Он взял её руками и закачался из стороны в сторону, тихо стоная.

– Болит головонька-то? Родненький ты мой!.. Измучили они нас с тобой... Звери! Кинжал пропал, вишь ты, да платок девчонка потеряла, ну, они и навалились на нас!.. Ох, господи! за что наказуешь?!.

Скрипучий голос деда как-то царапал Лёньку, и он чувствовал, что внутри его разгорается острая искорка, заставляя его отодвинуться от деда дальше.

Отодвинулся и посмотрел вокруг...

Они сидели у выхода из станицы, под густой тенью ветвей корявого осокоря. Уже настала ночь, взошла луна, и её молочно-серебристый свет, обливая ровное степное пространство, сделал его как бы уже, чем оно было днём, уже и ещё пустынной, грустнее. Издалека, со степи, слитой с небом, вздымались тучи и тихо плыли над ней, закрывая луну и бросая на землю густые тени. Тени плотно ложились на землю, медленно; задумчиво ползли по ней и вдруг пропадали, точно уходя в землю через трещины от жгучих ударов солнечных лучей... Из станицы доносились голоса, и кое-где в ней вспыхивали огоньки, перемигиваясь с ярко-золотыми звёздами.

– Пойдём, милый!.. идти надо, – сказал дед.

– Посидим ещё!.. – тихо сказал Лёнька.

Ему нравилась степь. Днём, идя по ней, он любил смотреть вперёд, туда, где свод неба опирается на её широкую грудь... Там он представлял себе большие чудные города, населённые невиданными им добрыми людьми, у которых не нужно будет просить хлеба – сами дадут, без просьб... А когда степь, всё шире развёртываясь перед его глазами, вдруг выдвигала из себя станицу, уже знакомую ему, похожую строениями и людьми на все те, которые он видел прежде, ему делалось грустно и обидно за этот обман.

И теперь он задумчиво смотрел вдаль, откуда выползали медленно тучи. Они казались ему дымом тысяч труб того города, который так ему хотелось видеть... Его созерцание прервал сухой кашель деда.

Лёнька пристально взглянул в смоченное слезами лицо деда, жадно глотавшего воздух.

Освещённое луной и перекрытое странными тенями, падавшими на него от лохмотьев шапки, от бровей и бороды, это лицо, с судорожно двигавшимся ртом и широко раскрытыми глазами, светившимися каким-то затаённым восторгом, – было страшно, жалко и, возбуждая в Лёньке то, новое для него, чувство, заставляло его отодвигаться от деда подальше...

– Ну, посидим, посидим!.. – бормотал он и, глупо ухмыляясь, шарил за пазухой.

Лёнька отвернулся и снова стал смотреть вдаль.

– Лёнька!.. Погляди-ка!.. – вдруг всхлипнул дед восторженно и, весь корчась от удушливого кашля, протянул внучку что-то длинное и блестящее. – В серебре! серебро ведь!.. полсотни стоит!..

Руки и губы у него дрожали от жадности и боли, и всё лицо передёргивалось.

Лёнька вздрогнул и оттолкнул его руку.

– Спрячь скорей!.. ах, дедушка, спрячь!.. – умоляюще прошептал он, быстро оглядываясь кругом.

– Ну, чего ты, дурашка? боишься, милый?.. Заглянул я в окно, а он висит... я его цап, да и под полу... а потом спрятал в кустах. Шли из станицы, я будто шапку

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax уронил, наклонился и взял его... Дураки они!.. И платок взял – вот он где!..

Он выхватил дрожащими руками платок из своих лохмотьев и потряс им перед лицом Лёньки.

Перед глазами Лёньки разорвалась туманная завеса и встала такая картина: он и дед быстро, насколько могут, идут по улице станицы, избегая взглядов встречных людей, идут пугливо, и Лёньке кажется, что каждый, кто хочет, вправе бить их обоих, плевать на них, ругаться... Всё окружающее – заборы, дома, деревья – в каком-то странном тумане колеблется, точно от ветра... и гудят чьи-то суровые, сердитые голоса... Этот тяжёлый путь бесконечно долог, и выход из станицы в поле не виден за плотной массой шатающихся домов, которые то придвигаются к ним, точно желая раздавить их, то уходят куда-то, смеясь им в лицо тёмными пятнами своих окон... И вдруг из одного окна звонко раздаётся: «Воришки! Воришки! Воришка, ворёнок!..» Лёнька украдкой бросает взгляд в сторону и видит в окне ту девочку, которую давеча он видел плачущей и хотел защищать... Она поймала его взгляд и высунула ему язык, а её синие глазки сверкали зло и остро и кололи Лёньку, как иглы.

Эта картина воскресла в памяти мальчика и моментально исчезла, оставив по себе злую улыбку, которую он бросил в лицо деду.

Дед всё говорил что-то, прерывая себя кашлем, махал руками, тряс головой и отирал пот, крупными каплями выступавший в морщинах его лица.

Тяжёлая, изорванная и лохматая туча закрыла луну, и Лёньке почти не видно было лица деда... Но он поставил рядом с ним плачущую девочку, вызвав её образ перед собой, и мысленно как бы измерял их обоих. Немощный, скрипучий, жадный и рванный дед рядом с ней, обиженной им, плачущей, но здоровой, свежей, красивой, показался ему ненужным и почти таким же злым и дрянным, как Кощей в сказке. Как это можно? За что он обидел её? Он не родной ей...

А дед скрипел:

– Кабы сто рублей скопить!.. Умер бы я тогда покойно...

– Ну!.. – вдруг вспыхнуло что-то в Лёньке. – Молчи уж ты! Умер бы, умер бы... А не умираешь вот... Воруешь!.. – взвизгнул Лёнька и вдруг, весь дрожа, вскочил на ноги. – Вор ты старый!.. У-у! – И, сжав маленький, сухой кулачок, он потряс им перед носом внезапно замолкшего деда и снова грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы: – У дити украл... Ах, хорошо!.. Старый, а туда же... Не будет тебе на том свете прощенья за это!..

Вдруг вся степь всколыхнулась и, охваченная ослепительно голубым светом, расширилась... Одевавшая её мгла дрогнула и исчезла на момент... Грянул удар грома и, рокоча, покатился над степью, сотрясая и её и небо, по которому теперь быстро летела густая толпа чёрных туч, утопившая в себе луну.

Стало темно. Далеко где-то ещё, молча, но грозно, сверкнула молния, и спустя секунду снова слабо рыкнул гром... Потом наступила тишина, которой, казалось, не будет конца.

Лёнька крестился. Дед сидел неподвижно и молча, точно он сросся с стволом дерева, к которому прислонился спиной.

– Дедушка!.. – прошептал Лёнька, в мучительном страхе ожидая нового удара грома. – Идём в станицу!

Небо снова дрогнуло и, снова вспыхнув голубым пламенем, бросило на землю могучий металлический удар. Как будто тысячи листов железа сыпались на землю, ударяясь друг о друга...

– Дедушка!.. – крикнул Лёнька.

Крик его, заглушаемый отзвуком грома, прозвучал, как удар в маленький разбитый колокол.

– Что ты... Боишься... – хрипло проговорил дед, не шевелясь.

Стали падать крупные капли дождя, и их шорох звучал так таинственно, точно предупреждал о чём-то... Вдали он уже вырос в сплошной, широкий звук, похожий на трение громадной щёткой по сухой земле, – а тут, около деда и внука, каждая капля, падая на землю, звучала коротко и отрывисто и умирала без эха. Удары грома всё приближались, и небо вспыхивала чаще.

– Не пойду я в станицу! Пусть меня, старого пса, вора... здесь дождь потопит... и гром убьёт!.. – задыхаясь, говорил дед. – Не пойду!.. Иди один... Вот она, станица... Иди!.. Не хочу я, чтобы ты сидел тут... пошёл! Иди, иди!.. Иди!..

Дед уже кричал глухо и сипло.

– Дедушка!.. прости!.. – придвигаясь к нему, взмолился Лёнька.

– Не пойду... Не прошу... Семь лет я тебя нянчил!.. Всё для тебя... и жил... для тебя. Рази мне надо что?.. Умираю ведь я... Умираю... а ты говоришь – вор... Для чего вор? Для тебя... для тебя это всё... Вот возьми... возьми... бери... На жизнь твою... на всю... копил... ну и воровал... Бог видит всё... Он знает... что воровал... знает... Он меня накажет. О-он не помилует меня, старого пса... за воровство. И наказал уж... Господи! наказал ты меня!.. а? наказал?.. Рукой ребёнка убил ты меня!.. Верно, господи!. Правильно!.. Справедлив ты, господи!.. Пошли по душу мою... Ох!..

Голос деда поднялся до пронзительного визга, вселившего в грудь Лёньки ужас.

Удары грома, сотрясая степь и небо, рокотали теперь так гулко и торопливо, точно каждый из них хотел сказать земле что-то необходимонужное для неё, и все они, перегоняя один другого, ревели почти без пауз. Раздираемое молниями небо дрожало, дрожала и степь, то вся вспыхивая синим огнём, то погружаясь в холодный, тяжёлый и тесный мрак, странно суживавший её. Иногда молния освещала даль. Эта даль, казалось, торопливо убегает от шума и рева...

Полил дождь, и его капли, блестя, как сталь, при блеске молнии, скрыли собой приветно мигавшие огоньки станицы.

Лёнька замирал от ужаса, холода и какого-то тоскливого чувства вины, рождённого криком деда. Он уставил перед собою широко раскрытые глаза и, боясь моргнуть ими даже и тогда, когда капли воды, стекая с его вымоченной дождём головы, попадали в них, прислушивался к голосу деда, тонувшему в море могучих звуков.

Лёнька чувствовал, что дед сидит неподвижно, но ему казалось, что он должен пропасть, уйти куда-то и оставить его тут одного. Он, незаметно для себя, понемногу придвигался к деду и, когда коснулся его локтем, вздрогнул, ожидая чего-то страшного...

Разорвав небо, молния осветила их обоих, рядом друг с другом, скорченных, маленьких, обливаемых потоками воды с ветвей дерева...

Дед махал рукой в воздухе и всё бормотал что-то, уже уставая и задыхаясь.

Взглянув ему в лицо, Лёнька крикнул от страха. При синем блеске молнии оно казалось мёртвым, а вращавшиеся на нём тусклые глаза были безумны.

– Дедушка!.. Пойдём!.. – взвизгнул он, ткнув свою голову в колени деда.

Дед склонился над ним, обняв его своими руками, тонкими и костлявыми, крепко прижал к себе и, тиская его, вдруг взвыл сильно и пронзительно, как волк, схваченный капканом.

Доведённый этим воем чуть не до сумасшествия, Лёнька вырвался от него, вскочил на ноги и стрелой помчался куда-то вперёд, широко раскрыв глаза, ослепляемый молниями, падая, вставая и уходя всё глубже в тьму, которая то исчезала от синего блеска молнии, то снова плотно охватывала обезумевшего от страха мальчика.

А дождь, падая, шумел так холодно, монотонно, тоскливо. И казалось, что в степи ничего и никогда не было, кроме шума дождя, блеска молнии и раздражённого грохота грома.

Поутру другого дня, выбежав за околицу, станичные мальчики тотчас же воротились назад и сделали в станице тревогу, объявив, что видели под осокорью вчерашнего нищего и что он, должно быть, зарезан, так как около него брошен кинжал.

Но когда старшие казаки пришли смотреть, так ли это, то оказалось, что не так. Старик был жив ещё. Когда к нему подошли, он попытался подняться с земли, но не мог. У него отнялся язык, и он спрашивал всех о чём-то слезящимися глазами и всё искал ими в толпе, но ничего не находил и не получал никакого ответа.

К вечеру он умер, и зарыли его там же, где взяли, под осокорью, найдя, что на погосте его хоронить не следует: во-первых – он чужой, во-вторых – вор, а в-третьих – умер без покаяния. Около него в грязи нашли кинжал и платок.

А через два или три дня нашёлся Лёнька.

Над одной степной балкой, недалеко от станицы, стали кружиться стаи ворон, и когда пошли посмотреть туда, нашли мальчика, который лежал, раскинув руки и лицом вниз, в жидкой грязи, оставшейся после дождя на дне балки.

Сначала решили похоронить его на погосте, потому что он ещё ребёнок, но, подумав, положили рядом с дедом, под той же осокорью. Насыпали холм земли и на нём поставили грубый каменный крест.

Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца
(набросок)
Адель!

Почему ты так дурно перетолковываешь все, что я тебе ни скажу?..

(Из немецкого романа)
Вкушая, вкусих мало меда и се – аз умираю.

Бытие II
5 апреля 1893 г.

ИЗЛОЖЕНИЕ
1868 года, марта 14-го дня, в два часа ночи природа, по свойственной ей любви к злым шуткам и для пополнения общей суммы созданных ею в разное время нелепостей, сделала своей объективной кистью размашистый мазок – и на свет божий явился я.

Сам я этого обстоятельства, несмотря на его важность, не помню, но бабушка говорила мне, что, как только мне был придан надлежаще человеческий вид, – я закричал.

Я хочу думать, что это был крик негодования и протеста.

Первый оттиск в моей памяти.

По узкой, тёмной улице, между громадных грязно-красных домов, над которыми, вместо неба, растянута полог из старого, серого коленкора и сквозь него просачивается вода, падая на землю мелкими холодными каплями, – движется похоронная процессия.

Хоронили моего отца. Я сижу на коленях бабушки, бабушка на пролётке, а пролётка по ступицы колёс в грязи, и её брызги из-под колёс разлетаются во все стороны. Я слежу за ними и вспоминаю отца.

Это высокий человек с большими глубокими серыми глазами, звучным мягким голосом, и больше ничего. Впрочем, он меня звал Бутузом, я его папой, на что оба мы, очевидно, имели право, но что ничуть не оригинально и не вызывает во мне решительно никаких чувств.

Вот мы въехали в болото, оно же и кладбище. Гроб отца понесли на руках и поставили на край ямы, до половины наполненной водой, попы – их было два, – один большой и так густо заросший волосами, что на лице его видны были только нос, острый и красный, и тёмные страшные глаза, другой маленький негромко визжавший,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax – они немного попели, и отца опустили в яму, откуда испуганно выскочило много лягушек. Это меня испугало, и я заплакал. Подошла мать, у неё было строгое, сердитое лицо, от этого я заплакал сильнее. Бабушка дала мне крендель, а мать махнула рукой и, ничего не сказав, ушла. Всё об отце. Мало.

Я бы, наверное, больше оставил моим детям и уж во всяком случае не забыл бы извиниться перед ними в том, что они обязаны существовать по моей вине (наполовину, по крайней мере).

Это обязанность каждого порядочного отца, прямая обязанность.

Второй. Пароход. Глухой шум. Комната. Мимо окон куда-то бежит и пенится очень много воды. Я сижу у окна, круглого, как блин, и смотрю: кроме меня в комнате маленький гробик на столе, среди её моя мать и бабушка. Я знаю, что в гробе лежит мой брат Максим, родившийся в день смерти отца и умерший через восемь после её.

Этот поступок его указывает на то обстоятельство, что он обладал недюжинным и очень пронзительным умом. Вот вода мимо окон начинает бежать тише и спокойней, шум наверху удваивается, слышен тяжёлый топот ног, и в комнату входит человек весь в синем, в руках его белая фуражка с лентами, а на лице, большом и страшном, красная полоса, перерезывающая ему наискось, слева направо, лоб и щёку.

– Прикажете тащить? – спрашивает он. Я плачу, ибо не хочу, чтоб кого ни то из нас утащил синий человек, а он подходит к столу и, взяв брата подмышку, уносит его, крестясь. У матери краснеет лицо, бабушка вынимает откуда-то красный платок и тычет его себе в глаза, что-то ревет громко и грозно, затем всё и сам я куда-то проваливается.

Маленькая комната на чердаке. Светло, тепло и скучно. Я сижу на стуле, передо мной толстая книга с крупными смешными буквами, против меня рыжее злое лицо деда, я спрашиваю его: что такое «блажен муж, иже не иде на совет нечестивых»? Это не дядя Яков?

– Дурак! – говорит дедушка. Но не объясняет, кто дурак – блажен муж или дядя Яков.

– Болван! – снова говорит дедушка, и у него трясётся борода. Болван – это уж я, – значит, и дурак я. Такое умозаключение несколько меня не обижает, и я, нараспев произнося – «и на пути грешных не ста», ковыряю ногтем капельки воска на страницах книги. Дверь открывается, и в комнату входит бабушка.

– Отец! – говорит она. – Какой-то иностранный генерал приехал и спрашивает тебя.

– Что-о? – Дедушка медленно приподнимается, смешно уставив глаза на дверь, а в ней стоит высокий человек в треугольной шляпе с золотом, в коротком красном кафтане с красными же громадными пуговицами, в чулках выше колен и в маленьких башмаках с красивыми пряжками. На его лице, грозном и суровом, длинный красный нос, загнутый книзу, с шишкой на самом конце.

– Здравству-уте, в-ш-ство! С-садитесь п... пож... – весь бледный, дрожит дедушка и смешно бежит по комнате. Генерал смеётся, бабушка тоже, дед таращит глаза, и я узнаю мою мать. Мне обидно и боязно.

– Мамаша! – кричу я. – Скиньте всё это. – Она ещё громче смеётся и вдруг угрожающе говорит:

– Теперь, если ты не перестанешь озорничать и плохо учиться, – я отдам тебя в солдаты, и ты будешь заряжать пушки и садиться на них верхом, когда они станут стрелять!

Я их боюсь, этих проклятых пушек; когда они стреляют в лагерях, стёкла в окнах дрожат от страха, и мне кажется, что вот выстрелят ещё раз и земля треснет, а наш дом провалится. Но всё-таки мне обидно, что моя мать, всегда такая строгая и красивая, – теперь так некрасива и смешна, в ней нет уже ничего, что бы пугало

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki.umax
меня, и так много такого, что не нравится мне, а больше всего эти пуговицы – я
никогда не видал таких гадких и огромных пуговиц.

– Скиньте, мамаша, это нехорошо, – прошу я.

– Дурачок! – смеется она. – Теперь святки, и я нарядилась, а завтра снова буду
такая, как всегда.

Но я хочу, чтоб она была сейчас такая, как всегда, и снова, уже сердясь, кричу,
чтоб она разделась. Она смеётся. Тогда я вскакиваю со стула и, схватив одну
пуговицу на её красном кафтане, отрываю её, крича, злясь и плача.

– Ах ты, щенок! – Первая затрещина не укрощает меня, но после нескольких я
оказываюсь забытым в угол, где и остаюсь один, ибо все уходят, потушив огонь и
заперев снаружи дверь. Темно, боязно. Я перестаю плакать и вслушиваюсь, как
внизу шумят. Там танцы, музыка, смех. Перед моими глазами плавают что-то
громадное, чёрное и по стенам прыгают золотые искорки, вспыхивая и угасая. Затем
я сплю.

Здесь вспоминаю я сон, один из тех ласкающих душу, красивых снов, которые
никогда не забываются. Может быть, я сделал бы лучше, если б написал его
многоочиями, а не словами, но у меня есть цель – немного странная, немного
фантастичная, может быть, недостижимая – проще говоря, сумасшедшим и больным
человеком созданная цель.

Но пусть – это так, – всё дело в том, что эта цель исключает всякое умолчание.

Окошко открыто, и в него из сада непрерывной волной льётся в комнату шелест и
запах сирени и яблонь. Я лежу в своей постели и стараюсь пересчитать, сколько
звёзд на том клочке неба, который смотрит в окно. Он мал, но всё-таки так густо
расшит звёздами, что я то и дело сбиваюсь.

– Ты что не спишь? – спрашивает мать. Она сидит около меня и, очень часто
вставая, смотрит из окна вниз в сад.

– Я не хочу! – отвечаю я.

– Спи, спи, чего не хочу! – недовольно говорит она.

Но я хочу её поцеловать, о чём громко и заявляю. Сегодня она мне нравится – и я
её люблю чисто и крепко, без этой боязни и смущения перед ней, двух чувств,
всегда присутствующих в большей или меньшей степени среди всего остального, с
чем я подхожу к моей матери. Она целует меня рассеянно и повторяет: «спи! спи!»

Но мне не нравится этот поцелуй, и, помолчав немного, я начинаю петь.

– Спи! – кричит мать. Я умолкаю. Мне грустно и хочется быть обиженным.

– Спи, говорят тебе! – я всё-таки пою – и добиваюсь своего, меня обижают.

Это очень больно и сладко; всхлипывая, я начинаю дремать – чувствую маленький
тёплый поцелуй матери, улыбаюсь и вижу сон.

В комнате много лунного света, и мне видно из-за полога моей кровати, как кто-то
высокий с бледным лицом и большими чёрными усами и с длинными волосами, упавшими
ему на лоб и щёки, целует и ласкает мою мать, одной рукой обняв её талию, а
другой прижав её голову к своей груди и глядя ей в глаза. Мать подняла своё лицо
кверху и смотрит ему в глаза. Вся она такая красивая, добрая и нежная теперь, я
вижу, что ей хорошо, и очень рад, как потому, что её никто не любит дома, кроме
бабушки, так и потому, что теперь она будет больше любить меня, ибо знает, как
это хорошо, когда тебя ласкают.

– Я ждала, ждала тебя, – говорит она тихо, но звучно, – и как человек больше
ждала, чем как женщина. Тяжко, невыносимо мне тут, – все ненавидят, кроме
матери, и та боится открыто приласкать меня, и я какая-то оброшенная, одинокая,
– но я не уступаю им ни на шаг, не хочу, не могу подчиняться и...

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorki.umax
– Полно об этом! Скоро уж конец, скоро. Потерпи ещё – а теперь поцелуй меня!

– говорит человек с чёрными усами. Он говорит невыразимо ласково, и глаза у него блестят как-то слишком уж хорошо.

Я тоже хочу, чтоб он приласкал меня, – а потому говорю:

– Мама! Пусть он и меня поцелует, один раз хоть только!

Они оба вздрагивают и делают движение ко мне.

– Ты всё не спишь? – говорит мать. – Как же ты это? Нужно спать, Лёня. – и проводит дрожащей рукой по моей голове, улыбаясь мне.

– Я сплю уже давно и вижу сон, – успокаиваю я её. – А этот человек очень хорош, мама! – уверенно говорю я, глядя на человека, с задумчивой улыбкой разглядывающего меня.

– Да? Я тебе нравлюсь, маленький мальчик? Ах, как я бы хотел познакомиться с тобой поближе! – говорит он и, взяв на руки, целует, раз, два и несёт к окну.

– Вы приходите к нам каждую ночь, вот и всё. Ведь вы сон и живёте только по ночам? – Они оба с матерью тихо смеются.

– Смотри, ты простудишь его! – говорит мать.

– Нет, ничего. Впрочем, дай мне одеяло! – Меня завёртывают в мягкое, тёплое одеяло, и я, лёжа на руках человека с чёрными усами, слушаю, как он говорит мне о себе и других, таких же красивых, как он, снах, которые живут там далеко, где небо обнялось с землёй.

Поглядываю на него и на мать и впиваю в себя тёплые, ласковые звуки сказки вместе с запахом сада и засыпаю или тону в чём-то, или улетаю куда-то.

А поутру, проснувшись, вижу мать, она сидит у моей кровати и покойна, сурова, как всегда. Я лежу и думаю, глядя на неё и вспоминая сон.

– Ну что, проснулся? – спрашивает мать. Я утвердительно и печально киваю головой. – Расскажи мне, что ты видел во сне? – спрашивает она и внимательно, строго смотрит мне в глаза. Я рассказываю.

– Ну вот что, Лёня, этот сон не нужно говорить никому другому – ни бабушке, никому! Потому что видеть такие сны грех.

Я спрашиваю, почему грех. Она объясняет длинно и скучно. Я же, ничего не понимая, одеваюсь...

Весь покрытый струпьями оспы, я лежу на кровати и смотрю на своё лицо в зеркало против его. Отвратительная, гнойная маска на нём наводит на меня уныние, и я точно оцепенел. Чтоб я не царапался, мне привязали руки и ноги к койке. Кроме бабушки, никто не ходит ко мне из боязни заразы, и я по целым дням одиноко лежу, подавленный мерзким видом моего лица. Мне было тогда семь лет, и, кажется, я ещё не умел думать, но уже чувствовал.

Бабушка не идёт, хотя давно пора уж зажечь огонь. Я рисую себе, где теперь бабушка и что она делает.

И вдруг мне кажется, что она лежит за дверью в сенях в одной рубашке с перерезанным горлом, так же, как у курицы, зарезанной однажды нашим дворником Романом.

Исполненный ужаса, я вскакиваю, разрываю повязки, прикреплявшие меня к койке, бросаюсь в окно, выбиваю его, лечу вниз и падаю в мягкий сугроб снега.

Лежу хворый, – у меня отнялись ноги, оттого что я пролежал в снегу немножко долго. В комнату ко мне входит бабушка, на руках у неё свёрток, и в нём что-то

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
возится и пищит.

– Это что? – спрашиваю я.

– А это бог послал тебе братца, – говорит бабушка и показывает мне из свёртка сизо-красного ребенка, сморщенного и смешного.

– Его родила мама?

– Ну, конечно, не дедушка!

Всё это не возбуждает во мне особенного любопытства, и я лежу молча.

Входит дед и, вздыхая, садится ко мне на кровать.

– Ну вот, слава богу, дождались! – говорит он и нехорошо смеётся.

– Э, полно, отец, и не этикие сани подламываются! – ласково говорит бабка и, подходя к нему, развёртывает ребенка.

– Прочь, старая шкура! Это ты виновата, ты! За дочьку не могла усмотреть!

У, ведьма! – Дед рычит, его рыжая борода дрожит и прыгает, лицо делается страшным, и он бьёт бабушку, сбивая с неё чепец.

– Отец! Что ты, опомнись! – испуганно отступает она.

– Убью! Вон с глаз моих!

Дед частыми взмахами рук колотит по голове и плечам бабку, она, отступая задом к дверям, беспомощно вертится и старается предохранить ребёнка от кулаков деда, он визжит: «вот тебе! вот тебе!» Я испуган и возмущён и тоже кричу во всё горло. Наконец бабушка вырывается за дверь, а дед, устало вздыхая, прислоняется к печи и отирает со лба трудовой пот.

– Ты чего орёшь? Молчать!.. – говорит он мне, грозно замахиваясь рукой.

Но я ощущаю прилив ужаса и храбрости вместе и не молчу.

– Молчать, говорят тебе! – скрипя зубами, склоняется надо мною дед.

– Дурак, дурак, рыжий дурак! – что есть сил ору я ему прямо в лицо.

– Ах ты, разбойник! Да ты весь в отца пошёл! – И, стукнув меня кулаком в лоб, дед бежит вон, стоная: «изверги! мучители!»

Я очень доволен тем, что весь в отца пошёл, хотя лоб больно.

...Это была первая драка, уцелевшая в моей памяти, с неё начинается длинный ряд более или менее эффектных побоищ, неукоснительно происходивших по два-три раза в нашей семье. Приходили пьяные дядья, били стёкла и физиономии деда и бабки, их тоже били, отправляли в полицию; что делили между собой мои родственники, я не знаю, но сражения, очень пугая меня сначала, – после зародили и во мне воинственные наклонности, побуждавшие меня вступать в бои и исчезающие по мере наступления момента активного участия в сражении, заменяясь диким страхом.

Но однажды я не вытерпел.

Вспоминаю этот момент с удовольствием и с него веду историю развития моей самостоятельности и уважения к себе. Раз я гулял в саду и услышал, как в комнате взвизгнула мать. В момент я был около её, – она стояла, загородившись столом, с тяжёлой пепельницей в руках и говорила стоявшему против её дяде Михаилу:

– Уйди, мишка! Ты подлец, уйди, разобью голову!

– Врёшь, не уйду, пока не вздую! – шипит враг и, обходя стол, подвигается к ней. Она замахивается, но я в это время прыгаю и, охватив ногу дяди руками, с диким наслаждением и страхом крепко вонзаю зубы в его икру.

Происходит что-то отвратительно-страшное.

Вечером я прихожу в себя весь истолчённый и поломанный. Мать, бабушка, дед – все так ласково смеются, и дядя Яков, целуя меня, говорит:

– Герой ты у меня, Бутуз!

Я горд, счастлив, обнимаюсь со всеми, плачу и порю какую-то чепуху, заставляющую всех ещё сильнее смеяться, в чём они, конечно, не виноваты, ибо с давних пор люди хвалят и уважают друг друга за то, что достойно наказания. На другой день к вечеру я встал на ноги и уже предлагал двоюродному брату, старше меня, пойти со мной колотить кого ни то из уличных товарищей, и, когда он почему-то отказался от такого приятного предложения, я презрительно сказал ему:

– Ты – трус!

– Знаешь что? – говорит как-то раз мой двоюродный брат, сын дяди Якова, – знаешь что – в погребе много крашенных яиц, пойдём утащим их и продадим, и потом на деньги купим шоколаду и бабок?

Я немножко боюсь, но, подумав, соглашаюсь на операцию. Мы с братом лезем в погреб, набиваем карманы и пазухи яйцами и меняем их соседним мальчишкам на целый ящик бабок. Целый день мы наслаждаемся игрой в них на дворе – на улице меня редко пускают из боязни вредных для моей нравственности знакомств, – а вечером дед призывает нас к себе и сурово спрашивает:

– А не знаете ли вы, ребяташки, кто это украл яйца из погреба?

– Не мы! – твёрдо отвечает брат и подтверждает этим ответом справедливость правила – «поспешай медленно!»

– А я думал – вы, – говорит дедушка, – ан это не вы! – и с многообещающей миной смотрит на меня. Я молчу, мне неловко, стыдно, страшно. Дед, мать, бабушка – все смотрят так строго.

Отсюда я начинаю помнить себя думающим и лгущим.

– Ну что ж ты молчишь, Лёня? – спрашивает дед и иронически усмехается.

– Это не я! – смело глядя всем в глаза, отвечаю я.

– Может быть, ты, говори прямо, не скрывай, хуже будет, – с угрожающим спокойствием сообщает дед. Я отрицательно качаю головой.

– Ну, так это твоё дело, Александр, сознайся скорей, да и всё тут.

Тот смотрит на меня и, потупив глаза, говорит робко и приниженно:

– Простите!.. Это мы..

– Он врёт! Я не трогал! – громко заявляю я и, полный гордости и спокойствия и озлобления на брата, в упор смотрю на него.

– Верно? Как дело было, Саша, говори! – спрашивает моя мать.

Он говорит всё, как было, и это мне кажется подлой изменой с его стороны.

– Он врёт, врёт, врёт! – топаю я ногами. – Я ничего не знаю и не хочу знать!

– А ну, побойсь? – предлагает дед. Я никогда не боялся бога, это я хорошо помню. Всё, что мне говорили о нём до этой поры, не вызывало у меня никаких чувств к нему. Мне говорили – на небе живёт бог. Не мог я себе представить, чтоб кто-то не боялся жить так высоко и один. Мне говорили – он управляет жизнью и всеми людьми.

Но всеми людьми в нашем доме управлял дедушка, а не бог, а то, что было где-то

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax за пределами нашего дома, не интересовало меня, потому что я и не соприкасался с ним.

Мне говорили, что бог родит людей, но я чаще слышал, что это делают женщины. Нужно молиться богу. Я молился. Нужно слушаться его. Я очень боялся деда, но и его мало слушался, а бог? Он может дать всё. Но мне ничего не надо было.

По всем вышесказанным причинам я встал на колени и торжественно отрёкся от участия в воровстве яиц.

– Ну, Сашка, и вопрою же я тебя теперь! – сказал дед. – А ты, Лёня, иди и поучись. – Я пошёл поучиться.

Брат приниженно раздевался, а я смотрел на него, и не то презрение, не то жалость наполняли меня. Мне было холодно от той сосредоточенности и важности, с которыми старшие готовились к экзекуции.

Но всё-таки я молчал.

Брата пороли, и он кричал:

– Не буду! не буду! – Кричал он громко, плаксиво, подло, а я дрожал отчего-то и молчал.

– Не будешь? Ага! а зачем ты сразу не сказал, что это ты сделал? – зло и тихо говорит дед, жестоко нахлёстывая брата. – А Алексея зачем оговорил? Шельма лживая! Он не был с тобой, сознавайся, не был?

– Ой, не был, не был, не был! – всё громче и жалобней кричал брат.

– Он врёт! – стараясь говорить покойней, но весь содрогаясь от волнения, громко сказал я.

– Что? – удивился дед, останавливаясь сечь.

– Он врёт – я был с ним вместе и воровал! – Все засмеялись. Они полагали, что я лгу на себя из благородного побуждения спасти брата. Но я очень спокойно показал им, что я был, и брат злобно подтвердил это. Я был рад, доказав мою вину, и мне было теперь неизмеримо приятно быть виноватым.

– Зачем же ты клялся? – удивлённо спросили меня. – Ты лгал? Зачем?

Ну, этого я не мог объяснить им!

– Так! – ответил я. Я, впрочем, мог бы им объяснить, у кого я учился лгать, но об этом меня не спросили они.

– Так? Хорошо! – Тут меня стали пороть за неуместную ложь. Я кричал:

– Буду лгать! Буду! Буду! Буду!

Вспороли очень солидно.

Это маленькое событие имело своим последствием то, что очень оттолкнуло меня ото всех и всех – кроме бабушки – от меня. С этого времени на меня стали обращать внимание с исключительной целью наблюсти, не совершаю ли я какой ни то пакостной штуки. Я жил самой шаблонной жизнью ребёнка зажиточно-мещанского круга и семи лет: гулял на дворе и в саду, учился читать по часослову и псалтирю и писать на грифельной доске и т. д. Очень не любил ходить в церковь с дедом – он, заставляя меня кланяться, всегда и очень больно толкал в шею.

Часто я чувствовал что-то скучное, холодное и обидное и тогда уходил в сад.

Там, за баней, была яма, поросшая бурьяном, я забирался на дно её, лежал и смотрел в небо. Оно – чем пристальней смотреть в него – становится всё глубже, и это всегда наводило на меня тоскливо-меланхоличное настроение. Жизнь в то время была где-то далеко от меня – звуки её чуть приносились ко мне на дно ямы, и когда по саду пробежал ветер, то бурьян по краям ямы и на дне её шумел сухим,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
унылым звуком. Я лежал и иногда плакал о чём-то, а иногда стискивал зубы и, задерживая дыхание, вслушивался в шелест деревьев сада. Мне нравилась эта отчуждённость – в ней есть нечто льстящее самолюбию и подымающее человека выше его собратий. И всегда после двух–трёх часов такого уединения мои родные казались мне похуже меня, а нужно сказать, что только редкие, истинно благородные натуры, может быть, неспособны, созерцая ниже их стоящих, ощущать при этом чувства самодовольства. Очень наивно было бы думать, что для души ребёнка такое чувство было бы сложно.

Однажды, возвращаясь с прогулки по полю с дядей, я встретил мою мать под руку с высоким молодым человеком. Острая бородка, большие серые глаза, стройная фигура, мягкий, ласковый голос – и всё-таки он мне не понравился. Мать строго взглянула на меня и сказала, что давно бы пора идти домой. Её спутник тоже оглядел меня и что-то спросил у матери. Она засмеялась и покраснела, гневно сверкнув глазами в моё лицо. Придя домой, я встретил какую-то незнакомую даму.

– Он у вас большой! – сказала она. – Здравствуй, милый! – Она говорила, скрипя, как ржавая петля, и так ласково скалила зубы – острые, длинные, белые – точно хотела укусить меня. У неё было зелёное лицо, зелёные глаза, зелёные ленты на шляпе, она была одета в чёрное платье, это делало её ещё более зелёной, и поэтому я убежал от неё.

Затем я встретил бабушку, и она сказала мне, что скоро у меня будет новый отец. Я не ощущал ни малейшей потребности в отцах, ни новых, ни старых, и поэтому на её заявление не обратил было внимания, но вечером собралось много гостей, меня представили господину, которого я встретил с матерью, и сказали мне, что это мой новый папа. Новый папа ткнул меня усами в щёку и сказал, что купит мне ящик красок.

Это хорошо. Затем подвели меня к зелёной даме и сказали, что это моя новая бабушка.

Новая бабушка была не очень нова и имела невероятно длинные и тонкие пальцы на руках.

Она запустила мне их [в] волосы и начала спрашивать о чём-то, но мне не хотелось с ней говорить, и я искал глазами мать. Вот она. Она сегодня более красива, чем всегда, и, должно быть, очень добра – у неё так хорошо сверкают глаза. Я подхожу к ней и прошу её позволить мне завтра идти в лагери с дворником и сложить с меня обязанность выучить длинное стихотворение о пыльной дороге.

Но она толкнула меня в плечо и сказала: «Пошёл!» – Это меня удивило: я уже знал, что когда кому ни то хорошо, то он делается добрым, и потому начал просить снова.

– Отстань, говорят тебе! – крикнула она и щёлкнула меня в лоб. Мне стало больно.

На другой день было венчание матери с новым папой. Мне было грустно, я это прекрасно помню, и вообще с того дня в моей памяти уже почти нет пробелов. Помню, все родные шли из церкви, и я, видя их из окна, почему-то счёл нужным спрятаться под диван. Теперь я готов объяснить этот поступок желанием узнать, вспомнят ли обо мне, не видя меня, но едва ли этим я руководствовался, залезая под диван. Обо мне не вспоминали долго, долго! На диване сидели новый отец и мать, комната была полна гостей, всем было весело, и все смеялись, мне тоже стало весело – и я уж хотел выползть оттуда, но как это сделать?

Но куда я раздумывал, как бы это незаметно появиться среди гостей, мне стало обидно и грустно, и желание вылезть утонуло в этих чувствах. Наконец обо мне вспомнили.

– А где у нас Алексей? – спросила бабушка.

– Набегался и спит где ни то в углу, – хладнокровно отвечала мать.

Я помню, что она сказала это именно хладнокровно, я так жадно ждал, что именно она скажет, и не могу не помнить.

– Его пора отдать в училище, – сказал дед. – Скоро уж семь годов минет.

– Да, пора! – согласилась мать. – А то он становится таким сорванцом, что не справишься.

– Несуразный парень, – добавил ещё дед. – То озорничает так, что хоть десять раз в час пори, то точно сонный ходит целый день.

И затем обо мне забыли, и этого я никогда не забуду, хотя и хотел бы забыть...

Вскоре мать и вотчим уехали в Москву, и я остался с дедом и бабкой. Теперь за мной следила только одна пара глаз, глаза бабушки ничему не мешали, потому что она любила меня и ещё потому, что была часто пьяна. Пила она сильно и однажды чуть не умерла от этого. Помню, как её отливали водой, а она лежала в постели с синим лицом и бессмысленно раскрытыми, страшными, тусклыми глазами. Я тоже очень любил её, она была всегда так добра и смешна и так хорошо рассказывала мне славные пугавшие меня сказки, начиная их всегда словами: «И вот, сударь ты мой!..» У неё был большущий, изрытый морщинами нос, красный, когда она была выпивши, и всегда оттягивавший её голову с густыми чёрными волосами книзу. И ещё у неё были глаза, чёрные, большие, всегда – даже когда она сердилась на меня – ласковые.

Раз её, пьяную, стал бить дед, а она упала на пол и лёжа ругала его: «Бей, рыжий чёрт, бей! Что ж – бей? Старый демон!» Я спал, но, разбуженный их вознёй, вскочил с кровати и, всмотревшись, бросил в деда зажжённой лампой. Чуть не случился пожар, дед обжёг ноги и побил меня. Таких случаев было много, и я всегда играл в них активную роль, вследствие чего бабушка полюбила меня ещё более, а дед ещё более не взлюбил. О матери за всё время её отсутствия я, кажется, и не вспоминал. В то время меня постепенно засасывала уличная жизнь и очень много времени отнимало ученье.

Теперь мы с дедом читали уже Иоанна Златоуста, кончив псалтирь и часослов. Сколько помню, всё это чтение не оставляло никаких следов ни в душе, ни в голове у меня.

Раз как-то дед хмуро и зло сказал мне:

– Завтра мать приедет. Они погорели там, всё имущество сгорело. Скажи, чтоб она отодрала тебя хорошенько.

Кажется, что я при этом сообщении ощутил в себе только любопытство и боязнь, чем и ограничилось во мне всё сыновнее. Раньше, до её второго замужества, я слышал от неё кое-что, убившее во мне всякие положительные чувства к ней. Я лежал в саду в своей яме, а она гуляла по дорожке невдалеке от меня с своей подругой, женой одного офицера.

– Мой грех перед богом, – говорила она, – но Алексея я не могу любить. Разве не от него заразился холерой Максим (мой отец) и не он связал меня теперь по рукам и по ногам? Не будь его – я бы жила! А с такой колодкой на ноге недалеко упрыгаешь!..

Сначала я не понял, потом мне стало грустно и больно, а когда на другой день, проснувшись, я пошёл поздравлять мать с добрым утром, то долго простоял перед её дверью, прежде чем войти. Идти к ней не хотелось. Войдя же, я не мог посмотреть ей прямо в глаза, ибо чувствовал себя виноватым во лжи перед ней – я не хотел целовать её руку и целовал, этот поцелуй должен был выражать моё уважение и любовь к ней как к матери, а я хорошо знаю, что тогда – уже не любил её. Впрочем, едва ли когда я любил её, а уважал, наверное, потому, что боялся.

– Женщинам, имеющим намерение наслаждаться жизнью, ничем не связывая себя, следует травить своих детей ещё во чреве, в первые моменты их существования, а то даже для женщины нечестно, сорвав с жизни цветы удовольствия, – отплатить ей за это. [2]

Приехала мать. Она уж не та красавица, что год назад тому уехала в Москву.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
У неё бледное лицо и в глазах что-то изумлённое и жалкое. Я рад ей почему-то. И она ласково улыбается мне, говоря, что я поздоровел и вырос. Дед говорит, что я упрямый разбойник. Но это неправда, и мы с бабушкой протестуем. Мать снова молча улыбается мне. Вотчим сердит на что-то, он одиноко уселся в углу и не обращает ни на кого внимания. Я некоторое время надеюсь, что для меня что-то привезли, и мои надежды постигает горькая участь большинства людских надежд.

Затем мне рекомендуют обратиться вон, я ухожу и слышу из сада сердитый говор, густой, грудной голос матери доминирует над всеми, и шум, такой живой и злой, раздаётся и на другой день, и на третий и т. д.

А спустя некоторое краткое время вотчим и мать уезжают в Сормово, и я снова остаюсь у деда. Мне хорошо, дед хворает, бабушка пьёт, и я целые дни делаю, что хочу. У меня не было тогда товарищей – я слишком в то время был неровен и раздражителен, чтоб пользоваться симпатиями. И потом меня почему-то боялись сверстники.

Стоп!

Адель! Ты, которая всегда так дурно перетолковываешь всё, что я тебе ни скажу! Твой длинный нос, вытянутый тебе авторитетами и предубеждениями, привычками и предрассудками, – твой несчастный нос, рабски нюхающий суждения великих умов, – твой жалкий нос, за который тебя так часто водят разные шарлатаны, – этот феноменально тупой нос всегда при суждениях о ближнем чихает громко и резко и почти никогда не чихнёт справедливо!

О Адель, Адель! Когда-то в моей чистой любви к тебе не было ни жалости, ни презрения, когда-то я, дурачок, полагал, что ты есть нечто самостоятельное не только в гадком и мелком, но и в прекрасном и великом – и ах, Адель, Адель! как мне было горько, когда я убедился, что ты не делаешь чести прекрасному и великому своим участием в нём.

Но, впрочем, это к делу не относится, Адель, – да, не относится, – я расправлюсь с тобой в другом месте!

Я отступил вот для чего, Адель: тебя, добродетельная и, наверное, коробит та откровенность, с которой я пишу и которую ты, наверное, уже нарекла не чем иным, как цинизмом, – чем я, в скобках, не огорчаюсь, зная, что ты, моя туподушная, смотря по настроению, называешь наглость – смелостью души и наоборот, искренность – рисовкой и наоборот, храбрость – безрассудством и наоборот, и т. д. У тебя, моя милая, терминов нет, и ты бедна умом, – ты, моя дорогая, несамостоятельна, несамостоятельна ты, моя Адель, и пусть Святой дух жизни и Здравый смысл простят тебе твои грешки, грехи и прегрешения, как я простил тебе их! – Так я говорю, ты, наверно, возмущена моим неуважением к святой тени моей матери, – но, Адель, откровенно и раз навсегда говорю тебе: я поклоняюсь уму, – для него же нет ничего святого, ибо он сам есть святая святых и сам бог!

И важны, Адель, не отцы и матери, важны люди, все люди, то есть ты, моя несчастная рабыня веяний.

Месть. Параллели

I

Бом!.. Звук слетел с колокольни и поплыл ущельем, грустно тая в нём. Вслед за ним – другой, третий... и медная волна звона полилась туда, к угрюмым горным вершинам, спокойно и важно смотревшим в глубокое, синее, безоблачное небо.

На самой высокой из гор лежала пышная шапка снега, и теперь, озарённая прощальным лучом заката, она блестела ярко-красным золотом. Но он, этот последний луч, всё бледнел, – и ущелье, с разбросанными по бокам его серыми саклями, становилось всё мрачнее и мрачнее. По дну его быстро бежала, высоко взбрасывая брызги, маленькая горная речка; холодной сталью блестела во мраке её вода, и шум течения был не жив и весел, а безнадежно грустен, и порой в нём слышались шипящие, злые звуки. Они сливались с звоном колокола, звон заглушал их...

На вершине горы уже угас закат, и ущелье стало похоже на громадную пасть, раскрывшуюся, чтобы проглотить угасающий день. А маленькая грузинская деревенька, спрятанная в нём, ещё не спала; порой из неё долетали голоса людей и блеяние овец...

И когда старый Максим Буадзе, притаившийся высоко над нею за камнем, слышал их, он нетерпеливо щёлкал пальцем по блестящему стволу своего ружья и кидал из-под густых седых бровей острый взгляд туда, вниз, на деревню, откуда лился медный звон и шипящий говор реки. Время казалось ему нестерпимо длинным, и он готов был думать, что этот день нарочно так медленно гаснет, – он хочет помешать ему, старику, уплатить старый долг, долг крови...

Но нет! ничто не помешает. Он решил и дожждётся своего, хотя бы ему нужно было для этого неделю пролежать тут, в камнях, над пропастью и узкой тропинкой, лентой окаймившей её крутой край. Когда тот, проклятый, поедет по ней в горы, он, старик, крепко сожмёт в руках своё доброе ружьё и пустит ему в левый бок, прямо в сердце, одну пулю. Этого достаточно, чтобы тот упал с лошади в пропасть, и ни одной кости не останется целой от дьявола.

Романоз Гватуа! Старик Максим представил себе, как крикнет этот Гватуа, убийца его сына, как он закинет голову назад и полетит в пропасть... непременно полетит – тропинка так узка здесь! Он радостно улыбнулся и стал снова пристально смотреть вниз сквозь колыхавшуюся дымку вечерней мглы. Там из саклей выходили люди, такие маленькие, смешные, и один за одним шли к церкви, убедительно громко звавшей их.

А река всё шипела, и тьма, сгущаясь над ней, едва позволяла сквозь свои волны видеть её серебряную ленту. Старый Максим последил за ней глазами, пока она не потерялась среди камней, и, сняв шапку, стал на колени.

– Господи! – сказал он вполголоса. – Ты знаешь, зачем я пришёл сюда, и я это знаю. Не мешай мне, господи! Что должно быть, то будет, и помоги мне, коли милость твоя со мной! Ты ведь знаешь и то, как я любил своего сына, молодца Ваню, и ты видел, как он лежал на земле весь в крови, а я плакал над ним, а разбойник Романоз убежал в горы с тем кинжалом, которым зарезал моего сына. Ты видел всё это и не мешал никому!

Не мешай же и теперь мне, господи! Ты справедлив, и всегда будешь справедлив; и когда я, старик, приду к тебе, – это уж скоро, – ты осудишь меня, как справедливый!

Завтра праздник твой – и ты прости меня!

И он, постояв ещё немного на коленях, надел папаху, взял в руки ружьё и снова стал пристально смотреть вниз. Над ущельем вспыхивали одна за другой звёзды; небо опускалось ниже и принимало мягкий, бархатный колорит; из-за покрытых снегом горных гребней выплывала луна, и они блестели голубым серебром; крепкий кизиль тихо шептался ветками с ветром; звон умолк; последний удар колокола долго плавал по ущелью, ища места, где бы умереть; хмурые скалы отталкивали его, и он, наконец, пропал, потерявшись в изгибах и трещинах гор. Кто-то внизу заиграл на чангури; кто-то тоскливо и ласково запел... и в уши старого Максима вливались то нежные трели металлических струн, то тихие просьбы и жалобы певца. Он пел мягким и гибким голосом о чём-то, чего ему было так жалко, что он потерял, и плакал, и просил отдать ему. Он пел о своём молодом сердце, изъеденном скорбью и болью, – а струны дрожали и пели с ним вместе, то вторя ему еле слышно, то покрывая его громким, страстным звоном. Там, внизу, стало уж так темно, что не видно было ни ленты реки, ни бледно-серых пятен саклей на тёмно-коричневом фоне скал, – ничего, кроме двух жёлто-красных огней, испуганно дрожавших глубоко во мраке.

Старый Максим, выдвинувшись из-за камней, приподнялся на руках и, задерживая дыхание, стал слушать.

– Это он поёт! Это его голос, лисий, хитрый голос; он смягчит души тех, кто слышит его переливы и выкрики, а потом становится сух и остр, как звук удара кинжала о кинжал. Это он, Гватуа, поёт. Скоро ли ты пойдёшь? скоро ли ты пойдёшь, проклятый?! – шептал Максим и скрипел зубами, напрягая зрение и стараясь сквозь мглу различить извивы тропинки, по которой ходят из деревни туда –верху.

Там – внизу – перестали петь и играть. Песня оборвалась на половине; последняя нота её была высока и хотела быть ещё выше, но у певца не достало желаний или голоса, и она повалась как-то сразу, без эха, точно упала в быстрые струи речки и они захлестнули её своей пеной. Струны чангури задумчиво подражали ещё немного

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax – и тоже умолкли.

Послышался смех, ржание коня, громкое сердитое «гей!», глухо повторенное несколько раз ущельем... По камням твёрдо застучали копыта лошади, слышалось её дыхание и шорох маленьких камешков, скатывавшихся в пропасть. Вот он едет! Это он, он! Старик схватил ружьё, лёг, положил ствол на камень и замер, считая – вот он сейчас поворотит раз, потом ещё, и поедет назад, и опять вперёд, вверх, и ещё, – эта тропинка то и дело кружится то туда, то сюда, и каждая её линия до поворота не больше тридцати шагов коня. До той поры, как он поравняется с дулом ружья, можно ещё прочитать две коротенькие молитвы... И старик, быстро сбросив с головы папаху, стал вполголоса читать, смотря в небо и соразмеряя слова молитвы с топотом ног коня...

– Вот он!.. – Молитва кончена... Руки старика крепко стиснули ружьё, и он наклонился вперёд, страстно желая скорее увидеть убийцу его сына. Вот он!..

– Нельзя любить человека без того, чтоб не болело сердце... – пел всадник, вдруг вынырнувший из-за угловатого большого камня на повороте тропинки. Его конь медленно и ровно отбивал копытами и фыркал, трясая головой; густая грива взмётывалась вверх и снова тяжело падала на красивую выгнутую шею. Всадник сидел в седле ловко и небрежно. Он закинул голову вверх, смотрел в небо, где много звёзд сверкало ласково и ярко, и тихо пел, одной рукой держа повод, а другой отбивая такт по ножнам кинжала.

– Что ты плачешь, сердце? Давай-ка полюбим другую...

Старик смотрел, стиснув зубы и постепенно наводя ружьё на красивую, залитую лунным светом фигуру убийцы своего сына. Дикая радость давила ему сердце, хотелось закричать, броситься на него и кусать, рвать, мучить этого красавца, любимца женщин, такого смелого, гордого, сильного. Ваню был такой же, как он.

– Э, вот ты как важно качаешься в седле! Погоди-ка немного. Ну, ближе, ближе!..

Проклятый!.. – шептал Максим.

А тот ехал и пел:

– А если и эта обманет, мы найдём себе третью...

Старик Максим кошкой выпрыгнул из-за камней на тропинку, прямо к голове лошади, и гаркнул, взбросив ружьё к плечу:

– Гамарджоба, Романоз! Что, попал, проклятый!..

Как подстреленный пулей, взвился на дыбы оглушённый и испуганный конь; дико крикнул всадник; камни из-под ног коня шумно покатались в пропасть, а за ними, жалобно заржав, сам конь и прижавшийся к его шее, крепко обвив её руками, Романоз.

Старик не успел спустить курка. Он отнял ружьё от плеча, дотронулся рукой до лба с нависшими на него густыми прядями волос и пошёл к краю тропинки. По крутому обрыву ещё катились камни, и среди их шороха был слышен тихий, болезненный полустон, полуржание коня. Луна и звёзды сияли всё так же покойно и ясно, хотя они всё это видели. На краю тропинки стоял старик Максим, опираясь на ружьё, и смотрел туда, вниз. Там было страшно темно. Из склона обрыва выступали острые углы камней, кое-где между ними росли тощие кусты, и потом всё это сливалось в один глубокий, бездонный мрак, – а из него тихо, тихо всплывал кверху полустон, полуржание коня. Из деревни доносился ропот речки, но теперь он был глух, – это его сдавила ночь; и больше нигде ничего не было слышно – ни звука.

– Вот и всё! – тихо сказал старик и вздохнул, вскинув ружьё на плечо. Потом он положил его на землю, встал на колени и громко проговорил:

– Благодарю тебя, боже, что ты не попустил меня замарать мои руки в поганой крови моего врага и сам наказал его, бросив туда – вниз! Он весь расшибся теперь.

Благодарю тебя, боже, господин мой!

И затем уже он пошёл вверх по тропинке в горы. Облитая мягким, серебряным светом луны, его высокая фигура была обаятельно красива, и гладкий ствол ружья холодно блеснул. Старик покойно и бодро шагал с камня на камень и скоро пропал среди них.

Ещё немного позвучали его шаги, а потом и они пропали... И всё стало мертвенно тихо, а глухое ворчанье речки ещё более оттеняло эту тишину. Лучи луны упали на тропинку, пройдя сквозь ветви кизила и цепкого держидерева, что росли меж камней, и от этого на камнях нарисовались кружевные тени; они ползали, точно живые, взад и вперёд по тропинке, чуть только ветер качал ветками... и вот, ещё раз, последний раз оттуда – из пропасти, до краёв наполненной мраком, – наверх, где мрак был не так густ, всплыл тихий звук... полустон, полуржание разбитого об острые камни коня.

II

– В Алёшки! В Алёшки!

Это кричат лодочники, перевозящие из Херсона кладь и людей в Алёшки – двенадцать вёрст по Днепру и извилистому, поросшему камышом притоку его, Конке.

– В Алёшки! В Алёшки!

Последние лучи солнца на минуту окрасили в пурпур вершины тополей на том берегу – против города, скользнули по быстрым волнам реки – и исчезли. Небо стало мутным. Мягкий, тонкий мрак вечера плыл из дали и нежно ложился на город, реку, деревья за ней, – а на городском берегу спешно убирали свой товар торговцы овощами.

Большие корзины ярко-красных помидоров вперемешку с тёмно-лиловыми бадражанами, зеленью петрушки, моркови быстро сносились торговцами в кучи; под ними обнажались грустные чёрные пятна земли; берег пустел; лодочники зазывали пассажиров; от берега то и дело отплывали лодки, полные людей и корзин; в воздухе носился говор, шум ударов вёслами по воде; одна за другой лодки терялись за поворотом реки, – и вместе с мраком на всё ложилась печать утомления.

В городе начинали зажигать огни, они вдруг и весело вспыхивали то там, то тут, – и в небе одна за другой разгорались звёзды.

На берегу почти убралась; ещё несколько тёмных фигур торопливо бегали взад и вперёд, но вот и они исчезли, точно проглоченные мраком.

Четверо лодочников остались без работы. Трое из них сидели в лодке – один на корме, двое других посреди лодки, на скамейке, лицом к реке. Они пели что-то задумчиво и нехотя... Один пел, другой в это время молчал, а когда первый умолкал, иногда обрывая песню на полуноте, второй подхватывал звук и продолжал петь, тихо и меланхолично, и так же странно и устало переставал; а пел снова первый, и песня вилась мягкой, непрерывной лентой над холодно блестящими матовой сталью волнами реки, и волны, плескаясь о берег, сонно вторили ей.

Третий, тот, что сидел на корме, закурил папиросу. Её огонёк то вспыхивал, то угасал, и когда он вспыхивал, то освещал толстый красный нос, угреватые щёки и густые рыжие усы курившего.

Четвёртый стоял на берегу в стороне от них, опираясь на весло, и смотрел на город. Фонаришек вынырнул из тьмы и быстро зажгёт фонарь; полоса света упала прямо на фигуру лодочника. Это был низенький, коренастый человек лет сорока пяти, с толстыми руками, голыми по локоть, в красной рубахе с расстёгнутым воротом, открывавшим волосатое, сильное тело; на голове у него была надета старая соломенная шляпа, и из-под её оборванных полей он зорко смотрел в улицу, уходившую далеко в город и бедно освещённую.

По ней, направляясь к берегу, шёл лёгкой, торопливой походкой какой-то человек и на ходу весело посвистывал. Вот он спускается по лестнице к берегу – и лодочник двинулся к нему навстречу.

– Со мной пожалуйста, ваше степенство! По знакомству.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– Изволь! Моё степенство по знакомству поедет с тобой; только поскорее.

– Будьте довольны; не раз ездил с вами!

– Да? Ну хорошо.

Пассажир легко впрыгнул в лодку. Лодочник оттолкнул её от берега, неуклюже ввалился на нос и сел в вёсла, поплевав на руки. Лодка скользнула вперёд, пассажир качнулся; вёсла мерно ударяли по воде, и она тихо журчала под носом лодки. На реку от деревьев пали длинные, задумчивые тени, и лунный свет, чередуясь с ними, лежал мягкими, серебряными бликами. Лодка вплыла в узкий приток, окаймлённый по берегам длинными стеблями тихо шуршавшего камыша, и почти что бесшумно скользила по сонной воде. Гребец далеко назад закидывал вёсла, с них в реку падали капли воды с тихим, славным звуком. Небо смотрело на землю миллиардами весёлых звёзд, а их отражения на гладкой, зеркальной воде впереди лодки сияли так грустно и слабо. Но всё кругом было так ласково, тихо и мягко. Пассажир снял шляпу и, раскинувшись на корме, полугрезил, полудумал. Эта река и камыш по её берегам, а за ним тёмные, пышные деревья так хороши, облитые чудным, приветливым светом луны! Новорожденная ночь так свежа и ясна; тени, брошенные ею на всё кругом, тихо колышутся; вольно и легко дышит грудь, и не хочется думать ни о чём, кроме того, что хорошо. Жизнь... вот она, жизнь! Тихо скользит лодка по сонной волне, нежно баюкает душу шелест камыша – и всего одна доска отделяет пловца от дна реки. Это так просто, и из этого следует, что нужно как можно больше жить, и совсем не следует заботиться о том, чтобы дольше прожить. Лучше выпить одну бутылку шампанского, чем пять – красного вина...

А гребец смотрел на красивое, белое и тонкое лицо мечтавшего барина и усердно грёб, то и дело поворачивая лодку то вправо, то влево. Этот приток разделялся на несколько излучин, образовав островки, сплошь заросшие кустарником, а из чащи подымались к небу громадные факелы тополей, и печальные осокори грустно опускали к земле свои гибкие ветки.

Пассажир думал о том, что он молод и любим, что он едет на свидание с той, которая его любит и нетерпеливо ждёт в маленьком, утонувшем в зелени сирени и акаций домике, где всё так уютно и красиво, где в открытое окно льётся запах цветов из сада и смотрит бархатное, тёмно-синее небо! Она сядет к нему на колени и, обвинив его шею своими пышными, белыми руками, будет любовно смотреть ему в глаза и задумчиво в тьму сада в небо... а потом она вздрогнет под наплывом чего-то так сладко грустного и крепко сожмёт его в своих объятиях, а он будет её целовать, целовать...

Есть люди, которым всё это смешно. Да, есть такие люди... они несчастны, они жалки. И, может быть, они смеются только потому, что слишком желали испытать всё это и им не удалось. Ах, тогда они дважды жалки!..

– Ну вот, приехали! – громко сказал лодочник и, перестав грести, снял одно весло с уключины и взял его в руки.

– Вот это скоро! Спасибо! – ответил пассажир и, достав из кармана деньги, оглянулся кругом.

– Это что?! – удивлённо спросил он.

Лодка неподвижно стояла среди широкого озерца; спокойная вода, матово-чёрная, холодно блестела; кругом по берегам сплошной стеной стояли деревья, и где на воду падали от них тени, там она казалась бездонно глубокой. Было тихо. Не шелестел камыш, не журчала вода под лодкой; откуда-то нёсся звон; удары колокола были слабы, чуть слышны, они вздохом пролетали над водой и умирали в тёмной массе неподвижно стоявших деревьев; было страшно тихо. Пассажир вздрогнул.

– А город? город?! – спросил он неестественно громко.

Берега повторили «город?!»

Лодочник встал, держа в руках весло.

– Город ещё далеко, барин. Нам туда незачем. А ты вот что: молись-ка богу, готовься... вот я тебя ахну по башке-то и шабаш. Ну!

Он поднял весло на плечо. Звук его голоса был глух, но решителен и твёрд.

Барин слабо опустился на скамью и, тихо ахнув, схватил голову руками.

– Ну, ну! Скорее, коли хочешь помереть по-христиански! Греха-то на тебе сколько? Помнишь? Молись! Живо!

Барин вздрогнул и приподнял голову. Всё кругом было страшно тихо, неподвижно, всё умерло; звуки колокола ещё вздыхали и плыли над водой один за одним – и вот умер последний.

С весла капала вода... раз... два... и точно отсчитывала последние минуты человеческой жизни.

Лодочник стоял в суровой, выжидающей позе и, одной рукой держа весло, другой равнодушно чесал свою бороду. Он так и смотрел палачом и судьёй вместе.

И кругом – ни звука!

Барин застонал, простирая руки к чёрной и мрачной фигуре с веслом на плече, стоявшей перед ним.

– Послушай, за что?.. Возьми у меня деньги, всё... не убивай!.. возьми...

Стон тихо пронёсся над водой и пропал бесследно во мгле и молчании.

Лодка закачалась с боку на бок. Это лодочник переступил с ноги на ногу.

И вот он заговорил так же глухо и спокойно:

– Али сказать зачем, проклятая ты душа? Катюшку-то помнишь? горничная у твоей матери была? помнишь, пакостник? Кто ей ребёнка-то сделал? ты! А Катька-то дочь мне. Понял! ага, анафема, догадался! Готовься, говорю, скорей, а то вот бацну, да и всё тут. Не пикнешь!

Барин в ужасе смотрел прямо в лицо говорившего, спокойное, холодное лицо с оскаленными зубами. Оно было бы не так страшно, если б на нём отпечаталось то, что было в словах, – злоба и насмешка.

Барин задрожал и заплакал, свалившись в ноги лодочника. Лодка заколыхалась, и от неё по воде пошли круги... казалось, вода улыбается широкой, тёмной и страшной улыбкой. Лодочник сел и, положив на колена весло, смотрел на червем извивавшегося в ногах его человека и слушал его жалкие мольбы и рыдания.

– Оставь меня жить! Ведь коли убьёшь – узнают, и сам пропадёшь. Оставь!..

Я отдам тебе всё, что у меня есть... и потом приди... ещё дам... сколько хочешь!..

Ты знаешь, я богат... оставь меня!.. Не убивай, голубчик!..

– А дочку мою как же теперь? Она теперь с господами офицерами по ночам гуляет.

Вчера ей морду в кровь избили. Это как? Кто её в такое место загнал, где всякий может морду бить?! А? собака ты паршивая!..

Затем всё умолкло.

Молчал барин, лёжа на дне лодки; молчал лодочник, усмешкой глядя на него.

Барин лежал неподвижно; лодочник повёртывался из стороны в сторону, и лодка колыхалась, а по воде плыли к берегам эти тёмные, холодные улыбки... и на берегах зашумели деревья, а вода вдруг покрылась рябью, и эта рябь казалась гримасой, которую сделала вода, чтоб разразиться громким смехом.

– Эй, ты! Будет нюнить! Сколько с тобой денег-то?

Барин быстро встал на колени и, рванув у себя из кармана белый бумажный свёрток,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax стал, лихорадочно дрожа задыхаясь, совать его в руки лодочника.

– Вот! Возьми!.. Тут всё.. покуда.. семьдесят три рубля.. Вот ещё кольцо.. часы.. вот это – серьги.. я в подарок вёз.. возьми, голубчик!.. Но, ради бога, оставь меня!.. Так хочется жить!.. Родной мой!.., а?.. оставишь?

– Молчи! Деньги я возьму, а это – на вот! Дрянь всё!.. Куда их денешь? Али я вор? Воровскими делами не занимаюсь, сбытчиков не знаю, сунулся продать – и пропал. Так-то..

– А деньги?.. Деньги берёшь?!. Значит, я останусь.. не убьёшь.. А? Хороший мой, скажи скорей!.. Не мучь!..

– А Катька? – спросил лодочник.

«Катька?..» – вопросительно повторили деревья с берегов.

Вода улыбалась и гримасничала.. Вопрос о Катьке остался без ответа.

Барин снова грузно опустился и лёг на дно лодки, схватив руками голову.

Лодочник взял весло, посмотрел на него и поплевал на руки.. Затем он посмотрел на барина и широко улыбнулся.. Ловкое, сильное движение – и оба весла в уключинах; взмах – и лодка тронулась. Вода судорожно всколыхнулась; раз, два, три.. вёсла снова мерно забили воду, и лодка стрелой помчалась по водной глади.. а вода журчала тихо и весело.

Барин не шевелился.

– Ну, вот что, друг! Ты вставай-ка! пора уж, ладно! Не бойсь, ничего не будет – это я шутил всё. Али ты думаешь, человека так вот и можно убить! Нет, брат, – это дело большое; не наших рук дело. А что я напугал тебя, – прости! Беднота всё наша да житьишко поганое, дуй его горой! А ты, иначе, здорово напугался, а? Ха, ха, ха!..

Смех – добродушный, громкий смех весёлого человека.

Барин вскочил и сел на скамью, изумлённо глядя на лодочника. Тот бросил вёсла и хохотал, упираясь в бока руками и закинув голову назад.

– Слушай!.. – тихо сказал барин. – Так ты это..

– Ну чего? Известно – шутил. Разве человек человека может изничтожить? Ни в каком разе! А сорвать мне с тебя следовало. И ежели бы я к тебе пришёл, дал бы мне пятёрку – и прощай! А я вот догадался, семьдесят три рублика получил! Их, семьдесят-то три рублика, в десять месяцев не заработаешь, по нынешнему времени.

А что Катька, так разве беда, что она с офицерами? Вот уж! есть чего тоже! Ещё мне же лучше: придёшь к ней – «Катька, мол, – ах ты, шкура барабанная!» Сейчас она мне:

«Извольте, тятенька, красненькую». А?!. А что ты ей попользовался, так разве кому от этого горе? Вот уж! Я, брат, сам их сестре спуску не давал..

Барин смотрел, – и едкое чувство обиды и желание возмездия наполняло его.

Он пожалел, что с ним нет ничего – ни палки, ни револьвера. Он бы уничтожил этого мерзавца.

А этот мерзавец торжествовал, и каждое его слово и движение ярко рисовало его торжество.

– Вот он, город-то. Приехали! Ну, куда пристать?

– Куда-нибудь! скорее! – коротко и громко скомандовал барин.

– Сейчас готово будет!.. Пожалуйте с богом, господин!..

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Лодка толкнулась о берег. Барин встал и спрыгнул на землю. Лодочник приподнял шляпу и серьёзно и покойно пожелал ему счастливого пути. Барин смотрел на него и злобно шептал: «Уезжает!.. уезжает!..»

– Мерзавец! – вдруг крикнул он лодочнику, отскочив подальше от берега. – Подлец! Дочь свою, дочь продал за семьдесят три рубля. Жулик!..

Лодка медленно отплывала, и из неё раздался равнодушный голос:

– А ты бы пораньше, друг милый, начал ругаться-то. Это бы ещё туда-сюда, а теперь-то что ж тут мудрёного и какие смыслы?

Барин зло и громко кричал:

– Найду тебя, найду, убийца! Всю полицию на ноги подыму!

С реки донеслось:

– Ладно, ладно! Вали, посмотрим! Старайся, брат! А пока прощай!

«Прощай!», выкрикнутое громко, долго носилось в воздухе.

Барин постоял и, нахлобучив нервным движением шляпу на лоб, быстро зашагал в город, весь утонувший в тёмной зелени садов.

На реке всё было тихо; в городе, далеко где-то, жалобно выла собака; тёмные, длинные тени лежали на земле, и яркий свет луны облил серебром острые вершины тополей.

Подул лёгкий ветерок... река покрылась тонкой, частой рябью, и мягкий шум деревьев широкой волной пролился в воздухе – влажном и свежем.

III. Отрывок из одного письма

Да, ты спрашиваешь, в каких отношениях я нахожусь в данное время с Варварой Васильевной. С удовольствием сообщаю: я с нею всё порвал.

Вышло это очень оригинально, и я думаю, что для тебя небезынтересно знать подробности. Я расскажу тебе всё, и расскажу не без наслаждения, потому что, как ты знаешь, самая великая победа – победа над самим собой.

Вот слушай!

Ты видел меня в то время, когда я играл перед нею роль объекта, на котором она изощряла своё остроумие, – и фона, на котором её величественная, спокойная фигура рисовалась как нельзя более выгодно. Ты знаешь, что я увлекался ею. Я говорю – увлекался, и очень серьёзно. Я её просил, молил, убеждал, доказывал... Она слушала, холодно улыбалась и молча обтачивала холодные, острые иглы различных сентенций, которые потом прехладнокровно, «с милой улыбкой на бледном челе», втыкала мне в сердце.

Я страдал, насколько это принято среди порядочных людей, и показывал ей, что страдаю, опять-таки настолько же, отнюдь не больше.

Я страдал, терпел и в глубине души был уверен в победе. Эта уверенность поддерживалась во мне до боли раздражённым самолюбием. Оно развивалось с каждым свиданием и понемножку топило в себе то, что я тогда называл любовью к ней. Топило любовь, и из праха любви возрождался, сначала незаметно для меня, новый феникс – желание отплатить ей тою же монетой.

Вот он сформировался вполне, и всё уступило ему.

Я, конечно, не мешал. Скажу больше – я был очень рад, ибо нельзя не радоваться возможности сбросить с себя цепи, пусть даже это – цепи любви: они ведь только в стихах, да и то очень редко, именуются сладкими... Человек всегда хочет быть свободным, раз он действительно человек, а не временно исполняющее должность такового существо, знакомое с употреблением брюк и дара слова и, в силу этого знакомства, ловко умеющее скрывать истину.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Ну так вот, я был рад и употреблял все нити моего ума на сплетение сети, запутавшись в которой, царица моего сердца могла бы познать личным опытом, сколь сладко быть игрушкой в руках себе подобного.

Я думал, думал усердно, и ты увидишь, что далеко не безуспешно.

Я продолжал относиться к ней более внимательно и нежно, чем прежде, ловко и приятно щекотал её самолюбие; постепенно делался её всё более необходимою вещью и в то же время по отношению ко всем другим держался более гордо и независимо, чем всегда. Это не могло не заставить её думать кое-что в высокой степени выгодное для меня и обеспечивающее мне успех. Я видел, что она становится со мной на более близкую ногу и начинает немного щадить меня. Раза два в разговорах с ней наедине я подметил, что её взгляд, обращённый на меня, мягок, пожалуй, нежен, и в отношениях со мной проскальзывает эта женская, хитрая осторожность, вытекающая из некоторого беспокойства – неопределённого, туманного и своим появлением предупреждающего нас о скорой сдаче крепости. Я усердствовал. Она колебалась... Но всё имеет свой конец. И вот я перехожу к сути события.

Мы с ней сидели в саду у пруда в беседке. Ночь только что наступила. Дело было в июне... Соловьи и луна, тени, запах цветов – всё это имелось налицо и в количестве гораздо большем, чем было нужно по ходу дел.

Я говорил, и говорил хорошо, страстно, много... Я вошёл в роль, как говорят.

Если не ошибаюсь, у меня на глазах сверкнули слезинки, что, конечно, не осталось не замеченным ею. Я говорил, говорил, говорил... и, предвкушая победу, говорил ещё.

Но я сидел в полуаршине от нее и длани к ней не простирал.

Наступило время встать на колени – и я встал.

А когда наступило время взять её ручку и поцеловать почтительно и вместе с тем страстно, – то я взял её ручку и поцеловал её почтительно и вместе с тем страстно.

Я ни на шаг не отступил от установленного веками шаблона, ни на шаг – вплоть до конца, друг мой!

И, наконец, я замолчал, конечно, трепеща в ожидании, и из-под ресниц незаметно наблюдал за ней. Она была взволнована, прерывисто дышала, у ней вызывающе страстно сверкали глаза... Ура!..

И вот она протянула ко мне свои красивенькие ручки – они слегка дрожали – и шёпотом, таким, знаешь, страстным шёпотом заговорила:

– Иди ко мне, иди, мой милый, хороший, дорогой!.. Иди скорей!.. Иди же... я тебя люблю...

Тут я встал с колен. Она обняла меня, плотно прижалась к моей груди и всё шептала, задыхаясь от волнения:

– Иди... иди!..

Тогда я разжал её руки, крепко обвитые вокруг моей шеи, поднял рукой за подбородок её голову и прямо в лицо, громко засмеявшись, спокойно сказал:

– Не хочу!

И, повернувшись к ней спиной, ни разу не оглянувшись... ты понимаешь?..

ни разу не оглянувшись назад, громко насвистывая, медленно ушёл по ярко освещённой луной дорожке сада.

Я слышал, как она упала с глухим стоном, полным ужаса.

Хорошо?

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Ну, теперь я сообщил тебе всё интересное.

Да, ещё!.. Моя Бетти оценилась, и я теперь обладаю парой малюсеньких, милых, толстомордых бульдогов.

Прощай! Твой...

О чиже, который лгал, и о дятле – любителе истины
Это очень правдивая история, и я начну её так:

Вдруг изо всех певчих птиц той рощи, в которой произошёл этот любопытный случай, привлекла к себе общее внимание одна, запевшая песни, исполненные не только надежд, но и уверенности.

До той поры все птицы, испуганные и угнетённые внезапно наступившей серенькой и хмурой погодой, пели песни, которые только потому и назывались песнями, что их пели; в них преобладали тяжёлые, унылые и безнадёжные ноты, и птицы-слушатели сначала называли их хрипеньем умирающих, но потом понемногу привыкли и даже стали находить в них разные красоты, что, однако, стоило им большого труда.

Тон всему в роще давали вороны, птицы по существу своему пессимистические и, кроме более или менее громкого карканья, ни к чему не способные. В другое время на них бы не обратили внимания, но теперь, когда их голоса преобладали, их слушали и даже считали очень мудрыми птицами. А они, подмечая это, мрачно распевали:

Карр!.. В борьбе с суровым роком
Нам, ничтожным, нет спасенья.
Всё, на что ни взглянешь оком, –
Боль и горе, прах и тленье...
Карр!.. Страшны удары рока!..
Мудрый пусть им покорится...
Карр... карр!.. Скучная песня!.. Но – сильная, она угнетала всю рощу.

И вот вдруг зазвучали свободные, смелые песни...

Вся роща, много слышавшая песен, востепенулась, удивлённо и тихо шелестя ветвями. И даже соловьи, которые всегда поют недурно, потому что они жрецы чистого искусства, с удовольствием слушали и говорили:

– А ведь у этого певца есть искорка!..

И, говоря так, втайне гордились своим беспристрастием.

А певец пел:

Я слышу карканье ворон,
Смущённых холодом и тьмой...
Я вижу мрак, – но что мне он,
Коль бодр и ясен разум мой?..
За мной, кто смел! Да сгинет тьма!
Душе живой – в ней места нет!
Зажжём сердца огнем ума,
И воцарится всюду свет!..
– Сильно спето! – комментировали соловьи... – Молодо, самонадеянно, немзыкально –
но сильно... – и, глубокомысленно почистив носики, они слушали дальше:

Кто честно смерть приял в бою,
Тот разве пал и побеждён?
Пал тот, кто, робко грудь свою
Прикрыв, ушёл из битвы вон...
Друзья! И тот пал, кто, боясь
Труда, волнений, боли ран,
О битве судит, погрузясь
В философический туман...
– Гм... у него очень оригинальные взгляды! – отметили соловьи. – Хотелось бы
знать, что это за птица!.. – полюбопытствовали они.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax

Друзья! Пусть падшие молчат.
Им очи съел сомнений дым;
В сердцах их честь и гордость спят.
Друзья! Давайте крикнем им:
Прочь! Ваших мудрствований чад
Темнее сделал эту ночь,
И отравляет он, как яд,
Умы и души юных... Прочь!..
Прочь!.. Здесь объявлена богам
За право первенства война!
– Это смело! – сказали соловьи. – О да!.. это очень смелая песня!..

Роца слушала и ощущала нечто хорошее и сильное, это ощущение наполняло её теплом и светом, и даже старые, серыми лишаями покрытые ветви деревьев зашептали о прошлых днях. То были славные весенние дни, когда в роце только что начинали расцветать цветы и надежды, когда птицы пели свободные и звучные гимны солнцу, а свободное от туч небо казалось бесконечно глубоким и точно звало птиц попытать силу крыльев – достигнуть его глубины. То были хорошие дни, когда не нужно было принуждать себя жить, потому что жить хотелось, – была цель и была надежда достичь её. И эти дни явились перед роцей и, как звёзды, заблестали в тумане, скрывавшем от неё небо.

Птицы встрепенулись и ожили. Где певец? Пусть он примет дань восторга и благодарности! Это, должно быть, великолепная, красивая птица!

Они собрались целой тучей и ринулись туда, откуда навстречу им летели бодрые и гордые звуки.

Но когда они прилетели, то увидели, что это просто чиж – самый заурядный, маленький, серенький, с восковым носиком чиж. Он сидел на ветке орешника и был смущён оказанной ему честью; мизерный, взъерошенный и суеющийся, он возбудил во всех недоумение и никому не понравился.

Прочь!.. Здесь объявлена богам
За право первенства война!
Когда это кричит орёл, сокол, ястреб наконец, – это и красиво, и мощно; но чиж – чиж, объявляющий войну богам!.. Тут есть некоторое несоответствие, что-то странное и смешное. И это прямо-таки обидно для всех остальных птиц. Почему именно чиж, а не щеглёнок, зяблик, снегирь?..

Поражённые и обиженные птицы смотрели на чижа и думали: «Что же теперь будет?»

И невольно им вспомнилась эта смешная синица, которая однажды хотела зажечь море...

Но тут один находчивый щеглёнок, журналист по профессии, спросил чижа:

– Послушайте-ка, это вы сейчас пели?

– Я... – ответил чиж, – да, это я пел.

– Гм... а чем вы это докажете? То есть мы, конечно, не сомневаемся в ваших способностях, но...

Чиж вздрогнул, у него встали дыбом перья, и он запел:

Во тьме нами созданной ночи
Прносятся серые совы...
И блещут их мрачные очи
И злы, и угрюмо суровы!..
И гулко их крики несутся,
Смеются они и рыдают,
Проклятья в них дню раздаются,
А ночь они смехом встречают...
О, если бы мрака оковы
С моей юной роци упали,
Исчезли бы дикие совы,
И соколы только б летали!..

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax

Но соколы, – слабы и хилы, –
Забилися робко в ущелья
И злятся без чести и силы
Под звуки чужого веселья.
Их крылья уныло повисли,
Постыдно сердца у них дремлют,
И голосу чести и мысли
Свободные птицы не внемлют...

Некоторым птицам эта песня показалась личностью, и они засвистали чижу, а щеглёнок сказал:

– Хорошо, этого достаточно для нас! Но, вот что – скажите: вы, так сказать, будите общественное сознание... гм!.. а какие, собственно, у вас права на это? То есть я хочу сказать – во имя чего поёте вы?!

Чиж изумился и молча смотрел на публику.

– Мы, видите ли, хотим гарантировать себя от ошибок, которых, вы знаете, у нас было много-таки, и с этой целью мы хотели бы знать ваши исходные и конечные пункты, – знать, куда и зачем нас зовут? – поставил вопрос щеглёнок и, довольный собой, засвистал что-то чужое: у щеглят нет своих песен, как известно.

Чиж встrepенулся...

– Я исхожу из непоколебимого убеждения в высоком призвании птиц, как конечного, самого сложного и мудрого акта в творчестве природы. Мы не должны уставать, мы должны всегда бороться и всё победить, чтоб оправдать самих себя в своих глазах, чтобы иметь право сказать: всё прошедшее, настоящее и будущее – это мы, не слепая сила стихий. Путь, по которому нам нужно идти, мне незнаком, но я уверен, что нужно идти вперёд. Там страна, достойная быть наградой за те труды, которые понесли мы в пути!

Там вечный, неиссякаемый свет, неведомые нам чудеса; там мы, великие, свободные, всё победившие птицы, насладимся созерцанием нашей силы, и весь мир будет ареной наших деяний, величие которых невозможно представить нам теперь; там мысль наша разрешит всё, и наши чувства, осложнённые до чудесного, откроют пред нами новый мир неиспытанных наслаждений; там она – жизнь, достойная нас!.. Уважайте и любите друг друга и, идя гордой и смелой дружиной к победе, не сомневайтесь ни в чём, ибо что есть выше вас?.. Обернитесь назад и посмотрите, чем вы были раньше – там, на рассвете жизни? Вся ваша вера тогда – не стоила одной капли сомнения – теперь...

Научившись так страшно сомневаться во всём, вам пришла пора – уверовать в себя, ибо только великая сущность может дойти до такого сомнения, до какого дошли вы!..

Туда – в страну счастья! где ждёт нас великая победа, где мы будем законодателями мира и владыками его, где мы будем владыками всего... Туда – в это чудное «вперёд»!..

– Вперёд! – крикнули птицы, ибо в их сердцах загорелась гордость собой.

Слёзы вдохновения и веры наполнили глаза чижа. И все птицы пели, и всем стало так легко, все чувствовали, что в сердцах родилось страстное желание жизни и счастья.

– Позвольте, позвольте!.. Я прошу слова... Слово мне!..

Это кричал дятел с верхушки осины, и когда его услышали, то ему тотчас же дали слово, потому что он кричал очень громко.

– Милостивые государи и государыни! – заговорил дятел. – Рекомендуюсь: я дятел. Я питаюсь червяками и люблю истину, которой неуклонно служу и которая понуждает меня сказать вам, что вас нагло обманывают. Все эти песни и фразы, слышанные вами здесь, милостивые государи, не более как бесстыдная ложь, что я и буду иметь честь доказать вам с фактами в руках... С фактами в руках, милостивые государи! А спросите господина Чижа, где те факты, которыми он мог бы подтвердить то, что сказал? Их нет у него, а именно они-то и нужны ему более,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
чем мне; они – всё, милостивые государи, и все мы – не более, как только крошечные факты, подтверждающие грандиозный факт мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, как дети подчиняются матери.

– Рассмотрим беспристрастно, что есть там – впереди, куда зовёт нас господин Чиж. Все вы вылетали на опушку рощи и знаете, что сейчас же за нею начинается поле, летом голое и сожжённое солнцем, зимой покрытое холодным снегом; там, на краю его, стоит деревня, и в ней живёт Гришка, человек, занимающийся птицеводством. Вот первая станция по пути «вперёд», о котором так много наговорил здесь господин Чиж!..

– Предполагая, что мы устремимся вперёд сообразно его желанию, – в бескорыстии которого я позволю себе усомниться, ибо знаю, что чижи, как и все другие существа, непрочь от популярности, славы и т. п., – предполагая, что мы благополучно минуем сети Гришки и пролетим мимо деревни, мы опять-таки очутимся в поле; а на конце его снова встретим деревню, а потом снова – поле, – деревня, – поле... и так как земля кругла, то мы должны будем необходимо долететь до той самой рощи, в которой, в данный момент, я имею высокую честь говорить с вами.

– Эта ли та страна, в которой, по словам господина Чижа, мы получим награду за наши труды?.. Это ли она?!.

– Я знаю вас, милостивые государи и государыни, я знаю, сколь высоко вы летаете, но... как ни горько мне говорить вам это, – я знаю и то, что никто из вас не взлетал и не может взлететь выше самого себя.

– Попытка господина Чижа завоевать себе ваше внимание путём отуманивания вас блестящими и громкими фразами ясно указывает на степень высоты его мнения о вас, как о здравомыслящих существах!?. Эта попытка должна быть строго наказана, милостивые государи и государыни!..

И, преисполненный сознания выполненной им общественной обязанности, мудрый дятел, окинув торжествующим взглядом слушателей, стал долбить кору осины, на ветвях которой он восседал.

Птицы молча смотрели на чижа и видели, как из его глаз одна за другой скатывались слезинки. О чём он мог плакать, как не о своей вине перед ними?! Такой мизерный, серенький и лживый чиж!

А он понуро смотрел туда вдаль, и его глазки точно прощались там с чем-то.

Молчала роща, и птицы бесшумно разлетались по своим местам. Улетел и дятел, сопровождаемый почтительным преклонением перед его мудростью.

День был такой грустный; он точно расплакаться чем-то собирался.

И вот чиж, который лгал, остался один. Неподвижный и подавленный, он сидел на ветке орешника, и только одна сойка с любопытством поглядывала на него из робкой, дрожащей листы осины. Но это ей скоро наскучило, и, насмешливо свистнув, она улетела.

А чиж остался и, сидя на ветке орешника, думал:

«Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там, за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо!.. Я же только и хотел пробудить веру и надежду, – и вот почему я солгал... Он, дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья?»

И, оглянувшись кругом, бедный, маленький чиж нахохлился.

Вот и вся история... Прочитав её, ты, конечно, увидишь, что чиж благороден, но не имеет веры и поэтому нищ духом; дятел благоразумен, но пошл, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они в сущности черствы сердцем и мелки, позорно мелки... Увидав это, ты подумаешь, что я неверно рассказал эту до слёз смешную историю. Думай так, если это тебя утешает, думай!..

Разговор по душе. История мало вероятная, но вполне возможна
На одном берегу реки – реки Времени, милостивые государи и государыни, – стояла

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax в величественной позе Добродетель, а по другому – нервно расхаживал Порок.

Добродетель, точно статуя из самого твёрдого мрамора, была холодна и солидна, а Порок – так низок и настолько пропитан ядом всяческой гнусности, что мухи, укусив его, тотчас же умирали, отравленные.

Добродетель стояла и погружалась в кисель самоуслаждения, а Порок ходил взад и вперёд по берегу и размышлял о лучших способах учинения поступков, кои бы поддержали его реноме.

И в общем всё обстояло благополучно.

Перед ними протекала река Времени, и в мутных волнах её барахтались и дрыгались объекты, на которые направлялись деятельность Порока и взоры Добродетели. На поверхности волн бесчинствовали поклонники Порока, под ними захлёбывались любители Добродетели, а между ними иногда мелькали объекты, ещё не успевшие приобрести себе каких-либо взглядов и убеждений и только широко таращившие глаза и разевавшие рты, оглушённые шумом и полные желания скорее к чему-нибудь приспособиться.

Порок действовал, а Добродетель созерцала и, вслух сочувствуя погибавшим в когтях Порока, втихомолку искренно и безжалостно презирала их:

«Ах, как они пошлы! Фу, как они слабы!.. Не могут противиться Пороку! Пороку, – фи!»

И она незаметно делала презрительную гримасу.

А Порок расхаживал и распевал:

Жизнь – мгновение...

Ощущение –

Суть и смысл жизни всей.

Всего менее

Преступление

Порицать нужно в ней!

К чёрту проповедь любви!

Разве нам она понятна?..

Жизнь – минута – и живи

Тем, что просто и приятно!..

Только начал жить, ан глядь –

Уж Плутон вблизи затопал...

Торопись цветы срывать!..

Кашку слопал – чашку об пол!

Право, проще сей морали

Ничего нельзя сказать;

Чтоб другие не орали!

Без сомнения,

Поучения

Можно слушать, друзья,

Тем не менее,

Ощущение –

Суть и цель бытия!..

Он пел, и его слушали. Добродетель негодовала и раздражалась сразу двумя тысячами стихотворений всех размеров и родов, в коих воспевалась близость её торжества и угрожалося Пороку окончательным поражением. Были стихи иронические, безграмотные, саркастические, этические, лирические, звучные, длинные, короткие... Но Порок хоть бы поперхнулся и мало того, что в свободное от непосредственных и специальных занятий время с удовольствием читал все эти стихи, но ещё сам критику на них писал, в коей сообразно с настроением изрыгал хулу или расплзался в похвалах и неизменно замечал, что чистой эстетики побольше бы надо подпускать, тогда бы, дескать, сильнее вышло.

Видя, что стихи не берут, Добродетель пускала в дело прозу и в толстущих книжищах снова доказывала, как дважды два четыре, несокрушимо верно близость и необходимость своей победы над ним, гнусным Пороком.

А он – ничего, и книги читал; конечно, те, которые менее скучно были написаны,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax и, читая, очень одобрял.

– Ничего, – говорит, – написано веско и убедительно, кое-что можно и мне к сведению принять! – И принимал, чёрт его возьми! Книга-то вся – все восемь тысяч страниц – против него написана, а он – глядь! – из неё новый план действий извлёк и таким образом ещё пополнил инвентарь ухищрений, направляемых им на пагубу человеческих душ.

Итак, – вот как обстояли дела вплоть до того события, о котором я, – с искренним почтением ко всему, что такового достойно, – буду иметь честь ниже рассказать вам, милостивые государи и государыни!..

Однажды он, то есть Порок, занимаясь своим делом и напевая любимую свою песню, действовал в отведённом ему судьбою месте.

Одетый по последней парижской моде, с букетом камелий в руке, он был приличен, но, конечно, всё-таки был гадок, а она, то есть Добродетель, была суха и величественна в своей римской тоге, немного уже ветхой.

Ей вообще невесело живётся, но в этот день ей было скучно более, чем когда-либо.

Её адепты всюду терпели горестные поражения; те же, которые умели и успели избежать таковых, благородно ретировались с поля битвы, шалаберничали и ныли, не имея возможности сделать что-либо иное по причине отсутствия в них живой души. И вот, обуреваемая грустными соображениями о тщете своей борьбы с Пороком, Добродетель вслушивалась в звуки гимна своему сопернику и грустно глядела на его изящно-пошлую и нагло-красивую фигуру.

Но вдруг она ощутила в себе зарождение некоторой новой мысли, мысли странной, несообразной с её достоинством, не гармонизировавшей с её деятельностью, даже противной её сущности и формулированной ею, наконец, так: «А не поговорить ли мне с ним по душе? Ведь, в сущности, я никогда не говорила с ним по душе-то. И может быть... кто скажет, что может быть?.. Я заговорю с ним... да, я заговорю!.. Скажут, что это постыдно для меня... Но боже мой!.. Разве впервые услышу я обвинение в неустойчивости и слабодушии?..»

– Милостивый государь! – крикнула она на тот берег. – Послушайте!..

Милостивый государь только что выпил бокал шампанского за своё здоровье и намеревался выпить ещё бокал.

– Сударыня! – галантно раскланялся он. – Чем могу служить?..

– Я бы хотела... то есть нет!.. Вернее сказать, я хотела бы...

– Бокал шампанского, сударыня?..

– Милостивый государь!.. прошу вас не оскорблять меня такими подозрениями! – гордо подняв голову, заявила Добродетель.

– Сударыня!.. Извините!.. Ваше прославленное великодушие позволяет мне надеяться, что вы мне извините?.. Но, право, я предложил вам бокал с таким же уважением, с каковым имею честь предложить вам теперь целую бутылку.

– Я не пью, милостивый государь... Разве вы не знаете, что я не пью?.. – строго сказала Добродетель.

– Знаю, ах, знаю!.. И искренно сожалею об этом, сударыня, ибо вы лишаете себя одного из высоких наслаждений. И удивляюсь вам, ибо, имея дело с людьми, нельзя не напиваться вдребезги – так тошно и тяжело общение с ними!

– Позвольте! Я хочу говорить с вами серьёзно, я хочу говорить с вами, как с силой, которая...

– Всегда к вашим услугам, сударыня! всегда к вашим услугам...

– Не перебивайте!.. Которая – имеет в жизни почти такое же значение, как и я, и которая борется со мной. Но почему?.. Вот этот вопрос я хотела бы беспристрастно

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiуmax и всесторонне обсудить с вами и, обсудив, может быть, придти к какому-либо соглашению...

– Сударыня!.. Клянусь торжественно моим торжеством, которое, в скобках сказать, порядочно-таки надоело мне, вам пришла в голову идеально добродетельная мысль. Ф-фу!..

Как бы это славно устроить маленькие каникулы! Века твёрдо стоим мы с вами на своих берегах и никогда не воспользовались минутой отдыха... Всё борьба, борьба... да из-за чего же, смею спросить?!.

– Позвольте, отнеситесь серьёзно к тому, что я нашла нужным сказать вам!

– строго заметила Добродетель.

Но Порок вдруг вскипел – с ним произошло что-то странное, и он очень гордо и веско заговорил:

– Нет-с, позвольте! я хочу высказаться, чёрт побери!..

– Милостивый государь! Вы ругаетесь... – укоризненно сказала Добродетель.

– Да, я ругаюсь! я – будь я проклят, ругаюсь, я хочу и буду ругаться!..

И я хочу высказаться!.. Я имею право высказаться... Я возмущён, я оскорблён, я, наконец, требую внимания к себе! Предполагается, может быть, что я не чувствую оскорблений?.. о!.. я...

– Позвольте, милый мой Порок, – что вы хотите сказать всеми этими воплями и восклицаниями?.. Уверяю вас, – ничего нового для меня вы не скажете. Как и вы, я исполнена горечи, как и на вас, на меня клеветают, как и вас, меня оскорбляют и унижают...

– Э, сударыня!.. Вот оттого-то вас и не любят люди, что вы слишком пристрастны к длинным речам!..

– Позвольте! Будьте же благоразумны и хладнокровны!..

– Я... хладнокровен?! Чёрт бы побрал все окружающие меня нелепости!.. Я исковеркан этой жизнью, вот что. И я устал... да!.. Я, говоря откровенно, давно уже усомнился в разумности нашей вражды, я давно уже хотел предложить вам перемирие для того, чтобы обсудить: зачем нам нужно топтать в грязь друг друга? Кому это доставляет удовольствие? – Но что-то мешало мне сделать это, и вот я от дум и тоски стал почти таким же рефлектиком, как и мои приверженцы – люди. Я глубоко несчастлив, сударыня...

Сколько в моей жизни горечи и боли, о!..

– Но послушайте же, наконец! – прервала Добродетель минорные излияния своего врага. – К чему поведут ваши жалобы? Вы хотите сострадания? Но ведь будем откровенны до конца – вам должно быть известно, что я не умею сострадать иначе... как на словах... нужно ли вам такое сострадание!.. У меня есть основание думать, что я при создании моём была награждена всеми необходимыми для меня, как для Добродетели, свойствами, но очевидно, что с течением времени и в борьбе с вами – эти свойства измельчали, утратились, и в данное время я гораздо более фантом, чем нечто, действительно существующее...

Где же искать причину такого грустного явления?.. В отношениях людей ко мне и нигде более! Эти отношения...

– Стойте, сударыня!.. Не говорите мне об этих отношениях! Я постиг их личным тяжёлым и горьким опытом, я знаю их! – Лучшие качества мои влагал я в почитателей моих, и они изменяли мне, уходя к вам, как изменяют вам, уходя ко мне! Разве я теперь тот Порок, что был когда-то?!. Разве это пошлое, низкое, грязное, мелкое – я? Сударыня, где мой Нерон? Где Калигула? Где Борджиа?! Где маркиз де Сад? – Где они, гении порока? – Их нет, сударыня!.. И их не будет больше! И я не могу больше создать их, как по неимению старых сил в самом себе, так и потому, что нет форм, в которые я мог бы отлиться, нет людей, способных

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiymax
быть великими в пороке и в добродетели. Я ограблен людьми, сударыня! Как и вы, я
ограблен ими! Лучшие качества наши, лучшие деяния свои они испортили, лишив их
художественной цельности и законченности своей проклятой склонностью к рефлексу.
Они вертятся от вас ко мне и от меня к вам, и сам чёрт не разберёт, кто из них
порочен и кто добродетелен! Проклятые аналитики!.. – и, задыхаясь от гнева,
Порок умолк.

Тогда заговорила Добродетель.

– Я, несмотря на мою узость и ограниченность, всё-таки понимаю вас, милостивый
государь, и согласна с вами. Как вы спрашиваете: где ваши лучшие люди? – так и я
спрошу: где великий гражданин Брут? Где справедливый Аристид? Где блаженный
Августин, человек, влагавший в каждое слово своей речи всё своё страстное
сердце? Где великие люди добродетели? Где цельный человек? – Тени вокруг меня
витают, холодные, бескровные тени, а не люди! Они каются и плачут, плачут и
каются, и хотя делают это хорошо, но разве в этом заключается служение мне?..
Какие поступки теперь приобретают право на эпитет добродетельных?.. Если данный
субъект не ворует, не убивает, не лжёт, не клеветает, и, если, проходя мимо
ревностно творящих всё это, он не вступает с ними в компанию, а молча
отворачивается, – он добродетелен!?. Но, тупой и бесстрастный, почему он
отворачивается? Потому ли, что чувствует отвращение к подобного рода деяниям и к
людям, кои творят их, или же потому, что, втайне завидуя их умению, боится
вступить в ряды их по отсутствию в нём сил на всё скверное, на преступление?..
Это вопрос, милостивый государь!..

И не ясно ли, что не мы правим людьми, а они нами? Не ясно ли, что мы для них не
более как развлечение, не более как нечто, разнообразящее их расшатанную жизнь,
нечто, в сущности им ненужное?.. Вы слышали те насмешки и издевательства,
которые они посылают по моему адресу, а я оглохла от проклятий по вашему, но,
милостивый государь, не делается ли ими всё это по традициям, унаследованным от
предков, а не по искреннему и действительно имеющему место в их сердцах чувству
любви и ненависти?..

Присутствуют ли в них вообще какие-либо чувства, кроме самоуслаждения во всех
степенях и видах? И, наконец, – нужны ли мы с вами им, как две друг другу прямо
противоположные сущности с резко очерченными индивидуальностями? И не должны ли
мы с вами пойти навстречу имеющему совершиться факту...

– И не слиться ли нам с вами в одно целое?.. – радостно вскричал Порок.

– Ура! какая великая идея!.. Какая идея!.. Сударыня, это идея!.. Это даже не
идея, а откровение, а... нечто грандиозно глубокое, не имеющее себе определения на
языке Порока и в устах Добродетели.

– Позвольте, милостивый государь!..

– Сударыня, будет!.. Мне ясно, что я должен сделать, да, я понимаю свою задачу!
Сударыня, я прошу вашей руки и сердца, если у вас есть ещё сколько-нибудь
сердца!.. Сударыня... да?..

Поражённая Добродетель отшатнулась в сторону и в ужасе воздела руки к небу.

– Милостивый государь!.. – едва нашла она в себе сил прошептать в ответ Пороку.

– Решено, сударыня?.. Уф!.. Какая прекрасная перспектива открывается перед нами
этим браком!.. Соединённые узами, мы почием на лаврах и с усмешкой будем взирать
на человечество, уже окончательно освобождённое от представления о хорошем и
дурном, о злом и добром, на человечество, блуждающее по лесу недоумения и
свободно совершающее всё, что ему угодно. Сколько в первое время будет
трагикомических курьёзов! Сколько замкнутых сердец распахнётся, и сколько
извергнется низменных желаний, скрывавшихся до сей поры за заслонкой совести!
Добрый и злой дружно поедут в паре к заветной цели – к покою ума и души. Весь
земной шар обратится в один грандиозный свинятник и, наконец, успокоится!
Успокоимся и мы с вами в объятиях друг друга и пребудем до века покойны и
счастливы! А с другой стороны, пожалеем же и человеческое сердце, расколотое
надвое и утомлённое борьбой белого с чёрным. Пожалеем его, сударыня!..

Слишком долго оно воюет само с собой, слишком мало смысла и толку в этой войне,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax – пожалеем его, сольёмся во единое, нераздельное существо и, уничтожив долгим, страстным поцелуем чёрное и белое, создадим одно необъятное, всепроникающее серое!..

Сударыня, да?..

Добродетель безмолвствовала. Оскорблённая сначала предложением Порока, она постепенно утопила это чувство в море утилитарных соображений и к концу речи Порока уже не чувствовала ничего, кроме желания – как можно прочнее гарантировать себя от возможных в таком важном вопросе ошибок.

– Милостивый государь! прежде чем принять ваше предложение, я считаю нужным всесторонне осветить его себе и вам.

– Вы просите неделю на размышление? Гм, – простите, но у меня слишком много данных сомневаться в том, чтобы из ваших размышлений вышло что-либо пригодное.

Добродетельные размышления!?. Э!?. – и Порок скептически улыбнулся...

– Нет, милостивый государь, всё-таки!.. Вы, конечно, уже знаете, что на иной брак, кроме законного, я не могу согласиться...

– Гм... чёрт меня возьми! Однако это выходит у вас классически глупо и шаблонно...

Падите хоть на сей раз в объятия Порока без излишних церемоний!.. Ведь вы падёте, и я паду, – и не будет ни вас, ни меня, – будет общий кавардак представлений – и только! Мы как бы выходим из жизни, предоставляя людям ведаться самим с собой, как им будет угодно. Вы справляетесь о вещах, положительно не стоящих внимания. Ещё справку о материальной обеспеченности я допускаю, но взгляд... Гм... гм... – Тут Пороку пришла на ум блестяще порочная мысль, и он вдруг заключил Добродетель в свои грязные или, вернее, пошлые объятия.

– Милостивый государь! – в ужасе вскричала Добродетель, испуганная неожиданным оборотом дела.

– Сударыня, вы, кажется, хотите остаться добродетельной? – убедительно ворковал Порок и, ошибкой поцеловав её в нос, отплюнулся.

– Гнусный!.. Пошёл прочь!.. – рявкнула Добродетель и вырвалась из объятий Порока.

– Итак?.. – хладнокровно спросил Порок, мало смущённый этой сценой.

Добродетель, сверкая глазами, гордо молчала.

– Значит?!.. – усмехнулся Порок...

– На ваш пост, милостивый государь!.. – властно сказала Добродетель.

– Так на кой же чёрт вы завели эту идиотскую беседу, сударыня?.. – злобно крикнул Порок...

– Вы забываетесь!.. – грозя ему пальцем, отвечала Добродетель.

– Ну... и что же теперь?.. Будем снова канителиться?.. Хорошо, – будем канителиться... Пусть будет так, – но это глупо и ненужно. Люди, если мы сами им не поможем придти к одному знаменателю, не дадут нам покоя, – они будут истязать и насиловать нас. Нам нужно слиться, нам нужно слиться в единое, – это моё мнение. Но – до свиданья!.. Я иду!..

И он ушёл на свой пост, а она осталась стоять на своём. И когда он шёл, то напевал про себя вполголоса:

Жизнь – мгновение...

Ощущение –

Суть и смысл жизни всей.

Всего менее

Преступление

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
Порицать нужно в ней!..

Кругом всё было тихо... Изумлённо мигали звёзды в небе, и порой мимо их во все лопатки пробегали куда-то тучи. И когда они пробегали, то звёзды стыдливо скрывались за ними, и луна, широко раскрыв рот, смотрела на землю, и её физиономия была гораздо [2–3 слова не разобраны]. А в морщинах неба появились крупные капли пота, выступившего от напряжённого ожидания конца этой грустной сцены, и, холодные, тяжёлые, падали на землю и на моё чело. А я сидел в кустах моей фантазии, и сердце моё сочувственно сотрясалось по адресу жалкого Порока и бедной Добродетели. И вот я решил сообщить вам, милостивые государи и государыни, о их печальном положении и, в свою очередь, в ваших сердцах вызвать сочувственное сотрясение по их адресу и тем напомнить вам о необходимости для жизни поступков цельных, крупных и дело жизни оживляющих.

Нищенка

– Теперь я пойду прогуляться! – вслух произнёс Павел Андреевич, бросил перо, зевнул, вытянулся в кресле и меланхолично засвистал.

Ему хорошо поработалось, он чувствовал себя бодрым и довольным. Завтра он скажет в суде две пустяковые речи, затем выступит ещё два раза – и сессия кончена.

Можно будет взять маленький отпуск и поехать в Крым посмотреть на ласковое море и знойное южное небо... У него есть уже репутация талантливого оратора и хорошего законоведа; он вправе ожидать в близком будущем назначения в прокуроры, и жизнь ему не кажется ни утомительной, ни дурной; она скучна, если смотреть на неё слишком пристально, но зачем же нужно именно так смотреть? Едва ли что-нибудь, кроме миллиона терзаний, даст такое отношение к ней, к этой жизни, которую так много раз пытались разгадать и не разгадали; и едва ли разгадают когда-либо...

«Наша жизнь вся сполна нам судьбой суждена!» – незаметно для себя сбился Павел Андреевич на философию Ламбертуцио и, просвистав опереточный куплет в неподходяще минорном тоне, улыбнулся, снова зевнул и, встав с кресла, крикнул:

– Ефим!

Затем умеренно самодовольно оглянулся вокруг себя.

Его рабочая комната, обставленная комфортабельной мебелью без бьющего на эффект шика, а с солидной красотой и удобством, теперь богато залитая молодым ярким солнцем последних дней апреля, смотрела на него своими стенами и украшениями так ласково и светло, что ещё более усиливала в нём хорошее, тёплое ощущение сладости бытия.

– Ефим! – снова позвал он.

– Я здесь!

Из-за тяжёлой коричневой портьеры, пышными складками закрывавшей дверь, высунулась пушистая седая голова, и на Павла Андреевича выразительно уставилась пара добрых старческих глаз, тонувших в кудрявой серебряной бахrome бороды и бровей.

– Иду гулять, братец; часам к семи приготовь самовар. Больше ничего.

– А ежели кто спрашивать вас будет?

– Скоро приду. Но некому.

– А может, гости придут?

– Ну, какие же к нам с тобой ходят гости, Ефим?

– Точно, что не ходят!

– Так что же ты спрашиваешь?

– А для порядку. Это уж так всегда в хороших домах лакей спрашивает у бар, коли они изволят куда отлучаться.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki.umax – Ага, вот что! – И, добродушно-скептически улыбнувшись, Павел Андреевич надел пальто и вышел на улицу.

Чисто выметенная и ещё сырая от недавно стаявшего снега улица была пустынна, но красива выдержанной и немного тяжёлой красотой. Большие белые дома с лепными украшениями по карнизам и в простенках между окнами, окрашенные в тонко розоватый оттенок весенними лучами заходящего солнца, смотрели на свет божий философски сосредоточенно и важно. Стаявший снег смыл с них пыль, и они стояли почти вплоть друг к другу такими чистыми, свежими, сытыми. И небо сияло над ними так же солидно, светло и довольно.

Павел Андреевич шёл и, чувствуя себя в полной гармонии с окружающим, лениво думал о том, как хорошо можно жить, если не требовать от жизни многого, и как самонадеянны и глупы те люди, которые, обладая грошами, требуют себе от жизни на рубли. Странное племя! Жизнь учит их и учит так жестоко, а они всё-таки продолжают бесноваться, не умея найти себе надлежащей точки опоры, не умея привести свои способности в гармонию с своими желаниями...

Думая так, механически и безмятежно, он не заметил, как вышел на набережную улицу.

Перед ним внизу стояло целое море воды, холодно блестящей в лучах солнца, далеко на горизонте медленно опускавшегося в неё. Река, как и отражённое в ней небо, была торжественно покойна. Ни волн, ни частой сети ряби не видно было на её полированно-холодной поверхности. Широко размахнувшись, она, точно утомлённая этим размахом, покойно уснула. А на ней томно таяла пурпурно-золотая бархатная полоса лучей заката. Далеко, уже окутанная сизой дымкой вечера, виднелась узкая лента земли, отделяя воду от неба, безоблачного и пустынного, как и накрытая им река... Хорошо бы плыть свободной птицей между ними, мощно рассекая крылом синий свежий воздух!..

– Голубчик, барин! Хри-ста ради, копеечку на хлеб пожалуйста! Работы нет, целый день не евши... Истомились... Ваше благородие, будь милостив бога для!..

Павел Андреевич вздрогнул и обернулся.

Поющие голоса – надтреснутый тенор и хриплый безнадёжный баритон – без пауз рвали воздух и резали уши Павла Андреевича.

Перед ним стояли двое – парень лет под двадцать, с топором в руке и с рваной шапкой в другой, в женской кацавейке с торчащей из многочисленных дыр грязной ватой, и мужик лет пятидесяти, в полушубке, в лаптях, с коричневым грязным картузом, засунутым за пояс. На лице парня, землистом, голодном и сухом, застыла жалобно-жадная мина, он ухитрился выразить вместе ожидание подачи и просительное подобострастие. Мужик, всё лицо которого было завешено упавшими на лоб жёсткими волосами и свалянной в жгут бородой, упорно смотрел в землю и безнадёжно гудел, как-то лениво вытягивая из себя звуки. Парень же пел свою просьбу быстрым речитативом, точно боясь, что не дослушают его и не успеет он достаточно высказать все причины, которые заставили его нищенствовать.

– Будет! – громко и недовольно сказал Павел Андреевич и быстро опустил руку в карман.

Но тут случилось нечто странное, ошеломившее его чуть не до потери сознания.

– Барин, миленький! Не давай им!.. не давай!.. Они уж тридцать пять копеек набрали... Ишь, жадёры!.. Баринушка, мне!!.. Голубчик, подай маленькой девочке на хлеб, Христа ради!..

Павел Андреевич почувствовал, что кто-то крепко вцепился в его руку, опущенную в карман, вцепился, тормозит её и звонким дискантом воеет жалкие и в то же время страстно просительные слова.

Это был какой-то маленький грязный живой комок, голова его глубоко воткнулась в складки шинели Павла Андреевича, и этот комок так быстро, точно вьюн, кружился и извивался на одном месте, что положительно не было возможности подробно рассмотреть, что это такое... Три голоса наперебой ныли и оглушали его, вызывая в нём острое раздражение.

– Молчать! Пошли прочь! – крикнул он.

Но его властный окрик мало подействовал.

– Эх, барин! – глубоким вздохом возгласил баритон, извлекая этот возглас из самых недр своего нутра.

– Кормилец ты наш! – подхватил высоко и колоратурно тенор.

– Врут они, баринушка, не верь! Они уж тридцать пять копеек собрали!.. А вот как ко всеобщей ударят, на паперть пойдут, там ещё с эстолько награбастают...

Жадёры окаянные!..

– Прочь, говорю!.. – ещё раз зычно гаркнул Павел Андреевич, крепко выругался и тотчас же смущённо оглянулся.

Но набережная была пуста, и никто не мог видеть его раздражения. Тогда сильным движением он оторвал от своей шинели впившийся в неё цепкий комок и поднял его рукой до своего лица... Но тут же, поражённый, быстро опустил руку, отчего существо, бившееся в ней, покатилося на тротуар, всё-таки не переставая просить звенящим тонким дискантом.

Павел Андреевич закрыл на секунду глаза, глубоко вздохнул, сунул в одну из простёртых к нему рук какую-то мелочь и, замахав рукой в ответ на благодарные пожелания, звучавшие как-то странно-тоскливо и вымученно, – наклонился над запутавшимся в лохмотьях существом как раз в то время, когда оно, точно резиновый мяч, отскочило от мостовой, причём груди навешанной на нём грязной рвани, встряхнутая быстрым движением, сделала его похожей на уродливую большую ночную бабочку.

– Голубчик, баринушка, и мне копеечку!.. Дай Христа ради... – снова волчком завертелось у него в ногах крохотное создание.

– Погоди, погоди!.. – немного растерянно бормотал Павел Андреевич, пристально рассматривая её.

Это была маленькая светлолицая девочка лет шести-семи, подвижная, как ртуть, и невероятно оборванная. Лохмотья, подпоясанные рваной красной тряпкой, совершенно скрывали под собой её фигурку, только маленькая головка, высываясь из них, давала возможность отнести её к классу людей. Именно эта головка и поразила Павла Андреевича, знатока красоты и поклонника всего изящного. Детски маленькая, она, несмотря на грязную тряпку, покрывавшую её, а может быть, благодаря именно этой тряпке, резко оттенявшей цвет и изящество личика, была разительно красива. Тонкие и мелкие кольца кудрей, выбиваясь из повязки, падали на лоб и щёки и трепетали на них, позволяя просвечивать сквозь себя живому, ярко-розовому румянцу. Маленький, – точно резцом выточенный носик, с нервно раздутыми от возбуждения ноздрями, розовыми и прозрачными, нервно вздрагивавшие пунцовые губки, маленькие и пышные, круглый с мягкой, милой ямкой подбородок и большие синие бархатные глаза – всё это в целом и её лохмотья – делало её странно похожей на маленькую кучку мусора с расцветшим в центре её обаятельно и капризно красивым цветком. Но она, не переставая, звенела своим тонким дискантом, звенела жалкие и гадко-льстивые слова – и этим нарушала иллюзию.

– Погоди же, погоди!.. – уже раздражаясь, говорил Павел Андреевич.

Ему хотелось, чтобы она замолчала, не суежилась так и дала бы возможность подробно рассмотреть её. Он медленно шёл вдоль тротуара и, не сводя с неё глаз, думал о том, чем бы это заставить её замолчать... Подать ей? Она будет благодарить.

Повести её к себе? Вот нелепость!.. И, думая так, он в восхищении повторял про себя:

«Но как она красива! Ангельски, именно ангельски красива!»

– Барин! Голубчик, подай!.. Мать дома больная, братишка грудной ещё, по-дай

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax Хри-ста...

– Стой же, погоди. Я тебе дам, понимаешь? Да! Много дам. Помолчи. Погоди.

Скажи мне прежде – ты откуда? Чья ты? Кто твой отец, мать? Давно ли ты это... то есть просишь?

С её поднятого кверху личика детски доверчиво смотрели ему в лицо синие глазки и как-то невольно вызвали у Павла Андреевича некоторые смутные, незнакомые ему чувства и располагали его к исключительным поступкам. Он оглянулся вокруг...

Улица была пуста, и вечер понемногу окутывал её своей мягкой тенью, тогда он взял девочку за руку и пошёл, стараясь соразмерять свои шаги с её торопливой, вертлявой походкой. Это ему плохо удавалось, и он сам как-то прыгал, то опережая её, то отставая; а она семенила около него, дёргая его руку и громко, на всю улицу рассказывала:

– Я ведь здешняя. Мы там живём, внизу, в слободе. Отец-то помер. От водки это. А мамка тоже померла, оттого что он её бил уж очень, Я с тёткой Нисой теперь и живу. Она говорит мне: «Коли ты, говорит, пострелёнок, мало набираешь, я те за вихры отвою». Тётка-то Ниса говорит... Сердитая тоже. Барин хороший...

– Погоди же, я сказал – дам! Но ведь ты говорила, что дома мать у тебя и брат больные...

– Это тётка Ниса велит, чтобы жалобней было. А как не жалобно, не будут подавать, говорит. «Ты, говорит, дьяволёнок, смотри у меня, мало не приноси. Ври, говорит, во всю мочь... И чтобы жалобнее... а то и не станут подавать...»

Тонкий, звенящий дискант ребёнка всё сильнее возбуждал в нём странные, непривычные мысли. Он шагал медленно, задумчиво, плотно закутавшись шинелью, и, вслушиваясь в музыку её речи, подумал, что ей, должно быть, очень холодно в этот свежий весенний вечер, и, машинально взглянув на её ноги, почувствовал, что его неприятно укололо где-то. Грязные, стоптанные башмачишки на её быстро и гулко топавших о мостовую ножках широко улыбались всякий раз, когда она высоко подымала ногу, улыбались, и эта улыбка открывала маленькие голые и мокрые пальцы, покрасневшие от холода. И как она грязна и оборвана!.. Он поднял голову и посмотрел вдоль улицы.

Два ряда домов, больших и холодных, неприветливо смотрели тёмными пятнами окон на него и его спутницу. В их взглядах было что-то ироническое и строго определённое.

И казалось, они были недовольны им, Павлом Андреевичем, за то, что он позволял так громко звенеть этой маленькой нищей.

Павел Андреевич, приведённый в состояние какого-то тоскливого гипноза её говором, чувствуя себя утомлённым и разбитым, вдруг почему-то подумал, что если бы кто-нибудь из знакомых встретил его в этой компании, то... было бы очень нелепо.

Его и так незаслуженно считают мизантропом только за то, что он не хочет близких знакомств, тогда как он не хочет их совершенно не из человеконенавистничества. Просто потому не следует ставить себя с людьми в так называемые близкие, дружеские отношения, что такие отношения ведут за собой нелепую обязанность выслушивать от них массу рассказов о разных пошлостях, об интригах, о здоровье и характере их жён и других мелких житейских событиях, до расстройства желудка включительно. На что нужны эти пустые и пошлые разговоры? Всё это неважно и ненужно. Покой, созерцание, иногда любопытство, но любопытство без страсти, без самозабвения, – вот нормальная жизнь.

Внутренний мир современного человека настолько сложен и разнообразен, что, изучая его, можно совершенно и полно удовлетворить тщеславную жажду ума больше знать. А мир внешних явлений, – он слишком нервозен и слишком скоро утомляет человека, который хочет жить просто и спокойно. Чем больше изолирован человек от других людей, тем он счастливее, ибо счастье – это покой, не больше. Зачем же нужна эта ангельски красивая девочка в лохмотьях ему, Павлу Андреевичу, товарищу прокурора и человеку с установившимися взглядами на жизнь? Она – пролог к

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax тяжёлой и глупой драме, которую он не хочет видеть.

Они уже знакомы ему, эти простые драмы, и даже надоели. Её жалко; но что же дальше? Чем он мог бы помочь ей? Уж, конечно, не деньгами, которые проглотила бы тётя Ниса. Другого же выхода он не видит... Чего ж она звенит ему в уши свою унылую комариную песню? Зачем всё это надо? Фу, как всё это ненормально и глупо!..

Выпустив руку девочки из своей, Павел Андреевич вынул портмоне и задумался.

Сколько ей дать? Рубль мог бы временно облегчить её положение, но он может развить аппетит тёти Нисы и через три дня ухудшить это положение.

– Те, двое-то, жадные... тридцать пять копеек уж есть, а они ещё всё просят.

Кабы я насбирала тридцать-то пять копеек, так домой бы пошла! – говорила девочка укоризненно и серьёзно.

Павел Андреевич заметил, что глаза её блестят не по-детски сухо. Её маленькая фигурка, сжатая холодом, стала ещё меньше, а лохмотья как-то странно заершились.

Она стала похожа на избитого совёнка с выщипанными перьями. Он представил себе её ночью одну, идущую по холодной молчаливой улице, среди подавляюще больших домов.

Это была очень печальная картина... Что же ему с ней сделать? А он вновь почувствовал себя обязанным что-то сделать. Человек филантропического темперамента живо бы нашёл выход из этого затруднительного положения; просто человек – не заметил бы её, а он вот потерялся.

Его стало разбирать зло на себя; но в это время он увидал, что стоит у крыльца своей квартиры, и подумал, что самое лучшее – оставить её ночевать в комнате Ефима, а наутро, может быть, что-нибудь и придумается.

– Ты пойдёшь ко мне! – сказал он зябко прижавшейся к двери девочке, дёргая ручку звонка.

Она не удивилась, ничего не сказала и даже вперёд его юркнула в дверь под ноги Ефима.

Павел Андреевич усмехнулся на молчаливый вопрос своего слуги, разделся, скомандовал своей гостье: «Разденься!», Ефиму: «Умой её!» и, крепко потирая немного озябшие руки, вошёл к себе в комнату и сел за стол в глубокое мягкое кресло.

Перед ним урчал и фыркал самовар, из отверстия в крышке с лёгким свистом вылетала струйка пара. В этом свисте Павлу Андреевичу послышалось что-то насмешливое, а в глухом урчании воды – нечто недовольное.

Он облокотился на стол руками и, закрыв глаза, – любимая привычка, – представил себе свою гостью одетой в чистое платье, причёсанной и умытой... Это было идеально красиво.

– А куда же прикажете её деть? – спросил Ефим, просовывая голову в дверь.

Павел Андреевич обернулся к нему:

– А как ты думал, Ефим, куда её?

– Да ведь как же иначе?.. Напоить чаем и домой отправить. Я отведу, – решил тот.

– Гм! – снова задумался Павел Андреевич. – Хорошо, пусть будет так.

И он стал наливать себе чай. Он любил вечерний чай. Под меланхолические песни самовара, в этой залитой розовым светом лампы комнатке так славно думается и дышится. Всё так тепло, мягко, родственно... И так тихо, сладко-тихо... Но сегодня вот в его квартире новые звуки: это тонкий голос гостьи в комнате Ефима. Она всё что-то рассказывает там без устали, и изредка глухой бас Ефима коротко

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorķiуmax перебивает её. Что ждёт завтра эту девочку? Что ждёт её через десять лет?..

«Однако, в какое добродетельно-минорное настроение погружаюсь я! О чём, собственно, можно тут думать? О помощи ей? Близоруко и неумно. Их тысячи, этих уличных детей, и чьё-либо единичное усилие не улучшит их положения. Это обязанность общества, если ему угодно. И потом, в ней, наверное, есть уже инстинкты, которых не победишь воспитанием и которые со временем могут развиться. Бог с ней, с этой девочкой!..

В лучшем случае она будет кокоткой, если она умна, конечно...»

Но Павел Андреевич чувствовал, что как бы он ни думал, – ему сегодня почему-то плохо думалось, такими всё избитыми, общими местами, ни одной своей, оригинальной мысли... Почему бы это? Как бы он ни думал, ему не исчерпать этого вопроса о девочке, что-то остаётся, уклоняясь от определения словами, что-то такое смутное, неприятное...

Не зарождается ли это сознание обязанности по отношению к ней, всё-таки же человеку?

Едва ли, едва ли... Едва ли и существует такая обязанность. Законы общежития, нравственности и вообще всевозможные законы, это – скорее всего искусственные логические построения, прекрасно доказывающие хорошие чувства и намерения их авторов – не больше.

– Ефим! – позвал Павел Андреевич. – Ну, как она?

– Уснула, Павел Андреевич! – умилённо сообщил Ефим.

– Уснула?! Гм!.. Как же теперь?

– До утра уж, что буде. Утром я её и справлю. Что ж она? Спит, не мешает.

Всё щебетала. Тридцать пять копеек, говорит... Видно, тридцать пять копеек для неё сто рублей. Умильная девочка! Тридцать пять копеек кто-то, вишь, набрал.

– Да, да, я это знаю. Ну, пусть её спит там! – рассеянно заметил Павел Андреевич.

– Вот, вот! Пускай её с богом! А мне бы, Павел Андреевич, уйти надо, позвольте!
– сказал Ефим.

– Ну, а девочка как же?

– Что ж она? Спит. Я ведь ненадолго.

– Ага, иди, иди. Можешь. Скорее только, а то она проснется, и я не буду знать, что делать.

– Что ж ещё делать? Ничего не надо делать. Я кухарке скажу, коли что...

– немного удивлённо произнёс Ефим и скрылся.

Павел Андреевич закурил папиросу и лёг на диван. Самовар затих. Теперь вся комната была наполнена стуком маятника столовых часов.

«Нужно переменить эти часы, у них слишком стучит маятник...» Но здесь Павел Андреевич поймал себя на очень странном ощущении. Это была какая-то боязнь думать; нечто совершенно новое. Где-то в нём шевелилось смутное, незнакомое чувство, назойливо требовавшее формулировки.

«Пустяки это! Всё пустяки!» – мысленно отмахнулся он. Но, полежав немного, он почувствовал, что ему необходимо встать и пойти посмотреть, как она, эта девочка, спит там.

Он встал, пошёл и, проходя мимо зеркала, увидел на своём лице сконфуженную и растерянную улыбку. Ему стало больно от этого.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
«Как я сегодня глуп!» – попробовал он урезонить себя, но не достиг цели.

Вот перед ним кровать Ефима, завешенная ситцевым пологом. За этим пологом слышится ровное, глубокое дыхание. Павел Андреевич снял со стены лампу и, раздвинув полог, стал смотреть.

Гостья спала вверх лицом, широко и свободно раскинувшись. Её кудри осыпали своими кольцами всё личико, и полуоткрытые губки, улыбаясь, показывали маленькие белые зубы. Крохотная грудь подымалась и опускалась так ровно, и вся она, хорошенькая и миниатюрная, была так одинока, жалка...

Павел Андреевич нахмурил брови и быстро отошёл. А когда он лёг на диван, то почувствовал, что его настроение надолго испорчено и, кажется, это ещё не всё...

«Может быть, это приведёт меня к тому, что я покаюсь в эгоизме, к великому удовольствию господ идеалистов и прочих любителей сентиментальности?» – холодно и едко спросил он сам себя. «Покаюсь и смиренно займусь добродетельными волнениями о ближнем и судьбах его?» Он чувствовал, как думы оставляют тоскливый и злой осадок. И, как ни старался, не мог забыть о том, что в его квартире, кроме его уравновешенной, покойной жизни, есть ещё жизнь – в зародыше, маленькая пока жизнь; в будущем она будет грязной и тяжёлой историей, может быть, очень длинной... Хорошо, коли тупой, растительной, но если проснётся сознание?... Будет бесконечная, мучительная борьба, и кончится она падением. «И, может быть, я же, тогда уже прокурор, как дважды два четыре, докажу господам присяжным необходимость засадить эту девочку в тюрьму.

Какая ирония!»

Он закрыл глаза и, убавив огонь в лампе, неподвижно вытянулся на диване.

Одна за другой мысли рождались и роились в его голове, и, когда он с усилием оттаскивал их от себя на минуту, он казался себе бессильным, жалким, поработаемым чем-то, виноватым в чём-то. И вся эта путаница ощущений была так туманна и смутна для него. «Зачем я привёл эту девочку?» – тоскливо спрашивал он себя. «Ведь десять человек подали и прошли мимо неё, и, наверное, это были люди менее установившиеся и более чувствительные, чем я. О, наверное! Зачем же именно я должен болеть за неё?»

Но тут ему стало смешно над собой... «Спрашивать так, это спрашивать – зачем кусок карниза упал на голову именно этого человека? Эта девочка – тоже случайная шутка судьбы...»

У него выступал на лбу холодный пот, и что-то давило на лёгкие, мешая дышать.

Он сбросил пиджак и [жилет], расстегнул ворот рубахи и снова закрыл глаза.

Когда он раздевался, то заметил, что портьера на двери странно колыхнулась, но не обратил на это внимания. Поглощённый своими думами и меланхолическим полумраком комнаты, он лежал с закрытыми глазами, и время, казалось ему, тянется невыносимо медленно, несмотря на торопливое тиканье часов...

Вдруг ему почудился какой-то шорох... Он полуоткрыл глаза и вздрогнул, увидав, что спущенная с петель и совершенно закрывавшая дверь портьера тихо колеблется, отводимая в сторону маленькой детской рукой. Не шевелясь, Павел Андреевич наблюдал полузакрытыми глазами, удерживая дыхание, стараясь ни звуком не выдать своё присутствие в комнате. На тёмном фоне портьера показалась золотистая головка его гостьи, осторожно поворачивавшаяся, осматривая комнату. Синие детские глазки были широко раскрыты, серьёзны и не по-детски решительны. Розоватого света лампы было достаточно много для того, чтобы ясно видеть каждую чёрточку лица. Напряжённое внимание сделало его менее красивым, но как-то более фантастичным и приковывавшим к себе. Несколько кудрей капризно поднялись надо лбом и образовали из себя ажурную корону. Чисто умытое личико было бледно, несмотря на розоватый свет лампы, мягко и ласково освещавший его, и глаза казались Павлу Андреевичу гораздо более красивыми, чем раньше.

Вот она осторожно подняла правую ножку, босую и грязную, но тонкую и красивую, подняла и сделала шаг к столу, где стояла лампа и масса безделушек. Потом сделала ещё шаг и повернула головку в сторону Павла Андреевича... Тут она

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
вздрыгнула и сделала быстрое движение к двери, взмахнув руками и простерев их перед собой, точно собираясь бежать. Павел Андреевич постарался дышать ровно и так громко, чтоб она слышала его дыхание.

Она неподвижно стояла с полураскрытыми губками и с выражением детского испуга на своём ангельском личике смотрела в его сторону и вслушивалась.

Грязное платье было ей и узко и коротко, ноги по колена были видны из-под него, и руки далеко высывались из рукавов; застёгнута была только одна пуговица, у талии, и белая тонкая шейка с частью груди была открыта.

Павел Андреевич пожелал тихонько исчезнуть, оставив на сцене только свои глаза.

Но она, очевидно, убедилась в его крепком сне и в три быстрых и гибких, как у котёнка, движения очутилась у стола. Здесь она положила локотки на его край и, подперев ладонями головку, улыбнулась такой большой и светлой улыбкой – и зачем-то высоко поджала под платье левую ножку. Затем выразила на своём лице удивление и удовольствие, закачала из стороны в сторону головкой и, осторожно взяв в ручку пресс-папье, изображавшее медведицу с двумя медвежатами, подвинула его к себе, наклонила над ним головку и, точно не решаясь более дотрагиваться до него руками, вертела головкой из стороны в сторону, осматривая его с выражением восхищения на лице, улыбаясь и что-то тихо, тихо шепча своими пунцовыми маленькими губками, а её кудри дрожали и падали на стол. Потом она благоговейно и осторожно отодвинула от себя пресс и взяла пепельницу; повторив над нею так же тщательно процедуру осмотра, она отодвинула и её, и так перебрала на столе все вещи и, вздохнув, снова поставив локти на стол, стала смотреть... Потом вдруг о чём-то вспомнила, – отшатнулась от стола и, оборотясь к Павлу Андреевичу, пошла к нему своей неслышной, эластичной походкой котенка.

Павел Андреевич изумился и как-то застыл. Но его изумление чуть не выразилось криком, когда она подошла к стулу, на который он сложил своё платье, начала рыться в нём и, наконец, бросив его, села на пол почти в ногах у Павла Андреевича.

Он ничего не понимал. Ему теперь нельзя было видеть, что именно она делает, и он едва удержался от желания повернуться и принять такое положение, которое бы позволяло ему наблюдать за ней. Его как-то жгло любопытство.

Послышался звон монет, падавших откуда-то на ковёр.

Павел Андреевич вздрогнул и понял...

Первым его желанием было встать и помешать ей; но что-то помешало ему самому сделать это. Он лежал и слушал, как монеты тёрлись в её руках одна о другую.

«Ворует!.. воровка!!..» – произнёс про себя Павел Андреевич и почувствовал, что эти два слова неприложимы к девочке с золотыми кудрями, маленькой уличной нищей красавице. Он слушал, и мысли одна за другой кололи ему мозг, как иглы...

Он услышал тихий шёпот:

– Это гривенник... и это гривенник. И это... и это; только это большой.

Тут уж есть и тридцать пять, и больше есть! О-о-о!.. Вот теперь ну-ка!.. Ещё, может, мало тебе?!.. жадёра ты старая!..

Павел Андреевич почувствовал, что ему невыносимо тяжело и что эта сцена должна быть кончена. Но как, как? Проснуться ему? Это испугает её до сумасшествия...

Вдруг в комнате Ефима послышался шорох и шаги. Павел Андреевич вздохнул свободно и легко.

– Ну и штучка! – послышался изумлённый возглас Ефима.

Девочка не слыхала ни шагов, ни шороха, но она услышала восклицание.

Вскочив на ноги, она бросилась к двери, и вслед за ней, предательски звеня, покатались серебряные и медные монеты. В дверях стоял Ефим с испуганным лицом.

Она попала прямо в его простёртые к ней навстречу руки.

– Дяденька!.. – вскрикнула она умоляюще тоскливо.

– Ах ты, дрянь!.. – густо зашептал Ефим. – Воровка ты!.. А?!. Я те!..

Павел Андреевич решил, что пора выступить на сцену и ему.

– Ефим!.. – крикнул он, встав с дивана, и, подходя к двери, строго спросил:

– Это что за возня?

– А... ворует, Павел Андреевич!.. – растерянно забормотал Ефим, крепко держа девочку в своих руках и как-то странно и недоумевающе переводя глаза с неё на Павла Андреевича. – Ворует... А...

Девочка вся дрожала в испуге и волнении и крепко жалась к нему, стараясь не видеть барина.

– Её пригрели, можно сказать, а она... на-ко вот!.. – говорил Ефим. – Обокрасть хотела! Такая-то малюсенькая! А?!. Ребёнок, а тоже поди-ка!.. человек вполне. Ах ты... ты... ты... девчонка скверная! Ух ты... ты... ты!.. Ах, ах!.. Да разве можно в таком малом возрасте воровать?!.

Павлу Андреевичу страстно захотелось, чтоб это скорее кончилось... И тоном полного равнодушия, с странной торопливостью, удивившей Ефима ещё более, чем самый тон, он заговорил:

– Вот возьми рубль, найми извозчика и отвези её домой. Скорее!.. Слышишь?

Живо собирайся и – марш! Отвези и отдай! И не говори ничего там дома у неё... Или нет, скажи всё; да лучше скажи, всё как есть и скажи! Ну, ступай же, ступай!

Ефим замолчал и, как-то особенно внимательно посмотрев на барина, надел свою шубу и стал торопливо кутать молчавшую и всё пугливо жавшуюся к нему девочку – в её лохмотья.

– Ну, идём! – сказал он, кончив одевать её, и быстро вышел из комнаты, тихонько толкая девочку вперёд себя.

Павел Андреевич всё ещё стоял в дверях.

– Извозчик!.. – донеслось до его слуха с улицы. Прогремела пролётка и остановилась у крыльца. Потом опять загремела, глухо, протестующе...

Тогда Павел Андреевич вошёл в комнату, прибавил света в лампе и сел к столу, где за пять минут перед тем маленькая девочка рассматривала его вещи. Павлу Андреевичу казалось, что они приняли для него какой-то новый, чуждый ему отпечаток. Он сидел и сосредоточенно-мрачно смотрел на них.

– Это долго не забудешь, чёрт возьми! – вполголоса проговорил он. – О да, очень долго!

Он встал с кресла и взволнованно подошёл к окну. Ночь была темна и тиха.

Дома напротив окна, одетые тьмой, были мрачно-холодны.

– Как это странно!.. Как это гадко! – угрюмо прошептал Павел Андреевич и прислонился лбом к холодному и влажному стеклу окна. Он чувствовал себя разбитым...

Он давно уклонялся от жизни, и ему казалось, что он достиг этого, что жизнь никогда не сумеет задеть его, нарушить его безучастное отношение к ней, что он гарантирован от тех тяжёлых дум, волнений, которые остались там, далеко назад, и которые некогда волновали его... И вот они снова врываются... уже ворвались в его душу!..

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax – Да неужели же нельзя быть свободным? Не чувствовать себя обязанным что-то делать, чем-то волноваться – нельзя? Хорошо. Но если так – это рабство! – Он вытер рукой влажный лоб и прошёлся по комнате. – Может быть, это у меня нервы? Только нервы? И... скоро пройдёт?..

Часы тикали быстро и резко – тик-так, тик-так! В комнате было пусто, холодно и как-то особенно тихо. Так тихо никогда не было в этой комнате.

Исключительный факт

Николай Петрович Дудочка считал себя философом, и это обстоятельство было одной из причин его воскресных прогулок по кладбищу. Он знал троих философов, выработавших себе некоторые особенности: Бенедикт Спиноза любил наблюдать жизнь и нравы пауков и весело смеялся, когда они пожирали друг друга; аккуратность Иммануила Канта служила лучшим средством для проверки часов кенигсбергских обывателей; а товарищ Николая Петровича – Акакий Двоеточие, землемер по профессии, но по призванию тоже философ, всякий раз, когда говорил о чём-нибудь мудром и высоком, задумчиво дёргал себя за левое ухо и во время пауз глубокомысленно высовывал кончик языка, чем как бы дразнил и слушателя, и те вопросы, о которых говорил.

Николай Петрович тоже приобрёл себе особенность – прогулки по кладбищу в воскресенье от двенадцати часов утра до трёх дня.

Случилось это так: однажды он, не зная на что бы убить свободное время, пошёл гулять по городу и незаметно для себя, увлечённый своими думами, очутился на nive мёртвых.

Это было весной. Кустарники и деревья, густо покрывавшие старое, тесно засеянное могилами кладбище, только что оделись в пышные свежие одежды; их гибкие ветви ласково осеняли камни памятников и поросшие шёлковой зеленью холмы; солнце сияло так молодо и ясно... а когда над могилами проносился лёгкий и душистый весенний ветер, трава и листья меланхолично вздыхали, точно сожалела о тех, что лежат в земле и никогда уж больше, никогда не увидят весны и не послушают её музыки. Тяжёлые памятники, теряясь в зелени, смотрели из неё так хмуро и сосредоточенно и, казалось, были недовольны тем, что эта весёлая весна не оставляет в покое и кладбище, отнимая у них ту солидную важность и тоскливую красоту, которая так полна осенью гармонии с голыми сучьями дерев, жёлтым листом, опавшим на землю, и с серым, печальным небом. Теперь все они лишились цельности, и это весеннее, яркое небо, и весёлая зелень, и рой бабочек, порхающих повсюду, всё, что принесла с собой весна, – отталкивает их на задний план, тушует собой и как-то обворовывает их.

Николай Петрович ходил по кладбищу и думал о равнодушии природы, о жалкой участи людей, о вечном покое смерти и обо всём, что вызывает в уме вид массы могил, облитых живыми лучами весеннего солнца. Ему понравилось это печальное место; оно так сильно волновало мысли и заставляло так грустно и глубоко задумываться; понравился ему и самый характер дум, и, наконец, он сам себе понравился, как человек, умеющий подумать о жизни и притом думающий совершенно в духе времени.

Он не любил читать, но пессимизм, тот, что встречается в обыденной жизни, по большей части надутый или рисующийся, редко умный и искренний и никогда философский, – был знаком ему и нравился своим фронтёрством.

Покойный Акакий Двоеточие говорил ему, что пессимизм – это единственная умная теория в свете и что всяк, кто не пессимист, – трус и идиот: «Ты, братец мой, вникни только: всю жизнь насмарку! понимаешь? Всю жизнь! Вот что такое пессимизм!

Самый, братец ты мой, высокий скачок человеческого ума, ибо дальше отрицания жизни никуда не пойдёшь. А коли там разные эти говорят, что, дескать, все должны жить для жизни, плюнь им в рожу! Никакого, братец мой, толку из этой жизни не может быть; я, Акакий Двоеточие, в том тебе порука! Выпьем-ка ещё!..» Они выпивали, – и бедняга Акакий допился, наконец, до белой горячки, чем закончил свою жизненную карьеру и дал лишний предлог своему товарищу чаще посещать кладбище.

Потом он уже настолько привык, что то воскресенье, в которое почему-либо ему не удавалось совершить своей прогулки, казалось ему потерянным. Ему было болезненно

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
приятно сидеть где-нибудь в тенистом уголке на могиле, думать о том, кто лежит в ней, и день за днём восстанавливать пред собой его жизнь. Выходили грустные истории, и чем более логично они были построены, тем более Николай Петрович нравился себе и тем дальше уходил от здоровой жизни в мир болезненно тоскливой фантазии, в мрачно красивый мир, заслонявший собой ту простенькую жизнь, что проходила перед его глазами в течение недели, от одного воскресенья до другого. Служба, товарищи, женщины, всё понемногу теряло в глазах Николая Петровича свою цену, рисуясь ему мелким и смешным...

Над ним стали смеяться, заметив, что он избегает общества, о нём заговорили, что он хочет пойти по стопам пьяницы Двоеточия, зашибленного жизнью, безвольного, жалкого человека, смеялись, клеветали, но, как всегда это бывает, никто не догадался серьёзно заглянуть в его внутренний мир; он обозлился, и скоро вышло как-то так, что он остался совершенно одинок и ещё более полюбил свои экскурсии в область пессимистических предположений и картин. И, всё более влюбляясь в себя, гордясь своим исключительным положением, он потерял, наконец, интерес ко всему, что выходило из рамок его меланхолических фантазий. В этой жизни, среди людей, не связанных друг с другом ни солидарностью целей, ни взаимным уважением и верой друг в друга, так легко и быстро можно погибнуть и потеряться, раз сам недостаточно стоек и не имеешь никого, для кого бы твоё существование было ценно и важно.

День, в который Николай Петрович был очевидцем исключительного факта, – факта, чуть было не выбившего его из пессимистической колеи и о котором он после рассказывал, скрывая своё смущение за скептическим тоном и улыбкой, этот августовский день был сух и жарок.

Сняв шляпу и обмахиваясь ею, Николай Петрович ходил по извилистым дорожкам кладбища и, в сотый раз прочитывая надписи на крестах и памятниках, грустно улыбался им, как старым знакомым. Бывшие люди, лежавшие мирно и покойно под этими крестами и памятниками, были наделены Николаем Петровичем сочинёнными им биографиями, и он расхаживал, ничуть не убавляя мрачных красок и тоски, а ещё более увеличивая их.

У него прогрессировала страсть к творчеству несчастий и бед, коими он уснащал и без того, наверное, не очень светлую жизнь своих упокоенных объектов.

На кладбище было тихо и пусто. Деревья и кусты замерли в знойном воздухе и, не шевеля листвою, стояли и, казалось, так же как и Николай Петрович, – думали о смерти, несчастиях, горе и о прочих неприятных вещах. Трава на могилах, покрытая пылью, тоже грустно склонила стебли...

Николай Петрович проходил мимо богатого мавзолея, обнесённого вычурной решёткой, с клумбами цветов, разбитыми в ней. Цветы заставили Николая Петровича улыбнуться.

«Цветы на могиле! – думал он... – Тот, кто посадил их тут, посадил несомненно с добрыми намерениями; но их присутствие от этого не стало более уместным. И мне кажется, что они как бы говорят тому, кто лежит там, в земле, дающей им сок жизни:

«Смотри, ты умер, но это нам ничуть не мешает цвести!» И ничему не мешает твоя смерть.

Ты, может быть, что-то думал о себе, чем-то считал себя? Напрасно. Был ты, – была жизнь, и нет тебя, – есть жизнь. И твоё присутствие или отсутствие в жизни не даёт ей никакого особого колорита. Может быть, ты предполагал, что ты был нужен кому-то и что кто-то будет сокрушаться о тебе? Я часто хожу мимо твоего места и никогда не видал, чтоб трава вокруг решётки твоего памятника была смята. Очевидно, никто не бывает у тебя, дружище!.. Может быть, ты куда-то порывался, когда жил, – и это сделало твою жизнь мучительной и беспокойной?.. Э, лучше бы ты помнил всегда о том, что все порывы ввысь только ускоряют тот день, в который мы отправляемся вниз, в землю, где так сыро и холодно и куда не следует торопиться, раз ты появился на свете, ибо всё равно не избежишь того, что неизбежно...»

Николай Петрович вздохнул и оглянулся.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Кладбище в этот знойный день было настроено в унисон с его мирозозерцанием.

Безмолвное, пустынное, подавленное зноем, оно смотрело каждой деталью своей в жаркое небо так сосредоточенно–мрачно и неподвижно, точно говорило ему: «Всё созданное и одушевлённое тобою принадлежит мне. Ты всё–таки хочешь создавать? Спасибо за хлопоты; но, право, не знаю, нужны ли они тебе и мне».

«Старая игра в создание и разрушение – жестокая игра!» – думал Николай Петрович; но мирился с ней, – она необходима. Мы так легко миримся со всем и так быстро привыкаем ко всему, что давно бы уже привыкли к мысли о бесцельности бытия, если б подобная мысль не оскорбляла наше тщеславие.

«А! вот она, могила известности! Ну что, старый идеалист? Каково тебе там?

– остановился Николай Петрович перед свежей могилой, покрытой венками. – Отдыхай от своей трудовой жизни, за которую тебе заплатили этими пошлыми венками и – только!

Твои похороны помпой и пышностью, которой они были обставлены, доставили много развлечения обществу, и твоя смерть дала готовую тему для разговоров и газетных статей на три дня. Это всё. Немного мало за сорок лет работы, немного мало!.. И до сей поры никто не позаботится привести в порядок твоё последнее место на земле...»

Николай Петрович пошёл дальше, кивнув могиле головой. Он помнил человека, что лежит в ней. Больной, иссохший старик с лихорадочно возбуждённой речью и не по–старчески энергично сверкавшими глазами, вечно очём–то хлопотавший, что–то отстаивавший, кого–то проклинавший, – был ему совершенно непонятен. «Какие пружины им двигают?»

– спрашивал себя Николай Петрович, когда видел, как тот злился, радовался, тосковал и всячески сокращал свои дни. И ему казалось, что этот старик, несмотря на всю красоту и цельность его внутреннего мира, недалёк. Неужели он не понимает, что все его хлопоты – жалкий пух? Разве он считает себя способным перестроить жизнь? Перестроить жизнь – это значит, по крайней мере, создать нового человека... И он про себя улыбался скептически, когда слышал об удачах или неудачах этого старого чудака.

Месяца полтора тому назад этот чудака отошёл в царство теней. Над его могилой поговорили об его заслугах и – покончили с ним. И из всего, что говорилось о нём, самой красивой и искренней речью была речь какого–то пьяного молодого человека.

– Прощай, брат! – сказал он. – Прощай, старый вояка! Ты оставил после себя гораздо больше торжествующих врагов, чем опечаленных друзей. Эт–то хорошо! Эт–то очень похвально!..

Николай Петрович вспомнил эту маленькую, но верную характеристику покойного и печально улыбнулся. В ней всё, до последней буквы, было верно... Врагов осталось больше, друзей – меньше... Много врагов имеет только хороший и честный боец.

Дорожка, по которой шёл Николай Петрович, повернула за большой мраморный памятник, и из–за него прямо на Николая Петровича вышли два мужика. Они смущённо посторонились, прижимаясь к решётке памятника и, молча, вопросительно посмотрев в лицо встретившегося барина, пропустили его мимо себя.

– Спросить бы у него... – услышал Николай Петрович возглас вполголоса.

– Ну, чего? Говорю, знаю где! Видал я, как хоронили–то.

«О ком бы это они?» – подумал Николай Петрович и пошёл вперёд. Но через минуту он ощутил в себе желание узнать, кого они ищут, воротился, и тихо пошёл по дорожке вслед за ними. Впереди его, шагах в десяти, сквозь ветви кустов и меж памятников, тихо плыли две серые, отрёпанные фигуры, то и дело оглядываясь вокруг себя и останавливаясь.

– Вот она! – донеслось до ушей Николая Петровича довольное восклицание.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
«А, это плотники, очевидно! – подумал Николай Петрович и тотчас же вспомнил, что сегодня воскресенье. – Так они пришли просто смерить ограду...» Но это заключение не убило в нём интереса к двум мужикам. Он прибавил шагу и, подойдя ближе, увидел, что две серые фигуры стали на колени на сухие комья глины у могилы старого чудака, стали и истово крестятся, то и дело склоняя головы к земле.

– Ба!.. Вот как! – воскликнул Николай Петрович. Он почувствовал, что что-то острое, приятное кольнуло ему сердце, подошёл ближе и стал в двух шагах, за кустами, позади молившихся мужиков. Они молились усердно и долго.

– Го-осподи! – вздыхал один, постарше, в дырявом расстёгнутом полушубке, седой, грязный и лохматый, – вздыхал и, подымая голову к небу, долго смотрел туда.

Другой, молодой парень с сухим и хмурым лицом, молился молча, и всякий раз, когда он склонялся в землю, русые подстриженные в кружок волосы встряхивались и падали ему на лоб и виски. Он отводил их левой рукой, не переставая креститься правой.

Осенняя их тень, клён простирал над их головами свою вычурную листву и стоял неподвижно, замерев в зное летнего дня. Кругом всё молчало и было как-то особенно строго, пустынно..

Николаю Петровичу захотелось увидеть их лица, и он было сделал движение, чтоб обойти могилу и стать против них, но в это время старший вздохнул и, проговорив вслух: «Упокой, господи, душу его с угодниками твоими!» – кончил молиться и сел на землю, боком к могиле и в профиль к Николаю Петровичу. Младший тоже сел рядом, положив свой картуз на могилу, рядом с поблекшим венком живых цветов. По левой щеке старшего, обращённой к Николаю Петровичу, медленно стекала мутная слеза; она не отражала в себе лучей солнца, бывших прямо в старое, морщинистое лицо. Лицо младшего было сосредоточенно и сухо, лоб разрезан глубокой, вдумчивой морщиной; он вытащил из кармана своего серого суконного пиджака засаленный кисет и медленно свёртывал папиросу. Старый, обняв руками колена, молча сидел и покачивался взад и вперёд.

– Вот, значит, на этом самом месте и того.. – заговорил он, вздыхая.

– Как бишь ему фамилия–то была? – спросил младший, не подымая головы.

– Фамилия? – Старший поднял голову кверху, зачем-то плотно сжал губы и стал расчёсывать пальцами свою лохматую бороду. – Позабыл я фамилию. Мудрена была. Нам что фамилия?! Радетель был покойник, и–их какой! Как раз он земского агента за страховку расчесал! бра–ат ты мой!.. беды! Вы, говорит, что? Трутень вы, значит, вот что!

Крестьянство, говорит, своих денег не должно ждать!.. Ах ты, господи, сколько в нём души к крестьянству было!..

Старик умилённо замолчал и провёл заскорузлой ладонью по лицу.

– Один раз и я его тоже видал.. – закуривая папиросу, заговорил молодой.

– Видал? – оживился старый.

– Как же, возил его из волости на станцию. Седой, строгий. «Как, говорит, живёте?» – «Эх, мол, барин, даже отвечать трудно на это. И самим непонятно, как живём. То есть коли мы, мол, в этот год с голоду не околеем все как есть, запишите – великое чудо случилось! Хлеб у нас, мол, такой, мыши и тараканы не кушают, вот как!» И расписываю ему, значит. А он молчал, молчал, да и говорит: «Ну, ты, говорит, не очень куксись; оставь жалобы–то для баб. Хоть оно, говорит, и так, однако, говорит, и вы сами тоже не без греха. Гляди, говорит, в оба, а зри в три. Учись, разум тебе для того отпущен». И пошёл, и пошёл!.. И так это всё у него просто, складно, понятно.

Ах ты, думаю! Остановил лошадей, слушаю: «Ты чево, говорит, не едешь?» – «Да вот, мол, не слышно вас от колёс–то, потому гремят». Засмеялся. «Ах вы, говорит, младенцы!»

Потом хлопнул меня в спину и говорит: «Приходи ко мне, в городе будешь. Я тебе

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
расскажу, коли слушать хочешь...»

– Ну, и был ты? – спросил старик.

– Нет, не был. А к дому подходил раз, это точно. Подошёл, вижу, карета стоит у крыльца; постоял, посмотрел. Боязно. Чего я ему? Потом ещё кто-то приехал, тоже как бы очень важный господин. Ещё, ещё... Я и ушёл.

Он кончил разговор; докурив папиросу, бросил её на землю и сумрачно посмотрел на могилу.

– Н-да, был старатель для крестьянства. Теперь, брат, не попрыгаешь далеко-то, потому лишились! – проговорил старик и снова закачался.

Оба замолчали. В их позах много было такого грустного, потерянного, и по лицам, задумчивым и сиротски печальным, то и дело пробегали тени дум. Серые фигуры стали как-то ещё больше серы, неуклюжи, и их молчание казалось Николаю Петровичу невероятно красноречивым.

И, несмотря на то, что их губы не разжимались, ему казалось, что двое сирот всё ещё говорят о своём «радетеле», говорят теми же уродливо скомпонованными фразами и тем же маловыразительным тоном, которым говорили две-три минуты тому назад.

А кладбище сосредоточенно и бесстрастно молчало, всё облитое зноем и пустынное, несмотря на то, что было густо заселено. Кресты, памятники и зелень деревьев, всё кладбище было давно знакомо Николаю Петровичу; но теперь оно, казалось ему, приобрело какую-то новую холодную и жестокую черту, резко изменившую его общую физиономию.

Ему казалось, что каждый кусок креста и угол памятника, выглядывавшие из зелени, и сама эта зелень, мёртво неподвижная, – всё дышало в жаркое ясное небо холодом смерти и ироническим отрицанием всего живого, чувствующего и жаждущего жизни.

Николай Петрович глубоко вздохнул и потёр себе лоб ладонью. Ему захотелось поговорить с сиротами, но в это время старший из них повернул лицо к товарищу и снова заговорил:

– Тоже вот на земском однажды Телешевского барина разнёс он, ах ты, б-боже мой, как... Тот, значит, говорит: «Не родится хлеб, ну, так пусть овёс сеют!» Это про нас-то. А он встал и давай его шпынять. «Вы, говорит, я, говорит, крестьянство, говорит, – все люди! Одинаковые люди, вот как!» Да ещё и это не так, а «мужик, говорит, наш кормилец, и мы, говорит, его неоплатные должники. Потому, говорит, кабы не он, так вы бы, говорит, первый живот-то себе туго-натуго подпоясали; потому корму вам нет, коли мужика нет!» Чудесно он его расколос. Тот так и загорелся со зла-то.

Н-да! Человечек был, царствие ему небесное!..

И, крестясь, старик любовно посмотрел на могилу.

– Евстратова Николку в люди вывел, какой парень-то стал, башка! Приезжал прошлым годом к отцу-то, студент совсем как есть. «Через два, говорит, лета доктором буду», – сообщил младший и снова стал вертеть папиросу.

– Школа тоже... – снова начал было старый, но, махнув рукой, замолк.

Николай Петрович чувствовал, что у него устали ноги, ему захотелось сесть.

Сделав движение, он задел рукавом пальто за сучок. Раздался жалобный треск. Сироты дрогнули, повернув в его сторону головы, подозрительно и пристально посмотрели на него, отвернулись; младший задымил папиросой, громко сплёвывая слюну и равнодушно посматривая по сторонам, старший ткнул подбородком в свои колени и, похожий на ком тёмно-серой высохшей грязи, сделался неподвижен. Николай Петрович закрыл глаза и попытался восстановить тот взгляд, которым они оба с минуту смотрели на него.

Холодное любопытство и жёсткое недоверие светились в глазах младшего, а старший смотрел своими красными маленькими слезящимися глазами равнодушно и как-то

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
снисходительно. Николай Петрович решил, что пора ему уйти отсюда.

– Тоже венков наложили ему. Ишь!.. Пойдём, Ефим!.. – сказал старик, подымаясь на ноги.

– Айда! – коротко ответил тот и тоже встал с земли. Затем, обнажив головы, они снова начали молиться.

Младший молился молча, старший, захлёбываясь, шептал что-то.

– Ну, прощай! – встал на колени молодой и поклонился в землю.

– До будущего разу! – прошептал старый. Николай Петрович молчал и смотрел им вслед. Они шли качающейся, медленной походкой по извилистой дорожке и, ни разу не обернувшись назад к могиле, пропали.

Николай Петрович подошёл к месту, где они сидели, посмотрел на могилу и на покрывавшие её венки и улыбнулся. Венки были смяты, сухи, пыльны, жалки и как-то пошло смешны. Николай Петрович чувствовал себя скверно, недовольный их видом и ещё чем-то. Но ему не хотелось разбираться в себе.

– Ба! Что ж такое? Ну, это исключительный факт. Исключительный факт, и только!.. – и, пожав плечами, он быстро пошёл к ограде кладбища.

После, рассказывая обо всём этом, он начинал так:

– Однажды я наблюдал очень красивый, исключительный факт...

Убежал

Прошлявшись весь день по городу, голодный и озябший, Рыжик к ночи зашёл на какой-то двор, загромождённый грудами старого леса, и, найдя между брёвен и досок уголок, показавшийся ему достаточно незаметным для ночных сторожей и полицейских обходов, сунул в него своё отощавшее от голода и расшатанное четырёхмесячную болезнью тело, загородился от ветра досками и, пытаясь забыть о голоде, резавшем его внутренности, сжался в плотный маленький ком и задумался.

За четыре месяца, проведённые им в тошнотворных жёлтых стенах больницы, в борьбе с тифом и культурой в лице доктора и условиями больничного лечения, он привык думать подолгу и помногу, и эти думы, оставляя в его груди скверный и горький осадок, создали ему острое и злое настроение и какой-то вызывающий, воинственный тон по отношению ко всему существующему.

Этот тон и настроение прежде всего привели Рыжика к ссоре с больничной прислугой, затем вчера, по выходе из больницы, к более важной для него ссоре с нужным человеком Мишкой Ефрейтором, одним из пособников по сбыту краденого. Рыжик пришёл из больницы прямо к нему с целью взять маленький аванс в счёт будущих операций с чужой движимой собственностью, но Мишка, посмотрев на худую, иссушённую тифом фигуру старого клиента, отнёсся к нему скептически, заявив, что едва ли можно будет скоро получить с него сумму, которую он просит, потому что на его, Мишкин, взгляд – Рыжиково дело плохо, здоровье-то всё вышло да, надо думать, и уменье с собой унесло.

Это оскорбило Рыжика, хотя в другое время он не оскорбился бы гораздо бóльшим.

– Ну, и что ж ты полагаешь? Не гожусь я, что ли, больше? – задорно и зло блестя глазами, спросил он Мишку.

– Не то, чтобы... а всё-таки... – неопределённо ответил тот, уставив свои маленькие глазки в закопчённый потолок принадлежащего ему кабака.

– Нет, ты скажи мне, по-твоему, мне теперь на печку, и всё уж? – допрашивал Рыжик, чувствуя, что в его груди что-то клокочет и просится из неё на волю потоком злых ругательств.

Мишка открыл ящик с «выручкой» и молча зазвенел медяками. Рыжик крепился и ждал... Но, глядя на сытую, крепкую фигуру Мишки, тепло и чисто одетого, на его красное, здоровое лицо, до глаз заросшее чёрной кудрявой бородой, и на эти глаза, маленькие, острые, сверкавшие спокойно и доволью из-под красиво нахмуренных

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki.uva.br
чёрных бровей, – Рыжик ощутил в себе настоящую потребность сказать этому сытому человеку что-нибудь злое и обидное.

– Поди ж ты вот! – начал он, глядя в угол и как будто думая вслух. – Одному человеку воровство впрок, а другому кости сушит только.

– Это ты про кого? – спросил Мишка, пытливо оглядывая клиента.

– Говорю-то про кого? Про одного знакомого... А ты думал, про тебя?

Похоже, значит!

И, произнеся это, Рыжик зло усмехнулся в лицо Мишки. Мишка спокойно смерил взглядом стоявшего против него длинного и худого человека в рваных лохмотьях, с зелёным иссохшим лицом и невольно вздрогнул. Тот смотрел на него упорно, и его глаза сверкали так ярко, точно хотели что-то сжечь, а стиснутые зубы, резко обрисовав худобу щёк и острые скулы, придали лицу какое-то непримиримое и хищное выражение.

– Гм! – буркнул Мишка и, побуждаемый желанием отделаться от посетителя, протянул ему руку с медяками и заговорил: – Возьми вот! А из больницы ты рано вышел. Плох.

– Это тут сколько? – нервно отрывая от своей рвани лохмот, спросил Рыжик.

– Тут-то?... Полтина...

Тогда Рыжик, не протягивая руки к деньгам, громко засмеялся и, весь трясясь от смеха и обуревавшей его злобы, стал выкрикивать звонкими, высокими нотами:

– Спасибо! Оставь себе на саван!.. Жидомор ты!.. Хапуга!.. Грабитель!..

С каждым резким словом его как-то встряхивало, и, выкрикивая одно и то же слово по нескольку раз, наконец, крича что-то совсем уже несообразное и непонятное, он стал перегибаться через отделявший его от Мишки прилавок с очевидным намерением вцепиться Мишке в бороду...

Если б в тот момент Мишка догадался спросить Рыжика, что обидного видит он в предложении полтины, Рыжик не сумел бы ответить на этот вопрос и, смущённый им, наверное бы успокоился. Но Мишке, брезгливо смотревшему на своего разбитого болезнью клиента, не пришло в голову такого вопроса, и, не ощущая в себе ничего, кроме настоящей потребности поскорее отделаться от Рыжика, он отвечал на его ругань суровым и холодным тоном сытого человека:

– Ну, ты, брат, вот что, – сказал он Рыжику, когда тот перестал уже кричать и, задыхаясь, кашляя и скрипя зубами, упал на прилавок, – ты уходи прочь. Слышишь?!

Пшёл!.. Орать тут нечего. Думать – думай, что хочешь, но про себя, а орать ты не можешь. А ежели ты не уйдёшь, можно вытолкать в шею... а то, так полицейского пригласить...

– Полицейского?! – прошептал Рыжик, поражённый. Мишка Ефрейтор, старый, известный полиции покупатель краденого, человек, судившийся у всех мировых города, – позовёт полицейского для того, чтоб отправить в часть его, Рыжика, делавшего с ним, этим Мишкой, большие дела!.. Полицейского, их общего врага!..

Мишка спокойно задвинул «выручку», повторил Рыжику ещё раз: «Пошёл вон, ну!» и, скрестив руки на груди, оперся спиной на полку с бутылками, сурово поглядывая на Рыжика.

Рыжик был ошеломлён его спокойствием. Он растерянно оглянулся вокруг себя.

Кабак был пуст и ещё холоднее и спокойнее своего хозяина смотрел на Рыжика закуренными и закопчёнными стенами.

– Уйду! Давай мне полтину! – глухо сказал он Мишке.

– Ну, я, брат, тебе не должен, – зевнув, ответил тот.

– Как это? – спросил Рыжик и, поняв ответ в угрожающем движении, сделанном Мишкой к нему, махнул рукой и, шатаясь, пошёл к двери.

– Подлец ты, Михаил! – обернувшись в дверях, простился он с старым товарищем и, хлопнув во всю мочь дверью, ушёл.

Эта сцена на несколько времени подавила его злобное настроение. Он долго ходил по городу, разыскивая товарищей, никого не нашёл и, наконец, снова разозлившись, усталый, голодный и иззябший, забился в штабель леса, намереваясь переночевать в нём.

Сквозь щели между досками ему было видно матовое зарево от городских фонарей; лохматые, тяжёлые тучи, слабо освещённые им, быстро бежали куда-то, гонимые сырым и холодным осенним ветром. От ударов ветра в доски штабеля по пустырю носились гулкие звуки...

Стараясь как можно плотнее закутаться в свои лохмотья, Рыжик вертелся с боку на бок и, чувствуя, что голод с каждым часом всё сильнее режет ему внутренности, прислушивался к боли и думал. Никто из товарищей за четыре месяца его болезни не пришёл к нему справиться о его положении, никто, точно их и не было на свете!..

А они были. И с поразительной ясностью перед ним вставали их отрѣпанные волчьи фигуры, одна за другой, со всеми особенностями физиономии, речи и специальности каждого.

Каждый из них почему-то представлялся ему «за своим делом».

Вот Курдик – специалист по просушке белья. Тонкая фигура на поражённых ревматизмом длинных дрожащих ногах, хищно согнувшись, тихо крадётся вдоль забора к верёвкам с развешенными на них простынями, рубахами и платками...

Курдик пропадает в какой-то странной мгле, и на смену ему выступает мрачный конокрад Алёшка. Он стоит около чьей-то лошади и, нахлопывая её рукой по крупу, глухо сипит: «Тпру, голубушка, тпру!.. Хо-хо-хо, милая!..» И вдруг его мощное тело вваливается на лошадь, он бьёт её и исчезает с ней, оставляя за собой хриплый рёв и гул от ударов лошадиных копыт... Рыжику кажется, что эти звуки раздаются где-то в его голове, ему делалось больно, и он вздрагивал от холода и страха, что с ним снова начинается бред, долго возился в своей норе, и, когда, усталый, снова укладывался, – пред ним вставала другая фигура старого товарища... Все они были так или иначе обязаны ему, и, казалось ему, гораздо больше, чем он им. Пьяный солдат Савелий, с разбитой в драке с полицейским физиономией, глухо бормочет: «Никогда я тебя, Рыжик, не забуду, что ты меня выручил, – никогда!..» Рыжику даже кажется, что он чувствует удар руки Савелия по его плечу...

«Эх вы, люди!..» – думает он, вспоминая, сколько ему стоило выручить Савелия из рук знакомого полицейского, заставшего неосторожного и неповоротливого солдата за исследованием прочности замка у одной лавки. Сколько он тогда заплатил хожалому!.. Теперь бы эти деньги!..

Ветер поёт свои скучные осенние песни, и Рыжику кажется, что и ветру обидно и горько за людей, которые не умеют платить старые долги...

Затем мысль его прерывается, и вот он в больнице... Скучные жёлтые стены и утомлённые, серые лица сиделок и прислужников сливаются перед ним в один тоскливый фон, и на нём разительно резко рисуется некоторый обидный и горький эпизод...

Это было, когда он уже выздоравливал. Он лежал с закрытыми глазами и услышал, что к койке его подошли двое:

– Ба! Эта подозрительная личность, кажется, хочет ожить! – сказал один из подошедших.

– Совершенно верно-с! Температура понижается, уже тридцать восемь и три.

Они живучи-с! Настоящие волки... – почтительно ответил другой...

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
И, пошуршав какой-то бумагой над головой Рыжика, они отошли от его койки.

Рыжик почувствовал, что каждое слово падало куда-то внутрь его маленьким и острым куском льда. Как они говорят о нём?.. Как о собаке...

И ему вспомнилась его собака... Это была славная большая чёрная собака, Гуляй, не подпускавшая к себе никого, кроме своего хозяина. Хорошо иметь собаку...

и привыкает скоро и не требует с тебя почти ничего; не то, что человек. Где-то теперь эта собака?..

Ветер выл, носясь по пустырю, и, налетая на груды старого леса, громко стучал досками.

Рыжик высунул голову из своего убежища и, посмотрев вокруг себя, тяжело вздохнул.

Было так темно, страшно и холодно... И до утра, должно быть, ещё долго...

Где-то очень близко раздался рокот трещотки ночного сторожа. Рыжик дрогнул и снова забился в доски.

«Чего он прёт сюда? чего? пустырь ведь... что тут есть, oprичь дерева?..

а лезет, чёрт!.. эх, люди, люди!..»

Рыжику показалось, что сторож уже пронюхал его и идёт затем, чтоб прогнать... будет кричать и ругаться, может, засвистит даже...

«А что ж такое пустырь? Если у меня своей квартиры нет, я имею полное право ночевать на пустыре».

Трещотка нахально звучала, всё приближаясь.

«Ежели собаки при нём нет, то он не учует меня. Не учует ни в каком разе.

А вот, ежели собака... Экая робкая мысль у меня пошла после болезни-то?.. что ж такое сторож? Стучит, – ну и стучи! Разве это может помешать мне? Пожалуйста, стучи! Вот он прёт, дьявол!.. Ишь ты!.. ну, повалил!.. И собака...»

Сторож был близко. Слышались тяжёлые шаги и ласковое повизгиванье собаки...

Рыжик ощутил тревогу и вместе с ней прилив горячей злобы. Ему захотелось даже вылезть и стать прямо нос к носу со сторожем... трусы они, эти сторожа!.. Но его тело, изломанное холодом, голодом и болезнью, отказывалось повиноваться воле, к тому же послышалось рычанье собаки и уже на этот раз где-то совсем рядом.

Сторож постукал палкой по доскам и крякнул внушительно, глубоким басом.

«Должно быть, здоровый, дьявол!» – тоскливо подумал Рыжик и осторожно завозился, стараясь глубже забраться в свою нору; но, сделав неловкое движение, толкнул одну из досок, загораживавших впадину, где он лежал; раздался шум, грозное рычанье, и прямо перед собой Рыжик увидел тёмную морду большой собаки. Он видел только круглый лохматый кусок, но ему казалось, что на нём он различает оскаленные зубы и злые, горячие глаза.

– Пшла прочь!! – заорал он благим матом и, попытавшись вскочить на ноги, больно ударился плечом и головой.

Собака отскочила, испуганная его криком.

Рыжик сел на корточки и без дум, одеревенев от тучи смутных чувств, над которыми преобладал страх, застыл в своей позе, точно ожидая, что будет дальше.

Несколько секунд длилось невероятно долгое молчание, нарушаемое подозрительным рычаньем собаки.

– Ну, вылазь! – раздался глухой, сиплый голос, и вслед за ним собака снова

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
сунула свою морду.

Услышав голос человека, Рыжик как-то сразу встряхнулся и пришёл в себя.

– Вылазь, говорю! – нетерпеливо и грозно командовали ему.

Но теперь его не смущал этот тон. Всё равно вылезть придется.

– Вылазь, ч-чёрт, а то свистну! – крикнул в третий раз сторож.

– Сви-и-стнешь?! – переспросил Рыжик. – Ну, это, брат, ты погоди! Не имеешь права. Я и сам могу тем же ответить! – заговорил, наконец, Рыжик уверенным тоном, даже с оттенком некоторого задора.

– Полицию свистну! Лезь, чёрт!..

– А-а, полицию!.. – протянул Рыжик. – На что? Чтобы больного человека в часть забрала? Изволь. Если на тебе нет креста, то изволь! Но собаку убери, в пасть ей я не полезу.

– Гуляй, прочь! – гукнул сторож.

Собака отскочила, громко рыча; но Рыжик не вылезал.

– Ну, что ж ты, проклятая харя, не лезешь?!. а?!. – торопил сторож.

– Лезу, лезу! погоди. А где это ты, мил человек, собаку взял? э? чья это собака?
– спросил Рыжик, высовывая голову и пристально рассматривая собаку, сидевшую у ног сторожа.

– Да ты полезешь?!. али тебя огреть палкой?!.

– Погоди, не зевай! – пренебрежительно ответил Рыжик. – Чего разорался?

Али не узнал я тебя, думаешь? У меня, солдат, память-то подлиннее твоей. И я тебя сразу по голосу узнал. И хоть рыло твоё не вижу, но знаю, что это ты.

С этими словами Рыжик, согретый вдруг вспыхнувшим в нём чувством надежды на помощь со стороны старого товарища, неуклюже вывалился из своей норы.

– Гуляй! – стал он манить собаку, щёлкая пальцами и причмокивая губами.

– Али не узнал хозяина? Гуляй! по-оди сюда, собака!

Гуляй лениво поднялся и, замахав хвостом, посмотрел на сторожа, точно желая спросить его о чём-то.

– Что за человек? кто таков? – тоном некоторого беспокойства заговорил сторож и, ткнув собаку ногой, стал поправлять громадный овчинный воротник тяжёлой серой шубы, делавшей его похожим на неуклюжий, громадный пень.

– Сс-кажите, как мы стали богаты и важны! уж и не можем узнать старых товарищей!.. Гуляй, подь сюда! Ах ты, проклятая собака!..

Но собака не шла к Рыжику. Отойдя в сторону, она села на землю и, не обращая внимания на своих хозяев, стала усердно чесаться.

Это возмутило Рыжика. Он поднял с земли сухой ком грязи и с ругательством бросил в неё. Рыча, собака отбежала дальше.

– Да это ты, что ли, Григорий? – угрюмо спросил сторож, высунув голову из воротника.

– Признал, значит? Покорно благодарю! – сыронизировал Рыжик. – Как, братец мой, в сытом-то виде мы слабы на память! а?

– А говорили, что ты умер! – тоном почти сожаления заявил сторож. – В больнице, дескать, от тифу...

– Ан я вот не умер. Н-да. А ты как это в чин попал? а?

Рыжик стоял, глубоко сунув руки в рукава своей рвани и, весь сжавшись под ветром, плотно прижимался к брёвнам, точно боясь, что ветер сошьёт его с ног. Громадная фигура товарища, закутанная в тёплую, тяжёлую шубу, производила на него странное впечатление. Что-то горькое и злое ныло в голодном нутре Рыжика и рождало в нём желание поколотить эту тушу. Это желание было так сильно, что на некоторое время скрыло за собой и чувство голода и зародившуюся надежду на помощь. Молча Рыжик смотрел на неподвижного и поражённого встречей старого товарища и, чувствуя, как ему с каждой секундой всё сильнее хочется чего-то острого и потрясающего, не знал – что бы ему сказать.

– А говорили – умер, дескать... – начал сторож, смущённый странным молчанием и чувствуя, что надо что-нибудь говорить. – Как же ты это, брат, теперь? а?

Расстроенные болезнью и наточенные злобой нервы Рыжика стали чутки, как туго натянутые струны. Его ещё пуще злил какой-то странный, виноватый тон товарища, и, не видя в нём ничего, что бы говорило, что ему приятна встреча с ним, Рыжиком, – он сразу возненавидел его. Ему ещё сильнее хотелось сделать что-нибудь такое вредное для Савелия, собаки, всего мира...

– Ну, как же ты – рад, что видишь меня? – спросил он, едко усмехаясь.

Савелий как-то глупо завозился на месте.

– Я-то? я рад. А что ж ты теперь?.. как?

Дальше он не мог сказать ничего, почувствовав себя в опасном положении, и вдруг, вдохновлённый этой опасностью, заговорил быстро и придвинувшись к Рыжику:

– Вот что, браток! Ты лезь опять туда... а я пойду. Потому мне нельзя, обход скоро пойдёт. А к утру я за тобой зайду... И мы, значит, поговорим обо всём... а то я, видишь ты, сторож... и, значит, обязан, коли что, сейчас забрать и представить в часть. Служба, браток; ничего не попишешь!.. – И, тяжело вздохнув, Савелий замолчал.

Рыжик не откликнулся ни звуком.

Наступила скверная, тяжёлая минута, усиленная ещё тем, что ветер, завывавший на пустыре, вдруг замолчал, точно желая яснее расслушать всё то, что будет сказано дальше. Тучи, тяжело двигавшиеся по небу, на минуту разорвались. Молочные и холодные лучи луны любопытно глянули на пустырь и, осветив мутным светом двух людей, молча стоявших друг против друга, собаку в стороне от них и тяжёлые, громадные кучи дерева, – снова скучно спрятались за тучами.

– Гуляй! поди сюда! Гуляйка! – крикнул Рыжик сардонически звенящим голоском.

Ему было приятно молчать; он понимал, что это молчание очень мучает Савелия.

– Гуляй!..

Собака двинулась к нему, виляя хвостом и в то же время посматривая на нового хозяина. Её новый хозяин нетерпеливо мялся на месте и боязливо оглядывался вокруг себя.

– Видишь ли ты, – заговорил он тоскливым тоном и как-то глухо, нехотя, – в сторожа я попал. Такое тут дело вышло, и попал я, значит... Так вот теперь и наблюдаю.

Служба, брат!.. Тру-удно! Потому – чуть что, и слетишь... И то насилу, насилу приняли.

Кто таков? Солдат – Савел! А, известен! Невозможно! Ну, а Антип Митрич говорит:

«Иди, говорит, сторожи мои штабеля, три рубля в месяц, и помогать дворнику. И харч хозяйский». Пошёл, потому – надоело это мне, цыганить-то. И караулю, значит.

– Гуляйка!.. У, чёрт лохматый! Узнал хозяина!.. а-а, шельма!.. Узнал!..

Рыжик ласкал подошедшую к нему собаку и, вскользь бросая взгляды на смущённую и убитую его поведением красную усатую рожу Савелия, наслаждался. От холода его трясла дрожь, но он точно не замечал этого, согреваемый своей маленькой мстью и не пытаясь даже плотнее завернуться в свои лохмотья.

– Мил-лая собака!.. – чмокал он губами, глядя Гуляя, довольно равнодушно относившегося к его ласкам.

– Ах ты, господи! – вздохнул Савелий и, передвинув рукой шапку на голове, снова начал вяло и скучно говорить: – «Будешь, говорит, исправен, похлопочу, чтоб тебе участок дали. Рублей, говорит, двенадцать наберёшь. Но, говорит, смотри! Помни, кто ты». Ну, я и того... Ты бы, брат, улез в дыру-то до утра. Как я кончу дежурство, так и того... а теперь опасно мне. Обход должен сейчас поехать. Лишусь я через тебя места и прочее такое! Плюнь, брат! Улезь!

Рыжик, слыша его просительный и боязливый шёпот, ликовал.

– Гуляйка! Милая собака! Небось, ты вот меня за три целковых не продашь?

а? У, ты!..

Савелий понурил голову и стал тыкать палкой в землю. Рыжик продолжал:

– Друг ты мой, Гуляй! Собака ты, но супротив тебя человеку не устоять. Душа у тебя есть. Жалеешь ты меня? Вижу, жалеешь! потому – и я ведь собака...

– Собака и есть! – вдруг вскинул головой Савелий.

– Ну?

– Собака, мол, и есть! Тебя честью просят, не подводи человека, а ты – своё. Чёрт паршивый! Лезь, коли хошь!

Рыжик не ожидал такого взрыва, не приготовился к нему и был поражён им.

– А как не хочу?! – нашёл он вопрос.

– А, так я тебя силком засуну али в полицию сведу. Понял? Ты что думаешь?

Мне, брат, всё равно. Я Мишку Косого прошлый раз отправил. И очень были мной довольны. Что я могу делать, коли с вашим братом сладу никакого нет!

Савелий воодушевился. Он почувствовал на своей стороне силу и ещё что-то, поддерживавшее его.

– Дурак, говорил тебе – лезь! вон обход едет! слышь? лезь, чёрт! заберут!

А то сам сейчас засвищу! Ну!..

Но Рыжик не полез. Он почувствовал, как что-то горячее и удушливое хлынуло ему из груди к горлу, крякнул, заскрипел зубами и вдруг истерично закричал:

– Не хочу! Не лезу! Гуляй! Пшёл сюда! Я – твой хозяин! Гуляй! давай воровать!

Смотри, солдат, ташу! Хочу доску спереть у тебя, солдат! Что ж ты меня не хватаешь?!

а? Ну, свисти! Свисти, подлец! Мерзавец ты! Узы его, Гуляй! Рви его!! рви его, Иуду!!.

Рыжик пришёл в исступление. Он начал дико кричать и, вцепившись в шею собаке, пытался бросить её на Савелия.

Собака громко завывала, вертясь в его руках, и вдруг вцепилась ему в ногу.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Дико вскрикнув, Рыжик, как сломанный, свалился на землю и, воя, как волк в капкане, стал кататься по ней.

Разозлённый Гуляй метался вокруг него, пытаюсь вцепиться ему в горло, а солдат растерянно стоял и, нелепо размахивая палкой по воздуху, резко свистел, закинув голову в небо.

Послышался топот лошадей, и на пустырь выехали две серые конные фигуры.

– Что такое? – торопливо спросила одна из них, спрыгивая на землю и обращаясь к Савелию, ещё не успевшему перестать свистеть.

Савелий тупо оглянулся на Рыжика, откатившегося к стороне. Над ним уже склонился другой полицейский и поднимал его с земли.

– Что за шум? Ну! – повторил свой вопрос полицейский, встряхивая Савелия за шиворот.

– Человек пришёл... – забормотал Савелий. – Пришёл и прёт доску. Я, значит, и засвистел... Господи!.. – вздохнул он убито.

– Человек пришёл!.. – передразнили его и, сунув кулаком в лицо подведённого Рыжика, слабо всхлипывавшего, добавили: – Разве это человек? У ты, м-морда! Веди его!

Савелий неопределённо махнул рукой и не тронулся с места.

– Веди его, говорят! – крикнули ему.

Тогда он подошёл к Рыжику и, взяв его за рукав, глухо сказал:

– Пойдём!

– Смотри, чтобы не убежал! – напутствовали его полицейские и, сев на лошадей, скрылись в ночной тьме.

Рыжик шёл и молча всхлипывал, то и дело наклоняясь, чтоб дотронуться до ноги.

Шли какой-то пустынной улицей, среди заборов, из-за которых на улицу простирали свои голые ветви уродливые деревья. Улица была узка, и ветви висели над ней частой сетью. Казалось, что много длинных и тонких рук протянулись друг к другу и пытались сцепиться в крепком рукопожатии, но ветер, качая их, не позволял им сделать это, и деревья тихо и жалобно скрипели. Сквозь узоры ветвей видны были фатально плывшие в небе тучи, и их медленное, тяжёлое движение было так тоскливо и бесцельно.

Вдали виднелись тёмные силуэты каких-то построек, и жалкие огоньки фонарей, мерцая кое-где среди них, делали ночь ещё тоскливей и мрачней.

– Вот тебе, проклятый! – радостно взвизгнул Рыжик, взмахнув рукой в воздухе... И вслед за его визгом раздался жалобный визг Гуляя.

Савелий остановился.

– Что это ты собаку-то?.. – угрюмо спросил он, посматривая искоса на Рыжика.

– К-камнем тррахнул! Попал хорошо. Что, дьявол, воешь? Вой, вой! Я выл.

И ещё бы завыл, но больше голосу нет.

Рыжик захохотал дробным, металлическим смехом и грузно опустился на землю.

– Дальше я не пойду. Устал я и иззяб. Здесь я издохну. Дальше ни-ни! будет.

Он вытянулся на земле и замолчал, скорчившись в странный, лохматый ком.

Савелий тоже стал, молча оперся на палку и уставился на него глазами, переминаясь с ноги на ногу и желая сказать что-то.

Где-то неподалёку приютился Гуляй и тихо взвизгивал.

Минута за минутой, медленные и тяжёлые, проходили в молчании и точно камнями ложились на Савелия. Он, стоя над Рыжиком, сопел и, сгибаясь над ним, наконец, осторожно дотронулся до его плеча.

– Пойдём, брат! – сказал он, точно выдавив из себя эти два слова.

– Куда? – не поднимая головы, спросил Рыжик.

– В участок, – тихо прошептал Савелий.

– Н-не хочу! – двинулся Рыжик. – Не могу. Бывал уж я там... А ты пошёл прочь. Пошёл прочь! – звонко выкрикнул он, садясь на землю и показывая рукой куда-то вдаль. – Пошёл! – настойчиво повторил он, видя, что Савелий не двигается с места.

– Не могу я уйти, – заговорил Савелий, вздыхая. – Невозможно это. Нужно тебя представить. Ты не сердись на меня, брат! Что ж такое? Там тепло, и сыт будешь.

А то вон ты какой больной. Помрёшь ещё на улице где. Разве долго?

– Э-эх ты, Иуда!.. Иуда ты предатель! Товарища продал! Как собаку бы тебя камнем хватил, но сил нет. Оз-зяб я... и хвор, это верно. А хватил бы... ох, как бы хватил, кабы сила! Но ты... подлец! – И Рыжик снова вытянулся на земле.

– Эх, брат! – заговорил Савелий. – Непонимающий ты. Какая наша жизнь? Волчья жизнь! Хорошо это? Ну скажи! Вот то-то! – уверенно кончил он, видя, что Рыжик молчит.

– Рад я, что могу по-человечески пить, есть, а ты всю жизнь мог мне нарушить...

Ну, вот оно и вышло так... – И он снова замолчал, не умея сказать, как это вышло.

– Ну, а я? – ехидно спросил Рыжик, посмотрев на него, и закашлялся. Он кашлял долго, извиваясь змеёю на холодной земле. – Ну, а я? – ещё задыхаясь от кашля, повторил он.

Его вопрос, резко прозвучав в холодном осеннем воздухе, замер, покрытый тоскливым скрипом деревьев. Савелий молчал и думал.

– А ты!.. судьба уж такая у тебя! – произнёс, наконец, он, смущённо тыкая палкой землю.

– Су-удьба!.. Нет, не судьба, а потому, что ты мерзавец. Нет никакой судьбы, мерзавцы только есть! Понял?! – вдруг крикнул он.

Снова наступило молчание. Гуляй, перестав выть, подошёл к Рыжику, лежавшему среди улицы, и глухо заворчал.

– Пшёл! – крикнул на него Савелий и замахнулся палкой. – Слушай, Гриш, пойдём!

– В участок-то? – спросил Рыжик.

– В участок!

– Больше ничего мне и невозможно уж? а?.. Эх ты, подлец!.. – почти простонал Рыжик. Савелий молчал.

– Хошь, я уйду? Навсегда уйду, чтоб уж с тобой и не встречаться нигде, окромя страшного суда? Хошь?! – вдруг вскочил он с земли и стал против Савелия.

– Нельзя этого сделать, браток! Никак это невозможно! должен я представить тебя. Уж ты не спорь, пожалуйста. Что поделаешь? Жизнь у тебя такая. И никуда от неё не уйти тебе! – философски убедительно говорил Савелий и даже легонько хлопнул по плечу собеседника.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– Не уйду? никуда не уйду? Ой врешь, уйду! От всех вас уйду, и ничего вы с меня не возьмете. Да!

– Нет, брат, такого места, Гриша, куда так совсем уйти можно. И не ищи!

– вздохнул Савелий.

– А в реку ежели? – стуча зубами, еле выговорил Рыжик.

Савелий вздрогнул.

– Это что же? Это уж совсем швах дело! – быстро заговорил он. – Разве можно это говорить? Пустяки это, браток!

Говоря так, он ощущал безотчётный страх, усиливавшийся по мере того, как он присматривался к лицу Рыжика, синему, с оскаленными и стучащими зубами, острому и почему-то решительному до ужаса.

– Идём! – вдруг дёрнул его за рукав Рыжик и бросился бегом вперёд.

– Ну вот, давно бы! – радостно крикнул Савелий и, путаясь в длинных полах своей шубы, поспешил за ним.

Рыжик, длинный и худой, бежал и над чем-то смеялся. Громадный и тяжёлый Савелий, громко стуча сапогами по мостовой, пыхтел, как паровик, и еле поспевал за ним.

Смех Рыжика звучал неприятно, как смех сумасшедшего, и производил на Савелия угнетающее впечатление. Но довольный, что всё обошлось хорошо, он пытался не отставать от товарища, частыми, но мелкими шагами летевшего вперёд.

– Стой, Гриш! Не туда! Налево надо! Налево!.. чужак ты, налево!

– Врешь ты всё! – снова захохотал Рыжик, прибавляя шагу.

– Гриш, голубчик, али ты бежишь? Эй, брось! Невозможно это!.. Как же я-то? Пожалей, чай! – жалобно взывал Савелий вдогонку товарищу.

Пустынная улица была совершенно спокойна. Длинный ряд заборов, деревья за ними и тьма. Две людские фигуры и собака, бежавшие посередине её, не могли возбудить ни в ком интереса к себе.

Савелий кричал, и сердце его замирало от страха, что Рыжик убежит от него.

И вдруг он вспомнил, что сейчас они выбегут на берег реки к яру и что Рыжик может прыгнуть в неё. Это придало ему быстроты, испугав его до онемения.

Но Рыжик был уже далеко от него. Его длинная фигура, согнутая, точно переломленная посередине, всё более и более глубоко ныряла в тьму, и вот она пропала. Савелий задышался.

– Убежал!.. – звонко раздалось в воздухе последнее Рыжиново слово.

Послышался злой, резкий смех и через секунду звучный всплеск воды.

...Расставив руки и задыхаясь от усталости, Савелий стоял на краю обрыва и тупо смотрел вниз. Там было темно и страшно тихо. Чёрная, холодная вода текла медленно и бесшумно, так медленно и бесшумно, что, казалось, она неподвижна; а когда редели тучи, видно было, как ветер покрывал воду мелкой рябью.. но тучи снова оползали друг на друга, и вода снова казалась неподвижной, чёрной, страшной.

Савелий долго смотрел на неё. Наконец он вспомнил, что надо сделать, – крикнул, запрокинув голову к небу: «Караул!» и тотчас же, не давая замереть отзвукам своего крика, быстро сорвал с шеи свисток и разорвал тишину тоскливой осенней ночи отчаянным свистом..

– Человек.. в реку прыгнул!.. – заорал он, видя, что из тьмы уже появляются бегущие люди, и, схватив рукой первого, кто подбежал к нему, растерянно

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax забормотал:

– Рази я виноват?.. а?..

На соли

– Иди ты, брат, на соль! Там всегда найдёшь работу. Всегда найдёшь... Потому как дело это каторжное, отчаянное дело, долго на нём не настоишь. Бегут оттуда люди... не дюжат! Вот ты и повози денёк. По семь копеек с тачки дадут, чай... На день-то ничего, хватит.

Рыбак, рекомендовавший мне это, сплюнул в сторону, посмотрел в голубую даль моря и меланхолично замурлыкал в бороду себе какую-то песню. Я сидел с ним в тени от стены куреня; он чинил холщовые шаровары, зевал и медленно цедил сквозь зубы разные печальные сентенции о недостатке на земле работы для людей и о том, как много надо человеку положить труда в поисках за возможностью найти труд.

– Коли не дюжишь... приходи сюда отдыхать... Расскажешь... Тут недалеко, вёрст пяток... Да... Вот поди-ка!

Я распрощался с ним, поблагодарил его за указание и отправился берегом «на соль». Было жаркое августовское утро, небо было чисто и ясно, море ласково и пустынно, и на прибрежный песок одна за другой с грустным плеском вбегали зеленоватые волны. Впереди меня, далеко в голубой знойной мгле на жёлтом берегу лежали белые пятна, – то Очаков; сзади – курень утопал за буграми ярко-жёлтого песка, сильно оттенённого аквамариновой водой моря...

Я очень много наслушался в курене, где ночевал, разных глубокомысленно нелепых историй и суждений и был настроен минорно. Волны звучали в унисон настроению и усиливали его.

Скоро передо мной развернулась картина соляной добычи. Три квадрата земли, сажен по двести, окопанные низенькими валами и обведённые узкими канавками, представляли три фазиса добычи. В одном, полном морской воды, соль выпаривалась, оседая блестящим на солнце бледно-серым, с розоватым оттенком, пластом. В другом – она сгребалась в кучки. Сгребавшие её женщины, с лопатами в руках, по колена топтались в блестящей чёрной грязи, и как-то очень мертво, без криков и говора, медленно и устало двигались их грязно-серые фигуры на чёрном, блестящем фоне жирной, солёной и едкой «рапы», как называют эту грязь. Из третьего квадрата соль вывозилась. В три погубели согнутые над тачками рабочие тупо и молчаливо двигались вперёд. Колёса тачек ныли и взвизгивали, и этот звук казался раздражающе тоскливым протестом, адресованным небу и исходящим из длинной вереницы человеческих спин, обращённых к нему. А оно изливало нестерпимый, палящий зной, раскаливший серую, потрескавшуюся землю, кое-где покрытую красно-бурой солончаковой травой и мелкими, ослепительно сверкавшими кристаллами соли. Из монотонного визга тачечных колёс грубой и резкой нотой выделялся басистый голос кладчика, солоно ругавшего рабочих-возчиков, ссыпавших из тачек к его ногам соль, которую он, поливая водой из ведра, выкладывал в продолговатую пирамиду. Стоя на высокой куче соли и размахивая в воздухе лопатой, кладчик, – высокого роста, чёрный, как уголь, мужчина, в синей рубахе и белых широких шароварах, – во всё горло командовал ввозившим по доске вверх тачечникам:

– Сыпь налево! Налево сыпь, дьявол лохматый! Ах ты, пострели тебя в стантовую жилу! Кол тебе в глаз! куда ты прёшь?!. куда?!. Ах ты, чёртов ноготь!..

Затем раздражённо вытирал потное лицо подолом рубахи, озлобленно ухал и принимался, ни на минуту не переставая сквернословить, выравнивать соль, изо всей мочи стучая по ней лопатой. Рабочие автоматически ввозили тачки кверху, так же автоматически опрокидывали их по команде «направо! налево!» и, с усилием расправляя спины, тяжёлым, колеблющимся шагом, волоча сзади себя тачки, скрипевшие тише и более устало, шли по дрожащим и вязнувшим в чёрном жирном иле доскам снова за солью.

– Возись проворней, черти! – покрикивал им в зад кладчик.

Но они возились так же молчаливо-пришибленно, и только их хмурые, усталые и истомлённые, покрытые грязью и потом лица, с плотно сжатыми губами, порой зло и раздражённо подёргивались. Иногда колесо тачки съезжало с доски и вязло в грязи; передние тачки уезжали, задние вставали, и двигающая их сила, в лице отрёпанных

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax и грязных босняков, тупо и безучастно посматривала на товарища, старавшегося поднять и поставить колесо шестнадцатипудовой тачки снова на доску.

А с безоблачного, подёрнутого знойным туманом неба жаркое южное солнце всё с большим усердием раскаливало землю, точно ему непременно сегодня и во что бы то ни стало нужно было убедить её в своём жарком внимании к ней.

Посмотрев, стоя в стороне, на всё это, я решил попытать счастья и, приняв возможно более независимый вид, подошёл к доске, по которой рабочие шли с опорожнёнными тачками.

– Здравствуйте, братцы! Помогай бог!

В ответ получилось нечто совершенно для меня неожиданное. Первый, – седой, здоровый старик, с засученными по колена штанами и по плечи рукавами рубахи, обнажавшими бронзовое, жилистое тело, – ничего не слышал и, не сделав ни движения в мою сторону, прошёл мимо. Второй, – русский молодой парень, с серыми злыми глазами, – зло посмотрел на меня и скорчил мне рожу, крепко ругнув вдобавок. Третий, – очевидно, грек, чёрный, как жук, и кудрявый, – поравнявшись со мной, выразил сожаление о том, что у него заняты руки и что он не может поздороваться своим кулаком с моим носом. Это у него вышло как-то не подобающе желанию равнодушно. Четвёртый насмешливо крикнул во всё горло: «Здравствуй, стеклянные зенки!» и сделал попытку лягнуть меня ногой.

Этот приём был как раз тем, что в культурном обществе, если не ошибаюсь, называется «нелюбезным приёмом», и этого никогда не случалось со мной в такой резкой форме. Обескураженный, я невольно снял очки и, сунув их в карман, двинулся к кладке, намереваясь спросить у кладчика, – нельзя ли поработать. До места кладки ещё не успел подойти, как он окрикнул меня:

– Эй, ты! Чего тебе? Работы, что ли?

Я сказал.

– А ты на тачках работаешь?

Я сказал, что, мол, возил землю.

– Землю? Не годится! Земля – совсем другое дело. Здесь соль возят, а не землю. Пшёл к свиньям на хутор! Ну, ты, кикимора, вали прямо на ноги!

Кикимора, – оборванный сивый геркулес, с длинными усами и сизым прыщеватым носом, – ухнул во всю грудь и опрокинул тачку. Соль посыпалась. Кикимора ругнулся, кладчик переругнул его. Оба довольно улыбнулись, и оба же сразу обратили на меня своё внимание.

– Ну, чего ж тебе? – спросил кладчик.

– А ты, кацапе, мабуть вареники исті до соли прійшов? – подмигивая ему, говорил Кикимора.

Я стал просить кладчика принять меня на работу, уверяя его, что я привыкну и что стану возить не хуже других.

– Ну, здесь прежде, чем привыкнешь, хребет себе вывихнешь. Да ин бог с тобой, ступай! Первый день больше полтины не положу. Эй! дайте ему тачку!

Откуда-то вынырнул малый в одной рубахе, с голыми ногами, перевязанными до колен грязными тряпками, скептически посмотрел на меня и сквозь зубы проговорил:

– Ну, иди!

Я пошёл за ним к груде тачек, наваленных друг на друга, и, подойдя, стал выбирать себе полегче. Малый чесал себе ноги и молча осматривал меня.

– Чего ты взял-то? Али не видишь, – у ней колесо кривое, – проговорил он, когда я, облюбовав себе тачку, взял было её, – и, равнодушно отойдя в сторону, он лёг на землю.

Я, выбрав другую тачку, стал в ряд и пошёл за солью, чувствуя, как какое-то неопределённое, тяжёлое чувство давит меня, не позволяя мне заговорить с товарищами по работе. На всех физиономиях, несмотря на усталость, искажавшую их, ясно выразилось глухое, пока ещё скрываемое раздражение. Все были измучены и обозлены на солнце, беспощадно сжигавшее кожу, на доски, колебавшиеся под колёсами тачек, на «рапу», этот скверный, жирный и солёный ил, перемешанный с острыми кристаллами, царапавшими ноги и потом разъедавшими царапины в большие мокнувшие раны, – на всё окружавшее их. Эта злоба была видна по косым взглядам друг на друга, по забористым, ядовитым ругательствам, изредка вырывавшимся из воспалённых жаждою глоток. На меня никто не обращал внимания. Только входя в квадрат и расходясь с тачками по крестообразно разложенным доскам к кучкам соли, я почувствовал удар по ноге сзади и, обернувшись, получил прямо в лицо злое восклицание:

– Подбирай пятки, длинный чёрт!

Я поспешно подобрал пятки и, поставив тачку, стал лопатой насыпать в неё соль.

– Полней насыпай! – скомандовал мне геркулес-хохол, стоявший рядом со мной.

Я насыпал, как мог, полно. В это время задние скомандовали передним: «Вези!»

Те поплевали на руки и, кряхтя, двинули тачки, снова сгибаясь чуть не под прямым углом, и, выдвинув корпуса вперёд, как-то странно вытянули шеи, как будто бы это должно было облегчить труд.

Заметив все эти приемы, я точно так же елико возможно согнулся и вытянулся вперёд; приподнял тачку, – колесо пронзительно завизжало, кости ключиц заныли, напряжённые до последней возможности руки задрожали... я, шатаясь, сделал шаг, два, – меня мотнуло влево, потом вправо, дёрнуло вперёд... колесо тачки съехало с доски, и я полетел в грязь прямо лицом. Тачка назидательно стукнула меня по затылку ручкой и потом лениво повернулась вверх дном. Оглушительный свист, крик, хохот, приветствовавшие моё падение, точно ещё больше забивали меня в тёплую жирную грязь, и, барахтаясь в ней, тщетно пытаюсь поднять увязшую тачку, я чувствовал, как что-то холодное и острое режет мне грудь.

– Эй, друже, а ну – помоги! – обратился я к хохлу-соседу, хохотавшему во всё горло, взявшись за живот и покачиваясь из стороны в сторону.

– О, трясца твоей матери!.. Тю-тю-тю, дурню?.. Выдыбай на доску! Карету-то гни налево! Тю!.. А щоб тобі рапа засосала!.. – и он снова грохотал со слезами на глазах, хватаясь за бока и охая.

– Пошёл, чёрт, по брёвнам!.. – сокрушённо махнул рукой, глядя на меня, передний седой старик и, крякнув, повёз тачку.

Передние тачечники уехали; те, что были сзади меня, стояли и довольно недоброжелательно смотрели на меня, вспотевшего от усилий вытащить тачку и покрытого толстым слоем грязи, стекавшей с меня. Помочь никто не хотел. А с кладки доносился голос кладчика:

– Что застряли, дьяволы? Собаки!.. свиньи!.. Аль дальше с глаз – дольше день?! Лешие!.. черти!.. Вези, анафемы!..

– Прочь с дороги! – гаркнул хохол сзади меня и двинул тачку, чуть-чуть не задев меня по голове её крылом.

Я остался один, кое-как вытащил тачку и, так как соль из неё высыпалась и она была вся облеплена грязью, повёз её, пустую, вон из квадрата, намереваясь выбрать себе другую.

– Что, брат, упал? Ничего, спервоначалу это со всяким бывает!

Оглянувшись в сторону, я увидел за одной из кучек соли на положенной в грязь доске парня лет двадцати, присевшего на корточки и сосавшего себе ладонь. Он смотрел на меня из-за руки добрыми, улыбающимися глазами и кивал мне головой.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– Ничего, брат! Это с непривычки бывает.

– Что у тебя с рукой-то? – спросил я.

– Да вон сцарапал, а рану-то разъедает; не высосешь, так бросай работу, болеть будет здорово! Вали, вали, поезжай, а то кладчик заругает!

Я поехал. Со второй тачкой у меня сошло благополучно; вывез и третью, и четвёртую, и ещё две. На меня никто не обращал внимания, и я был очень доволен этим вообще очень грустным для человека обстоятельством.

– Шабаш! Обедать! – прокричал кто-то.

Все, облегчённо вздохнув, пошли обедать; но и тут никто не проявил ни оживления, ни радости отдыху. Всё делалось как-то подневольно, с худо скрытым отвращением и злобой. Казалось, никто не видел в отдыхе ничего приятного для своих наломанных работой костей и разморённых зноем мускулов. У меня сильно ныла спина, ноги и руки в плечах, но, стараясь не давать другим заметить этого, я бодро пошёл к котлу.

– погоди! – остановил меня старый угрюмый босьяк-рабочий, в синей рваной блузе и с таким же, под цвет блузе, синим запойным лицом, украшенным хмуρο сдвинутыми густыми бровями, из-под которых дико и насмешливо сверкали красные, воспалённые глаза. – погоди! Тебя как зовут?

Я сказал.

– Так! Дурак был твой отец, коли дал тебе такое имя. У нас к котлу Максимов не пускают в первый день работы. Максимы первый день на своих харчах работают.

Так-то! Вот кабы ты Иван был или ещё как – другое дело. Меня вот Матвеем зовут, – ну – я и пообедаю, а Максим пусть посмотрит. Пшёл от котла!

Я удивлённо посмотрел на него и, отойдя в сторону, сел на землю. Меня сбивало с толку такое отношение ко мне, отношение, мной не вызванное и до сих пор не испытанное.

Раньше и позднее мне случалось не один десяток раз входить в артель, и всегда я сразу вставал на простую товарищескую ногу. На этот раз всё было как-то невероятно странно, и, несмотря на тяжесть и остроту моего положения, моё любопытство было затронуто очень глубоко. Я решил поискать ключа к этой высоко интересной для меня загадке и, решив, наружно спокойно посматривая на обедавших, стал ждать начала работы...

Нужно узнать, почему ко мне так относятся.

II

Вот они пообедали, порыгали и стали закуривать, расходясь от котла. Геркулес-хохол и малый с перевязанными ногами подошли ко мне и сели так, что загородили собой от меня ряд тачек, оставленных на доске.

– Ну что, братику? – спросил хохол. – Покурить хочешь?

– Давай! – сказал я.

– А разве у тебя нет своего табака?

– А был бы, так я бы и не спросил.

– Ото верно! На, покури. – Он подал мне свою трубку. – Что ж ты, будешь возить?

– Да, буду, пока могу.

– Так! А ты откуда сам?

Я сказал.

– Эге! А что, это далеко?

– Тысячи три вёрст.

– Ого! Добре далеко. А чего ж ты сюда пришёл?

– Да как и ты же, всё равно.

– Ага! Так тебя, значит, тоже за воровство из твоей деревни выгнали?

– Как так? – спросил я, чувствуя, что сел в лужу.

– Да я потому пришёл сюда, что меня за воровство деревня вон выгнала, а ты говоришь, что пришёл, как и я же... – И он захохотал, довольный своей ловкостью.

Его товарищ сидел молча и подмигивал ему глазом, хитро улыбаясь.

– Погоди... – начал я.

– Некогда годить-то, братику! – работать надо. Пойдём-ка, становись сзади меня на мою тачку; у меня хорошая, верная тачка. Пойдём!

Мы пошли. Я хотел было взять его тачку, но он торопливо сказал:

– Погоди, я сам отвезу. Давай твою, а мою в неё положим, она прокатится, отдохнёт немного.

Эта любезность показалась мне подозрительной, и, идя рядом с ним, я пытливо рассматривал лежавшую сверху колесом его тачку, желая убедить себя, что мне не подстроено какой-нибудь каверзы, но не усмотрел ничего, кроме того, что я вдруг сделался предметом общего внимания, почему-то скрываемого, но неумело; я ясно замечал его в частых подмигиваниях в мою сторону, в кивках головой и в подозрительном перешёптывании. Я понял, что нужно смотреть в оба, и насторожился в ожидании чего-то, что должно быть, судя по началу, очень оригинально.

– Приехали! – сказал хохол и, сняв свою тачку, поставил её мне. – Насыпай, брат!

Я посмотрел кругом... Все усердно работали, и я стал насыпать. Ничего не было слышно, кроме шороха соли, сбрасываемой с лопат, и эта тишина тяжело давила грудь. Я подумал, что мне, пожалуй, лучше уйти отсюда.

– Ну, берись! Чего заснули?! Вези! – скомандовал синий Матвей.

Я взял за ручки тачку и, с усилием приподняв её, двинул вперёд... Острая боль в ладонях заставила меня дико вскрикнуть и, бросив тачку, рвануть руки к себе.

Боль повторилась, но вдвое сильнее: я сорвал с ладоней обеих рук кожу, защемлённую в ручках тачки. Скрипя зубами от злобы и боли, я осмотрел ручки и увидел, что они были с боков расколоты топором и распёрты щепочками. Это было сделано очень незаметно и очень умно. Рассчитывалось, что когда я сильно сожму ручки, щепки выскочат из щели, и дерево, сомкнувшись, защемит мне кожу. И этот расчёт оправдался. Я поднял голову и посмотрел кругом. Крики, хохот и свист летели мне в лицо со всех сторон, везде я видел злые, торжествующие рожи. С кладки доносилась циничная ругань кладчика, но никто не обращал на неё внимания, – все были заняты мной. Я смотрел кругом тупо и бессмысленно и чувствовал, как внутри меня всё сильнее вскипает обида, желание мести и ненависти к этим людям. А они, собравшись толпой против меня, сыпали насмешки и ругательства. Мне страстно, до боли страстно захотелось оскорбить и унижить их.

– Мерзавцы! – вскричал я, протягивая к ним сжатые кулаки, и так же цинично, как ругали они меня, стал ругать их, идя к ним навстречу.

Они как будто дрогнули и, смутившись, подались назад. Только геркулес-хохол и синий Матвей, оставаясь на месте, хладнокровно стали засучивать рукава рубах.

– А ну, иди, иди!.. а ну, ну!.. – тихо и радостно бормотал хохол, не сводя с меня глаз.

– Дай ему тютю, Гаврила! – советовал ему Матвей.

– За что вы меня обидели?! – кричал я. – Что я вам сделал?!. За что?!. Разве я не такой же, как вы, человек?!. – Кричал ещё какие-то жалкие, нелепые, злые, бессмысленные слова и весь дрожал дрожью бессмысленного бешенства, в то же время зорко следя, как бы не совершили надо мной ещё какой-либо остроумной выходки.

Но глупые, бессмысленные физиономии смотрели на меня уже не так безучастно, и по некоторым из них скользнуло как бы сознание вины передо мной за эту злую шутку.

Хохол и Матвей тоже подвинулись назад. Матвей стал одёргивать блузу, хохол полез в карман.

– Ну, за что же? За что?!. – спрашивал я их.

Они тупо молчали. Хохол вертел сигарку и смотрел себе в ноги. Матвей вдруг очутился сзади всех; остальные пошли было к своим тачкам, угрюмо почёсываясь и не говоря ни слова. К группе шёл кладчик, громко крича и грозя кулаками. Всё это произошло так быстро, что бабы, огребавшие соль шагах в двадцати от нас и, как я заметил, бросившиеся на мой крик, подошли уже тогда, когда ребята стали расходиться к тачкам.

Я оставался один, с горьким чувством незаслуженной и неоплаченной обиды, это усиливало обиду и боль. Мне хотелось ответа на мои вопросы, хотелось возмездия. Я крикнул им:

– Стойте, братцы!

Они остановились, хмуρο глядя на меня.

– Скажите же мне, за что вы меня мучили? Ведь должна же быть у вас совесть!

Они молчали, и это молчание как бы отвечало мне за них. Тогда, немного успокоившись, я начал говорить им. Я начал с того, что я такой же человек, как и они, что мне так же хочется есть, что для этого я так же должен работать, что я пришёл к ним, как к своим, родным мне по положению людям, что я считал их не ниже и не хуже себя...

– Все мы равны, – говорил я им, – и должны понимать друг друга и, поскольку это каждый умеет, помогать друг другу.

Они внимательно слушали, толпясь вокруг меня, но избегая моих взглядов.

Я замечал, что мои слова действуют на них, и это вдохновляло меня. Взглянув кругом, я ещё более убедился в этом. Чувство радости, острой и яркой, охватило меня, и, бросившись на кучу соли, я заплакал. Заплачешь!..

Когда я поднял голову, кругом не было никого. Работать кончили, и возчики, разбившись на группы по пять-шесть человек, сидели там, около кладки, рисуясь на розоватом фоне соли, освещённой лучами заходившего солнца, большими, неуклюжими, грязными пятнами. Было тихо. С моря веяло прохладой. По небу плавно двигалось маленькое белое облачко; от него отрывались тонкие, прозрачные дымки и исчезали, расплываясь по голубому фону неба. Это было очень грустно...

Я встал и пошёл туда, к кладке, с твёрдым намерением проститься и уйти в рыбацкий курень. Когда я подошёл к группе из хохла, Матвея, кладчика и ещё троих солидных пожилых босяков, они поднялись ко мне навстречу, и, прежде чем я успел заговорить с ними, Матвей протянул ко мне руку и сказал, не глядя на меня:

– Вот что, друг! Ты пойдй от нас своей дорогой, куда тебе надо. Да! А на дорогу мы вот собрали тебе малость грошей. На-ка, возьми!

В его горсти лежали медяки, и рука его дрожала, когда он протягивал её мне.

Я растерялся и, ничего не понимая, смотрел на них. Они стояли, понуро опустив головы и молча, ненужно и нелепо оправляя свои отрепья, одёргивались, переминались с ноги на ногу, поглядывали по сторонам, всем, каждым движением и жестом, выражая крайнее смущение и желание кончить скорее со мной.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax – Я не возьму! – сказал я, отталкивая руку Матвея.

– Нет, уж ты возьми, не обижай нас. Мы что ж? Мы ведь, коли по совести говорить, ничего такого... Мы, брат, понимаем, что обидели тебя; но только разве это верно, коли рассудить правильно? Совсем, брат, неверно. Потому главная причина – жизнь!

Какая жизнь наша? Каторжная! Тачка – шестнадцать пуд, рапа ноги рвёт, солнце палит тебя, как огнём, целый день, а день – полтина! – Али этого мало, чтобы озвереть?

Работаешь, работаешь, заработок пропьёшь – опять работаешь! вот и всё. И как годов с пять проживёшь этим манером, так и того... облик человеческий и утратишь, – зверюга, да и шабаш! Мы, брат, сами себя ещё больней обижаем, чем тебя, а мы всё ж ведь друг друга знаем, ты же – чужой человек... Чего тебя жалеть-то? Так вот так-то! Говорил ты там... разное, ну-к что ж? Оно, конечно, это ты там ловко всё... правильно, надо быть... только не к разуму... не в строй. Ты не обижайся... шутки ведь... Всё-таки у нас сердце... Д-да! Ну, и иди себе, куда хочешь, с твоей правдой, а мы останемся здесь с своей. Возьми на, гроши-то! Прощай, брат! Мы пред тобой не виноваты, и ты пред нами – тоже. Плохо вышло у нас, это верно. Ну, да ладно! Хорошее-то не про нас. А оставаться тебе здесь не рука. Какая ты нам... пара? Мы, брат, друг к другу пристроены вот как, а ты так себе привалился... слегка... Ничего у нас не может выйти... Ну, значит, и отчаливай! Вали своей дорогой!.. Прощай!

Я посмотрел кругом, убедился, что все согласны с Матвеем, и, вскинув на плечи котомку, хотел идти.

– погоди, человек! дай и я скажу слово! – остановил меня за плечо хохол.

– Коли б кто другой, а не ты это был, так я бы проводил его кулаком в боки. Чувешь?

А ты вот идёшь себе свободно, да ещё и гроши на дорогу мы тебе давали. Говори спасибо за то нам! – И он, плюнув в сторону, стал вертеть кисет вокруг пальца, победоносно поглядывая вокруг, точно хотел сказать: дивуйтесь-де, какой я умный!

Подавленный всем этим, я поторопился проститься с ними и пошёл берегом моря назад к куреню, в котором ночевал. Небо было чисто и знойно, море пустынно и важно, к ногам моим, шумя, катились зелёные волны... И мне было невыносимо больно и стыдно за что-то. Медленно и убито шагал я по горячему песку берега. Море спокойно блестело на солнце, волны толковали о чём-то непонятном и грустном...

Когда я подошёл к куреню, мне навстречу встал знакомый рыбак и торжествующим тоном человека, предположения которого оказались верны, произнёс:

– Что, брат, али солоно пришлось?

Я промолчал, взглянув на него.

– Ишь ты! Пересолено малость! – уверенно произнёс он, оглядев меня. – Есть хошь? Иди, ешь кашицу! Там её до чёрта наварили... половина, поди-ка, осталась.

Иди, дуй на ложку! Ха-арошая кашица... с камбалой, с севрюгой...

Минуты через две я сидел в тени за куренём, весь грязный, очень утомлённый, очень голодный, и ел, с тоской и болью в сердце, кашицу с севрюгой и камбалой.

Горемыка Павел

Родители моего героя были очень скромные люди и потому, пожелав остаться неизвестными обществу, положили своего сына под забор одной из самых глухих улиц города и благоразумно скрылись во тьме ночной, очевидно, не ощущая в своих сердцах ни гордости своим произведением, ни столько сил, сколько нужно для того, чтоб создать из своего сына существо, на родителей его не похожее.

Последнее соображение, – если только они им руководствовались в ту ночь, когда решили передать своё дитя на попечение общества, – а что они решили именно так, на это указывало припиленное булавкой к тряпкам, в которые они его окутали, лаконическое сообщение на клочке почтовой бумаги: «Крещён, зовут Павлом», – последнее соображение, говорю я, рисует родителей младенца Павла людьми и не

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiymax
глупыми, ибо прямая обязанность громадного большинства отцов и матерей заключается именно в том, чтоб всячески предохранить своих детей от тех привычек, предрассудков, дум и поступков, на которые они, родители, затратили весь свой ум и всё сердце.

Младенец Павел, когда его ткнули под забор, некоторое время относился к этому факту как истый фаталист, лежал неподвижно и хладнокровно сосал сунутую ему в рот жвачку из хлеба, завернутого в кисейную тряпочку, а когда это ему надоело, то он вытолкнул её изо рта языком и издал некоторый звук, почти что не поколебавший тишины ночи.

Ночь была августовская – тёмная и довольно свежая, – чувствовалась близость осени, и над младенцем Павлом через забор, под который его ткнули, свешивались гибкие сучья берёзы; на них уже было много жёлтых листьев, и немало таких листьев лежало на земле вокруг младенца Павла, а порой – очень часто – они беззвучно отрывались и медленно падали на землю, раздумчиво кружась в воздухе, влажном и полном густых испарений, – днём шёл дождь, а к вечеру взошло солнце и успело сильно согреть землю.

Иногда листья падали и на красную рожицу младенца Павла, еле видную в густой бахrome лохмотьев, в которые его плотно завернула заботливая рука матери; младенец Павел от этого морщился, моргал глазами и возился до той поры, пока лохмотья не развернулись, и не открыли его маленькое тельце влиянию ночной сырости. Тогда он, почувствовав себя свободным от пут костюма, поднял ногу, потащил её в рот и стал сосать, всё ещё молча, но с очевидным удовольствием.

Маленькая оговорка, если позволите! О поведении младенца Павла во время жития его под забором я говорю а priori, сам я сему свидетелем не был; это видело только небо, тёмное августовское небо, прекрасное, глубокое, щедро усыпанное золотыми звёздами и, как всегда, холодно равнодушное к делам земли, несмотря на то, что она так много льстит ему устами своих поэтов и так горячо молится сердцами верующих людей.

Если бы я видел его, младенца Павла, там, под забором, то я, конечно, преисполнился бы горячим негодованием к его родителям, глубоким состраданием лично к нему и, немедленно позвав полицию, отправился бы домой с чувством искреннего уважения к себе; всё это, несомненно, сделал бы и всякий другой на моём месте, сделал бы, я твёрдо верю в это. Но в то время там никого не было, и, таким образом, жители того города, в котором происходило описываемое мною, упустили очень удобный случай проявить свои лучшие чувства, каковое проявление, как известно, составляло бы преобладающее и любимое занятие людей, если бы с ним не конкурировало так успешно нечто, прямо противоположное ему.

Но в то время там никого не было, и младенец Павел, наконец, иззяб. Он выпустил изо рта ногу и стал нарушать тишину ночи сначала тихими всхлипываниями, потом громким плачем.

Ему не пришлось заниматься этим особенно долго, через полчаса к нему подошёл человек, плотно закутанный во что-то, делавшее его похожим на большой двигающийся пень, – подошёл, наклонился и густо прогудел над ним «ах, подлые», ожесточённо плюнул в сторону и, подняв его с земли, стал закутывать в тряпки и осторожно, поскольку мог, водворять себе за пазуху, одновременно с этим оглашая воздух пронзительным, рокочущим свистом, который совершенно поглощал плач младенца Павла.

– Ище, ваше благородие, одного подшвырнули, дьяволы! Теперича третий будет за лето-то. И анафемы только! Блудят, блудят и... опять блудят. Тьфу вам!

Это был ночной сторож Клим Вислов, человек строгой нравственности, что, впрочем, не мешало ему быть горячайшим пьяницей и горячим приверженцем трёхэтажной эрудиции.

– Тащи его в часть!

Это приказание было дано околоточным надзирателем Карпенко, первым донжуаном в третьей части города, имевшим рыжие усы в стрелку и неотразимые серые глаза, которыми он в кратчайший срок мог испепелить сердце любой барышни, – и это приказание относилось к будочнику Арефию Гиблому, человеку мрачному, сутулому,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax любителю одиночества, книжек и певчих птиц и страшному ненавистнику многословия, извозчиков и женщин.

Он взял младенца Павла на руки и понёс было его, но вдруг остановился, развернул тряпки, закрывавшие ему лицо, несколько мгновений посмотрел на него, ткнул своим пальцем в пухлую щёчку ребёнка и, наклонившись к нему, скорчил страшную рожу и щёлкнул языком.

Младенец Павел, снова молчаливо сосавший сунутую ему в рот жвачку, не поинтересовался разобратить, какие именно чувства желал выразить Арефий Гиблый своими странными манипуляциями, и ответил на них только тем, что поднял брови, чем не выразил ясно и понятно ничего определённого.

Тогда Арефий Гиблый улыбнулся так, что у него усы вскочили на нос, а громадная и густая чёрная борода тряхнулась и отодвинулась к ушам, – и громко на всю улицу спросил младенца Павла: «Штука ты? У?!..», на что тот утвердительно кивнул головой и нечто промычал.

– Тча-а! Уффы!.. Крю-крю-крю! Гур-бур!.. – как слон, заворковал Арефий Гиблый и, присев на тумбочку рядом с фонарём, чего-то ожидая, уставился в лицо младенца Павла.

Тот недоумевал, не понимая жаргона Арефия, и несколько раз отрицательно качнул головой, не выпуская изо рта соски и равнодушно поводя бровями.

Тогда Арефий густо расхохотался.

– Не хочешь, значит? Ах ты.. комар!

Но тут «комар», очевидно, убеждённый, что ему ничего не предлагали, разинул рот и широко раскрыл глаза – от недоумения или оттого, что он стал давиться соской.

Арефий торопливо дёрнул соску вон и затем озабоченно и пристально всмотрелся в лицо ребёнка, как бы желая убедить себя в том, что не разорвал ему рот.

Младенец Павел кашлял.

– Чши-и... чши и-и... – зашипел Арефий Гиблый, как локомотив, выпускающий пары, и стал размахивать ребёнком по воздуху в глубоком убеждении, что этот маневр остановит кашель. Но ребёнок кашлял всё громче.

– Эх ты, братец ты мой! – сокрушённо вздохнул Арефий и беспомощно оглянулся вокруг.

Улица спала. По обеим сторонам её мерцали редкие фонари; вдали они, казалось, стоят плотнее друг к другу, почти рядом, но улица там была темней и точно упиралась в какую-то чёрную стену, возвышавшуюся чуть не до небес, распростёртых над ней и улыбавшихся ей живыми, трепещущими лучами своих ярких звёзд.

Арефий посмотрел в противоположную сторону.

Там был город, масса тёмных, надвинутых одно на другое зданий и тоже бедные, но более частые огоньки фонарей, редкий, чуть слышный шум, который рождался и умирал лениво-равнодушно.

После этого осмотра Арефию сделалось как-то особенно тошно; он плотней прижал к своей грубой суконной груди младенца Павла, который теперь прокашлялся и собирался реветь, – прижал и глубоко вздохнул, посмотрев в отдалённые небеса.

– Пакость!..

Резюмировав столь красноречиво всё происшедшее, он встал с тумбочки и пошёл по улице к городу, потряхивая ребёнка на руках и стараясь делать это возможно более ровно и осторожно. Шёл он, поворачивая из улицы в улицу, долго и, очевидно, весь путь был отягчаем какими-то особыми, необыденными думами, потому что не заметил, как улицы то суживались, то расширялись, перерезывали одна другую, извивались – и вдруг вывели его на площадь. Но он и площадь заметил только тогда, когда очутился перед фонтаном с двумя фонарями по бокам его. Этот фонтан стоял среди

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax площади, и Арефий уже прошёл часть.

Выругавшись про себя, он поворотил назад. Луч от фонаря через его плечо упал на личико младенца Павла, плотно прижатое к серому сукну его шинели.

– Спит! – прошептал Арефий и, не отрывая глаз от лица ребёнка, почувствовал у себя в горле неприятное щекотание. Чтоб избавиться от этого ощущения, он высморкался негромко и задумался о том, что, пожалуй, было бы лучше, кабы дети с первых дней жизни могли вникать в безалаберную премудрость её. Будь это так, будущий человек на его руках не спал бы так крепко, а, наверно, кричал бы во всю мочь.

Арефий Гиблый, как полицейский и пожилой человек, жизнь знал и знал, что коли не заявить о себе хотя бы криком, так на тебя даже полиция внимания не обратит.

А если ты не сумел обратить на себя чьего-либо внимания, то погиб, ибо одному в жизни долго не устоять. Этот легкомысленный и покойный ребёнок погибнет, ибо он спит.

- Эх ты, братец! – укоризненно произнёс Арефий, входя под своды части.
- Ты откуда? – спросил его серый собрат, вдруг появляясь перед ним.
- С поста.
- Это чего? – ткнул тот пальцем в бок младенца Павла и сладко зевнул.
- Тише ты, чёрт! ище ребёнок.
- Ишь их, дьяволиц, порет!
- Дежурный кто?
- Гоголев.
- Спит?
- Дрыхнет!
- А тётка Марья тоже дрыхнет?
- И она спит. Чего же ей не спать?
- У-гу! Это верно!.. – протянул Арефий Гиблый и задумался, не двигаясь с места.
- Скоро сменюсь я и тоже спать! – заметил собрат и хотел уйти.
- Погоди-ка, Михайло! – дёрнул его за рукав Арефий свободной рукой и вдруг почему-то конфиденциально зашептал: – Ежели его теперь к тётке Марье, ты как?
- Больно ей нужно! – скептически усмехнулся Михайло, заглянув в лицо спокойно спавшего младенца Павла. – Свои, брат, хуже горькой редьки надоели.
- Да ведь только на одну ночь! – убедительно заявил Арефий.
- Да мне что ж? только она, уж верно, пойдёт к чёрту. Давай ин понесу.

Арефий осторожно перевалил младенца Павла с рук на руки Михаилу и на цыпочках пошёл за ним по коридору, внимательно заглядывая в лицо спящего младенца через плечо товарища и удерживая дыхание, между тем как тот во всю мочь громыхал своими тяжёлыми сапогами по каменному полу коридора. Они подошли к двери.

– Ну, я подожду! – шёпотом заявил Арефий.

Его товарищ отворил дверь и скрылся за ней.

Арефий стоял и чувствовал некоторое томительное беспокойство, от которого его не избавляло ни вырывание ниток из обшлага шинели, ни усиленное разглаживание

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
бороды, ни тем паче ковыряние стеной штукатурки пальцем.

За дверью слышалось глухое ворчанье.

– Обругалась, а взяла! – отворяя дверь, произнёс Михайло и почему-то изобразил на своём бритом лице торжество победителя.

– Ну вот! – свободно вздохнул Арефий Гиблый и направился с товарищем к выходу.

– Прощай, брат! иду на пост.

– Валяй! – равнодушно ответил Михаиле и ткнулся в угол, шурша каким-то сеном, очевидно, приготавливая себе ложе.

Арефий медленно шагнул с первой ступеньки на вторую, а когда опустил ногу на третью, то почувствовал, что ноги у него как бы прилипали к каменным плитам.

Так простоял он несколько минут, и, наконец, в коридоре, скудно освещённом керосиновой лампой, произошёл следующий диалог:

– Михайло?!

– Ну, ещё что?

– Ты его завтра сдашь?

– Ребёнка, что ли? Ну, конечно, сдам.

– В родильный?

– Нет, в кузницу.

Наступила пауза. Михайло в глубине коридора шуршал сеном и ёрзал по полу сапогами. Арефий смотрел на сонный город, развернувшийся перед его глазами. Ночная тьма спаяла все дома один с другим в серую плотную стену, и тёмные линии улиц казались глубокими брешами в ней. Вон там, в том конце города, налево, находится родильный дом. Это очень большое каменное здание, холодно белое, строгой физиономии, с большими равнодушными и пустыми окнами без цветов, без гардин...

– Умрёт он там! – буркнул Арефий.

– Ребёнок-то? Наверно, умрёт. Они там редко не умирают, потому – чистота, порядок...

Но тут Михайло, врасплох захваченный сном, звучно всхрапнул и оставил своё мнение о гибельности чистоты и порядка для чистых младенческих душ без подтверждения и объяснения.

Арефий Гиблый постоял ещё немного и отправился на свой пост.

Он пришёл туда, когда уже ночь побледнела и воздух посвежел от близости утра. Его будка помещалась почти в поле и теперь показалась ему более одинокой и отдалённой от всего, чем казалась ему раньше. Но раньше это не рождало в нём никаких особенных дум и ощущений, а сегодня – родило. Он сел на скамейку перед дверью в будку. Вокруг скамейки разрослись уродливые кусты бузины, и его серая, сутулая фигура слилась с их тёмным фоном.

Он думал. Это были тяжёлые, неповоротливые думы, и много нужно было времени, чтоб они, наконец, оттиснулись в голове Арефия в форму вопроса: имеют ли люди право родить детей, коли не могут вывести их в люди?

Арефий Гиблый чуть не свихнул себе мозгов, когда, наконец, разрешил этот вопрос суровым и тяжёлым «нет, не имеют!» Тогда ему стало легче, он глубоко вздохнул и, погрозив в пространство кулаком, сквозь зубы произнёс:

– Анафемы подлые!

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
Всходило солнце, и его первые лучи, ударяя в окна будки, отражались на их стёклах огненным золотом, отчего эти два окна казались громадными смеющимися глазами странного чудовища с острой, зелёной головой, вылезавшего из земли посмотреть на свет божий, причём кусты бузины, всползавшие на крышу, можно было принять за растрёпанные кудри, а щели над дверью будки – за морщины на весёлом, улыбавшемся челе чудовища.

В двенадцать часов дня он сидел у тётки Марьи, женщины с резкими чертами лица, с зелёными глазами, в грязном платье с высоко подоткнутым подолом и с засученными рукавами. Каждое её движение было целой поэмой боевой жизненной энергии.

Арефий Гиблый имел много сказать ей, очень много и, с непривычки к этому, чувствовал себя весьма нелепо. Движения тётки Марьи, ровные и спокойные, подавляли его своей самоуверенностью и силой, но его женоненавистничество пробивалось всё-таки наружу, отражаясь в угрюмых взглядах на широкое Марьино лицо и в солидных плевках на пол.

Младенец Павел валялся на лавке в куче тряпья, заставленный соломенным стулом, и был углублён в гимнастические упражнения, улавливая свою ногу руками и потом стараясь втащить её в рот. Красная, пухлая нога не слушалась, и младенец Павел, очевидно, не претендуя на неё, испускал одобрительные звуки.

– Ну, ты, антихрист! чего же думаешь делать теперь с ним? – заговорила Марья, садясь на стул против Арефия и отирая лицо фартуком. – Я не могу, не возьму. Отдай старухе Китаевой, она тебе за два рубля воспитает. Ребёнок здоровый, ему боле месяца уж. Покойный. Ей и отдай.

– А ежели уморит?

– Уморит! Чучело огородное! Чего она его будет морить-то? – дразнилась Марья.

– Чего?.. Баба, ну и...

– И фараон ты бессловесный! Снесу я его к ней, и всё. Вот, мол, тайный сын номера 71-го. Ха! ха! ха!.. Глупый ты пень. Уморит! али ребят-то не бабы нянчат, а вот такие шайтаны, как ты? баба!.. В бабе-то вся сила и есть! Кто вас, чертогенов, на ноги-то ставит? У... гарниза тупоголовая!.. говорит ещё про чего-то!

– Ну, а ты всё-таки не того... не лай! – резонно заметил Арефий, стараясь не встречаться с глазами тётки Марьи, смотревшими на него сегодня как-то особенно внимательно и зорко.

– Ещё чего? Карахтер не переменить ли мне для тебя ради? Ска-ажите! Фря какая! Ежели у меня такой строгий разговор, то и быть ему таким до смерти моей.

Али с вами иначе как можно? Ещё дуть вас нужно бы ежечасно!

– Да ладно... Толкуй о деле.

Арефий ощущал непреодолимую потребность обругать елико возможно крепче задорную бабу и, борясь с этой потребностью, чувствовал себя всё более тяжко.

– Толкуй скорей, что мне сделать, да и уйду я. Мочи нет слушать тебя.

– Ах, какие мы нежные! Балда ты, балда!

И, наконец, после долгой речи, которой она, должно быть, исчерпала весь свой боевой задор и лексикон нелестных эпитетов, не переставая суетиться по тесной комнате, одновременно стряпая, что-то ушивая, кормя то того, то другого из ребят, рассованных ею на печку, за печку, за полог постели, покрикивая в окно на кур и снова возвращаясь к ребятам, то и дело высовывавшим головы и подававшим голоса из разных углов, – Марья встала, уперев руки в бока, перед Арефием и отчитала ему:

– Теперь иди ты прежде всего к частному и скажи: так и так, мол; ребёнка беру себе. Потом принеси мне два рубля, за месяц вперёд отдам Китаевой старухе, да с

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax рубль кое на что, на рубашонки, на свивальники... ну, и другое. А потом – пошёл в болото! надоел, как кикимора!

Арефий поднялся, глубоко вздохнул и молча вышел.

Вечером к тётке Марье пришла старуха Китаева. Она была крива на левый глаз, имела лицо, весьма похожее и цветом и формой на дряблую редьку, её подбородок украшался маленькой седой эспаньолкой, она говорила скрипучим, тонким голосом и через два слова в третье беспокоила того или другого из угодников божьих, кстати и некстати призывая его то в свидетели правдивости своих слов, то прямо так, без всякой видимой причины.

Тётка Марья сурово и сухо изложила ей обстоятельства дела, дала несколько инструкций и заключила всё это внушительной фразой:

– Да смотри же у меня!.. Знай край, да не падай! – и при этом погрозила старухе Китаевой пальцем.

А старуха Китаева сжалась в маленький комок, низко кланяясь тётке Марье, и, рабски осклабясь, тихонько так, чуть не шёпотом и с некоторым восторгом от сознания собственного унижения, заявила:

– Тимофевна, мать родная! Али вы меня не знаете? Для кого как, а уж для вас... – и тут она покрутила головой, как бы не имея сил выразить всё то, на что она способна.

– То-то, что знаю я тебя, старушка божия! Н-да!..

Это было сказано многозначительно и далеко не лестным тоном для божьей старушки.

Младенец Павел всё молчал, лёжа на лавке. Он только тогда неодобрительно промычал что-то, когда старуха Китаева взяла его на руки, предварительно прошептав благоговейно «господи, благослови!» – а потом снова умолк, полный непонятого равнодушия к своей судьбе, и молчал уже всё время, пока не был вынесен на улицу. Здесь прямо в глаза ему ударило солнце, он зажмурился; но и это мало помогло. Тогда он замотал головой; но и это не помогло; солнце било в глаза и жгло тонкую кожицу щёк. Он заревел.

– Ишь, пострелёнок! Там молчал, смирным притворялся, а чуть вынесла, так и заныл. Ну, лежи!

Старуха Китаева перекинула его с руки на руку и пошла дальше, думая про себя, что вот и ещё одного взяла; теперь стало пятеро. Маеты с ними много, а польза только та, что хоть досыта и не наешься, но и с голода не умрёшь.

Последние дни и ночи её жизни все сплошь истекают под аккомпанемент пяти вечно орущих от голода глоток, и нет ей ни минутки покоя и отдыха... О господи!..

Сквозь тусклые, позеленевшие от старости, побитые и узорчато заклеенные замазкой стёкла окон в апартаменты старухи Китаевой падают косые лучи солнца, и кажется, что они сморщились и побледнели от густого запаха аммиака, наполнявшего две низенькие комнаты с закопчёнными потолками, ободранными обоями и грязным, скрипучим и украшенным большими щелями полом.

Убранство первой комнаты, именуемой детской, – по-спартански просто: три длинные и широкие скамьи, застланные какой-то рваньё, и больше ничего, а грязно так, что даже мухи, очевидно, не в силах обитать среди такой грязи, ибо, покружившись немного в пахучей атмосфере детской, они, обескураженные, быстро и с протестующим жужжанием вылетают в другую комнату или в сени через отворённую дверь, обитую чем-то, имеющим отдалённое сходство с тёмно-зелёной клеёнкой.

Другая комната отделялась от детской глухой дощатой переборкой с маленькой криво прорезанной дверью; прямо против двери стоял стол и на нём самовар, всегда ипохондрически шипевший и ворчавший, зелёный, пораненный во многих местах, инвалидно искривлённый набор и, как нельзя больше, гармонировавший с общим убожеством помещения старухи Китаевой.

В обеих комнатах никого нет и ничего, кроме разочарованного жужжания мух да

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax воркотни самовара, не слышно. Но впечатление необитаемости пропадает, если взглянуть в тёмный угол к двери: там на лавке в куче грязных тряпок копошится нечто живое.

Видна нога, искривлённая в дугу и поднятая на воздух, и, внимательно прислушавшись, можно разобрать еле слышное монотонное бормотанье.

Собственник этой ноги и ещё одной, такой же кривой, сухой и зелёной, – полторагодовалый ребёнок, рахитик Хрен, названный так старухой Китаевой в момент раздражения против него. Она всех своих питомцев снабжала более или менее остроумными и меткими прозвищами. Прозвище Хрен как нельзя более шло к маленькому рахитику, старчески сморщенному, дряблему, фантастично искривленному болезнью, с маленьким сморщенным лицом, на котором застыло неизменное выражение горького недоумения, точно он пытался догадаться, кто и зачем это над ним подшутил так зло и жестоко, создав его на свет божий калекой, пытался догадаться об этом и, убеждаясь в тщете таких попыток, вечно болел душой.

Он целые дни лежал тут в углу и, поднимая вверх то ту, то другую из своих кривых ног, пристально и долго рассматривал их глубокими глазами с тем поразительно сосредоточенным и грустно-серьёзным выражением в них, которое так часто сияет во взгляде больных детей, – рассматривал их и тихо-тихо бормотал что-то бледными, бескровными губами, открывавшими беззубые дёсны и покрытый жёлтым налётом маленький язык. Руки у него были сведены в кольца, и кисти их упирались в подмышки, он совершенно не двигал ими; ноги по колена были здоровы, а от колен дугообразно изгибались внутрь, перекрещиваясь у щиколоток. Иногда изучение своих ног, очевидно, надоедало ему, и он всё с тем же неизменным выражением горького недоумения подымал свои глаза на потолок, где дрожало солнечное пятно от одного из смотревших в окно лучей, отражённого ушатом с водой, стоявшим у порога. Но, очевидно, предчувствуя, что близкое знакомство с солнечными лучами ему не нужно и что всё, что есть на земле, скоро исчезнет для него вместе с его способностью видеть и думать, вместе со всем им, бедным, дряблым Хреном, которому в близком будущем предстоит переселиться с земли в землю, – он отводил свои серьёзные глаза от потолка и снова устремлял их на ноги, которые, очевидно, интересовали его больше, чем всё остальное.

Он жил у старухи Китаевой вот уж девятнадцатый месяц, а она получила деньги за его воспитание только за два месяца и с большим нетерпением ждала, когда он «опростает квартиру», как иносказательно она выражалась.

Она ходила однажды на квартиру его матери, маленькой, анемичной и сутулой девушки-швейки, и нашла её еле живой, лежащей на койке.

– Что же, матушка, – сказала старуха Китаева, садясь на койку, на которой та лежала, почти не двигаясь, – родить-то родила, а кормить сила не взяла? Непорядок!

Не обязалась ведь я ваши-то грехи на своём горбу носить. Денежки пожалуй, а то ребёнка бери, я ведь не благодетельница какая-нибудь.

Мать широко открыла свои голубые тусклые глаза, и в них выразилось много скорби и ужаса.

– Бабушка! – сдавленным шёпотом заговорила она, – заплачу! Всё до копейки, до гроша заплачу! С живой сдери с себя шкуру, продам и заплачу! В проститутки пойду!..

Потерпи!.. Потерпи, милая! По-ожалей меня него, бедного мальчика... а... а... а... пожалей!..

Старуха Китаева слушала её стоны, смотрела, как по впалым, иссохшим щекам катились крупные слёзы и как нервно, часто подымается впалая грудь матери горького Хрена.

– Ах вы, девки, девки! Блудни девки! Драть бы вас надо крепко, да! – внушительно проговорила она.

– Бабушка, эх!.. Любил ведь, жениться хотел!..

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax – Ну, это, матушка моя, песня старая. Слыхала я её раз тыщу.

Но старуха Китаева, видно, не только слыхала, а и сама пела эту песню, ибо невероятно сморщилась, согнулась, закашлялась, подумала и, поцеловав больную, ушла, строго наказав ей выздоравливать. Но та не послушалась её и вскоре умерла, а Хрен остался на попечении старухи Китаевой и вскоре надоел ей. Тогда она отвела ему в пожизненное пользование угол и, утешаясь тем, что долго он всё равно не протянет, успокоилась, поскольку могла.

Кроме Хрена, было ещё четверо ребят. За троих платили аккуратно, четвёртый собирал милостыню и сам с избытком оплачивал расходы на своё содержание. Это был шестилетний круглый, пухлый и розовый мальчуган Гурька Мяч, отчаянный озорник и большой фаворит Китаевой.

– Вор ты будешь первостепенный, Гурька! – похваливала она его вечерами, когда он, возвращаясь «с мира», выкладывал из котомки, вместе с кусками хлеба, конфорки от самоваров, дверные ручки, гири, детские игрушки, подсвечники, маленькие сковородки и прочую мелочь.

Гурька весело взглядывал на неё бойкими серыми глазёнками и подтверждал с полной уверенностью:

– Ух какой!.. Всё буду воровать – и лошадей!

– А как тебя усибирят будочники? а? – ласково спрашивала Китаева.

– А я убегу! – не затруднялся Гурька.

Тогда старуха Китаева давала ему на лакомства семишник и отпускала гулять.

Остальные трое, в числе которых был и Панька, ничем особенно не отличались друг от друга и пока ещё не успели нажить себе каких-либо определённых индивидуальных черт. Все они трое очень громко кричали, если их не кормили долго; то же они делали, если их окармливали; они кричали и тогда, когда их забывали напоить, и тогда, когда им в глотки насильно вливали воду. Кричали они и ещё по многим причинам, но никогда эти причины, и все вместе, и тем более каждая порознь, не казались старухе Китаевой достаточно уважительными, и она кричала на ребят гораздо усерднее, чем все они.

В общем, это были очень беспокойные ребята, требовавшие каждый день пищи, питья, сухих пелёнок, воздуха и прочих вещей, на которые они едва ли ещё могли иметь право, ибо ведь ещё не жили, а только собирались жить. Придерживаясь такой утилитарной точки зрения, старуха Китаева не очень ублажала их, очевидно, желая, чтоб они были более самостоятельны и умели сами себе добывать всё нужное для покоя тела и души.

День у старухи Китаевой начинался так: Первым из пятерых просыпался Гурька Мяч, спавший в комнате старухи Китаевой, отдельно от четырёх его совоспитанников. Просыпаясь, он тотчас же соскакивал с своей кровати, сделанной из ящиков, и, порывшись у себя под подушкой, вытаскивал оттуда длинное петушиное перо.

С ним он на цыпочках пробирался в детскую, осторожно, без скрипа отворял дверь и, так же осторожно ступая по полу, – который летом, высыхая, издавал ноющие звуки, а зимой глухо стучал половицей о половицу, – прокрадывался к одному из ребят, обыкновенно ещё спавших. Склонясь над ним, он начинал щекотать ему пером в носу.

Ребёнок вертел головой из стороны в сторону, потом смешно морщился и тёр нос кулачками, а Гурька, еле удерживаясь от смеха, надутый, как пузырь, и красный, продолжал своё весёлое дело. Наконец ребёнок просыпался и начинал орать благим матом, вскоре другой и третий ему дружно вторили и подтягивали, а Гурька кричал во всю мочь «бабушка» и, бегая от одного к другому, шипел над ними по-змеиному, строил им рожи, дул им в ноздри холодным воздухом и вообще забавлялся как бог на душу положит.

Подымался диковинный по силе и отсутствию гармонии концерт. Ребята кашляли, чихали, выли, захлёбывались и кричали, кричали так, точно их жарили на сковороде.

К серьёзному Хрену, уже принявшемуся за исследование своих уродливых ног, Гурька никогда не подходил, он боялся его сосредоточенно вдумчивых глаз. Раз как-то, когда Гурька подошёл к нему с намерением включить и его в круг своих операций, эти глаза остановились на лице Гурьки с таким выражением, точно это смотрел не ребёнок, а один из полицейских, которых Гурька по многим причинам не мог любить и всегда, при встрече с ними, почтительно сторонился. Гурька убежал и больше не подступался к рахитику.

– Ох-хо-хо!.. Завыли!.. заканючили!.. заскрипели!.. Дуй вас горой! – и проснувшаяся старуха Китаева припоминала некий нецензурный эпитет, произнося его во множественном числе и множество раз.

Гурька с серьёзной миной на роже входил и, надувшись пузырём, тащил со стола самовар в сени, где и начинал тотчас оглушительно греть. Вообще этот весёлый малый любил производить шум, и чем грандиознее были размеры шума, тем счастливее он себя чувствовал.

Старуха Китаева нежно выбирала из-под ребят мокрые пелёнки.

– Ну, кикимора! Ори!.. Зевай!.. Гнуси!.. У, лягва болотная!..

Дома она не произносила имён святых отцов и мучеников, считая самой себя мученицей и потому не призывая никого себе в помощь.

Ребята верещали, Гурька гремел и стучал, старуха Китаева ругалась, а другие жильцы дома и соседи просыпались, ибо из всего этого шума безошибочно выводили, что уже шесть часов утра.

Шум и рёв продолжался часа два, пока старуха не успевала переменить пелёнки, обмыть и накормить ребят. Затем она пила чай. Гурька уже давно попил, схватил котомку, сочинил из неё себе колпак, надел на голову и убежал «по миру».

Попив чаю, старуха брала ребят и тащила их на двор, где сажала в ящики, доверху наполненные сухим и мелким песком. Там ребята пеклись на солнце часа три-четыре до обеда, а старуха Китаева в это время стирала пелёнки, шила, чинила, ругалась, кормила ребят и всячески «разрывалась на тыщу кусков», как она говаривала.

Иногда к ней заходила приятельница, две и три. Это были женщины разных возрастов и двух профессий: за одну сажали в тюрьму, а другая, рано или поздно, непременно приводила в больницу.

С приятельницами появлялась бутылочка, две и три; через некоторое время воздух и уши обитателей улицы резала жестокая песня об «изменшике-мерзавце» или о другой ерунде в этом роде. Ещё через некоторое время раздавалась отборнейшая ругань, затем «караул!», а потом всякий, кто хотел, мог видеть, как старуху Китаеву приятельницы возят по земле за косы, или как старуха Китаева и одна из её приятельниц бьют вторую и третью, или вторая и третья усердно лупят их, – всё равно, результат драк всегда был сначала крепкий сон, а потом дружное примирение.

Ребята оставались бы во время всего этого одни и могли бы вполне свободно умереть с голода, предварительно разорвав себе криками лёгкие, но в момент, когда утомлённые боем воинствующие приятельницы и их подруга засыпали, в тёмном углу двора открывалась низенькая дверь вросшей в землю хибарки, и на свет божий являлась дородная, рябая женщина.

Она зевала, крестила рот, смотрела в небеса оловянными, ничего не выражавшими глазами и, подходя к одному из ящиков с песком, вытаскивала из него ребёнка. Затем грузно садилась в тот же песок и, медленно расстёгивая ворот платья, совала голову ребёнка себе за пазуху. Раздавалось жадное чмокание.

На лице дородной женщины не отражалось ничего, что позволило бы наблюдателю вывести заключение о том, из каких побуждений она старается. Её лицо было рябо, очень рябо и очень тупо, вот всё, что было в её лице в этот момент.

Покормив одного, она переходила к другому, к третьему и, наконец, шла в комнату к рахитику Хрену. Тут происходило нечто весьма интересное. Она брала его на руки

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax и несла сначала к окну. Ребёнок щурил глаза от падавшего в них солнечного света и поворачивал голову. Дородная женщина шла вон из комнаты на двор и, сев там на ящик с песком, предлагала ребёнку молока. Он брал грудь и немного сосал, лениво чмокая губами, а она гладила его по зеленоватой головке и щекам. Потом, когда он кончал пить, она сажала его в песок и глубоко закапывала в него изломанное тельце рахитика, так что наверху оставалась одна его голова.

Это, очевидно, доставляло удовольствие Хрену; его глаза блестели чем-то новым, свежим, и сосредоточенное их выражение точно исчезало на время. Тогда дородная женщина улыбалась, но улыбка ничуть не красила её рябого лица, а только делала его шире. Она долго возилась с ребёнком и, когда замечала, что, согретый песком и солнцем, он дремлет, брала его на руки и молча качала. Это ему нравилось, он улыбался сквозь дрему, а она целовала его и несла туда, в комнату. Потом выходила вон, всё с тем же деревянным лицом смотрела на ребят в песке, иногда, если они не спали, играла с ними, снова кормила их и исчезала в маленькую дверь хибарки в углу двора. Оттуда она часто выглядывала, чуть-чуть приотворяя дверь, и если видела, что упоённая Китаева ещё спит, а на дворе уже вечер, то снова выходила, брала ребят и укладывала их спать.

Не подумайте, что я рисую добрую фею, о нет! Она ведь была ряба, у неё были громадные, отвислые груди, и ещё она была нема. Это просто жена одного пьяницы-слесаря.

Однажды он стукнул её по голове кулаком и так неудачно, что она откусила себе пол-языка.

Сначала он был очень опечален этим, а потом стал звать её немым уродом. Вот и всё.

Так вот как жили воспитанники старухи Китаевой – летом, а зимой они жили только потому немного иначе, что сидели в песке не на дворе, а на печи. Песок старуха Китаева считала главным фактором в деле физического воспитания и строила всё его исключительно на песке.

Воспитание младенца Павла не отличалось ничем от воспитания его собратий.

Впрочем, иногда над ящиком с песком, в котором он сидел, склонялась большая, чёрная голова, и чёрные, глубокие глаза смотрели на него внимательно и долго.

Сначала Панька пугался этого явления, но постепенно привык к нему и даже настолько освоился с ним, что стал запускать свои ручонки в лохматую бороду, щекотавшую его, нимало не пугаясь, когда из этой бороды прямо перед его носом сверкали крупные белые зубы и раздавалось глухое урчание. Иногда его вытаскивали из песка две могучие руки и качали в воздухе, высоко подбрасывая его маленькое тельце. Младенец Павел жмурился и молчал от страха, а когда его переставали качать, он ревел во всё горло, а громадный чёрный человек, стоя перед ним, кричал:

– Эй, старуха! Али не слышишь?!

– Слышу, батюшка, слышу! – недовольно отзывалась Китаева и ползла откуда-нибудь к ним.

– Нишкни, о... о... о!.. Нишкни, миленький! У... у... у!.. а... а... а!..

– Ревут они у тебя... – гудел на дворе бас.

– Ревут, батюшка, ревут. Все ревут, все как есть! – звенел иронически дребезжащий фальцет.

– Это оттого, что грязно.

– Грязно, батюшка, грязно. Очень грязно.

Бас недоумевающе урчал, а фальцет с торжеством покашливал.

– Лучше-то как нельзя? – возрождался бас.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki۱max – Можно, можно. Лучше, много лучше можно! – убедительно и насмешливо вновь звенел фальцет.

– Так ты что же?! – как бы угрожая, гудел бас.

– А ничего, родной, как есть ничего. Старуха я старая, немощная, бедная, вот что. И всё тут. И ничего больше! – покорялся фальцет.

Наступала пауза.

– Пш... чш... пши... и... и... и!.. Спи... и... и!.. Спи... и... и!.. – шипело в воздухе.

– Ну, прощай. Смотри же! – спускался бас до октавы.

– Смотрю, батюшка, поглядываю, – тихо отзывался фальцет, и на этом разговор заменялся шумом удалявшихся тяжёлых шагов.

Спустя после описанного четыре года в будке Арефия Гиблого появился ребёнок Панька. Это было коротконогое и большеголовое существо, с исковерканным оспой лицом и тёмными, глубоко ушедшими в орбиты глазами.

Молчаливый и вечно разглядывавший что-то никому не видимое, ребёнок Панька не нарушал своим присутствием в будке одинокой, установившейся жизни будочника, успевшего за эти четыре года нажать себе серебряные жилки седин в бороде и на голове да ещё более угрюмости и любви к книжкам о жизни святых угодников.

Дни Паньки текли равномерно и покойно. Рано поутру его будили птицы, начинавшие свой громкий разговор с первым лучом солнца. Панька открывал глаза и подолгу смотрел из своей постельки за печкой, как они прыгали в клетках с жёрдочки на жёрдочку, плескались в воде, клевали семя и пели, кто как умел, пели опьяняюще, задорно, но далеко не красиво. Весёлое треньканье чижей, спутываясь с однообразным свистом щеглят и дополненное смешным скрипом важных снегирей, сливалось в странную, журчащую струю звуков, капризно бившуюся в маленькой, закопчённой и тесной комнатке. Был ещё скворец, хромой и молчаливый. Он один висел в большой проволочной клетке над окном и, уцепившись одной ногой за жердь, медленно покачивался из стороны в сторону, поворачивая голову то туда, то сюда, и вдруг выпускал из горла тонкий, длинный свист, чем всегда приводил остальных птиц в молчаливое недоумение, продолжавшееся с минуту. Птицы вдруг прерывали свой нескладный концерт и оглядывались кругом, как бы желая вникнуть в смысл этого странного свиста, а сосед скворца по клетке, генеральски солидный снегирь, вдруг приходил в какой-то злой раж и, надувшись, как мяч, с заершившимися красными перьями на груди, вытягивал голову по направлению к скворцу и как-то не по-птичьи начинал хрипеть, шипеть и биться в клетке, раскрывая тупой клюв и высовывая толстый язык.

Но скворец уже снова не обращал ни на что внимания, покачивался на жерди и философски поводил головой из стороны в сторону. Его неподвижная чёрная, монашеская фигура оживлялась только тогда, когда в клетку заползал таракан; но и тогда это оживление продолжалось не более двух-трёх секунд. Во всём поведении скворца и, главное, в его свисте было что-то скептическое, глубокое, отрезвлявшее других; этот свист раздавался среди голосов остальных птиц, точно веское слово умудрённого опытом старика в хору пылких речей не живой и оптимистически настроенной молодёжи. Иногда он вдруг начинал прыгать в клетке, встряхивал крыльями, раскрывал клюв, ощипывался, принимал важную, устойчивую позу, но... не свистел, а снова погружался в философское молчание, как бы находя, что не пришло ещё время сделать то, что он хотел сделать, или как бы убедившись в том, что задуманное им деяние не может изменить существующего порядка вещей.

Паньке скворец нравился больше всех других птиц, потому что он находил в нём много сходства с тятёй Арефой. Тятя Арефа тоже любил скворца; он всегда у него первого чистил клетку и ему первому давал свежее семя и воду.

Панька лежал утром в постели до той поры, пока с улицы не являлся тятя Арефа.

Почему-то тятя Арефа не любил свою будку и большее время дня и ночи проводил вне её. Тятя Арефа осторожно приотворял дверь, просовывал в неё свою чёрную голову и спрашивал:

– Проснулся?

– Проснулся! – отвечал Панька.

Тогда тятя входил в будку и начинал ставить самовар. Самовар был очень стар, весь обляпан грубыми, тусклыми заплатами из олова и вместо одной ручки имел кусок лошадиной подковы, прикреплённый к его боку проволокой. Поставив самовар, Арефий принимался чистить клетки, мести пол, а когда самовар начинал тонко пищать, то командовал Паньке густым басом, более густым, чем он говорил обыкновенно, что происходило, очевидно, от желания сделать его мягче:

– Вставай, умывайся, молись богу!

Панька вставал, умывался, молился богу и делал всё это ровно, спокойно, как взрослый и как глубоко убеждённый в важности и необходимости всего этого, молча, с строго нахмуренной рожницей, и эта мина, вместе с встрёпанными волосами и серьёзно блиставшими глазами, делала его похожим на маленького крота, крепко озабоченного предстоящим трудовым днём. Потом, когда он, умытый, причёсанный и под диктовку тяти Арефы прочитавший искусственно глухим голосом утреннюю молитву, садился за стол перед уморительно курлыкавшим самоваром, – он терял уже много дикой прелести и становился немного смешным в своей молчаливой важности.

Чай пили молча, и молча же проводилась большая часть дня. После чая Арефа стряпал, то есть зимой топил печь, наливал в горшок воды, сыпал туда овощи, клал кусок мяса и совал горшок в огонь прямо рукой, несмотря на то, что имел ухват, а летом разводил на дворике за будкой маленький костёр, пёк в нём картофель или тоже варил что-нибудь, причём всё делал так, чтоб не заподозрить себя в заимствованиях от баб, с опасностью для своего здоровья отрицая необходимость употребления ухватов, скалок, мутовок и других благородных атрибутов женского труда.

Панька солидно похаживал около него, одетый в ситцевые клетчатые штанишки и красную кумачную рубашонку, пристально наблюдал за всем, что делает тятя Арефа, и изредка о чём-нибудь спрашивал его. Односложные, хмурые ответы не вызвали Паньку на продолжение разговора; он смотрел ещё некоторое время на возившегося в будке Арефия и потом уходил на улицу, сопровождаемый советом не ходить далеко.

Будка стояла на выезде из города и смотрела окнами в поле, недалеко от неё разрезанное стальной полосой реки, за которой тянулось снова поле, зелёное и приветливое летом и холодно скучное зимой. Затем горизонт запирали стена леса, днём неподвижная, тёмная, молчаливая, а по вечерам, когда за неё опускалось солнце, разукрашенная его лучами в пурпур и золото.

Панька сходил к реке и, примостясь на камнях между кустов ивняка, бросал в воду щепки, смотрел, как они уплывают куда-то далеко, как на воде играет солнечный луч и ветер покрывает её весёлой рябью, и часто, убаюканный немолчным шорохом волн о берег, засыпал.

Арефий, если был дома, приходил за ним и звал домой обедать. Обедали, а потом Панька снова уходил к реке и до вечера играл там один или с нищенкой Тулькой, косоглазой и вороватой девочкой лет восьми, грязной, крикливой и очень не любимой Арефой, который всегда гонял её из будки, если она заходила туда.

Наступал вечер, и Панька, посмотрев, как садится солнце и лес, живой и красивый, мертвеет, окутываясь вечерними тенями, – шёл в будку и ложился спать, при Арефе – предварительно помолясь богу, а без него – не молясь и даже не раздеваясь.

Так текли дни один за другим, однообразные, молчаливые, и, как всегда это бывает с днями, они, цепляясь один за другой, создавали недели, месяцы, годы...

Панька рос, его дни становились полнее, он задумывался над тем, куда течёт река, и над тем, что скрыто там за лесом, почему облака, такие большие, свободно плавают в небе, а маленький камень, брошенный вверх, падает обратно на землю, что делается там в городе, где крыши столпились так плотно друг к другу, и за городом, и вообще на земле, такой шумной днём и так грустно спокойной ночью. Но с такими вопросами он не обращался к Арефе, может быть, полагая, что человек, который так много молчит, ничего не знает, и немного стесняемый как этим

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax молчалием, так и постоянно хмурой миной на лице Арефия.

Зато, когда приходил Михайло, – это случалось редко, – Панька забивался в угол и из него всласть наслаждался человеческой речью. Михайло говорил много и всегда начинал с вопроса Арефию:

– Ну что, монах, – жив? Жениться не думаешь? – и хохотал, тогда как Арефий оставался глубоко равнодушен.

Но Михайла ничуть не обижало это равнодушие; он вытирал платком своё чисто выбритое лицо и, поудобнее усевшись на лавке, «заводил волынку», как в минуты раздражения выражался его угрюмый товарищ.

– Сегодня, братец ты мой, пообедал я здорово. Кашу мне Марья состряпала из полбы, ох, какая каша!.. на молоке и с изюмом. Э? Хорошо! Золотые у ней, у Марьи, руки насчёт стряпни. И насчёт всего иного. Пошить ли что, или что другое, всё может!

Ах, хорошая баба моя жена! Вот бы тебе такую, Арефа, а? Такую бы?

– Лает, как собака! – коротко отзывался Арефий, возясь около самовара или уже сидя за столом и макая усы в блюдечко с чаем.

Михайло удивлённо приподнимал брови.

– Лает, говоришь? Так что же? Ну, лает, это, положим, верно. Но ведь без этого у мужчины с бабой невозможно, ни-ни! Потому каждый хочет себя господином чувствовать, а уступать никто не мастер. Я, к примеру, али я уступлю? Ни в жисть!

Сейчас что, – Ма-арья! А коли не берёт в резон, – раз в зубы...

– А она тебя два раз... – хладнокровно вставлял Арефий Гиблый.

– Два раз? Ну поло-ожим!.. А хошь бы и два раз? Али она мне не жена? Имеет право и два раз. Но только я не уступлю и тут. Я ей могу за это прописать такую таску...

– А она тебя отваляет скалкой, как запрошлый раз... – не уступал Арефий.

– Ска-алкой!.. фу ты! Что она меня скалкой-то каждый день, что ли, дует?

Один раз всего и было это. Скалкой! Скажет уж тоже, как чёрт в бочку!..

Наступало молчание. Товарищи пили чай и поглядывали друг на друга.

– Ну, а как у тебя птицы? Живут?

– Смотри!..

– Вижу. Хорошо. Птицы – это великолепно. Вот и я себе заведу птиц...

– Жена-то зажарит их, – иронизировал Арефий.

– Никогда! Она сама любит птицу. Прошлый раз ещё гуся купила одного. И как купила!.. – вдруг оживляется Михайло. – Умная, шельма! Мужик – пьяный, сейчас она на него кричать: «Ты, говорит, пьяный, а я жена унтер-офицера, хочешь, говорит, мужа позову, полицейского – мужа. Он тебя в часть! Ага! Хочешь?» Мужик спьяну испугался да за три гривенника такого ей гуся продал, ух ты! Жулик такой, хитрый, важный, тяжёлый, ровно как наш частный! Нет, братец ты мой, жена у меня – клад. И кабы тебе такую найти, – святое дело! Она бы тебя взяла в руки, ух ты как! И не пикнул бы ты!

– Ну, а хорошего-то тут что? – осведомился Арефий.

– Хорошего тут-то что? Баба! Дух в доме иной, когда баба есть. Дети сейчас пойдут – это раз, чистота – это два, есть с кем поругаться и помириться – это три...

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
И начиналось бесконечное исчисление прекрасных бабьих качеств. У Михайла был какой-то особенный угол зрения, освещавший и недостатки баб как достоинства.

Бабы – это был его излюбленный конёк, впрочем, сильно конкурировавший с другим – едой. Бабы – это была для него альфа и омега бытия, цемент, связующий все явления жизни в одно стройное целое, сила, дающая всему тон, цвет и суть. Он готов был говорить о бабах часа по три кряду в приподнятом, эпическом тоне, то и дело впадая в лиризм, наводивший на Арефия тоску. Арефий молчал и всё сгибался, точно пробуя залезть под стол от речей товарища, и когда, наконец, его терпение иссякало, он вставал и угрюмо рычал на Михайла:

– Отстань! Будет. Всю душу вытянул.

Этот окрик сокращал оратора, но не смущал его настолько, чтоб уж он совершенно замолчал. Нет, он некоторое время осматривался вокруг и «заводил волынку» снова:

– Печь надо выбелить. Какая же это печь? Фу-фу! мерзость одна. Вот кабы баба-то была...

Но Арефий угрюмо кашлял и внушительно двигал ногой или рукой.

– Не сердись, братец мой! Погоди, сам захочешь. Нестаточное дело, чтоб человек, такой, как ты, жил без употребления...

– Мишка! брось! – стучал кулаком по столу Арефий.

– Ну-ну, не буду, чёрт с тобой!

Несколько минут молчания.

– А пойду я домой! Скоро на дежурство мне. Чай, поди, ждёт Марья-то. Ужин у нас сегодня, их ты какой! Сычуг с гречной кашей и свиным салом... Сок один. Куснёшь, так и брызнет! Ух!.. Вот и ешь ты погано. Какая это еда? А кабы была у тебя... ну, не буду, не буду, молчу... Иду уж я, иду. Прощай, пошёл уж я. Приходи как ни то ко мне. А где ж Панька? Панька, чертёнок, ты тут где? Нет, видно. Как он, Панька-то, здоров? Чай, всё на улице живёт? Вот тоже и Панькина жизнь, – какая жизнь? А ежели бы баба-то была...

И, наконец, он уходил, сопровождаемый недовольным урчанием Арефия, который долго после его посещения чувствовал себя угнетённым и как бы обвеянным неприятной ему струёй воздуха.

Разговоры Михайла очень редко варьировались, и скоро Панька почти научился предугадывать конец каждой его фразы, слыша её первое слово. Ему не нравилось бритое, лоснившееся от жира лицо Михайла, с мутными глазами, похожими на две оловянные пуговицы, не нравился и голос, самодовольно басовитый, и вся топорная фигура Михаила с короткими ногами и руками и с четырёхугольной, гладко остриженной головой. Наблюдая за ним и за отношением к нему Арефия, Панька дошёл до прямой неприязни к эпикурейцу и стал избегать его, за что и получил прозвище «волчонка». Тятя Арефа, в сравнении с товарищем, был красавец, несмотря на то, что чёрная борода, мощная фигура и сосредоточенное молчание делали его страшным в глазах Паньки.

Из разговора двух друзей Панька не мог много вынести для себя, но всегда становился на сторону молчавшего Арефия и не доверял многоречивому Михаилу. Отношения Арефы к бабам он постепенно перенимал и даже пытался их демонстрировать над Тулькой, которую это сначала удивило, потом рассердило, и в результате однажды Панька явился домой с расцарапанной рожницей и с тайным уважением к женщине.

Арефий спросил его коротко и очень густым басом:

– Это что?

– Упал... об щепки... – ответил Панька и покраснел.

– Ишь... – неопределённо заявил Арефий и посоветовал ему умыться.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
А дни текли, и Панька рос.

Вот ему уже девятый год. Он невелик ростом, очень ряб, неуклюж, молчалив, и глаза его не по-детски холодны и разумны. Они с Арефием прекрасно понимают друг друга, и поэтому молчание каждого более или менее красноречиво говорит другому.

Панька учится грамоте у Арефия. Была сделана попытка ходить в приходское училище, но она окончилась печально. Панька не вытерпел более десяти дней отношения к себе товарищей по школе и на одиннадцатый, разбуженный Арефием словами «вставай, пора в школу», поднял голову с подушки и, пристально посмотрев в лицо Арефия воспалёнными от бессонной ночи глазами, проговорил первую со дня своего рождения длинную речь:

– Не пойду я больше туда, хоть утопи, хуже собаки паршивой я там. Только и зóбу, что крапивник, подкидыш, рябой чёрт. Не пойду, как хошь. Дома я лучше буду.

Не люблю их я, никого не люблю. Всегда буду биться с ними. Третьего дня нос расквасил учителю сыну, а учитель-то меня на колени – на час целый. Ещё расквашу, всем расквашу, ставь – на! А когда меня побьют, так ничего, я молчу и на колени никого не ставят.

Не пойду я больше, как хошь!

Арефий смотрел на рябое детское лицо, теперь ещё больше исковерканное злобой и негодованием, и молчал, а когда Панька кончил говорить и снова с упрямой и вызывающей миной ткнулся головой в подушку, он коротко, но так, что в окнах дрогнули стёкла, бухнул: «Не ходи!..» И при этом так внушительно посмотрел в ту сторону, где было училище, что Панька дрогнул и закутал голову в одеяло.

Больше о школе не подымалось речи, и учение пошло с грехом пополам дома.

Панька учиться не любил и садился за книжки, как за трудную и неприятную работу, а Арефий, преподавая ему грамоту, не мог, несмотря на своё желание, оживить мёртвые буквы и слова.

Каждый день после чая Панька с хмурым лицом снимал с полки книжки, садился за стол, опёршись локтями о колена, ущемлял свою голову в ладони и начинал качаться взад и вперёд, вправо и влево, при этом бормоча что-то очень неясное и далеко не музыкальное.

Единственным результатом этих приёмов было то, что птицы в клетках сначала умолкали и беспокойно переглядывались друг с другом, а потом вдруг, по сигналу одного задорного чижа, снова принимались свистеть и щебетать на разные лады, как бы обуреваемые злым намерением выбить мальчика из тесной колеи научных занятий. Они в этом быстро успевали.

Панька отрывал голову от книг и начинал тихонько подсвистывать сначала одному чижу, хорошему певуну, потом некоторое время густым свистом дразнил снегирей, затем подзадоривал щеглят, скребя одним ножом по обуху другого, и, наконец, когда в будке подымался невероятный гам, он вставал на лавку и занимался со скворцом.

Это делалось так: в клетку просовывалась лучинка, и одной лучинкой скворец получал несколько щелчков по носу, что его всегда приводило в большое беспокойство.

Он очень нелепо прыгал на одной ноге по клетке, хлопая крыльями и стараясь поймать проклятую лучинку клювом. Редко он достигал этого и если достигал, то, потеряв её, снова погружался в скептическое молчание, из которого его уже не могла вывести лучинка, а не достигая, – оглашал будку своим свистом, который от времени приобретал всё больше и больше демонстративный характер.

На этом успокаивался Панька и снова садился за книги, но уже не смотрел в них, а смотрел прямо перед собой сквозь стену, и чем больше он упражнялся в этом, тем шире, глубже и осмысленнее становился его взгляд. О чём он думал, едва ли было понятно и ему самому. Есть думы без физиономий и форм; это не мешает им быть тяжёлыми и отравляющими сердце преждевременным знанием тех сторон жизни, не зная которые было бы большим счастьем, если б не было трусостью и не делало

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
людей глупыми.

И так, под неугомонное щебетанье птиц, Панька сидел часа по два. Потом приходил Арефий и спрашивал урок. Панька покойно усаживался на скамье и, туго нажимая пальцем на строки в книжке, выдавливал из них такие сентенции:

– Пы-лой пы-лят...

– погоди! – останавливал его Арефа. – Должно быть не так это. – И, придвигая к себе книжку, шевелил губами. – Не так! Ну-ка, ещё читай.

– Пи-лой пы-лят, а иглой шьют.

– Ну... Пилой ведь написано... Что делают пилой?

– Пилой? – подымая глаза к потолку, соображал Панька. – Дрова пилят.

– Ну, вот видишь! а ты читаешь: пылят, чай, это иже, а не еры.

– Да тут не написано про дрова-то.

Арефий на некоторое время задумывался о том, куда давать дрова, мешающие уяснению научных сведений. Панька ёжился и заявлял:

– Я ведь знаю всё это. Иглою – шьют, топором – рубят, а пером пишут, а вот читать это не умею. Маленькие больно слова-то. И всё разные.

Арефий молча соображал; глядя в книжку, прочитывал наивнейшие фразы и то сомневался в их развивающем и поучающем значении, то удивлялся премудрости составителя книжки, который, по его мнению, подозревал Паньку в предположении, что пилой шьют, а иглой пилят.

В таком порядке и характере проходил час урока. Арефий задавал Паньке повторить зады и ещё «от этого места до этого», и затем оба, вспотевшие от научных трудов, садились обедать. После обеда Арефий ложился поспать, а Паньке наказывал поглядывать и «коли что», так сейчас же разбудить его.

Панька одевался и выходил на улицу. С улицей он жил далеко не дружно. Его молчаливый, угрюмый характер не привлекал к нему симпатии сверстников, а сам он, втайне завидуя их веселью и играм, не решался пойти им навстречу. Впрочем, было сделано несколько попыток завязать дружественные сношения, но все они кончались почему-то гомерическими драками и обоюдным озлоблением. Панька не умел увлекаться живой прелестью игр и ко всему относился слишком рассудочно и взросло, это производило на всех охлаждающее и неприятное впечатление. Его избегали наконец, он это чувствовал.

А однажды вышел такой случай: отправились в лес за грибами, и Панька, любивший лес, умягчавший его и навевавший своим меланхолическим шумом на его душу много тёплых и мягких дум, незаметно отбилсь от товарищей в сторону. Бродя между деревьями и пристально оглядывая землю, он мурлыкал песню, наслаждался тёплым и сочным запахом перегнивших листьев, шорохом травы под ногами и бойкой жизнью букашек, муравьёв... Издали до него доносились голоса товарищей.

– А где ж подкидыш? – крикнул кто-то.

– Вот больно нужно! не потеряется, небойсь!

– Всегда надутый, как сыч или как будочник Арефий...

– А может, будочник и есть его отец?

И ребята звонко засмеялись.

Паньке стало холодно и темно от этих фраз. Он осторожно пошёл вон из леса, чувствуя себя обиженным; но скоро эта обида перешла в злость. Ему захотелось отомстить, и он чувствовал себя вправе сделать это.

Тогда, выйдя на опушку, он крикнул во весь голос тоном радости и интереса:

– Эй, братцы, айда скорей! Что я нашёл! – А когда к нему на голос выбежали двое, он бросился на них и, отколотив обоих, ушёл, сопровождаемый руганью и оскорблениями.

Всё время до самого города они шли в отдалении от него и ругались, смеялись над ним, боясь подойти ближе, ибо он был силен и вступать в открытый бой с ним было опасно, в чём им не раз приходилось убеждаться.

А Панька пришёл домой и тоскливо задумался о чём-то. Арефия не было дома, наступал вечер, в будке было темно и тихо. Тишину нарушали только зяблик и чиж, недавно приобретённые и ещё не успевшие обседеться. Они привлекли внимание Паньки.

Он долго смотрел, как они прыгают в клетке, просовывают головы сквозь прутья, и вдруг, быстро вскочив на стул, снял клетку и, отворив дверцу, высунул её в открытое окно. Птицы быстро улетели. Панька даже не заметил, как это было; отвлечённый в сторону чем-то другим, он снова сел за стол и, положив голову на руки, снова задумался...

Пришёл Арефий.

– Выпустил я птиц-то, – встретил его Панька. Он сказал это вызывающим тоном, и взгляд его сверкал вызывающе.

Арефий посмотрел на стены, потом в лицо Паньки и коротко спросил:

– Зачем?

– Так! – всё с тем же выражением в тоне и глазах ответил Панька.

– Ну... твоё дело.

– А ты что ж не поругаешь меня? – задорно заявил Панька.

Арефий поднял брови и усы кверху и пристально посмотрел в лицо приёмыша.

– Разве я когда тебя ругал? – грустно изрёк он и стал гладить себя по колену ладонью.

– То-то что нет. А все ругают. Уж и ты бы, что ли, вальнул. Всё уж равно.

Арефий смущённо заёрзал по лавке. Панька смотрел на него совсем взрослым и очень злым человеком.

Воцарилось тяжёлое молчание. Даже птицы, казалось, присмирели и слушают, что будет дальше. Но дальше ничего не следовало, кроме того разве, что Панька подобрал под себя ноги и опёрся спиной о стену.

Грязные, старые часы, с жёлтым, засиженным мухами циферблатом, отсчитывали секунды, однообразно капавшие в бездну вечности, и были, очевидно, страшно утомлены этой обязательной работой; лениво качавшийся маятник тихо и уныло взвизгивал, вызывая этим звуком у таракана, сидевшего на стене, насмешливые движения усами. Красный луч заходящего солнца пробился сквозь кусты бузины в окно будки и бросил на её пол светлые, колебавшиеся пятна.

– Выпустил птиц – это ничего. Ту птицу, которая бьётся в клетке, нужно выпустить, а если она привыкла, так и пусть её сидит, – это уж и не птица. Хорошую птицу всегда тянет на волю...

Панька поднял голову и посмотрел на Арефия.

– Это ты к чему? – спросил он.

– Так... ни к чему... Подумал, да и сказал... – смущённо ответил Арефий, теребя бороду и чувствуя себя в чём-то виноватым перед Панькой.

– Не сразу тоже скажешь так, как думаешь. Иной раз около своей-то мысли

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorķiуmax
вертишься, вертишься, да и потеряешь её, вся в куски разорвётся... а что
рассыпалось, того уж и нет.

– Ну? – внимательно вытягивая голову, вновь спросил Панька.

– Ну, и ничего. Уметь, мол, надо говорить–то. Давай–ка вот, Панок, почитаем
житие Алексея божия человека.

– Давай!

Панька лёг на лавке, немного разочарованный Арефием, в словах которого он чувствовал что–то новое; да и самых слов было сказано в этот раз много, что тоже было новостью. Арефий снял с полки кучку истрёпанных книжек и, выбрав одну из них, положил её на стол перед собой, и несколько минут спустя в будке плавал его густой бас, становившийся ещё гуще по мере того, как возрастал интерес книги, и переходивший к концу её в дрожащую густую октаву. Панька любил в это время лежать с закрытыми глазами и иллюстрировать книжку разными картинками. Так, он представлял себе всех святых такими маленькими и худыми, с громадными, сурово сверкающими глазами; их мучителей – здоровенными мужиками в красных рубахах, с засученными рукавами и в сапогах со скрипом; царей, гонителей христиан, – коротконогими, толстыми господами, которым всегда страшно жарко, отчего они так и злятся. В основе его представлений лежали реальные лица: священник из монастыря, мясники–приказчики, жившие неподалёку, и частный пристав Гоголев. Панька брал самые выпуклые черты их характеров и физиономий и развивал их до того, что они совершенно теряли человеческое подобие и становились какими–то чудовищами, пугавшими своим безобразием самого создателя. Иногда скомпонованные им картины наводили на него ужас. Он открывал глаза и испуганно оглядывал будку.

Прямо перед ним торчала громадная, лохматая голова Арефия, от неё на стену падала громадная, фантастическая тень, и вся будка была заполнена басистым гулом, из которого густыми, могучими вздохами иногда вырывались отдельные слова и фразы. Панька ловил их и не понимал, как могли из этих простых слов создаваться такие страшные картины мучений подвижничества и почему он, слушая эти слова, может видеть то, о чём они говорят. Он задумывался и снова терял нить истории... И, поглощённый своими думами, он так и засыпал тут на лавке, против Арефия, увлечённого книжкой до полного забвения всего происходящего вокруг. Арефий, когда дочитывал книгу, долго ещё не подымал от неё головы, как бы читая что–то и на пустой странице обложки, а потом вздыхал полной грудью, оглядывался, вставал и, подходя к Паньке, с массой предосторожностей брал его на руки, относил в постельку за печкой и, перекрестив, выходил на лавочку к будке.

Там он долго и внимательно смотрел на реку, на тёмную стену леса и в небо, усеянное звёздами; прислушивался к утихавшему шуму города и, подозрительно поглядывая на проходивших мимо женщин, окричал извозчиков строгим «тише, чёрт!», если извозчик ехал быстро, и ещё более строгим «ну ты, ползи!», коли извозчик ехал тихо. Ни в том, ни в другом окрике не было решительно никакой надобности, но без этого Арефий не пропускал мимо себя ни одного из извозчиков. Все они казались отчаянными дармоедами и лентяями, живущими на счёт сил своих лошадей, которые уже по одному тому были намного лучше и разумнее своих хозяев, что не сквернословили.

Иногда мимо Арефия, громяхая бубенцами, мчалась тройка, гикал ямщик, визжали женщины, слышался сиплый и пьяный смех мужчин... Арефий вскакивал на ноги и, ощущая в себе горячее желание отправить всю эту компанию в часть, долго провожал их строгим взглядом.

С того времени, как Паньке минуло шесть лет и он стал бегать по улице, Арефий начал также очень строго и недоброжелательно относиться к уличным мальчишкам и быстро успел выработать в них враждебно задорное отношение к себе. Он никак не мог помириться с тем фактом, что все они смеют относиться к его Паньке так дурно и зло, и сначала не хотел верить в это, но случайно подсмотрел две–три сценки, подслушал два–три глупых ругательства по адресу своего приёмного сына, убедился, что это так, что его Паньку никто не любит, кроме него, глубоко задумался и, незаметно для самого себя, объявил мальчишкам жестокую войну, не позволяя им шуметь и играть на улице, часто в своих придириках к ним доходя до смешного, и, наконец, убедил себя, что он имеет дело не с детьми, как это может показаться сначала, а с маленькими людьми, которым вполне доступны и понятны все дурные чувства и склонности больших.

Это убеждение часто приводило Арефия к очень острым столкновениям с обывателями, а во время столкновений ему не раз приходилось выслушивать много нелестных эпитетов по адресу Паньки. Всегда после таких столкновений он становился ещё мрачней и всё лицо его, стянутое глубокими морщинами, утопало в бороде, усах и бровях, из-под которых сурово сверкали глаза, делавшиеся от времени всё более беспокойными и нервно-подвижными.

Когда он читал свои излюбленные жития святых, голос его становился всё глуше день ото дня, а порой начинал дрожать и странно, металлически звенеть.

Но в отношениях к Паньке не происходило никаких перемен. Всё то же молчание.

Редко – отрывистые и краткие разговоры, по тону нимало не отличавшиеся от всего, что говорил он с кем-либо, кроме извозчиков и женщин. Это был совершенно спокойный, почти равнодушный тон; им он рапортовал начальству, им отдавал приказы дворникам, им уговаривал пьяных идти домой и им же отвечал на вопросы прохожих. Последнее, впрочем, случалось редко, ибо его суровая, большая фигура, с лицом, глухо спрятанным в чёрную бороду, не располагала к разговорам.

С течением времени он всё менее сидел в своей будке; даже ночью, когда дежурить на улице он не видел ни малейшей надобности, он всё-таки выходил и садился на лавку под кусты бузины.

Неподвижно, как пень, он сидел всю ночь до рассвета и иногда, так сидя, тут и засыпал. Вообще же смотрел в поле за реку очень пристально и долго, не отрывая глаз от избранной точки. А иногда вставал и шёл к реке, садился там на камни и сидел, точно к чему-то прислушиваясь... Река катилась в даль и тихо, тихо шептала о чём-то берегу...

А Панька, вырастая, всё более уходил в глубь себя, становился всё более скучен и молчалив для детей-сверстников и почти уже не делал попыток установить какие-либо сношения с ними, помня прежние попытки, которые принесли ему гораздо более огорчений, чем радостей.

После одной из таких попыток он вошёл в будку взволнованный, со стиснутыми зубами, с синяком под глазом и рассечённой в кровь губой.

– Что, опять подрался? – спросил Арефий, довольно одобрительно поглядывая на него. – Экий ты, братец мой, воин, всё дерёшься!

Панька молча сел на лавку и, пососав губу, плюнул.

Арефию очень нравилось в Паньке то, что он ни разу не прибежал к нему с жалобами и со слезами, а расправлялся с врагами, поскольку мог, своими средствами и никогда, какой бы урон ни потерпел, не плакал.

– С кем ты это похлестался теперь? с Огузковым, что ли, опять?

В другое время Арефий не говорил бы с Панькой больше, но теперь, чувствуя, что Панька чем-то крепко задет за живое, пытался доискаться истины. Ему не пришлось особенно хлопотать об этом, потому что Панька вдруг наклонил голову и глухо, весь дрогнув, спросил:

– Где у меня отец с матерью?

Арефий, возившийся перед печью, уронил из рук ухват и вытянулся перед Панькой, как будто Панька был частным приставом, вытянулся и, широко раскрыв глаза, с некоторым страхом стал смотреть на его согнутую фигуру. Панька не видал его позы и мины и долго ждал ответа, но не получил его.

– А что они были за люди такие? – поднял голову Панька и скверно, не по-детски улыбнулся в изумлённое и испуганное лицо Арефия.

На этот раз Арефий нашёлся.

– Мать твоя – шкура барабанная, а отец – мерзавец! – рыкнул он на всю будку и подкрепил своё определение отчаянным ругательством по адресу родителей Паньки,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax ругательством, какого Панька не слышал от него ни прежде, ни после.

Панька снова согнулся и замолчал.

Арефий сел на лавку, не обращая внимания на то, что в печке кипел какой-то горшок с водой и заливал яростно шипевшие дрова. Молчали долго и внушительно.

– Знал ты их? – робко спросил, наконец, Панька.

– Знал... – загудел Арефий. – Как не знать! Уж коли своего ребёнка под забор бросили, значит – подлецы.

– А живы они?

– Ну, уж не знаю... Нет, наверное, сдохли оба. Она, чай, от тоски по тебе, а он спился с кругу или что ни то в таком роде, тоже под забором, верно, и сдох... как собака.

– А ты... их видел?

– Никогда я во весь век свой такой дряни не видывал! Видел бы я их!..

Панька понял из заключительного возгласа, что если б Арефий видел его родителей, то им, наверное, от этого было бы очень нехорошо, – понял и никогда более не заводил с ним разговоров об этом тёмном вопросе. И только однажды как-то Арефий сам заговорил об этом, исходя от какой-то тайной мысли, кажется, несколько романтического характера:

– А видно, что ты не простых, чёрных людей сын. Ум у тебя не простой и всё прочее. Не чернь.

Из каких наблюдений вывел Арефий заключение о происхождении Паньки от таких сложных и светлых людей, коим был неизвестен инстинкт любви к детищу, это было его тайной, Панька же не давал ему большого материала для такого вывода. И кроме этого вопрос о происхождении Паньки не подымался ни разу.

Думал ли Панька о нём? Может быть. Он всегда так много думал и так подозрительно упорно молчал, что, наверное, не оставлял и этот вопрос без исследования.

Нет границ фантазии человека, фантазии же ребёнка ещё меньше границ, ибо душа ребёнка ещё более тайна, чем душа взрослого, – в ней нет тех маленьких дрянных чёрточек, которые так ясно видны в искушённую жизнь большого человека.

Как-то раз, возвратившись из части, Арефий обратил внимание на скворца, который за последнее время вёл себя очень странно: сидит, сидит неподвижно на жердочке клетки и вдруг полетит с неё кувырком вниз. Часто он попадал в чашечку с водой и потом долго отряхивался, щёлкая клювом и хлопая крыльями. Всегда после таких падений ему дорого стоило взобраться на жердь, куда прежде он взлетал сразу, а когда он взбирался, то садился не посредине её, как прежде, а к краю, прижимаясь боком к стенке клетки. В этот день хромая птица то и дело встряхивала крыльями, стараясь удержаться своей ногой за жердь и, видимо, теряя силы.

– Умереть хочет хромой-то! – сообщил Арефий Паньке, критически осмотрев птицу.

– Ну? – немного тревожно произнёс Панька, любивший этого скворца больше других птиц.

– Верно. Умрёт. Он ведь старый уж...

– Не тронь его, пусть...

Панька поднял голову и печально уставился на птицу, всё сильнее качавшуюся на жерди.

– Может, вынести его на волю? – спросил он Арефия.

– Можно и вынести!

И вот они сняли клетку и вынесли её под куст бузины перед будкой. Был весёлый мартовский день, всюду на солнце сияли лужи, рыхлый снег сочился водой, и даль давно уж не была так широко открыта и заманчиво свободна от серых масс зимних облаков.

За рекой вилась дорога чёрно-коричневой широкой полосой, и по обеим сторонам её сверкали на солнце яркие пятна проталин. Небо было ярко, и весело сияло в нём молодое солнце весны. Но скворца уже не могло оживить всё это. Он спокойно оглянулся вокруг, качнул головой, протяжно и тихо свистнул, упал с жердочки и умер.

Это случилось как раз в ту секунду, когда Панька хотел отворить дверцу клетки и, вынув из неё скворца, положить его на проталинку.

Панька отшатнулся и жалобно смотрел, как в предсмертной судороге вытягивалась лапка птицы, и, когда наконец, дрогнув, замерла, по его лицу одна за другой покатались слёзы... Вынув птицу из клетки, он повёртывал её в руках, и слёзы из его глаз капали на её перья.

– Значит, коли я умру, так ты тоже заплачешь? – тихо спросил его Арефий, наклоняясь к его лицу.

Панька бросил птицу на землю и, схватив руками шею Арефия, ткнулся ему в грудь головой, что-то бормоча сквозь сотрясавшие его рыдания.

– Ну, ладно, ладно. Не плачь. Ничего... Не без добрых людей свет. Проживёшь.

Трудно тебе только, не умеешь ты кориться. Это горе. Ну, а без этого – вдвое, потому тогда все на тебе поедут. Но ничего. Пробьёшься. Главное – учись! – Кое-как, рубя слова, как топором, Арефий успокоил Паньку, и они вместе устроили похороны скворца: вырыли у корней бузины ямку, выложили её мелкими черепками и засыпали землёй.

Панька, сильно удручённый этим событием, выпросил у Арефия позволение поставить над могилой крест и принялся строгать его из лучинок, а Арефий, погружённый в тяжёлые думы, избородившие ему весь лоб морщинами, сел в угол на лавку и исподлобья наблюдал за ним.

– Есть у меня такая дума, что я умру скоро. Точно мне очень бывает порой...

Ну, так вот...

Панька положил нож на стол и стал внимательно слушать.

– Перво-наперво, за Михайлом у меня в долгу тридцать пять рублей с двугривенным, да вот в сундуке лежит семнадцать с половиной. Дать их тебе в руки нельзя, а вот я отнесу на почту в кассу, есть там такая касса, и возьму жёлтенькую книжку оттуда.

Ты эту книжку храни. Ну, положим, я тебя хочу пристроить в мастерство. Ах, Панька, и скверно же тебе там будет! ух, как скверно! Народ – оголтелые собаки. Пьяницы, воры, матерщинники, развратники, – просто прелесть! бить тебя будут. Поносить тебя будут... Э-хе-хе!..

Арефий встал, снял с полки шапку, резким жестом надел её на голову и ушёл из будки, оставив Паньку, подавленного предсказаниями, доделывать крест на могилу покойного скворца.

Воротился в будку Арефий поздно ночью, когда Панька уже спал, но к затронутой теме уже не возвращался.

Прошло ещё месяца два. Не так давно Панька вдруг возымел охоту к ученью и теперь все дни проводил за книжками, но мудрые науки давались ему с трудом. Весьма часто эти книжки выводили его из терпения; в поте лица разбирая одно какое-нибудь слово, он вдруг открывал, что оно ему давным-давно знакомо. Это его бесило, и он ставил вопрос: зачем тут написаны такие слова?

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Как-то раз, в раздражении на науку, он заявил Арефию, что все эти книжки написаны «нарочно» и ничего в них нужного ему, Паньке, нет.

– А тебе чего нужно? – спросил Арефий.

– Мне-то? – задумался Панька. – Вот тут написано: «Наши дети сели и съели ягоды» и ещё: «Ель, мель, шмель, ел, мел, смел»... Это зачем мне нужно?

– Да, это действительно не тово... Ну, а ты читай дальше.

Панька читал дальше и всё-таки был недоволен, не находя ничего такого, что отвечало бы на смутные запросы его души. В этот день он прочитал две сказки и, по обыкновению, возмущённо размышлял на тему – зачем они ему нужны?

С улицы издали доносились крики и смех мальчишек, и в окно будки весело заглядывало солнце. Это ещё более злило Паньку, не позволяя ему сосредоточиться на книжках. Птицы задорно щебетали, прыгая в клетках, и Панька, искоса поглядывая на них, вспоминал своё давнишнее желание выпустить всех птиц на волю. Где-то вдали глухо гремела пролётка. Панька посмотрел в окно. По улице шёл булочник, и Панька почувствовал, что ему хочется есть... Арефий что-то долго не идёт сегодня.

Дребезжание пролётки всё приближалось к будке, и вон она появилась из-за угла; на ней сидит полицейский, но не Арефий. Это Михайло... «А чего ему нужно?»

– подумал Панька и, выйдя на улицу, встал у двери будки.

Михайло ещё издали махал что-то руками, как бы подзывая Паньку к себе. Панька смотрел на него и, видя, что весь он как-то странно растрёпан, фуражка сдвинута вбок и на затылок, шинель расстёгнута, догадался, что произошло нечто важное.

– Садись скорей! – крикнул Михайло.

– Ну? – спросил Панька, прыгая в пролётку.

– Вези назад в больницу! – толкая извозчика в спину, скомандовал Михайло.

– Что... вышло?! – крикнул Панька, бледнея и дёргая Михайла за обшлаг.

– Вышло плохо. Арефий-то с ума спёр. Спятил с ума. Помешался. Понимаешь?

Пришёл к частному приставу и говорит: «Мучьте меня, я христианин. Мучьте, не хочу я с вами, говорит, больше никакого отношения иметь». Гоголев было его в зубы. Ну, он ничего, – «бей, говорит, Диоскор, но я пребуду христианином до века». Ишь ведь какая чепуха!.. Пока что, он, Арефий-то, давай с полки хватать дела, да обзёмь их, да ногами по ним: «Сокрушу, говорит, ваших идолов в прах», и прочее такое. Ну, конечно, его сейчас верёвкой и в больницу, а он-то говорит, а он-то говорит!.. Н-да! вот они, книжки-то, и сказались. Эх ты, горе – эта грамота! Думается, от неё и всякое недоброе в голову идёт. Сейчас это – как, да почему, да зачем, да – тьфу!.. и с ума спятишь. Жалко малого-то, страсть как! товарищ ведь, старый друг!

Панька сидел подавленный, угрюмый и бледный и молча слушал, припоминая Арефию, каким он видел его вчера, третьего дня и дальше, в глубь прошлого... Ничего не было заметно за старым полицейским солдатом, кроме того разве, что он сильно худел день ото дня, что у него всё глубже вваливались глаза и взгляд их, обыкновенно мало подвижный, мрачный, за последнее время был как-то особенно жив и странно поблескивал то будто радостью, то страхом перед чем-то.

Раз, впрочем, не так давно, он заговорил о жизни в Ташкенте, о жаре, песке, диких тамошних людях и о каких-то поступках, за которые этих людей нужно убивать, как крыс. Но, поговорив об этом, он снова замолчал и всё время, до сегодняшнего утра, был человеком как следует.

– А он что – выздоровеет от этого? – прервал Панька разглагольствования Михайла.

– Он-то? Ну... известно... конечно... выздоровеет. А что доктор – разве он может что знать вперёд? Никогда! Доктор может лечить, и всё тут, и больше этого ему не

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax дано. А ты будку запер? Извозчик, стой! А будку ты запер, а?!

– Наплевать на будку! – махнув рукой, с раздражением крикнул Панька. – Разве что говорил доктор? Ты скажи, говорил? Эх, зачем ты остановил извозчика! Едем, дядя Михайло, скорей!

– Как едем, коли ты не запер будку! Ах ты, братец мой!.. едем, говорит!

Ну ж дитё!.. Растаскают ведь всю будку! Извозчик, назад! Поезжай, дурак, назад!

– Милый дядя Михайло! Не надо!.. Едем туда, к тятё Арефе!.. пёс с ней, с будкой!
– кричал Панька, волнуясь.

– Невозможно, чудак! Я один ворочусь ин. Один! Извозчик, вези его, вези в больницу! Ну, пошёл! где сумасшедших сажают, вези! А ты спроси там, Панька..

Но пролётка загремела, и Панька не расслышал, что надо спросить. Он ёрзал по сиденью пролётки и всё понукал извозчика: «Скорее поезжай!»

– Сейчас приедем! – убедительно отвечал извозчик, чмокал губами, махал кнутом в воздухе и корил лошадь, возглашая: – Ну, куда ты прёшь, дура? Али ты тоже с ума сошла? – и, дёргая вожжами, сворачивал ей голову то вправо, то влево, на что она отвечала ему негодующими взмахами жидкого хвоста и недовольным фырканьем.

Михайло своим печальным сообщением точно сорвал с мозга Паньки какую-то пелену, мешавшую ему до сего дня правильно понимать и воспринимать окружающее. Панька почувствовал себя одиноким, беззащитным и инстинктивно как-то насторожился, подозрительно и недоверчиво поглядывая вокруг и усиленно пытаясь заглушить неотвязно нывшую в его груди холодную тоску, позывавшую его расплакаться. Всё – извозчик, улица, люди, шедшие по ней во все стороны, – теперь показалось ему более чуждым, чем вчера, например, и возбуждало в нём боязливое опасение чего-то обидного и нежелательного. И даже небо, ясное, горячее летнее небо, вчера тёплое, ласковое, сегодня стало каким-то бездушным, сухим и не имеющим к нему, Паньке, никакого отношения.

– Ты как думаешь, выздоровеет он? – спросил Панька у извозчика, подъезжая к решётчатому забору, за которым стояло жёлтое холодное и скучное здание больницы.

– Он-то? Вы-выздоровеет! Налево, чёртова кукла, налево! Экая непутёвая планида!

Но раньше, чем «чёртова кукла» и «непутёвая планида» успела поворотить налево, Панька спрыгнул с пролётки и стрелой помчался к жёлтой стене, на которой тёмное пятно отворенной двери смотрело глубоким зевом.

Этот зев поглотил Паньку, обдал скверным, прохладным веянием и остановил его, недоумевающего, куда теперь идти.

– Тебе что? – спросили его откуда-то.

Опустив низко голову и не пытаясь посмотреть, кто с ним говорит, Панька торопливо забормотал:

– Будочник один... сумасшедший... сегодня привезли... укажите, где это.

– А!.. иди прямо, прямо. Отец, что ли, будет тебе?

Панька поднял голову. Перед ним двигалась чья-то широкая спина в красной рубашке.

– Отец, мол, что ли? – говорила эта фигура тенором, не оборачиваясь лицом к Паньке, и вдруг стала так неожиданно и быстро, что Панька ткнулся в неё лицом.

– Вот, Николай Николаевич, сын к сегодняшнему полицейскому пришёл.

К Паньке подошёл господин в очках и взял его за подбородок.

– Ну, что же тебе, мальчик, нужно? – спросил он ласково и тихо.

Панька удивлённо вскинул на него глазами. Лицо у господина было худое, бледное и

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
такое маленькое.

– Что же ты хочешь? а?

– К нему бы...

– Да нельзя этого. Нельзя.

Панька сморщился и молча заплакал. У него кружилась голова.

– Как же теперь... я-то? – сквозь слёзы спросил он.

Но господина около него уже не было, стоял один только человек в красной рубахе и белом фартуке. Он стоял перед Панькой, заложив руки назад, и, закусив губу, задумчиво поглядывал на него. Панька плотно прижался к стене и всхлипывал.

– Нишкни! Айда-ка со мной скорей, чтоб не видел доктор-то, ну! – и, схватив Паньку за руку, он помчал его в глубь коридора.

– Гляди!

Паньку сзади схватили руками, подняли на воздух и ткнули в круглое стекло, вставленное в дверном отверстии, а за дверью гудел могучий бас Арефия.

Он стоял среди комнаты в длинном белом халате, с руками, туго закрученными назад, в длинном колпаке, падавшем ему на спину, и говорил. Всё его лицо и голова были обриты, от этого большие уши казались оттопырившимися, щёки пожелтели и ввалились, скулы стали острыми, глаза, широко раскрытые, совсем ушли в глубокие, чёрные ямы, под одним из них образовался багровый подтёк, а на левой скуле резко бросалась в глаза красная звёздочка, из которой вытекали капельки крови и, тонкой лентой перерезывая щёку, спускались на шею и пропадали за воротом халата. Арефий стал страшно худ и высок.

– Вот вы ввергли меня в темницу! – гудел он, страшно сверкая глазами. – Терплю во имя бога моего и претерплю до века. Но разрушил я кумиры ваши и поверг во прах жертвенники! И поверг во прах жертвенники и, доколе не вырвали вы языка моего, обличаете вас, окаянные! Вы забыли бога истинного и во мраке, блюде, скверне коснеете, анафемы! Ан-нафемы!! Ан-наа-афемы!!.. Вы скверните души младенцев!.. Нет вам спасения!.. Вы, язычники скверные, нет вам спасения! Нет вам спасения!! Обломки вы! Обломки! Вы мучили меня... За что вы мучили и били меня?! За истину, за бога в сердце моём!..

Его бас то гремел, то понижался до шёпота, тоскливого и тихого шёпота, заставлявшего Паньку дрожать, как в лихорадке, и боязливо отшатываться от оконца.

– Жду смерти моей, язычники! Жду славы моей! Где палачи и мучители?

Ана-афемы! анафемы! анафемы!!..

Дикие, страшные крики потрясали дверь, и стекло, в которое смотрел Панька, тихо дребезжало..

– Ну, будет, довольно. Иди скорей домой! Иди, а то доктор увидит.

Сопровождаемый криками Арефия, Панька, ничего не понимая и не видя, вышел из коридора и пошёл куда-то. Шёл он долго, и в ушах его гремели проклятия Арефия и раздавался его страшный шёпот. Угловатое, жёлтое и бритое лицо то увеличивалось до необъятных размеров, глаза делались величиной с солнце и блестели так же ярко, но только чёрным, мрачным блеском, то вдруг оно раскалывалось на множество маленьких лиц, градом сыпавшихся откуда-то перед глазами Паньки, пронзая его сердце тысячами острых взглядов и наполняя его отчаянной, становившейся всё тяжелее тоской.

В памяти Паньки на миг вставали разные картины прошлого с Арефием, здоровым, бородатым, молчаливым... вставали, исчезали, заменялись другими, снова исчезали...

Какой-то вихрь крутил мозги мальчика, заставляя его то сразу видеть чуть не всё

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
своё прошлое, то вдруг погружая его в странную тьму без дум, без образов и снова открывая перед ним то один былой эпизод, то целую цепь их, связанных без всякого порядка во времени тоскливой и тупой болью воспоминания о них, жалости к Арефию, страха за себя, целым хаосом чувств, сменявших одно другое, перепутывавшихся между собой и камнем давивших на голову, плечи и грудь Паньки...

Перед ним была река. От неё веяло холодом. Тёмная, о чём-то тихо шептавшая, она лилась в даль, плотно закрытую ночью, и терялась в ней. Над нею небо, густо покрытое лохматыми, рваными облаками; в разрывы их блестели его голубые клочья с двумя-тремя звёздочками в том и другом из них. Всё небо было такое рваное, ветхое, казалось, готовое вот-вот упасть на землю и в покойную, сонную реку, отражавшую в своих тёмных волнах не закрытые облаками его голубые бедные куски и жалкие, одинокие звёзды на них. За рекой темнела даль и страшно молчала.

Панька быстро направился к своей будке. Но она была заперта на замок. Тогда, постояв немного, он лёг под куст бузины и лежал кверху лицом, следя за медленно ползавшими по небу облаками до той поры, пока не уснул тяжёлым сном, полным кошмаров.

Паньку разбудили чувствительные толчки в бок, он открыл глаза, мельком увидел, что над ним склонилось чьё-то знакомое лицо, и снова зажмурился от солнечных лучей, ударявших прямо ему в голову.

Этого времени ему было достаточно, чтоб ярко вспомнить всё происшедшее вчера.

– Ну-ка, вставай! – раздался над ним женский голос.

Он быстро встал. Перед ним была тётка Марья, смотревшая на него с ласковым любопытством.

– Идём-ка ко мне. Ишь ведь, бедненький, где уснул! Ты что же не приходил ко мне ночевать-то?

Панька молчал. Он не любил тётку Марью. Ему не нравилось в ней и то, что она такая большая и сильная, и то, что она всегда так много ругается, и её серые глаза, и голос, грудной и грубый, и вся она, энергичная, вечно настороже или вечно воевавшая с чем-нибудь.

Они пошли рядом друг с другом.

– Ну, уж ты не больно убивайся. Ничего, бог да добрые люди помогут, проживёшь.

Только и сам рта не разевай. Смотри, вникай, понимай, что к чему. Учись жить-то, дело это трудное. Зевать ни-ни, невозможно! А то в дураках и останешься. Может, это и к добру ещё для тебя-то случилось. Потому, что ты от Арефья-то видел? Ни внимания настоящего, ни науки. Баловство одно. Точно с большим, он с тобой обращался! разве это идёт? Ребёнок ты есть, ну и нужно с тобой быть, как с ребёнком. И сам-то он был, к слову сказать, дурак дураком. Нужно жить, а он в книжку читает. Эка мудрость, книжку-то читать! А ты вот век проживи, в люди пролезь, силу себе прикопи, уваженье заслужи, это помудрее всякой книжки будет! Одиннадцать годов будочником пробыл, и ни-ни, ни синь-пороха нет!..

Панька слушал, сердился и неодобрительно мычал в ответ на боевую философию Марьи. А когда она обругала Арефия дураком, он даже смело дёрнул её за платье, как бы желая остановить её от дальнейшего поношения своего воспитателя, но она, в пылу своего ораторства, не заметила его попытки и с жаром продолжала далее:

– Людям не верь. Ласкают – врут, хвалят – врут, ругают – правда, да и то не совсем, пересаливают. Ко всякому человеку первоначально с опаской, подумай, – нельзя ли ему из тебя каких ни то соков выжать, а потом, коли видишь – нельзя, подходи вплоть, да и то остерегись – и себе-то не верь. И к самому себе нужно зачастую относиться, как к чужому. Потому человек и для себя добро-то плохо понимает; думает, вот оно где, ан нет, шалишь! в лужу сел!

Увлечённая собственной мудростью, тётка Марья забыла о том, с кем имеет дело и, входя всё в большие и большие тонкости, дошла до того, что вдруг заявила:

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– А с нашей сестрой держи ухо востро!..

Но тут случайно взгляд её упал на слушателя. Он семенил рядом с ней, еле успевая за её крупными, мужскими шагами, и в своей красной рубашонке, босиком, с хмурой, рябой рожицей, ещё смятой сном, и с растрёпанными волосами был так по-детски мизерен и жалок по сравнению с её могучей фигурой.

– Тьфу!..

Этим энергичным плевком она поставила точку своим поучениям и уже вплоть до части не сказала Паньке ни слова более.

Когда они вошли в коридор части, навстречу им вышел Михайло с каким-то горшком в руках.

– А-а, пришли! Важно! Обедать бы пора, Семёновна, а? Где ж ты был?

Ночевал где?

– Там... у будки...

– Ишь ты!.. – вдумчиво протянул Михайло, входя в комнату сзади их.

Марья уже разделась и шарила ухватом в печке.

– Творог вот у меня... куда бы его? а?..

– Откуда творог? – оживлённо осведомилась Марья, принимая из рук мужа горшок и засовывая в него нос. – Хороший, свежий творог!..

– А это мне мужичок один подарил... за услугу, – объяснил Михайло и, хитро подмигнув жене, щёлкнул языком.

– Ах ты, чучело моё огородное! – ласково щёлкнула его Марья по затылку.

– Ироиня! жена благоверная! Ещё кое-что имею!.. Давай обедать только, покормишь хорошо – скажу.

– Ну-ну-ну!.. – наступала на него Марья с выражением крайнего любопытства на лице.

Михайло сунул руку в карман и позвенел мелочью, с торжеством на лоснящемся бритом лице.

– Сколько? – радостным шёпотом спросила Марья.

– Полтора с пятаком, да огурцов ведёрко!

– То-олько!.. – уже с некоторым разочарованием протянула жена. – В середу-то богаче было.

– Ну, так то в середу, а нынче – пятница. Базар базару рознь. И то сегодня новый-то частный, Карпенко, что-то уж косо поглядывал. Черти проклятые! Женился на двух-то каменных лавках, да на таких деньгах – и стал чист, как яичко.

Жени-ка меня!

– Я те вот, старого пса, ухватом женю!

Панька всё время разговора между супругами стоял у двери и, глядя на них, чувствовал себя тут лишним, забытым и для людей этих ни на что не нужным. Он несколько раз пытался представить себе, что будет с ним дальше, – и не мог.

– Дяденька!.. – прервал он обмен любезностей между супругами. – Скоро ли пойдём туда?

– Это куда – туда? – обернулся к нему Михайло.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– В больницу-то...

– А зачем ты туда пойдёшь? Али и ты с ума сходишь? Садись-ка вот на лавку, да сиди, обедать будем. Сейчас вот наши ребятишки из школы придут, гулять пойдёте вместе, и всё такое...

Панька сел на лавку и погрузился в тоску, не слыша и не видя ничего, происходящего вокруг него. Спустя некоторое время его позвали обедать. Он сел за стол и, почувствовав, что есть ему не хочется, положил взятую ложку.

– Ну, чего ж ты? – спросила Марья довольно сурово.

– Не хочу... – тихо ответил Панька.

Тут оба супруга наперерыв стали ему читать длинную нотацию, которая, впрочем, ничуть не мешала им быстро и успешно опоражнивать большую глиняную миску какого-то варева, издававшего густой запах топлёного жира и прелой капусты.

«Анафемы!..» – гудело в ушах Паньки глухими металлическими ударами.

– Анафемы!.. – шёпотом повторял он про себя и, представляя себе испитое, безумное лицо Арефия, вздрагивал и шевелил губами. У него то отливала кровь от лица, то вновь горячей волной била в него и, сообразно с этим, рябины то, бледнея, ярко вырисовывались на щеках и на лбу, то сливались в сплошные красные пятна.

– Ты чего шепчешь там? Эй ты, пёстрый-вострый! волчонок! – крикнул ему Михайло, вылезая из-за стола.

– Я пойду... – решительно произнёс Панька и встал с лавки.

– Куда? – строго спросила Марья.

– На будку пойду.

– Зачем на будку? Новый полицейский там. Не знает он тебя, прогонит вон... сиди-ка знай!

Панька сел и задумался. Михайло забрался за ситцевый полог на постель и заставил её скорбно заскрипеть.

– А как же птицы? – подумав, произнёс Панька и вопросительно взглянул на Марью.

– Выпустил я их, всех выпустил. И какое там было имущество, забрал сюда.

Нечего, значит, тебе там делать! – ответил Михайло из-за полога и аппетитно зевнул.

– А укладка где? – немного спустя спросил Панька. Михайло уже всхрапывал.

Марья села к окну и что-то шила. Паньке никто не отвечал. Тогда он с ногами забрался в угол на лавку и замер там, сжавшись комком.

«Куда его теперь понесёт?» – подумал он. Ему представилась река и те щепки, которые плывут по ней. Иная из них прибивается к берегу и останавливается. Панька помнит, что он всегда толкал такие щепки в воду. Ему не нравилось в них то, что они не хотят плыть дальше, туда, где пропадает река... «А куда пропадает река?»

– «В другую, и с ней – в море», – говорил Арефа. Море – это очень много воды, так много, что, если отъехать от берега настолько далеко, что он пропадёт из глаз, другого берега всё-таки не увидишь, и не увидишь через день, и два, и три. «А может, Арефий говорил одну чушь? ведь он сумасшедший... Всегда он был сумасшедший?..»

Панька долго неподвижно сидел в своём углу и думал об Арефии, о море и всё возвращался к вопросу – куда же, наконец, его понесёт? что будет с ним завтра?..

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiуmax
Его разбудил от дум внятный шёпот. Очевидно, предполагая, что он спит, супруги разговаривали за пологом кровати о нём.

– Об укладке спрашивал... – говорила Марья.

– Ну?! – тревожно спросил Михайло.

– Где, говорит, укладка?

– Ах, дьяволёнок!.. – удивлённым шёпотом произнёс Михайло. – Как нам быть-то с ним? Скорее бы к Савельичу-то его надо. Видно, он знает, что в укладке-то деньжата были. Ты бы, Марья, свела его завтра.

– Ну, заёрзал!.. завтра!.. заторопился! испугался, индюк!.. Чего больно боязно?

– Всё-таки, знаешь, вдруг он спросит «а деньги тут были?» а? Как тогда говорить?

– Ду-убина!.. – сардонически протянула тётка Марья, и затем их шёпот понизился, так что Панька не мог уже ничего разобрать в нём.

Этот разговор не создал в нём никаких новых чувств к супругам, хотя он понял, конечно, что они его собирались обворовать. Но к этому он отнёсся вполне равнодушно, отчасти потому, что неясно представлял себе могущество денег, больше же потому, что не способен был думать о чём-либо ином, кроме печальной доли Арефия и того таинственного «завтра», которое скрывало от него дальнейшую жизнь.

К супругам он относился всегда очень неприязненно, а сегодняшний день усилил в нём эту неприязнь ещё чем-то новым, тоже далеко не лестным для супругов. Он знал, что с ними ему долго иметь дело не придётся, ибо не чувствовал себя способным вытерпеть их общество ещё один день, да и понимал, что сам он им неприятен и не нужен.

Теперь, когда они храпели вперегонку друг с другом, они казались ему ещё более неприятными, чем во время бодрствования. Он, сидя в своём углу, слушал их храп и, покачиваясь из стороны в сторону, думал свою неотступную думу об завтра, не умея даже представить себе, каким оно может быть...

Но вот за пологом завозились, раздались зевки и кряхтенье, и Михайло, с всклокоченной головой и измятым лицом, грузно выкатился в комнату.

– Спишь? – обратился он к Паньке.

– Нет! – ответил тот.

– А ребята мои приходили?

– Нет, – односложно повторил Панька.

– Нет да нет – вот и весь ответ! Н-ну, должно, к тётке в слободу ушли.

Поставить ин самовар, а то на дежурство скоро.

И он ушёл в коридор ставить самовар.

За ним вылезла Марья. Молча посмотрев на Паньку, она стала чесать себе голову.

Панька смотрел на её густые каштановые косы и думал – какая она молодая, ни одного седого волоса нет... А вот Арефий так был очень сед...

– Ну, что ж ты, Панька, думаешь? как теперь тебе жить на свете? – вдруг спросила Марья, повёртываясь к Паньке в фас и строя гримасы, оттого что гребень, не расчёсывая волос, рвал их.

– Не знаю! – мотнул головой Панька.

– Та-ак!.. – протянула Марья. – А кому об этом знать надо? Тебе, огарок, тебе!..

Она вздохнула и замолкла. Панька тоже молчал. Молчали до той поры, пока Михайло

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax не внёс кипящего самовара и не сел за стол. Пили некоторое время тоже молча.

– Ну, парень! – начала Марья, наливая себе третью чашку чая, уже успевшая вспотеть и расстегнуть себе две верхние пуговицы кофты. – Теперь ты слушай, да помни!

– и, проговорив это торжественным тоном, она внушительно помолчала ещё немного.

– Сведу я тебя завтра к знакомому сапожнику и отдам ему тебя в мальчики. Живи, не дури, работай, учись, слушайся хозяина и мастеров, – будешь человеком. Сначала покажется трудно, терпи; привыкнешь – будет легко. Дело твоё такое, что один весь тут. В праздники к нам ходи. Как к родным, близким, приходи, пей, ешь. Всегда примем и рады будем.

Понял?

Панька понял и кивнул головой в подтверждение этого.

– Не забывай, кто об тебе позаботился! Нас-то, то есть, не забывай! И мы тебя не забудем! – поучительно и многообещающе заявил Михайло и пристально уставился на Паньку, ожидая, как он на это отзовется.

Панька вопросительно поднял на него глаза, как бы желая спросить – зачем нужно не забывать? – и снова молча опустил их.

Михайло разочарованно вздохнул и ожесточённо стал дуть на блюдечко с горячим чаем.

Снова воцарилось молчание. Панька исподлобья поглядывал на супругов и ощущал себя в силе и вправе сделать им какую-нибудь неприятность. Сначала ему не удавалось придумать ничего эффектного, но потом он вспомнил.

– А где укладка, дяденька? – вдруг спросил он.

Супруги переглянулись.

– Укладка, брат, у меня. Об укладке ты и не думай, цела будет. Вырастешь большой, приди и скажи: «Дяденька, давай мне укладку мою!» Сейчас я тебе её – раз! «Получите, Павел Арефьич, вашу укладку в целости!» Н-да!.. А что в ней есть такое, – твои штаны, рубашки, – это ты... с собой возьмишь, пожалуй. – И, закончив реплику, Михайло тяжело вздохнул и изобразил на своём бритом лице огорчение и обиду.

Марья помалкивала, пытливо озирая Паньку.

– Ну, а деньги в ней были... их куда? – медленно выговаривая слова, протянул Панька.

– Де-еньги?! – вопросительно воскликнул Михайло и с большим удивлением в голосе и на лице обратился к Марье: – Жена! деньги там были? В укладке деньги были? а? Не видал я, брат, денег в укладке этой самой!.. Не скажу я, что видел в ней деньги, – убей меня бог!..

– Ну что ты божишься, дурак? Кто тебе не верит, что ли?! У, сморчок старый!.. Не видал, ну и не видал! Божится!..

– Я ведь это так... просто призвал имя божие... и всё! Разве это грех? Сказано ведь «не призывай всуе», – а я не всуе, а к слову...

Панька поглядывал на супругов и видел, что Михайло смущён его вопросом и теперь ещё не может оправиться от смущения, а Марья – нимало. Это его прямо уж разозлило, и он пошёл дальше:

– Денег там было семнадцать рублей, да ещё за тобой – тридцать пять рублей. Вот что! Это мне тятя Арефа сказал. Недавно сказал.

Тут, к великому удивлению Паньки, не ожидавшего ничего подобного, оба супруга залились весёлым смехом. Марья закинула голову назад и, выгнув вперёд грудь, вся

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki.umax
вздрагивала, смеясь густыми, мужскими звуками, а Михайло дребезжал
захлёбывающимся тонким тенорком.

Панька, недоумевая, смотрел на них и тоже недоверчиво улыбался, как бы не решаясь – смеяться ему с ними или нет.

– Чу-удак, право, этот Арефа!.. тридцать пять рублей! а?!.. Загнул цифру!..

– сквозь смех проговорил Михайло.

– Ах ты, дитячко!.. Он, Арефий-то, тебе сказал, а ты и поверил? правда, мол, это! ды-ть он сумасшедший!.. ведь он спятил с ума-то, глупыш ты!.. – с ироническим сожалением к Паньке проговорила Марья, справившись с припадком смеха.

Панька знал теперь суть этого смеха, вздохнул, побледнел и, весь трясаясь от злобы, кинул им в лицо сильно и громко:

– Врёте вы! Оба врётё! Вы думаете, не слышал я, что вы давеча на постели-то говорили?! Ан и слышал я всё! Эх вы!.. воры! оба вы воры! вот что!.. Воры вы!..

– и в подтверждение своих слов Панька толкнул ногой стол.

Михайло был поражён. Он испуганно вытаращил глаза на Марью и, упёршись руками в стол, замер в этой позе. Но Марья была женщина не промах и ещё раз подтвердила это на деле.

– Вот те и раз! – испуганно крикнула она, вскакивая со скамьи, когда Панька кончил кричать и, бледный от волнения, сел на своё место, зло сверкая глазами. – Ах ты, господи боже!.. Ах!.. Михайло, дурак, беги за доктором! беги скорей!.. ведь мальчишка-то тоже с ума сошёл! Видишь, видишь, как zenки-то сверкают!.. Ах ты, царь небесный! Ну, пришла беда – отворяй ворота! Уж именно наказание!.. Бедняга сердечная, не перенёс Арефьеву-то долю!.. Спятил... помешался!..

Панька, несмотря на своё волнение, понял, что его посадили в лужу. Понял и вдруг залился слезами – горькими, злыми слезами, от сознания своего бессилия в деле борьбы с жизнью и людьми, первыми слезами в первый день своего одиночества.

Настраивая его, они, конечно, не звали никакого доктора и всё время до той поры, пока он не уснул, внимательно и заботливо ухаживали за ним. Они уложили его спать в том углу лавки, где он провёл большую часть этого дня, и он, засыпая, слышал густой шёпот Марьи:

– А мальчишка не промах. Зубастый. Это хорошо, что зубастый, значит, сумеет, прогрызётся к своему месту сквозь людей-то...

Во сне Панька видел много весёлых чудовищ. Безобразные громадные и мерзкие маленькие, они кружились около него и смеялись, щёлкая зубами. От их смеха всё кругом тряслось, трясся и сам Панька, и вместо неба над ним была большая, чёрная дыра, откуда они падали массаами и поодиночке. Это было очень страшно, но и весело...

Путру его разбудили, напоили чаем и повели в мастерскую сапожника. Панька шёл равнодушно, но не чувствовал впереди себя ничего хорошего, в чём, конечно, и не ошибся.

Вот его привели в низенькую, мрачную комнату, где в клубах табачного дыма четыре человеческие фигуры пели песни и стучали молотками. Марья говорила, держа Паньку за плечо, с каким-то толстым и низеньким человеком, который качался и бормотал:

– У меня... ррай! Не житьё, а ррай! И коррм... тоже ррайский! и всё к-как в рраю... Пр-рощай!

Марья ушла. Панька сел на пол и стал снимать с ноги сапог, в который что-то попало и кололо ногу. Пока он снимал, в спину ему что-то больно ударило. Он оглянулся и увидел сзади себя на полу старый сапожный каблук, а в дверях чумазого мальчишку одних с ним лет, который показывал ему язык и внятно шептал:

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
– Ряба форма, шитый нос, чтобы чёрт тебя унёс!

Панька отвернулся и, вздохнув, снова надел сапог.

– Поди-ка ты, друг, сюда! – крикнул ему один из людей, сидевший на низенькой кадке.

Панька смело пошёл к нему.

– Держи! – и ему сунули в руки смолёную дратву. – Крути вот так! Ловко, молодца! Крепче крути!

Панька крутил с угрюмым ожесточением и исподлобья посматривал вокруг себя.

Итак, Панька вступил на благородное поприще труда. Мастерская, в которой он работал, принадлежала Мирону Савельевичу Топоркову, человеку толстому, круглому, с маленькими свинными глазками и с солидной лысиной.

Это был недурной, мягкий человек, относившийся к жизни с некоторым юмором, а к людям – снисходительно посмеиваясь над ними. Когда-то он, очевидно, много читал книг священного писания, и это отражалось на его речи, но теперь, кроме бутылочных этикетов, не читал уже ничего. К своим мастерам он относился в пьяном виде по-товарищески, в трезвом – немного строже и всегда – очень редко давал им возможность быть чем-либо недовольными. Впрочем, сам он мало занимался мастерской, по причине своего пристрастия к спиртным напиткам, и всё дело лежало на плечах дедушки Уткина, старого солдата с деревянной ногой, человека прямого и в речах и поступках и страшного приверженца субординации и порядка.

За дедушкой Уткиным следовали ещё двое подмастерьев: Никандр Милов и Колька Шишкин. Первый был огненно-рыж, удал, любил петь, ещё больше – пить и твёрдо знал, что, когда он скашивает в сторону свои весёлые зеленоватые глаза и хмурит брови, его физиономия становится разбойнически красива.

Второй – был бесцветен и казался очень забитым и больным, но имел дурной и злой характер и, говоря ласковым шёпотом, умел сначала всех расположить в свою пользу, а потом сразу отталкивал какой-нибудь неожиданной и нелепо злой выходкой.

От него Паньке стало тошно со второго же дня своей службы.

Затем следовал мальчик – Артюшка. Отчаянный озорник и задира, вечно выпачканный сажей, клеем, варом, он сразу вступил с Панькой в задираательно-боевые отношения, которые скоро разрешились дракой. Артюшка был побит и удивлён этим. Он с неделю сумрачно поглядывал на Паньку и всячески старался отомстить ему за своё поражение, но, видя, что Панька глубоко равнодушен ко всем его выходкам, пошёл было с ним на сделку.

– Вот что, рябой! давай помиримся! – сказал он. – Наплевать, что ты меня поколотил. Это ты покуда ещё здоров, а вот поживёшь немного, усохнешь, я и сам тебя тогда вздую. Идёт?

И он протянул Паньке руку. Панька молча дал свою.

– Ну, только ты всё-таки меня младше. Это ты знай! И как ты меня младше, то и должен делать всю чёрную работу. Понял? Согласен?

Панька посмотрел в его чумазую рожу и сказал, что согласен.

– Ну?! – немного удивился Артюшка. – Это хорошо. Люблю! Ну, так вот, ты, значит, будешь убирать мастерскую, ставить самовар, колоть дрова, топить печь, мести двор, и всё остальное.

– А ты? – спросил Панька.

– А я! чудак!.. чай, на мою долю хватит ещё! Ищё побольше твоего.

Установив с Панькой такое разделение труда, Артюшка оказался совершенно свободным от всяких занятий и дней пять блаженно улыбался, видя, как его товарищ

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
обливается потом под бременем обязанностей.

Но дедушка Уткин это заметил, подозвал Артюшку и, постукав его колодкой по голове, сказал, что он, Артюшка, хотя и умная шельма, но ещё не совсем, а затем, установив правильно его обязанности, позвал Паньку, сказал ему, что он дурак, и тоже дал инструкции.

С этой поры между Панькой и Артюшкой резко определились границы взаимных обязанностей. Паньке поручены были все чёрные дела, не имевшие ничего общего с обучением сапожному ремеслу, а Артюшку посадили на обтянутую кожей квашонку и стали исподволь посвящать в тайны ремесла, что сразу дало ему право относиться к Паньке ещё более свысока и даже покрикивать на него начальническим тоном.

Панька долго потом думал, чем именно дедушка Уткин изменил его положение, и не мог этого понять; всё оставалось так, как установил Артюшка, хотя дедушка и сказал, что он сделал по-своему.

Переход от спокойного, созерцательного существования в будке Арефия к этой жизни, полной ругани, песен, табачного дыма и запаха кожи, был для Паньки резок и давил его. Он, привыкший быть по целым дням один на один с собой или в компании с молчаливым Арефием, с большим трудом привыкал к постоянному обществу четырёх субъектов, находивших возможность с утра до ночи петь, говорить о чём-то, чего он почти не понимал, смеяться друг над другом и, без всякой видимой причины, разряжаться таким громадным количеством убийственно выразительных ругательств, за каждое из которых Арефий отправил бы их в часть. И он посматривал на своих патронов очень хмуро и недоброжелательно, не понимая их и немного побаиваясь. А они, замечая его отношение, ещё крепче посмеивались над ним и порой доводили его до того, что у него глаза вспыхивали неприятным зелёным огнем. Это ещё больше веселило и интересовало их и всё дальше отталкивало от них Паньку.

Часто все они устраивали форменную травлю Паньке, обыкновенно начиная с рассказа о том, как однажды под забором нашли рябого младенца. Они знали от хозяина тёмную историю рождения Паньки и освещали её порой так остроумно и с таким весёлым усердием, что Панька чувствовал себя, как на раскалённой сковородке. Его коробили те цинические подробности жизни, которые здесь всегда резко выдвигались на первый план и о существовании которых он не знал и не слышал до сей поры. Когда говорили об его отце и матери, юмористически описывая их наружности, род занятий и т. д., Панька чувствовал, что его сосёт что-то, давит в груди и страшно щиплет в горле...

С каждой такой сценой в нём всё сильнее и сильнее горели различные чувства, и его рябое лицо раскаливалось до того, что становилось страшным. Потешившись вволю, ребята оставляли Паньку в покое и забывали о нём, но он, всё время, пока его язвили, упорно молчавший, не забывал ни о чём.

Он становился всё молчаливее, и у него перестали распрямляться нахмуренные брови, отчего над переносьем легла глубокая ломаная складка. Эта складка, его молчаливость, всегда склонённая голова и суровый взгляд исподлобья дали ему прозвище Старичок.

Он не обратил на это внимания и откликнулся на это прозвище. Всем он казался неприятным, много думающим, себе на уме мальчиком. И все, наконец, стали относиться к нему подозрительно и как бы ожидая чего-то от него.

Никандр однажды заметил, что Старичок, должно быть, когда-то убил человека и мучается от желания убить ещё одного или безнадежно влюблён в кухарку Семёновну.

Колька Шишкин, не соглашаясь с ним, заявил, что, по его мнению, у Старичка слишком развита фанаберия и что правильно периодические трёпки могли бы его от этого вылечить.

Артюшка, считая и себя вправе высказаться по этому вопросу, предположил, что, если Старичку подрезать пятки и насыпать в раны рубленой щетины, он бы стал таким весельчаком, что так бы всё и танцевал с утра до вечера.

Дедушка Уткин, послушав всё это, сказал так:

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax – Экие вы псы! Работает мальчишка – и ладно. А коли он не козлит по-вашему, так что же? и хорошо это. Он серьёзный. Характер это у него.

И кстати рассказал об одном ротном командире, который тоже имел молчаливый характер и умер оттого, что подавился рыбной костью.

К концу первой недели у всех в мастерской сложился на Паньку взгляд очень твёрдый и для него ничуть не лестный. Панька это чувствовал, но, конечно, не мог изменить и даже не представлял себе, что изменить такой взгляд возможно. Всё, что его заставляли делать, он делал толково, беспрекословно и молчаливо. Когда же в редкие минуты светлых и ровных настроений мастера пытались заговорить с ним без насмешки в тоне и с любопытством к нему, он отвечал им односложно-покойно, но всегда почему-то выходило так, что в конце концов они оставались им недовольны и снова переходили к задиранию и насмешкам. Его это удивляло, и он на всякое слово, сказанное ему ласково, стал смотреть как на некоторую ловушку, посредством которой его хотят вызвать на разговор и поставить в удобнейшее для насмешек положение. Это заставляло его относиться ко всем ещё более угрюмо и подозрительно.

Так шли его дела с месяц, а потом он постепенно стал привыкать к мысли, что он, очевидно, не похож на других, раз к нему относятся иначе, и его подозрительное и выжидательное отношение притупилось почти до апатии ко всем людям и событиям мастерской. Мастерской тоже примелькалась его молчаливая фигура, и всё острое в отношениях сторон сгладилось, отчего эти отношения, конечно, не улучшились.

Панька работал, молчал, получал трёпки, выволочки, таски, пинки, затрецины и много других знаков внимания к нему – и мирился с ними, ибо не мог себе представить, что в этой закоптелой дыре и от этих шумных людей можно добиться чего-либо другого.

В воскресный свободный день он уходил гулять, спрятав себе за пазуху краюшку чёрного хлеба; но, обойдя раза три весь город кругом, нашёл, что в нём мало интересного, и ограничил свои прогулки запущенным садом, принадлежавшим Топоркову. В этом саду, за баней, была славная яма, дно которой поросло густым бурьяном. Панька забирался туда и, лёжа на спине, смотрел по целым часам в небо. Кругом него от ветра шелестел репейник и кусты одичавшего крыжовника, жужжали пчелы, ползали какие-то красные букашки с чёрными узорами на спине... и Панька, глядя на них и на всё другое кругом его, понемногу учился думать.

Жизнь в мастерской почти совершенно не останавливала на себе его внимания.

Она была для него какой-то мёртвой загадкой, думать над которой там он не имел времени, да и не хотел, чувствуя себя не в силах вникнуть в неё, а здесь, в яме, она снова проходила перед ним в строгой последовательности, вся, с утра понедельника до вечера субботы. И раз как-то, когда, восстановив её в памяти, он пропускал её перед своими глазами, он был поражён вопросом: зачем всё это нужно? Зачем нужно шить сапоги для других и ходить босиком самому, пропивая деньги, как дедушка Уткин, или проигрывая их в карты, как Колька? Зачем нужно «возиться с девчонками» и потом смешно-горько жаловаться на них, как это делал Никандр, каждый понедельник рассказывавший какое-нибудь удивительное приключение с «ней», с дракой, с бегством от «него» или от полиции? Зачем нужно заставлять людей работать и, пропивая заработанные ими деньги, смеяться над собой за пристрастие к водке, как это делал хозяин?.. Всё вообще – зачем?..

И Панька думал, что коли бы Арефий был здоров, так он бы мог рассказать обо всём этом... Но Арефий всё хворал.

Панька был у него уже два раза. В первый – его просто не пустили, а во второй – сказали, что Арефий уже не выздоровеет и что ему, Паньке, не нужно и вредно его видеть. Панька отнёсся к этому заявлению с большим изумлением и, выпучив глаза на доктора, никак не мог спросить его о том, что хотел спросить, а потом повернулся и ушёл, чувствуя себя обиженным чем-то.

К Михайлу он решил не ходить, справедливо полагая, что там для него не может быть чего-либо приятного.

День за днём однообразно и монотонно проходили, не оставляя в Паньке сожаления о них и не зарождая в нём желания видеть их какими-либо иными, но наслаивая на его

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
душу ряд за рядом скучные, серые думы. Со временем думы его стали принимать преимущественно характер метафизический, отвлечённый и почти не задевали реальной жизни...

Жизнь идёт так, как идёт, и люди живут так, как живут; очевидно, что иначе быть не может и, следовательно, всё это более или менее хорошо... Иногда ему, впрочем, приводилось слышать восклицания, вроде: «проклятая жизнь!» или «собачья жизнь!», но они не останавливали на себе его внимания, во-первых, потому, что в большинстве случаев раздавались в похмельный день – понедельник, а во-вторых – «собачья жизнь» с его точки зрения не была худой жизнью; собаки ничего не делают, свободны, веселы и часто пользуются вниманием, дружбой и лаской господ людей.

Сначала его интересовали мастера и хозяин; он пытался уяснить себе их поступки и намерения, но это было бы очень трудно и для самых объектов его наблюдений, не только для него. Их отношения к нему совершенно погасили этот интерес, и он стал ещё более формален, равнодушен и автоматичен. У него выработался шаблон, по которому он проводил свой рабочий день, выработались особые движения и приёмы, и он стал похож на маленькую машину, заведённую раз навсегда до поры, пока она не проржавеет и не сломается.

Его, наконец, стали считать идиотом и имели на это право. Действительно, было что-то идиотское в его неторопливых, неодоушевлённых движениях, в односложных ответах, в неумении оживиться и заинтересоваться тем, что было интересно для всех его окружающих.

А по воскресеньям, лёжа в своей яме в саду, Панька размышлял и фантазировал на разные темы, вроде такой: почему солнце, шатаясь по голубой пустыне небес, не сбивается с своего пути и не соскучится расхаживать, как часовой, вечно по одному и тому же месту? Иногда Панька думал, что, кабы его воля, он перекрасил бы это солнце в другой цвет, или выпускал бы его на небо в одно время с месяцем, или что-нибудь другое в этом роде, не менее остроумное.

Через два года такой жизни он стал длинней и суше, отчего рябины на его лице выступили рельефнее.

За это время Артюшка вышел из разряда мальчиков в разряд подмастерьев и занял место рыжего Никандра, которому было предложено посидеть в тюрьме месяца три за какое-то удалое похождение. Колька Шишкин намеревался жениться и открыть свою мастерскую. Дедушка Уткин пил и жаловался на одышку и на то, что у него танцуют руки, мешая ему работать. Хозяин, присмотревшись к нему, стал напиваться дома и по трактирам ходил меньше, чувствуя, что деду уже не справиться с ведением мастерской.

Постепенно и Паньку стали посвящать в тайны чеботарного искусства, и он, под деспотическим руководством Артюшки, учился накладывать заплатки и набивать на каблуки кусочки кожи. Против ожидания мастерской и самого хозяина он оказался довольно толковым и спорым работником. Это как будто подняло немного его реноме.

Ещё через несколько времени ушёл Шишкин, Артюшке прибавили жалованья, Паньку посадили на его место и взяли нового мальчика.

И вот Панька получает три рубля в месяц, шьёт под неумолкающее пение весёлого Артюшки и стариковское ворчание Уткина и, по своему обыкновению, молчит, Хозяин, находя, что работы теперь немного, не нанимает ещё мастера и, когда заказы скопляются, работает сам, что доставляет ему очень много удовольствия и даёт право ещё усиленнее выпивать.

– Житьишко!.. – часто говорит он, с шипением протаскивая сквозь кожу дратву.

– Работаешь да пьёшь – и будто бы живёшь!.. Штуковина, ребята! А между прочим, пора обедать. Мишка! скажи Семёновне, чтобы собирала на стол, а сам беги в кабак, на! тащи половинку бутылки! Дедушка,хватишь?

Дедушка довольно шевелит седыми усами, хозяин улыбается, а Мишка – плутоватый господин лет десяти, с курчавой чёрной головой и мышиными глазами – мчит за половинкой бутылки, выкидывая на бегу удивительные антраша и строя встречным прохожим весёлые гримасы.

Через десять лет такой жизни Панька представлял из себя малого очень внушительного объёма и вида. Он был высок ростом, немного сутул и очень мускулист; всегда засученные рукава его рубашки обнаруживали коричневую кожу рук, сплошь покрытых синеватыми узлами жил, а из-под длинных каштановых волос, когда он сидел, согнувшись над сапогом, сверкала здоровая, упругая шея, покрытая мягким пухом. На рябом лице густо пробивалась борода, и верхняя губа уже была украшена маленькими светлыми усами. Он не стал общественнее, оживлённее за это время, и его глаза смотрели из-под густых, всегда нахмуренных бровей ещё более недоверчиво и хмуро, чем десять лет тому назад.

Он всё так же пользовался у товарищей по мастерской репутацией старичка и человека, которому, по крайней его глупости, нимало не соблазнительны прелести выпивок, посещения разных весёлых местечек и тому подобные развлечения. К нему, впрочем, привыкли и уже более почти не задевали его насмешками, отчасти потому, что боялись его силы, а более потому, что всё равно его ничем не «прошибёшь», как они говорили.

Никому не было известно, чем он живёт, исключая из своей жизни всё то, чем жили они, и самому ему едва ли было известно это. Он казался тупым, неподвижным, не способным ни плакать, ни смеяться.

Хозяин, теперь совершенно седой, обрюзглый старик, однажды сказал про него, что он уже умер и оживёт не ранее того времени, когда архангелы возвестят час конца мира и когда, хочешь не хочешь, а придётся и ему встряхнуть костями; а до этого часа он преспокойно просидит тут в мастерской, буде она не разрушится и таким образом не заставит его выскочить вон.

Панька посмотрел на хозяина, желая, очевидно, что-то сказать ему, но ограничился тем, что бледно улыбнулся.

– И на этом благодарю покорно! – откланялся ему Мирон Савельич, ожидавший большего и исподлобья посматривавший на своего работника.

Как работником, он был очень доволен Панькой и, пожалуй, любил его, громко свидетельствуя об этом в пьяном виде и в трезвом даря его вниманием большим, чем всех остальных.

Остальных было двое: Мишка, вороватый парень девятнадцати лет, и Гусь, сорокалетний кривой человек, с неимоверно длинной шеей, которая, по его словам, вытянулась у него по той причине, что в молодости он обладал удивительным тенором и пел в архиерейском хоре. Теперь он был лишён всякого голоса, если не считать за голос тягучий скрип, посредством которого он выражал свои мысли и впечатления.

Артюшка давно исчез с поприща сапожного ремесла и занимался сначала мелочной торговлей, потом был половым в трактире, потом однажды снова явился к Мирону, был им принят, украл пару только что сшитых сапог и исчез; на этот раз уж и из города.

Старик Уткин тоже давно ушёл в бессрочный отпуск. Как-то раз он сидел, шил и глубоко вздыхал. Последнее время он стал часто вздыхать, и с каждым днём всё тяжелее; на это не обращали внимания, так как это было с похмелья. Но в этот день он вздыхал, вздыхал и, наконец, положив молоток, которым разбивал кожу, посмотрел в потолок и спросил, ни к кому, собственно, не обращаясь:

– Позвать мне попа, али не надо?

На это тоже не обратили внимания, потому что и это слышали раньше; а однажды был такой случай: Уткин, очевидно, нашёл, что одного попа мало, и настоятельно требовал, чтоб его отправили к архиерею, и непременно в закрытой карете. Но после обеда обратили внимание на то, что он долго не вылезает из-за печи, где у него была постель, и, когда пошли будить, оказалось, что он умер.

Паньку очень поразило это. Он долго смотрел на всех глубокими, спрашивающими о чём-то глазами, но, очевидно, не сумел справиться с формой вопроса и промолчал.

Когда Уткина похоронили, Панька стал ходить на его могилу в сырой и мглистый

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
угол кладбища, густо поросший бурьяном и скрытый от солнца густыми кустами
бузины.

Там, сидя на земле, он смотрел сквозь отверстие в каменной ограде в даль, видел в ней будку Арефия, реку, поле и лес и вспоминал своё детство и своего молчаливого друга, который, через два года пребывания своего в больнице, умер от истощения.

На Паньку его смерть не произвела особенного впечатления, по крайней мере он не выразил ясно особенного горя или чего-либо иного.

Его воскресные прогулки охватили теперь очень широкий район. Он бросил яму в саду и, кроме кладбища, ходил на гору за город; с неё весь город был виден ему, как на ладони, и он подолгу смотрел на него и слушал, как он, большой и неподвижный, глухо шумит и как по его улицам смешно шныряют туда и сюда крошечные чёрные фигурки людей; ходил в лес и лежал там по целым часам, отыскав укромное местечко и прислушиваясь к мягкому шуму деревьев, а иногда уходил в одну из пригородных деревень и шлялся по её улицам, присматриваясь ко всему внимательно и пытливо, или заходил в деревенский кабак и там, сидя по часу и по два за бутылкой мёда или пива, слушал разговоры мужиков.

Иногда к нему привязывался пьяный, но его молчаливая, суровая фигура странно действовала на других, менее пьяных, и они вступались:

– Брысь ты! Не трожь человека! Городской человек это! Пшол!.. – кричали они пьяному и при этом посматривали на Паньку подозрительно и враждебно.

Он расплачивался и молча уходил.

Однажды его догнал в дверях кабака тихий, предостерегающий шёпот:

«Сыщик!» Больше в эту деревню он не являлся.

Одетый в приличную поддёвку, шаровары и рубаху, подпоясанную шёлковым поясом с кистями, в фуражке и высоких сапогах своей работы, высокий, сильный, с серьёзным лицом, он мало походил на ремесленника, и вообще трудно было отнести его по внешнему виду к тому или другому классу людей.

Вот каким он был к тому времени, когда в его жизни произошло то, что его «приподняло, да и шлёпнуло», как выразился его хозяин.

– Эй ты, арестант! – обратился Мирон Савельев к мальчику Сеньке, выходя однажды утром в мастерскую. – Почисти сегодня самовар-то, а то он у тебя грязнее твоей рожицы! А ты, Павел, сегодня поручиковы сапоги постарайся отделать, слышишь?

– Ладно! – сказал Панька, набирая каблук и не оглядываясь на подсевшего к нему хозяина.

Гусь, вздев на нос очки, тачал на машине голенище и наполнял комнату сухим и резким стуком.

В прокопчённую табачным дымом и запахом кожи мастерскую через раскрытые окна смотрело майское солнце и врывался с улицы шум шагов и грохот пролёток.

Мирон Савельевич посмотрел в окно, мимо которого мелькали разнообразные человеческие ноги, взял в руки кусок кожи, рассматривая его, прищурил глаза и заговорил старческим баском:

– А к нам постоялки интересные переехали. Две. Из ночных бабочек. Держи ухо остро, ребяташки!

Ему никто не отвечал, но это ничуть не смутило его, и после маленькой паузы он продолжал:

– Вот бы ты, Павлуха, и познакомился! Авось, хоть говорить-то выучился бы.

А то что за монах? Или ты в рай, может, собираешься? Не трудись, брат! сапожников туда не пускают. Надобности в них нет, все там босиком ходят, потому

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
что и погода там райская. Н-да!..

– Ма-аррро!.. жно хароо-о! – раскатистым тенором пропели на улице.

– Так вот заведи-ка, Паша, деликатные отношения с постоялками-то! а? Они бы тебя живо раскалили, переплавили и в новую форму отлили. Хоть у Соломона и сказано «не отдавай женщине сил твоих, ни путей твоих губительницам царей», но это не про нас писано. Они, эти самые женщины, весёлые штучки, право! Дать им ежели волю, сейчас бы они весь божий свет вверх тормашками переворотили. Ух ты, какой бал задали бы!

Первым долгом все бы замужние – мужей по шапке, а девицы – марш-марш замуж!

Превесёлая канитель вышла бы из этого!

Сегодня Мирон Савельев был в ударе и, не умолкая, «завирался», как называл его фантазии благочестивый Гусь, кончивший стучать машиной и глубокомысленно рассматривавший голенище, стараясь изобразить фальцетом концертное «Царю небесный». Вместо фальцета получилось змеиное шипение, и Гусь, потирая свою длинную шею рукой, ожесточённо отхаркивался и плевался по сторонам.

– Ты чего, Павел, такой красный? – вдруг, взглянув на работника, спросил Мирон Савельев. – И лоб в поту!..

– Не знаю! – глухо ответил Павел, проводя рукой по лбу и пачкая его чем-то чёрным.

– Ты не натирайся сажей-то, не поможет! – резонно заметил ему хозяин. – И глаза у тебя тово, мутные! нездоров ты?

– Да... нездоров... Очень неможется...

– Так что же? – подумал хозяин. – Ну, брось работать-то. Вон он дошьёт сапоги...

Иди и ляг... отдохнёшь.

Павел встал и, шатаясь, пошёл к двери.

– На погребке я лягу, коли что... – сказал он.

Идя двором, он чувствовал, что у него трясутся ноги, голова точно налита чем-то и кружится, а перед глазами в воздухе плавают красные и зелёные круги...

Воздух на погребке, сырой и тяжёлый, показался ему насыщенным густым паром.

Он лёг на мешок сена, положенный в углу на сырые половицы, и закинул руки за голову, предварительно расстегнув ворот рубашки и сбросив с себя тяжёлый, сшитый из мучных мешков фартук.

На погребке было темно, а сквозь щели в двери пробивались лучи солнца и резали тьму тонкими лентами, почему-то дрожащими; они то пропадали, то снова являлись.

На дворе глухо звучали чьи-то шаги, и в голове странно гудело, и било в виски что-то опьянявшее, и кровь быстрой и жгучей струёй кипела в жилах, отчего дышалось так трудно и дыхание, казалось, пахло сырой и горячей кровью. А перед глазами прыгали эти красные и зелёные пятна, то маленькие и сверкавшие, как глаза кошки, то большие и тёмные, как куски сафьяна, падавшие откуда-то сверху и кружившиеся в воздухе легко, как иссохшие осенние листья.

Павел лежал, широко открыв глаза, и старался не двигаться, боясь, что если он сделает это, то может упасть куда-то глубоко и долго лететь в этой глубине, полной горячего, удушливого пара. Под ним и вокруг него всё колебалось, кружилось и издавало какой-то монотонный, тонко звенящий звук. Этот звук наполнял и голову Павла, надоедливо звеня в ушах.

Так прошло много странно медленных минут, когда вдруг в отворённую дверь хлынул солнечный свет и знакомый голос Сеньки звонко прозвучал:

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– Обедать пойдёте, Павел Арефьич?

– Не хочу! – ответил Павел, и ему показалось странным, что теперь ещё только обед, и ещё более странным звук своего собственного голоса. Казалось, что с той поры, как он ушёл из мастерской, прошло так много времени, что голос его не должен бы звучать так же, как всегда, – глухо, твёрдо.

На погребе снова стало темно, свет странно выпрыгнул из него, и снова потянулись медленные минуты, наполненные этим надоедливym звоном в ушах. Павлу казалось, что что-то горячее и влажное засасывает его в себя, и он впал в забытьё, сквозь которое чувствовал жажду и всё более усиливавшийся недостаток воздуха.

– Тут какое-то чучело лежит...

– Видно, сапожник из подвала... Пьяный.

– Ну, пускай его...

Павел открыл глаза и слабо повернул свою тяжёлую голову к двери.

На погребе было светло, и около двери стояли две женские фигуры. Одна из них поднимала дверь в погреб, а другая стояла около неё с горшком молока в одной руке и кульком в другой. Она смотрела большими голубыми глазами в угол, где лежал Павел, и говорила подруге чистым и сочным грудным голосом:

– Ну, скорее возись, Катерина!..

– Поспеешь!.. попробуй-ка, подыми её сама! – отвечала Катерина, силясь поднять сырую и тяжёлую дверь. У неё голос был глуше и грубей.

– Смотри-ка, как сапожник вытарачил глаза-то на меня! У-у!.. – продолжала первая. – Точно съесть хочет...

– А ты ему плесни молоком-то в них.

– Чай, мне молока-то жалко...

Павел смотрел на них лихорадочно блестящими глазами, и обе они казались ему плавающими в тумане далеко от него, так далеко, что когда он глухо прохрипел «дайте напиток», то совсем не надеялся, что они услышат его.

Но они услышали, и та, с голубыми глазами и горшком молока в руках, бросив на пол кулёк и подбирая свободной рукой своё платье, направилась к нему в угол, тогда как другая, на полтуловища опустившись по лестнице в погреб, с интересом следила за ней.

– Что, видно, похмелье – не веселье? Катюшка, кинь комок снега, не молока же ему дать!.. – услышал Павел над своей головой и снова прохрипел:

– Поскорее... пить...

А затем увидел, что голубые глаза приблизились к нему и пристально смотрят в его лицо.

– Катюшка, рябой какой, у-у!.. Да он ведь не пьян!.. не пахнет вином-то...

Катерина, больной это, ей-богу, больной! горячий весь и дышит, как паровик!.. Ах черти окаянные, больного человека на погреб стащили!.. Ну свиньи!.. Пей вот, пей!

Давно ли ты тут валяешься? а? Родных-то нет, что ли? А в больницу чего не пошёл?

Присев около Павла на корточки и поддерживая у его рта кринку, в которую он вцепился дрожащими руками, жадно глотая молоко, – она осыпала его вопросами, очевидно, забыв, что ему нельзя говорить и пить в одни и то же время.

– Спасибо! – сказал он, наконец оттолкнув от себя кринку и снова уронив на мешок приподнятую голову.

– Кто это тебя сунул в такое прохладное место? Хозяин, что ли? Ну уж и собака, видно!.. – негодуя, говорила она ему и дотронулась рукой до его лба.

– Сам я... – ответил Павел, не сводя с неё глаз.

– Умён, очень умён!.. Давно ли это ты?

– Сегодня вот...

– Ишь!.. Видно, перемогался с неделю, да и слёг наконец... Ай, ай, ай!.. как же мы теперь будем? Катюшка! Что мы сделаем с ним?

– А что? В погреб на лёд его положить, что ли? Али к себе стащить? А то, может, ещё что? Дура ты! Иди-ка, иди!

Павел с трудом повернул голову и посмотрел на другую женщину, всё ещё стоявшую на лестнице в погреб и с холодным любопытством смотревшую в его угол. Ему сделалось тошно от её насмешливых слов, и он, вздохнув, перевёл глаза на ту, что была около него.

Она, не отвечая подруге и строго нахмутив густые брови, что-то соображала.

– Ты лежи! – решительно заговорила она, склоняясь к самому лицу Павла. – Лежи, а я сейчас уксусу да водки с перцем принесу, слышишь?

И вдруг, быстро встав на ноги, она исчезла.

Они обе ушли, не затворив за собою двери и ненадолго оставив за собою звуки спора, вспыхнувшего меж ними.

Павел мог бы подумать, что всё происшедшее только бред, но мягкий вкус молока во рту, облитая им рубашка и ясное ощущение на своём лице мягкой руки, тихо гладившей щёки и лоб, не позволяли ему сделать это. И вот он стал ждать, когда она снова придёт.

Им овладело странное любопытство, покрывшее собой все болезненные ощущения; страшно хотелось знать, что же будет дальше? Он никогда раньше не замечал за собой такого сильного желания знать, что будет впереди. Поворотившись на бок, спиной к двери, он устался на двор своими воспалёнными болезнью глазами.

Она пришла скоро, неся в одной руке бутылку с надетой на её горлышко рюмкой, а в другой какую-то мокрую тряпку.

– Ну-ка, пей, – сказала она и, когда Павел протянул к ней руку и открыл широко рот, сама вылила ему из рюмки чего-то, что сразу, как огнём, обожгло ему язык, нёбо, глотку и заставило закашляться.

– Ага! Славно? – торжествующе воскликнула она и моментально же приляпала ему на голову холодную мокрую тряпицу, издававшую скверный, кислый запах.

Павел молча подчинился всему этому и не сводил с неё глаз.

– Ну, а теперь поговорим! Хозяин-то сквалыга? Пёс с ним! я сама тебя завтра свезу в больницу. Больно тебе? Ничего, потерпи! теперь, наверно, лучше будет.

Трудно говорить-то? а?

– Нет... могу... – сказал Павел.

– Не надо, молчи! доктора не велят говорить больным-то. Лежи, знай лежи!

И, очевидно, не находя больше ничего, что бы можно было сказать ему, она оглянулась кругом с видом человека, которому вдруг стало очень тошно.

Павел всё смотрел на неё и думал про себя, зачем она всё это сделала с ним?

Он ей чужой, как и она ему. Она, наверное, та постоялка, о которой давеча

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiуmax
говорил хозяин. Как её зовут?.. И он решил, что нужно спросить её обо всём этом.

– Как... же... вас зовут? – тихо прошептал он.

– Нас? Наталья... Кривцова Наталья Ивановна. А что?

– Так...

– А!.. – неопределённо произнесла она и, осмотрев его с головы до ног, что-то тихо замурлыкала.

– А вас? – вдруг спросила она, прерывая свою песню:

– Павлом...

– А сколько вам лет?

– Двадцать.

– В солдаты, значит, скоро пойдёте! – заключила она и помолчала снова.

– У вас родных-то нет?

– Нет... подкидывай я, – тихо сказал Павел, чувствуя, что у него снова страшно начинает ломить голову и пробуждается жажда.

– А-а!.. – протянула она и, придвинувшись к нему ближе, с удивлением смерила его своими голубыми глазами, точно она не понимала, каким образом он, такой большой и плотный, может быть подкидываем.

– Дайте мне пить ещё! – спросил Павел.

– Вот, вот, сейчас! – заторопилась она и, достав кринку молока, живо подсунула под его голову руку, приподняла его и зашептала:

– На здоровье! Господи Иисусе!

Он пил и в упор смотрел в её лицо, раньше немного беспечное, а теперь такое задумчивое и хмурое. Это выражение показалось ему более близким и понятным и развило в нём желание говорить с ней.

– Скажите, зачем вы это делаете? – вдруг громко спросил он её, как только кончил пить.

– Что я делаю? – недоумевающе оглянулась она вокруг себя и вопросительно остановила на нём свои глаза.

– Вот со мною... всё это... Сколько дали мне... укус... сидите... говорите... и всё... Зачем? – проговорил Павел и испугался, видя, что она отодвинулась от него и как бы обижена и тоже испугана чем-то.

– Какой вы!.. Не знаю зачем... так! чай, вы человек... Али нет? Смешно даже, право!
– и она недоумевающе пожала плечами.

Панька неопределённо тряхнул головой и, отвернувшись от неё к стене, замолчал.

В его больной голове бродили странные мысли... Первый раз в его жизни на него обратили внимание, и кто? одна из женщин, которых он, памятуя отношение к ним Арефия и наслушавшись о них в мастерской много далеко не лестных историй, – боялся, не любил и о которых давно уже тайно много думал, скрывая эти думы и от себя самого и негодую на себя за них. Женщина – это вечный враг мужчины, враг, который только и выжидает удобного момента, как бы поработить и высосать кровь. Вот преобладающее мнение о женщине, которое ему приходилось слушать чаще других. Иногда! встречая красивую девушку, робко и поспешно бегущую по улице, Панька смотрел ей вслед и думал: «Какой же она враг, когда она такая птичка?» Его боязливое любопытство, которое он проявлял почти всегда, когда другие говорили о женщинах, служило предметом немалых насмешек со стороны мастерской и хозяина. Ему насмешливо удивлялись и делали цинические предположения, страшно обижавшие

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax его, а иногда перед ним каялись в увлечениях и хвалили его за стойкость. В общем, он видел, что женщина играет в жизни громадную, всеохватывающую роль, и никак не мог связать с этим выводом из своих дум и наблюдений другой вывод, гласящий, что женщина – враг, – вывод, который тоже подтверждался, но не его наблюдением, а общим голосом всех, кого ни спроси.

Хозяин однажды поучал его: «Баб только берегись, Павел. Бабе не поддавайся, – пролезешь сквозь жизнь. Все, кого ни спроси, скажут тебе, что тяжелей цепи, чем баба, нет на свете. Животное жадное, жить любит хорошо, а работать – мало и на живую нитку. Уж поверь мне, пятьдесят два года на свете живу и был женат два раза».

И вот она, эта страшная и таинственная баба, первая принесла ему приятное сознание, что он, угрюмый и непохожий на людей Павел, достоин её забот о нём, пришла к нему, сидит около него, одинокого и никому не нужного человека...

«Что она делает?» – подумал Павел и, тихонько повернувшись, посмотрел на неё.

Она сидела на полу и с задумчивым лицом смотрела в щель от непритворенной двери на двор... Лицо у неё очень доброе и красивое, мягкое, с хорошими голубыми глазами и сочными, пунцовыми губами.

– Спасибо вам за заботу! – тихо сказал Павел, невольным жестом протягивая к ней руку.

Она вздрогнула, взглянула на него, но руки не взяла.

– А я думала, вы заснули. Вот что, нужно ведь уйти отсюда. Непременно нужно уйти. Сырость. Нуте-ка, встаньте!

Павел не принял своей руки и снова настойчиво повторил:

– Спасибо вам за заботу обо мне!

– Ах господи! Вот уж право!.. Ну чего? какая забота! Жарко везде, вот я и рада посидеть здесь. Вставайте-ка!

Она была чем-то недовольна и, помогая ему вставать, отвернула от него своё лицо, точно не желая встречаться с ним глазами.

От движения Павел почувствовал, как в голову ему бросилась кровь и глухо зашумела там.

– Трудно мне!.. – прошептал он, чувствуя, как дрожат его ноги и как все кости ломит боль.

– Ничего, как ни то потерпите уж! нельзя здесь.

Поддерживаемый ею, он поплыл в каком-то тумане по двору и сквозь этот туман видел перед собой ехидно улыбавшиеся рожи хозяина и Гуся, стоявших на пороге мастерской.

– Не могу я больше!.. – хрипло сказал он и почувствовал, что падает в какую-то бездонную яму.

Первый раз в жизни Павел знакомился с больницей. Тошнотворно жёлтые стены, скверный запах лекарств, измученные и злые лица служащих, бесстрастные физиономии доктора и фельдшера, стоны, бред; капризы больных, серые халаты, колпаки и унылый, раздражающий слух звук шлёпанцев-туфель о каменный пол – всё это, дополняя одно другое, сливалось в серую гармонию уныния и беспомощности, безжизненности и тяжкой, неустанно сосущей сердце тоски...

Павел пролежал в бреду одиннадцать дней, и вот уже пятый день, как кризис миновал и он стал поправляться. За это время, по словам служащего, к нему приходил один раз хозяин, два раза Гусь и два раза сестра, однажды с подружкой, а другой раз – одна. Там, в конторе, она оставила ему чаю, сахару, варенья и ещё чего-то в узелке.

Павел, когда служитель, рассказывая ему всё это, дошёл до сестры, удивлённо разинул рот, но вспомнил, что это не кто иной, как Наталья Ивановна, – вспомнил и почему–то очень обрадовался.

– Ишь какая!.. – прошептал он и почувствовал, что ему будет ещё более приятно, если он увидит её.

Но к нему, как к тифозному, посетителей не велено было пускать, и служитель объяснил, что это будет до той поры, пока его не переведут в пятый барак.

– В пятый барак допускаются и люди, а сюда, кроме нашего брата да докторов, никому больше нельзя.

Служитель сказал это с какой–то печальной гордостью своим правом перед людьми, а у Павла его сообщение вызвало вопрос – скоро ли его переведут в пятый барак.

– А это как нос. Теперь у тебя нос жёлтый и сухой, а вот он скоро должен будет взбухнуть и покраснеть. Как это с ним случится, тут тебя отсюда и переведут.

Тифовых людей всегда по носу переводят. Нам это очень известно. Седьмой год маемся тутотка... привыкли.

Этот служащий был большой охотник поговорить, и так как Павел из девяти больных был один способен понимать и слушать, все же остальные находились в состоянии, совершенно не располагавшем их к ведению бесед, то Павлу приходилось единолично нести бремя общения с этим господином. Маленький, костлявый и рыжий, с меланхолически неподвижными серыми глазами, он в свободное время садился на койку Павла и начинал:

– Поправляешься? Вижу, вижу, идёт дело на лад. Скоро в пятый. Это хорошо, что ты похворал так. Тиф – болезнь великолепная, она очищает. До неё человек мюзгирькой мог быть и имел душу, наскрозь греховной пакостью пропитанную, а похворал ей – и чист! потому с бредом она. А во время бреда душа–то человечья исходит из тела и странствует по всем мытарствам... и поучается. Н–да... Положим, мрут с тифу многие, но это ничего. Это человеку необходимо. Предписано. Мрут–то и не от тифу, а оттого, что материя изнасилась... истёрлась от жизни–то, и душа требует другой костюм. Квартиру, значит, новую, а человеческому телу одна квартира – земля. Н–да!.. У тебя родственники не умирали? Нет? ага! а у меня одиннадцать умерло. Одного даже живым земля взяла.

Водопроводчик был. Кладёт это он трубу, а земля–то его рраз! и тю–тю Николка. Взяла.

Отрыли его, а он уж шабаш! Н–да!.. Она, земля–то, своё возьмёт всегда, от неё не увернёшься. Не убежишь. И в воду кинься – в землю попадёшь, и в огонь сунься – земля будешь. Бережёт она своё добро. Вот и меня скоро потребует. «Анисим, друг, пожалуй–ка в могилу!» И ляжешь. Ничего не попишешь, ляжешь, да и всё тут. Так–то, человек! Дрягнёшь ногой, не хочу, мол, а она тебе на сердце дохнёт, и готово.

И нет уж тебя больше. И ничего нет. Потому что до той поры и мир жив, пока ты сам в нём ходишь...

Иногда ему удавалось говорить часа по два кряду. Он не интересовался вопросом, слушают ли его, а говорил свои мрачные речи, и его неподвижные глаза становились всё более неподвижны, пока не приобретали странный, тусклый оттенок, тонкой пеленой закрывавший его зрачки. Тогда его речь звучала глуше, отрывистей, фразы всё короче, и, наконец, он глубоко вздыхал и обрывался иногда на полслове, а в глазах его уже ясно светился холодный ужас.

На Павла его речи не производили особенного впечатления. Он почти никогда не слушал их, увлечённый своими думами, теперь освещёнными надеждой на что–то, что, он чувствовал, ждёт его впереди, но чего не мог себе ясно представить. Материала для построения воздушных замков у него было мало. Жизнь он знал со слов других и сам до сей поры от активного участия в ней сумел уклоняться. Но теперь он всем существом своим понимал, что близится что–то новое, большое, не изведенное им и что оно должно будет создать ему новую жизнь. Дум, в прямом смысле слова, у него

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax почти не было; он не имел достаточно слов, чтобы уметь ясно думать, но с той поры, как он очнулся и вспомнил взгляд голубых глаз Натальи Ивановны, много новых ощущений родились в его тёмной душе, а сообщение служителя о том, что она была уже два раза, родило их ещё больше.

До двадцати лет он не пользовался ничьим вниманием, но, как человек, не мог жить без него, а как человек, несколько исключительный, совершенно одинокий, ждал его с большей жадой, чем всякий другой, хотя, может быть, совершенно инстинктивно, бессознательно и, конечно, не имея представления ни о том, каково оно есть, это внимание, ни о том, откуда и в какой форме оно придёт. И вот оно пришло. Оно пришло, и он твёрдо надеялся, что это ещё не всё и что впереди его ждёт целый мир новых чувств. А чисто животное ощущение того, как с каждым днём восстанавливаются его пошатнувшиеся болезнью силы, делало его ещё бодрей и ещё более разжигало в нём желание скорейшего наступления будущего.

И вот раз, когда его уже перевели в пятый барак, к великому огорчению служителя Анисима, терявшего единственного слушателя и находившего, что переводят его преждевременно, – ещё может и умереть, нос разбух недостаточно, – раз, когда Павел, лёжа на своей койке и следя за мухами, путешествовавшими по потолку, был погружён в свои смутные полудумы, полуощущения, над его головой раздался тихий возглас:

– Павел Арефьич!

Он дрогнул и испугался – это было так неожиданно. Она была тоже смущена чем-то.

– Здравствуйте!.. слава богу, перевели вас!.. вот я принесла тут... – и она совала ему в руки какой-то узел, вся красная и испуганно оглядывавшая исподлобья палату.

У Павла страх уже успел исчезнуть перед горячей радостью, покрывшей его щёки слабым румянцем.

– Покорно вас благодарю! покорнейше вас благодарю! Покорное спасибо! Очень рад я вам. Очень!.. Садитесь вот сюда или вот сюда!.., вот тут очень удобно...

Благодарствую! Хорошее вы делаете дело... Будьте уверены в этом... – говорил он ей, сверкая глазами и весь преображённый.

Она ещё более растерялась от этого неожиданного ею приёма и всё ещё не переставала оглядываться по сторонам, посматривая то на того, то на другого больного и точно боясь среди них встретить кого-то, кто был бы ей очень неприятен.

– Ничего! я сяду. Не тревожьтесь. Вам вредно... – вполголоса говорила она, делая свои изыскания.

Охваченный энтузиазмом, Павел заметил это.

– Вы не беспокойтесь... Это всё хорошие больные люди... разговорчивые, вежливые.

Они ничего... Весьма приятные господа. Ах, как я вам рад!.. – закончил он свою рекомендацию чуть не криком.

Она уже успела осмотреть всю палату и, вздохнув, улыбнулась Павлу широкой, доброй улыбкой.

– И я очень рада, что вы поправляетесь. Я ведь уже была здесь. Без памяти были вы. Вы не тревожьтесь, пожалуйста! Вот тут я принесла вам... доктор позволил.

Покушайте! – и она принялась было развязывать узел.

Но Павел схватил его дрожащими от радости руками и заговорил, всё более вскипая радостью:

– Поверите ли, как ангел небесный вы мне, ей-богу!..

– Ох, что вы!.. – снова смутилась она.

– Нет, уж это так... Я не могу говорить. Не умею. Я всё молчу больше. Но ведь я понимаю же, позвольте!.. Вы кто такая мне? Чужой человек. И я тоже. Но вот вы первая пришли... И тогда на погребё... Из какой корысти? Я же один, весь тут, и никакой ласки не видал за всю жизнь... Вот в чём суть. Вы понимаете? Это очень, это очень хорошо, замечательно хорошо!.. – с жаром потряс он её руки.

– Вы успокойтесь. Это ведь вредно... кипеть так; меня могут больше не пустить...

– успокаивала она его, всё ещё немного растерянная, не понимая его отрывистых, несвязных речей, но прекрасно понимая, что это она именно принесла с собой столько радости ему.

– Не пустят?!.. – с испугом воскликнул он и, посмотрев ей в лицо, снова заговорил протестующим тоном: – Это нельзя. Вы сестра мне. Невозможно! Кто вам сказал? Вы – один мой человек. Д-да!.. Это пустяки! Я имею право!.. И даже жаловаться буду...

– Ах, какой вы чудак! На что жаловаться? Я только к слову, бунтовать вам нельзя... Смешной вы очень!..

Он теперь действительно казался ей немного смешным в своём экстазе, и она не могла объяснить себе, почему это он так уж расхотелся; но ей было всё более лестно и приятно сознавать, что причиной этому – она. Она становилась смелее и понемногу начала проявлять некоторый деспотизм, которому он беспрекословно подчинялся и который был ему приятен, так же как и ей, впрочем. Она заставила его жевать какую-то сдобную булку, поправляла подушки, расспрашивала его, как и что он чувствует, и даже, наконец, строго сдвинув брови, заговорила с ним сурово и внушительно. Её забавляло это, а он совершенно таял от её забот и внимания.

Он теперь умолк и только смотрел ей в лицо удивлёнными и радостными глазами, а она говорила ему о том, что вот он скоро выйдет и будет ходить к ней в гости, пить чай, гулять с ней в лесу, кататься в лодке, и много, много великолепных картин рисовала она ему...

Незаметно прошли приёмные часы, и она ушла. Павел на прощанье жалобно смотрел ей в глаза и просил её тихим шёпотом приходить.

Оставшись один, он закрыл глаза и живо представил её себе: маленькая, пухлая, светло-русая, с розовыми щеками, весело и задорно вздёрнутым носом и с большими, ласковыми голубыми глазами, она была просто красива и свежа. Тёмненькая кофточка и такая же юбка, гладко причёсанные и заплетённые в косу волосы – делали её ещё более простенькой, милой и доброй. Когда она говорила, из-за сочных губ сверкали маленькие зубки, весёлые, блестящие. От неё веяло добротой прежде всего.

Павел смотрел, смотрел на нее и, перерождённый, удивляющийся сам тому, что он так сразу и много говорил с ней, и тому, что она так хороша и так близка ему, – умилился и крепко заснул.

Его следующий день весь прошёл в каком-то радужном тумане. Он всё представлял себе вчерашнюю сцену и улыбался, и шептал про себя по сту раз «покорнейше благодарю!», выражая этой благодарностью длинный ряд самых разнообразных представлений.

Завтра опять приёмный день, и она могла придти. Он представлял себе, как это будет, и придумывал фразы, которые он скажет в похвалу ей... И вместе с тем представлял, что он уже выздоровел, катается с нею по реке на лодке и рассказывает ей про Арефия...

Наступило это «завтра», и он с лихорадочной дрожью во всём теле жадно смотрел с утра до вечера на двери, ожидая, что вот сейчас в них покажется она и, как в первый раз, начнёт пылливо осматривать больных и потом сядет к нему на койку и они будут разговаривать... Но день прошёл, и она не пришла.

Павел долго не мог уснуть ночью, пытаясь ясно представить себе то, что могло её задержать; но не успел в этом и наутро проснулся с сильной головной болью, в тяжёлом, апатичном состоянии.

Весь следующий день он пролежал молча, неподвижно, ни о чём не думая, ничего не

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax представляя и не ожидая. Прошло ещё много приёмных дней, а её всё не было.

Павел лежал и припоминал всё то, что он слышал дурного о женщинах, припоминал и, явно насилуя себя, старался навязать всё это своей знакомой. Но к ней не шло как-то ничто дурное. Он представлял её себе грязной, пьяной, воровкой, ругающейся с ним, осыпающей его насмешками, но она, несмотря ни на что, всё-таки, в конце концов, оставалась простенькой, красивой и доброй.

Дни текли. Он уже гулял по коридору, окна которого выходили на улицу, и подумывал о выписке, останавливаясь у окон и чувствуя непреодолимое желание ходить там по залитым солнцем улицам, среди всех этих здоровых, светлых и озабоченных людей.

Каждая женщина, шедшая по направлению к больнице, вызвала в нём лёгкую дрожь надежды... С полчаса он напряжённо смотрел в конец коридора, не появится ли там она; она всё не появлялась, и Павел, чувствуя себя обманутым, тосковал.

Но однажды раздался возглас служителя:

– Павел Гиблый! в контору!

Он быстро бросился туда.

– Вот, получите! принесли вам! – сказал длинный и худой помощник смотрителя, поводя своими чёрными усами и подавая Павлу бумажный пакет.

– А... кто это принёс? – спросил Павел, дрожащей рукой принимая пакет.

– Старик, который сказал...

Павел угрюмо тряхнул головой и протянул руку, чтоб положить пакет на стол против фельдшера.

– ... что он ваш хозяин, и женщина с подвязанной щекой. Молодая.

Павел вздрогнул и принял руку с пакетом обратно.

– Очень у неё подвязана щека-то? – спросил он.

Фельдшер высоко поднял брови и усы и переспросил:

– То есть как это – очень подвязана щека?

– Нет, я ничего!.. Покорно благодарю!.. Зубы болят у неё, видно!..

– Гм? – качнул головой фельдшер. – Возможно, что и зубы болят... Ну-с?

– Ничего она не говорила про меня? – с некоторым трепетом и тихо осведомился Павел.

– Говорила. «Он, говорит, дурковат у меня немного, так вы уж извините его». Можете идти. Я извиняю вас.

Павел повернулся и вышел, понимая, что над ним смеются. Ему показалось, что он знает, почему она не приходила всё это время: просто у неё болели зубы; но вот, как только стало немного легче, она и пришла. Добрая какая!..

Через неделю после этого он снова стоял в конторе перед помощником смотрителя, который рылся в какой-то книге и щёлкал на счётах.

– Ваши вещи вы все получили? – спросил он Павла и, не дожидаясь его ответа, добавил: – Хорошо. Идите. До свидания!

Павел поклонился и вышел на улицу, а через полчаса, опьянённый солнечным светом и движением, с туманом в глазах и кружащейся головой, входил в мастерскую.

– Ба!.. Пришёл! Молодчина! – встретил его хозяин. – Здравствуй! Усох ты здорово! Ну ничего, зато вон улыбаться выучился.

Павел действительно осматривался вокруг себя и улыбался. Его наполнило хорошее, мягкое чувство, когда он отворил дверь мастерской и стал на пороге. Всё тут было так хорошо знакомо и родственно. И эти старые, прокопчённые стены тоже как будто улыбались ему белыми пятнами, неизвестно как уцелевшими от чёрного слоя копоти...

Вон в углу его постель и над ней две картины – Страшный суд и Путь жизни...

Мальчик Мишка раскрыл рот и с выражением живейшего удовольствия на испачканном лице уставился ему в глаза живыми чёрными глазами. И хозяин, очевидно, рад тому, что он пришёл.

А хозяин всё говорил:

– Ну-ну, проходи, садись, отдыхай! Устал, чай. А я тут вдвоём с Мишкой орудую.

Гусь запил. Другого взять не хотелось: полагал, что вот-вот ты придёшь. Ну, вот хорошо. Теперь мы застроим, ой люли как! Я, брат, опять втянулся в работу-то. И не пью даже вот сколько уж время!.. То есть пью, конечно, но не так, чтобы уж вплоть до чёртиков.

Павел слушал и чувствовал себя всё более приятно и оттого, что хозяин так много и весело говорит, и оттого, что в его словах и тоне было что-то родное и хорошее, что падало ему, Павлу, на сердце так тепло и мягко.

– Теперь мы с вами, Мирон Савельич, начнём работать! – с уверенностью и одушевлением сказал он, когда хозяин кончил и стал примеривать кусок кожи к дыре на старом голенище. – Покорно вас благодарю, что вы приходили ко мне! Мне это очень дорого! – тепло сказал он и прибавил: – Как я совсем одинокий человек...

– Фью-ю!.. – свистнул хозяин, перебивая его. – Вон как говоришь ты теперь!..

Ах, братец ты мой! Вот уж именно нет худа без добра! до болезни-то ты бы скорее лопнул, чем сказал такие слова. Важно! Пора, пора! Ещё, брат, вот что! Ты сходи к этой Натаньке. Сходи. Хоть она и такая, но, однако, её надо тебе благодарить.

Знаешь ты, как она о тебе заботилась? Беда! Чуть не каждый день шастала ко мне – «были? ходили? видели?..» Да, брат, душу-то она ещё не прогуляла. Душа у ней человеческая, не в обиду будь ей сказано! Поди ж ты вот! девка такого поведения – и вдруг! Прошедший раз мы с ней клюкнули малость за твоё здоровье, какие она, братец мой, речи говорила!.. у-у-у!.. то есть, вот ей-богу, сроду не слыхивал! «Ведь на нашу сестру, говорит она мне, как смотрят! как на свинью и паршивую собаку. Верно?» – «Верно, мол». «А он, говорит, – ты-то значит, – встретил меня, как родную, вот что! Понял, дедушка Мирон?» – «Понял, мол». – «Ну, так и должна я ему за это заплатить тем же». Скажите, как просто! а? Чудно это малость и как будто бы не по жизни совсем. Не похоже на настоящее... верное... на то, что мы все... ты и я...

Но дальше этого Мирон Савельич не мог пойти, споткнувшись обо что-то невидимое Павлу, который слушал всё это с выражением глубочайшего внимания и тихой радости на своём рябом лице. Он ещё долго смотрел в рот хозяина, когда тот, уже окончательно убедившись в невозможности оформить свою мысль, широко махнул рукой и умолк...

Павел тоже молчал; но, чувствуя, что ему необходимо нужно так или иначе выразить хоть немножко из того, что так приятно наполняло его грудь и туманило голову, он, не найдя ничего лучшего, снова начал благодарить.

– Очень я вас благодарю, хозяин, за все ваши слова! Так благодарю!.. – и он развёл руками, не имея возможности сказать, как именно он благодарит. – Хворость эта самая на пользу мне пошла. Это вы верно сказали. Волком я себя понимал до неё... а теперь вижу, что человек. И даже вот мне оказывают внимание... По-окорнейше благодарю!.. – и он как-то задышался от наплыва желания говорить и высказываться.

– Ну, это, парень, пустяк! Положим, был ты до болезни очень не фарштейн!

Неудобным, тяжеловесным человеком был, это твоя правда. Но надо тебе сказать,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiуmax
что неизвестно мне, как лучше жизнь проходить – сторонкой от людей или заодно с
ними.

Приятную компанию эти самые люди редко могут составить, и гулять ты с ними – гуляй, но ротик держи закрытым и пальчики сжимай в кулачок на всякий случай. Сердиться, ежели тебя они обтяпают, не следует, потому – каждый жить хочет, а жить – то куды как тесно и другого нельзя не задеть; но не следует и поддаваться. Ты лучше сам из кого ни то соки выжми, чем свой бок другому подставлять. А пуще всего берегись баб! Это – т-такие ехидны, что и не заметишь, как она тебя ужалит. Улыбнётся тебе – раз, поцелует – два, похвалит – три; четыре – ты уж и работник на неё, пять – у тебя уж и душа ноет, воли просит, но дудочки, миленький! Не такие у них, у кошек, лапки, чтоб тебя выпустить! И умрёшь ты раньше смерти раз пяток-другой!..

Мирон вдохновился и философствовал вплоть до вечера, не переставая работать.

Павел сидел против него и внимательно слушал, тоже что-то ковыряя шилом.

Но внимание к речам хозяина не покрывало собой некоторой неотступной мысли, всё время копошившейся в его голове.

– Шабаш! – сказал Мирон, кончая вместе и философствовать и работать. – Ложись-ка ты, брат, отдыхай. А то – на улицу иди, дышать.

– Нет, я лучше к ней... – смиренно проговорил Павел, потупляя глаза.

– Это к Наталье, значит? Гм!.. Ну что ж, иди! – задумчиво сказал хозяин.

Но когда Павел выходил из мастерской, он ещё крикнул ему вдогонку:

– Смотри же, поглядывай, как бы она тебя не женила!.. Хе-хе!.. И не заметишь, как это случится. Они – ловкие!..

На Павла этот крик подействовал неприятно. Знает он её, и совсем она не похожа на всех других. Пробовал уж он её очернить – и не пристало ничего. Она просто добрая – и больше ничего.

Занятый этими протестующими думами, он не заметил, как взошёл по лестнице и очутился на чердаке у маленькой, неплотно притворённой двери. Он почувствовал себя неловко и не решился войти, не кашлянув прежде. Но его кашель, хотя и был громок, не вызвал никаких признаков жизни за дверью.

«Спит, видно!» – подумал он; но не ушёл, а продолжал стоять, заложив руки за спину и тайно надеясь, что вот-вот она проснётся.

С улицы доносился глухой шум. От раскалённой солнцем крыши на чердаке было душно и пахло нагретой землёй и ещё чем-то, щекотавшим ноздри.

Вдруг дверь тихо отворилась. Он отступил, почтительно сняв с головы фуражку, низко поклонился и, не поднимая головы, ожидал, что вот сейчас она скажет ему что-нибудь.

Но она всё не говорила. Тогда он поднял голову и разинул рот от удивления. Перед ним никого не было, и в комнате тоже было пусто. Очевидно, дверь отворилась оттого, что в открытое окно пахнул ветер.

Он заглянул в комнату. Там всё было разбросано, не прибрано, постель, стоявшая у стены, смята, на столе перед ней стояли грязные тарелки с какими-то кусками и окурками папирос, две пивные бутылки, самовар, чашки; на полу валялась красная юбка, башмак и смятый букет бумажных цветов...

Павлу почему-то стало грустно при виде всего этого, и он хотел уйти, но вдруг, повинуясь какому-то внутреннему толчку, перешагнул через порог и вошёл в комнату. Это была маленькая конурка, с потолком в виде крышки гроба, оклеенная дрянными голубыми обоями; местами они оборвались и отстали от стены; это, в связи с общим беспорядком комнаты, делало всю её такой странной, как будто бы она была вывернута наизнанку.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax Павел глубоко вздохнул, прошёл к окну и сел на стул.

«Зачем же я не уйду?» – подумал он и ощутил в себе совершенное отсутствие даже намёка на то, что ему хотелось бы уйти. «Ведь как и уйдёшь? Её нет, квартира не заперта, и вот всё разбросано.. Она, наверное, недалеко, тут где-нибудь...»

И он посмотрел в окно, как бы надеясь увидеть её.

Из окна открывался странный вид на город. Собственно, города не было, были только крыши и меж них тут и там – зелёные острова садов.

Зелёные, красные, бурые крыши, цепляясь одна за другую, казались беспорядочно брошенными кем-то. Иногда из них стрелой вздымался к небу острый шпиль церкви, увенчанный крестом, чуть-чуть освещённым последними лучами заходящего солнца. Там, на окраине города, уже родилась тонкая дымка вечерней мглы и тихо так плыла над крышами, делая их мягче и темней.. Пятна зелени садов сливались с домами, и Павел, наблюдая, как родится и развивается вечер, кутая своими тенями землю, чувствовал, что ему грустно и сладко.. А вдали, за городом, где небо было темнее, блестели две звезды, одна, большая красноватая, блестела так весело и смело, а другая, только что вспыхнувшая, боязливо вздрагивала, то скрываясь, то появляясь вновь.

Хорошо быть таким человеком, который мог бы понимать всё это – вечер, небо, звёзды, засыпающий город и свои думы; который бы знал – зачем всё это нужно, какая во всём этом скрыта дума и душа, и который жил бы вровень с этим пониманием и знал бы, зачем и сам он нужен и какое тут его место. Может быть, тогда тот человек мог бы сделать всю жизнь такой же тёплой и мягкой, как этот вечер, и сроднил бы людей до того, что каждый человек видел бы в другом самого себя и не боялся бы его..

Увлечённый своими думами, Павел сидел у окна, не замечая времени, хотя оно так заметно проходило перед его глазами. Он тогда понял, что сидит тут уж давно, когда на дворе раздался чей-то крик и он, взглянув из окна вниз, увидел, что уже совсем темно и что всё небо блестит звёздами. Ему хотелось спать, и он, вздохнув, пошёл к двери, но, выйдя из неё, услышал на лестнице тяжёлые, неровные шаги и остановился.

По лестнице грузно подымалась какая-то фигура. Она странно всхлипывала, как бы плача. Павел отодвинулся к стороне и стал за дверь.

– Черти... – пробормотал пьяным голосом тот, кто шёл к Наталье.

Павел думал, что это идут к ней, и был очень поражён, когда узнал, что это она сама. Ещё издали он услышал запах водки, а когда она поравнялась с ним, то увидел, что вся она растрёпана, измята и еле идёт. Ему стало жалко её, но он почему-то не решился выйти и помочь ей – и остался за дверью. Вот она толкнула дверь плечом, придавив ею Павла, и вошла в комнату, где сразу раздался звон стаканов и стук падавших бутылок.

– Пошло... всё... к чёрту... – услышал Павел пьяный голос, в котором всё-таки ясно слышались обида и зло.

Он стоял неподвижно и, притаив дыхание, слушал, хотя ему было тяжело и неприятно это.

Вдруг раздался плач и протестующие выкрики:

– Избил... подлец!.. за что избил?!.. я могла требовать... мои деньги!.. могла!.. жулик! три рубля... мне ведь нужно!.. А, ты думаешь, такая она... и надо бить... можно бить!.. нет, ты врешь!.. врешь!.. врешь!.. я тоже... чувствую! ну, я не человек... ну да... не человек... а такая... но ведь я имею право... моё... полное право... требовать... три рубля!!.

Она выкрикнула эти «три рубля» так визгливо-звонко и с такой пьяной злобой и тоской, что Павел почувствовал как бы удар от этого крика и быстро пошёл из-за двери вон к лестнице, сам полный горькой тоски и злобы против кого-то. Когда он сходил с последней ступеньки, наверху послышался стук от падения чего-то и звон разбитой посуды.

– Это она стол, значит, уронила... Совсем... – громко сказал он, стоя уже на дворе. Он не знал, что нужно ему делать, но чувствовал, что что-то нужно. Стоя среди двора с фуражкой в руке, он прислушивался, как сильно бьётся его сердце и как тяжело и скверно душит что-то в груди... У него мутилось в голове и не было ни одной ясной мысли.

– Подлецы! – прошептал он и стал припоминать все когда-либо слышанные ругательства, повторяя их злым шёпотом. Потом, когда от этого ему стало немного легче, он вышел за ворота и сел на лавку, плотно прислонясь к стене.

Ему всё казалось, что по тёмной, пустынной улице ходят, шатаясь из стороны в сторону, пьяные женские фигуры и что-то зло бормочут... Тоска всё сильнее сосала ему грудь. Он встал и ушёл в мастерскую.

– Ну что, Павлуха, как дела? – спросил его утром хозяин и, тонко улыбаясь, пристально уставился на него глазами. – Был, благодарил? а?

– Не... было её дома... – хмуро ответил Павел, стараясь не встречаться с глазами хозяина.

– Ой-ли? Ну, пусть так. Запишем, что не было, мол, дома! – И он сел за работу против Павла.

– Гуляет сильно девчонка... – снова заговорил он. – А жаль. Сердечная такая.

Право же, жаль! Ну, только это и можно, что пожалеть. Больше ничего не станцуеть.

Дело решённое.

Павел молчал, лихорадочно продёргивая дратву сквозь кожу. Хозяин что-то запел себе под нос.

– Мирон Савельич! – обратился к нему Павел после продолжительного молчания.

– Ась? – вскинул головой хозяин.

– Никак уж ей не выбиться из такой колеи?

– Ей-то? Гм!.. н-да! надо полагать – нет, уж не выбиться. А впрочем, дело тёмное. Темно, как у трубочиста за пазухой, друг ты мой, н-да! Ежели бы нашёлся парень этакой, знаешь, железный, да её бы в ежовые рукавицы взял, ну, тогда ещё можно бы спорить, кто выше прыгнет. Но только дураки теперь повывелись. Потому – невесты этой самой теперь везде – что мухи летом. И настоящей невесте хороших цен нет. Гусь, например, женился, взял двести рублей за ней, да сама она херувимская мордочка и грамотная. Конечно, она его надувать будет, потому – чего ж он? Ему уж около пятидесяти, а ей семнадцать. И это за Гуся пошла, да ещё двести дали – только бери! У-ух, много теперь невесты! дешёвая стала. А всё почему? Жить, душенька, тесно, народу прорва родится. Запретить бы жениться-то, годов на пяток-другой. Вот было бы ловко! Право, ей-богу! а?.. – и, увлечённый своей мыслью, старый Мирон начал развивать её детально.

Панька молчал, и можно было думать, что он внимательно слушает. Но вдруг, в момент, когда Мирон с особенным успехом одолел какую-то трудность в своём проекте искусственного уменьшения народонаселения, Панька произнёс:

– А ежели бы, Мирон Савельич, подарок сделать?

– То есть это ей-то? Наталье, значит?.. – после продолжительной паузы спросил хозяин, уставив глаза в потолок и немного обиженный тем, что Павел прервал его фантастические излияния. – Можно и подарок, что ж! Она ведь тратилась на тебя.

Он снова замолчал и, помолчав, замурлыкал.

После обеда оба они опять сидели друг против друга и усердно ковыряли кожу.

День был жаркий, и в мастерской, несмотря на открытые окна и отворённую дверь,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax было душно. Хозяин то и дело вытирал пот со лба, ругал жару и вспоминал об аде, где, наверное, температура градусов на десять ниже и куда он охотно бы переселился, если бы не обещал сделать к сроку эти проклятые сапоги.

Павел сидел с наморщенным лбом и плотно сжатыми губами и, не разгибая спины, шил.

– Так ты говоришь, хорошая она девка-то всё-таки? – вдруг спросил он хозяина.

– Эк тебе удалось! Ну, хорошая. Так что же? – с любопытством сказал хозяин, внимательно взглядывая на склонённую голову Павла.

– Ничего! – ответил тот кротно.

– Ну, это мало ты сказал! – усмехнулся хозяин.

– А что ж я могу ещё сказать? – В тоне Павла звучало печальное недоумение и ещё что-то такое же унылое и тихое.

Они помолчали ещё.

– Пропадёт, значит, она!.. – Это походило на робкий вопрос, но Мирон не ответил ни звука.

Павел подождал ещё немного и вдруг протестующе заявил:

– Ну, уж это непорядок! Хорошая, и вдруг должна пропадать! Очень обидно!..

– и он толкнул ногой стол.

– Фью-ю! – свистнул сквозь зубы хозяин и саркастически засмеялся. – Зелёная ты, Павлуха, голова!.. Чувствую я, что уж быть бычку на верёвочке. Э-хе-хе!..

Вечером, после работы, Павел вышел в сени мастерской и, став в двери на двор, стал смотреть в окно чердака. Там был уже зажжён огонь, но движения не было.

И он долго стоял и ждал, не появится ли в окне её фигура, но не дождался и, выйдя на улицу, сел у ворот на лавку, где сидел вчера ночью.

У него из ума не выходило всё то, что говорил за день хозяин о Наталье, и он весь был наполнен грустным чувством жалости к ней. Если бы он ближе знал жизнь и умел мечтать, он бы мог строить разные планы спасения этой девушки, но он почти ничего не знал и не умел, и все мысли его сводились к представлениям о ней – на погребке, о ней – в больнице и о ней – пьяной там, в ободранной комнатке чердака.

Он переставлял её с места на место, брал её, пьяную, с чердака и вводил в больницу к своей койке; тогда у него выходила бессмысленная и нелепая картина, ещё более увеличивавшая тяжесть его настроения; но когда, наоборот, он представлял себе её на чердаке такой, как она была у него в больнице, ему становилось легче, и он с улыбкой оглядывался вокруг по тёмной улице и смотрел в небо, блиставшее золотом звёзд.

В нём как бы билось две волны: одна – тёплая и оживлявшая его, другая – холодная, тоскливая, окутывавшая его тяжёлым мраком. Он так много думал в больнице о Наталье и так сроднился с ней в своих думах!.. Она была первым человеком, приласкавшим его, позаботившимся о нём, и его пустая, одинокая жизнь, жизнь без точки опоры, без друга, – сразу и вся сконцентрировалась около неё, этой девушки, которая была так добра к нему и должна была погибнуть.

Он вспомнил те чувства, которые волновали его, когда она сидела около его койки, и хотел бы, чтоб они, уже побледневшие от времени, возродились в его груди снова в той же силе, как тогда.

– Ах!.. Это вы?! Вышли? – услышал он громкое восклицание и, быстро обернувшись, увидел, что та, о которой так много думал, стоит в воротах, почти рядом с ним. Голова и лицо у неё были плотно закутаны серой шалью, из которой, он видел, блестели голубые большие глаза.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– Вчера вышел. Здравствуйте! – ответил он и, не зная, что бы еще сказать, стал молча смотреть ей в лицо.

– Худо-ой какой вы стали, ай, ай, ай!.. – сожалея, протянула она и, поправив шаль рукой, ещё больше закрыла лицо.

– И вы тут хворали, слышь? – спросил Павел.

– Я? Не-ет... то есть да, я и теперь вот не совсем здорова. Зубы болят очень... Давно уж.

Павел вспомнил, что там, на чердаке, когда она шла мимо него, у неё щека не была завязана...

– Теперь ничего? вы оправились? Работаете уж, чай? – проговорила она, помолчав.

– Работаю. Сразу вчера начал.

– Ну, прощайте! – И она протянула ему руку. Павел взял руку, крепко сжал её и, чувствуя, что вот сейчас она уж и уйдёт от него, заговорил быстро:

– Погодите малость! Пожалуйста!.. Сядьте вот... Я хочу вас очень благодарить... Покорно благодарю, что вы так обо мне заботились!..

– Ну, что это вы, право! такие глупости!.. Приходили бы вы ко мне чай пить когда... Днём, в обед вот, а вечером-то не бываю я дома. Приходите, коли захочется! а?

– Я приду. Очень приду. С удовольствием! Благодарю вас!

– Ну, я побегу в лавочку. Прощайте! – И она побежала.

Павел дождался её возвращения, в смутной надежде, что, может быть, она, возвратившись, снова и уж сейчас же пригласит его к себе; но она пробежала мимо, не взглянув на него, и ему показалось, что она несёт под шалью бутылки.

Он вздохнул, посидел ещё немного и ушёл спать, полный дум о ней и полный грусти, долго не дававшей ему заснуть.

Дня через два он всходил по лестнице к ней на чердак, неся в руках свёрток бумаги, в котором был завёрнут платок, купленный за полтора рубля. Дверь была открыта, и она, увидав его, сразу бросилась куда-то, схватила платок и живо закутала им голову.

– А!.. это вы! Вот хорошо! А я собираюсь чай пить, здравствуйте, здравствуйте!

Он молча совал ей в руки свой подарок и тихо бормотал:

– Вот это вам... в благодарность...

– Что это? Зачем? Платок!.. О какой!.. Ах вы, ми-иный!.. – протянула она и сделала к нему движение, простирая руки и точно желая обнять его, но удержалась и снова стала любоваться платком.

Павел видел, что его подарок нравится, и сиял, глядя, как она, сверкая глазами из-под шали, окутывавшей ей, как и вчера, лицо, – переворачивает его перед собой то так, то эдак; и вдруг, повинуясь импульсу женского кокетства, она сбросила с головы шаль и, отвернувшись от Павла в сторону, к стене, на которой висело маленькое зеркало, взмахом обеих рук ловко накинула себе на голову подарок.

– Ой! – ахнул Павел.

У неё под обоими глазами сияли громадные, багровые подтёки и нижняя губа, очевидно, сильно разбитая, вспухла.

Она спохватилась, но, видя, что уже поздно, грузно села на стул, закрыв лицо белыми, полными руками, и как-то странно согнулась.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
– Ну подлецы!.. Как били!.. – тяжёлым вздохом вырвалось у Павла.

Наступило тяжёлое молчание. Павел стоял и растерянно оглядывался, лишённый и языка и способности что-либо соображать и полный тяжёлого чувства негодования и тоски, исковеркавшего его рябое, но вдумчивое и осмысленное лицо в какую-то пёструю, красную с жёлтым, маску, уродливо жалкую и больную.

На столе кипел самовар, вылетали тонкие, кудрявые струйки пара, бесследно тая в воздухе, и слышался странный, пискливый звук, точно это посвистывало какое-то маленькое и злое животное, насмешливо и холодно торжествуя над чем-то.

Комната была прибрана и не казалась уже вывороченной наизнанку, а была просто бедна, бедна до того, что никак уже не могла быть красивой, хотя её обитательница и пыталась сделать её такой, завешивая дыры на обоях дрянными яркими картинками и заставив грязный и сгнивший подоконник тремя горшками фуксии. Гробообразный потолок этой комнаты положительно давил и угнетал своей формой; всё казалось, что вот он сейчас опустится на голову и вместе с тем в комнате станет темно, как в могиле...

Павел смотрел на свою знакомую и видел, что у ней тихо вздрагивают плечи, а грудь колыхается тяжело и бурно, но не понимал, отчего это...

– Уж я... пойду. Прощайте! – вздохнул он, но не двинулся с места.

Зато он поднял её. Она вдруг отняла руки от лица, вскочила со стула и охватила его за шею.

– Нет, уж, пожалуйста, оставайтесь теперь!.. Ведь теперь уж всё равно... видели вы это... – Она провела рукой в воздухе перед лицом. – Ах, не хотела я вам показывать этот срам!.. Очень не хотела! Вы такой хороший, добрый, ласковый, не... не... пристаёте... не шутите, как все!.. Вчера я, как увидела вас, то очень обрадовалась!..

Ах, думаю, выздоровел!.. И хотела вас позвать к себе, но подумала, как я ему покажу свою битую рожу!.. Ведь он уйдёт, плюнет на меня, и всё тут! И не позвала. А вот ты... вы какой, только пожалели меня... Другой бы посмеялся, а вы нет... Милый вы!.. а?... Почему вы такой милый?!

Ошеломлённый этим взрывом стыда, тоски и радости, Павел глухо забормотал, стоя против неё и глядя в пол:

– Нет, я, знаете, не очень... То есть я совсем даже плох. Дубовый какой-то.

Ничего сказать настоящее не могу. Вот вас мне очень жалко... и как родная вы мне, но как это сказать вам, – не знаю! Не могу я даже и слов таких набрать. И ни от кого... никогда... таких слов, какие бы мне... нужно по настоящему времени... не слышал за всю жизнь...

– Голубчик вы какой! Сам же говорит хорошие такие слова, а думает, что не умеет говорить их! Ну ладно, всё-таки надо сесть. Идите вот сюда, рядом со мной.

Давайте пить чай! Да! Погодите, дверь запру, а то вломится какой ни то осёл. Ну их всех, к чёрту! Провались они в тартарары! Ах, кабы вы знали, какие из вашего брата поганцы есть!.. ба-аюшки!.. тошнит, как встретишь после! То есть такие сквернавцы, такие подлецы!..

Она воодушевилась и не щадила ни «своей сестры», ни «вашего брата». У ней оказался большой критико-публицистический талант, горячий, образный стиль, немного резкий, правда, – но это только усиливало впечатление. Она бросала свои послышки, как камни, складывала их в выводы, и, хотя эти выводы были немного парадоксальны, они были сногшибательно тяжелы.

Пред Павлом в ярких красках вставала жизнь, о которой он не имел почти никакого представления, и это была такая проклятая, скверная, мучительно нелепая жизнь, что у него выступил на лбу холодный пот от ужаса пред ней и перед рассказчицей...

А рассказчица была действительно ужасна в своём вдохновении. Её глаза, от синяков под ними, были страшно глубоки и сверкали дикой радостью и мстительной

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax злобой.

Её лицо почти всё обратилось в глаза, и только распухшая нижняя губа, обнажая мелкие и острые зубы, мешала иллюзии. Она говорила с холодной тоской и насмешкой о себе, с мстительным восторгом о других, если они были из «вашего брата» и если с ними совершалось что-либо скверное, и с злобным сожалением, если им что-либо удавалось.

Иногда она смеялась, иногда плакала, иногда сливала и смех и слёзы в одну тоскливую ноту. И, наконец, когда она, утомлённая и охрипшая, перестала, то сама удивилась эффекту своей речи.

Павел совершенно потерял человеческий образ. Он смотрел на неё страшно вытаращенными глазами и свирепо оскалил зубы, стиснув их так крепко, что у него далеко выдались скулы и всё лицо стало похожим на морду голодного волка. Он вытянулся по направлению к ней и молчал; молчал и тогда, когда она, кончив свои обличения и жалобы, уже думала о том, как бы ей вывести его из этого оцепенения. Но он вышел сам.

– Хорошо! – глухо воскликнул он. – Очень хорошо! А я и не знал!

Это было сказано таким тоном, как будто бы теперь, когда он всё это узнал, оно перестанет уже существовать, уж он позаботится, чтобы перестало!..

– Порядки!.. ну!.. господи! разве так можно?! – Он кинул свою голову на руки и, облокотившись о стол, опять оцепенел.

Тогда она заговорила в более мягком и примиряющем тоне. Находя возможным извинять и оправдывать людей и себя, она делала попытки свалить всю вину и тяжесть событий на водку – силу, которая всё ломит, – но, успев в этом, нашла, что водка слишком жидкая почва для того, чтобы поддерживать на себе всю скверну жизни, – и снова обрушилась на людей; обрушилась и, воздав им должное, перешла к жизни:

– Ведь уж очень тяжело жить. Всё везде ямы; одну минуешь – в другую шлёпнешься.

Ну вот, завяжет себе глаза человек и пошёл!.. Куда кривая не вывезет! Где он, настоящий-то лёгкий путь?.. Кто ж его знает?.. Наша жизнь скверна и тяжка, ну, да и семьянкам не сладко! Одни дети смеют, да муж, да горшки, да чёрт в ступе!.. Вся жизнь такая, неустроенная.

Павел слушал и представлял себе жизнь, которая вся из ям и меж ними узкая тропинка, по которой идёт человек с завязанными глазами, а ямы насмешливо и темно зияют и, наполняя воздух гнилым, одуряющим зловонием, кружат ему, одинокому и слабому, голову, – и вот он падает...

А его лекторша уже совсем настроилась на минорно-философский лад и говорила о чём-то странном: о могилах, о полыни на них, о сырости земли, о тесноте...

Павел почувствовал, что он, пожалуй, сейчас заревёт, и сразу решил, что пора ему уйти отсюда.

– Иду я. Прощайте! – коротко сказал он и ушёл. Она не удерживала его, сказав на прощанье только одно ласковое «приходите поскорее!», на которое он утвердительно кивнул головой.

Он пошёл на улицу и долго шлялся по городу, чувствуя себя странно выросшим в этот вечер, каким-то большим и тяжёлым, что происходило, должно быть, оттого, что он нёс в себе много новых дум, представлений и чувств. Всё окружающее, весь город казался ему новым и возбуждающим к себе подозрение, недоверие и какую-то презрительно-тоскливую жалость... и это, надо думать, истекало из того обстоятельства, что он, Павел, узнал сегодня много скверных тайн и делишек этого города.

Он возвратился домой с восходом солнца, прогуляв всю ночь и чувствуя себя снова немного больным.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
Прошла неделя, в течение которой мой герой посетил мою героиню ровно семь раз.

Им обоим доставляли много удовольствия разговоры о жизни вообще и о жизни друг друга. Павел приводил в исполнение желание, зародившееся в нём ещё в то время, когда он лежал в больнице, и рассказывал ей о молчаливом Арефии, о том, что он думал, когда ещё мальчиком лежал в яме у бани и когда уже взрослым шлялся по кладбищу, городу и окрестным деревням... И все эти его думы носили странный отпечаток недоумения и недоверия к самому себе, но общий вывод из них был тот, что в жизни что-то такое идёт не так, расшатано, поломано и требует солидной починки.

Она рассказала уже ему свою биографию, очень простую. Шестнадцати лет, когда она была горничной у купца, с ней совершенно неожиданно случился грех, за который её прогнали от купца и из дома её родных, мещан Кривцовых. Она, как всегда это случается, когда человека выгоняют и когда ему некуда деваться, очутилась на улице... Явилась благодетельница, потом – благодетель, ещё один благодетель, ещё один, ещё – и повалились, чёрт знает откуда, целые десятки благодетелей!.. Они валились в течение восьми лет до сегодня, в чём она со вздохом откровенно призналась Павлу, но он это знал и – кроме тоски – не ощутил при этом сообщении ничего особенного.

У них установились простые, дружеские отношения, и часто случалось, что она говорила с ним как с женщиной, а он спрашивал её как мужчину. Её синяки понемногу сходили с лица, и оно начинало приобретать свой естественный цвет, здоровый и сочный.

Она была очень здорова, и тонкий, как бы свинцовый налёт, характерный признак профессии, всё ещё не касался её щёк. Она любила петь и часто пела Павлу очень нелепые, но ещё более грустные песни, в которых шла речь непременно о любви. Но слово «любовь» не вызывало, очевидно, в ней никаких особенно приятных представлений и ощущений, и она произносила его так холодно и равнодушно, как не ухитрилась бы сделать это и семидесятилетняя старуха, у которой такое слово могло вызвать воспоминания и вздох о былом.

Павел ей просто очень нравился, что вполне естественно: это был первый человек, который не относился и не умел относиться к ней так, как относились все до него.

Она понимала, что он чист перед ней как женщиной, – и это немного приподнимало её, делало лучшей, не обязывало ни к нахальной развязности, ни к цинизму, ещё не успевшим войти ей в плоть и кровь. С ним в то же время можно было говорить обо всём и совершенно просто; он хотя и мало говорил сам, но слушал всегда внимательно.

Впрочем, он теперь стал развязней и говорил больше, чем прежде, что опять-таки понятно, ибо она старалась понять и вникнуть в его душу и думы, – он ей был дорог и нужен. Он относился к ней с некоторым удивлением. Она казалась ему на редкость хорошей, доброй, мягкой и в то же время была из таких, о которых он не слышал ни одного слова хорошего...

Воспоминания об Арефии крепко сидели в нём, и теперь он часто про себя сравнивал, кто лучше, и не решался сам себе ответить, как бы боясь оскорбить память покойника ответом не в его пользу. Ему было невыразимо приятно вечером, кончив работу, приходиться к ней так свободно, просто и сидеть, попивая чай и разговаривая тоже так просто, как бог на душу положит.

Она была грамотна и очень любила читать трогательные истории, напечатанные на плохой, серой бумаге и продаваемые пятак пара. У неё была целая куча и в сундуке под кроватью, и иногда она довольно бойко прочитывала одну из них Павлу, а прочитав, начинала убеждать его полюбить чтение, что он ей всегда и обещал.

Павел чувствовал себя хорошо и даже выучился смеяться, что, впрочем, к нему очень не шло. Мирон Савельич посматривал на него добродушно и насмешливо и иногда довольно ехидно посмеивался, на что Павел ничуть не претендовал. Хозяин нравился ему всё больше, он относился к его делам всё внимательнее, и Павел платил ему за это тем, что работал, как вол.

Однажды хозяин сказал ему:

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
– А что, Павлуха, чай, возьми меня с собой уже в гости-то!

Павел почему-то обрадовался его предложению, и вот они вечером втроем пили чай на чердаке Натальи. Старик зорко наблюдал за молодёжью, предоставляя ей говорить и изредка только вставляя в их разговор два-три смешных словечка.

Вечер провели очень весело и мило. А идя домой с Павлом, Мирон Савельич, сначала всё что-то свиставший сквозь зубы, наконец заявил Павлу, тронув его за плечо:

– Смешнувший ты, братец мой, человечина! И она тоже... ну девица!.. Милые вы мои черти, не прищемите другу хвостов как ни то ненароком, а всё остальное в воле вашей.

Павел из этих слов ничего не понял, но, чувствуя, что это сказано из хорошего побуждения, поблагодарил хозяина. Он всегда в затруднительных случаях прибегал к благодарности.

Однажды мои герои сидели и, по обыкновению, попивая чай, до которого оба были большими охотниками, – разговаривали о том, кто что любит. Павел, перечислив свои страстишки, молчал и слушал перечень Натальи.

Она насчитала много: карусели, коньяк (с лимонадом и сельтерской любила больше, чем без оных), цирк, музыку, пение, книжки, осень, потому что она очень грустна, маленьких детей, пока они ещё не научились злиться, пельмени и т. д. – и наконец остановилась на катанье в лодке.

– Больше всего люблю! – заговорила она, блестя глазами. – Едешь – и качает тебя, как ребёнка в люльке... И так и становишься, как ребёнок: ничего не понимаешь, ни о чём не думаешь, плывёшь, плывёшь... без конца бы плыла, вплоть до моря, и всю жизнь!.. хорошо это!.. Ах, вот бы покататься!

И они решили ехать в воскресенье кататься. В воскресенье погода удалась хорошая, ясная, жаркая, – июльская погода. Они выбрали лёгкую, устойчивую лодку, Павел сел в вёсла, и они поплыли против течения. С одной стороны берег был окаймлён коричневой широкой лентой крутых глинистых обвалов, а с другой – зелёной бахромой кустарника, из которого там и сям пробивались высоко к небу пышные берёзы, серебристые осины и дубы, уродливо растрёпанные ветром, изогнувшим их сучья. За лодкой бежала, журча и извиваясь, пена, но она пропадала, не догнав лодки, и это её, должно быть, очень обижало, – в звуке, с которым она таяла вдали, было что-то недовольное...

Небо, ясное и глубокое, отражалось в воде, отражались в ней и те кусты, которые росли ближе к берегу; в воде они стояли вниз вершинами, и это, должно быть, было им очень приятно, – они покачивались в ней с такой ленивой красотой и грацией!..

Смелые, юркие стрижи носились над водой и хлопотливо трещали, а по берегу расхаживали, помахая чёрными хвостами, весёлые трясогузки, смешные, точно они были маленькими сороками. Над рекой носились полные, могучие и мягкие звуки... Шелестела листва, река плескалась о берег, где-то далеко плавала песня, сильная, грудная и красивая...

Павел, в красной рубахе и без фуражки, сильно и мерно грёб приёмом опытного гребца, не двигая корпусом и работая только мускулами рук. Иногда ему на лоб падала прядь волос, он откидывал её назад спокойным движением головы. В его глазах сияло много удовольствия, и он вдыхал глубоко грудью сухой, душистый воздух, поговаривая изредка: «Эх, славно!..»

Наталья сидела против него, положив руки на колени, с застывшей на губах блаженной улыбкой и покачивалась в такт с ударом вёсел по воде, – а с них падали в воду такие красивые, блестящие капли и звенели так тихо и ласково... Она посматривала вокруг себя и на гребца, такого сильного, большого, – и всё улыбалась, то глазами – голубыми и задумчиво-нежными, то губами – пухлыми и сочными.

Им обоим не хотелось говорить. Оба они чувствовали, что без слов лучше, и как нельзя больше походили на героев романа, пока ещё только немножко влюблённых, не создававших этого, но уже в достаточной степени заинтересованных друг другом и ускорявших события внимательным наблюдением друг за другом. Но они ещё только

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
походили на героев и пока не успели стать ими, по причинам, известным их судьбе
– и только ей.

– Пристанем к берегу? – спросил Павел, когда они доехали до лужайки на берегу, очевидно, специально устроенной природой для маленьких пикников. Вся она была покрыта тенью от берёз, полукругом обступавших её, и поросла мягкой низенькой травой, среди которой редко пестрели какие-то бедные и скромные цветы.

Они вышли, захватив с собой узелок с провизией, медный чайник и бутылку какой-то наливки. Через полчаса на лужайке дымил костёр и над ним висел чайник с водой; иногда в костёр с боков чайника падала капля воды и, шипя, испарялась. Дым извивался сизыми, кудрявыми гирляндами, таял в воздухе и опьянял каких-то маленьких мушек, которые, уныло звеня, падали на землю.

А кругом всё было так тихо, точно прислушивалось к чему-то. Павел хлопотал, развязывая узел, а она с мечтательным лицом срывала цветы и травинки и, что-то тихонько напевая, делала из них букеты. Это было сентиментально, но это было так, – поверьте в правдивость моей музы!.. Поверьте и в то, что, собирая цветы и вдыхая их запах, она делала это ничем не хуже всякой другой девушки. Я прошу извинения у всех других девушек, если они заподозрят меня в том, что я ставлю мою героиню на одну доску с ними. Ей-богу, это не так! и пусть они успокоятся, я не решусь сравнивать их с моей героиней. Я не могу идеализировать, я только уверен, что все люди могут быть очень хорошими людьми, если они хотят этого и имеют на это свободное время.

Потом вскипел чайник, и они стали пить чай и закусывать, заботливо угощая друг друга и перекидываясь короткими замечаниями о том, как всё это хорошо. От трёх рюмок наливки у Павла зашумело в голове, и он почувствовал потребность говорить.

– Хорошо, наверное, тем людям, которые понимают, что к чему принадлежит в жизни, – задумчиво начал он.

Наталья посмотрела на него и, помолчав, спросила:

– Что хорошего-то?

Павлу нужно было подумать, прежде чем ответить ей, и, воспользовавшись паузой, она заговорила, не дожидаясь его ответа:

– Не знаю как... по мне, так лучше ничего не понимать, – меньше спросится, и душе спокойней. Живи, как живётся, да поменьше на людей смотри...

И они начали философствовать. Но это скоро им надоело, и тогда они стали просто болтать. Павел всё более пьянел. Наступал вечер, тихий и тёплый. Наталья смотрела кругом, – становилось темно и грустно, и она захотела домой. Ей стоило большого труда убедить Павла, что уже пора ехать. Он весь как-то размяк и, соглашаясь с ней, не трогался с места, над чем-то смеясь и в то же время проявляя ясные признаки слабой борьбы с одолевавшим его сном.

Наконец она свела его в лодку, сама села в вёсла, а он сейчас же лёг на дно и уснул. Лодка тронулась вниз по течению и тихо, без гребли, поплыла около берега.

Угли от их костра раздувал тихий ветер, и в воду летели мелкие искры, падая на пятна теней от прибрежных кустов. Наталья направила лодку на середину реки и, плывя в молчании и мягком свете только что явившейся луны, смотрела на спавшего Павла и думала о чём-то, должно быть, очень грустном, потому что по её щекам медленно текли одна за другой слезы.

С одного берега на неё смотрели тёмные группы кустов, с другого – суровый и резкий обрыв, а с неба – звёзды, разгоравшиеся всё ярче и ярче. Тишина была такая, как бы всё живущее заснуло крепким сном, и даже вода под лодкой не звучала. Тёмная и спокойная, она казалась густой, как масло... Вот вдаль замигали огни города, и оттуда понёсся гул, сначала отрывисто, как вздохи какого-то большого спящего животного, а потом – сплошной, густой волной...

Они приехали. Лодка сильно толкнулась о берег, и Павел проснулся. Он оглянулся вокруг, и ему стало стыдно, что он спал.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiymax
– Простите меня, Наталья Ивановна, за такое... – сказал он, когда они уже далеко отошли от реки по глухой и узкой улице.

Она удивилась и спросила:

– За что?

Тогда он уверенно объяснил ей, что это не очень хорошо – спать при даме.

– Господи! – воскликнула она. – Откуда вы это?.. Взяли-то такую чепуху откуда?..

– Это не чепуха, – стоял он на своём, – это вы сами же мне в одной книжке прочитали... да. Помните? – И он напомнил ей. – Вот видите! – сказал он тогда, немного торжествуя свою правоту, и прибавил: – Уж в книжках не может быть чепухи! – из чего ясно видно, как плохо он был знаком с литературой.

Когда они пришли домой, он остановился у лестницы на чердак и, сказав ей «прощайте», протянул руку. Она поколебалась почему-то, но потом вдруг схватила его руку и, крепко сжав её обеими своими, как-то странно громко зашептала ему:

– Голубчик мой!.. какой вы милый, милый!..

И быстро побежала наверх, оставив его, немного удивлённого этой похвалой.

Потом они ещё раз устроили такое же славное катанье...

Так вот как они жили! Но Судьбе идиллический жанр, очевидно, надоел так же, как он надоел и людям, и вот она превращает эту идиллию в роман.

Началось с того, что однажды вечером в дверь мастерской заглянула какая-то приличная усатая физиономия и очень вежливо спросила у Павла:

– Позвольте узнать, здесь живёт девица Наталья... Наталья... гм?..

Лучше бы ей этого не спрашивать, потому что в глазах Павла она сразу после своего вопроса превратилась в одну из самых богопротивных рож.

– Не знаю! – ответил он глухо и не совсем ласково.

– Такая, знаете, русая... с голубыми глазами... невысокая?

– Не знаю! – сказал Павел уже совсем неласково.

– Ссс... а!.. а мне сказали, что здесь!.. – разочарованно протянул спрашивавший. – Извините! До свидания!

Павел промолчал и почувствовал, что с исчезновением этого господина у него, Павла, не исчезло желание пустить ему в лоб колодку.

– Не знаете ли вы, здесь живёт девица Наталья?.. – донёсся со двора вежливый и сочный баритон.

Павел, с колодкой в руках, вскочил и бросился к двери. Но когда он подошёл к ней, то на дворе прозвучал голос Натальи:

– Сюда, сюда, Яков Васильич!

Павел воротился на место, сел и, ткнув шилом не туда, куда следовало, бросил башмак на пол и снова пошёл на двор. Он встал на пороге сеней и стал смотреть в окно флигеля, где жила Наталья. Ничего не было видно, но слышались голоса, её – весёлый и его – густой и предупредительный. Потом послышались шаги на лестнице, и вышли они оба. Павел быстро притворил дверь, оставив маленькую щелочку, и приложился к ней глазом.

Наталья шла рядом с высоким господином в сером котелке. Он крутил ус и заглядывал ей в лицо, а она бросала искоса взгляды на дверь, за которой стоял Павел. И они услышали.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax Павел воротился в мастерскую, сел у окна и, для того чтоб видеть что-либо на улице, закинул голову назад, но и тогда видел только верхний этаж противоположного дома, его крышу и небо над ней... Тут в первый раз он почувствовал себя в земле – в сыром подвале, глубоком, закопченном. Он опустил голову и задумался. Пришёл хозяин и заговорил с ним, но не получил ответа. Тогда он спросил тоном участия:

– Ты что это как избастрьжился?

– Так! – ответил Павел, посмотрев вокруг хмурым и пытливым взглядом.

– Как будто Наталья проехала сейчас на извозчике с каким-то брандахлыстом, – сообщил хозяин.

– Нет, это не она... – ответил Павел.

– Так ты чего к ней не идёшь сегодня? – осведомился Мирон, поглядывая подозрительно и пытливо на работника.

– Я вот сейчас пойду.

И он действительно пошёл на чердак. Но дверь в комнату Натальи была заперта замком. Тогда он сел на верхней ступеньке лестницы и стал смотреть вниз, в чёрную яму, зиявшую перед ним, молча и сурово.

Внизу кто-то о чём-то говорил, но Павлу всё это было непонятно. Он был увлечён соображениями на тему – как бы ей помешать? Как помешать ей гулять с этими господами в котелках?.. Прошлый раз – тоже был в котелке, только в чёрном, и имел рыжую клочкастую бороду вместо усов, но – всё равно – и он, как этот сегодняшней, походил на чёрта, обстригшего себе шерсть. Зачем такие люди рождаются и живут? Почему их не ссылают на каторгу? Павел недоумевал, не умея ответить на эти два и на другие вопросы в таком же духе, и, недоумевая, чувствовал, что опять явилась тоска, давно уже не посещавшая его. Теперь он отвык немного от неё, и потому она была острее. К ней примешивалось ещё какое-то обидное чувство, которое было ничуть не легче её.

Подавленный, он сидел час, два, до рассвета, до той поры, пока у ворот не послышалось дребезжание остановившейся пролётки, а на дворе чьи-то шаги.

Павел дрогнул и хотел уйти, но было уже поздно. По улице прямо на него шла Наталья, бледная, с измятым лицом и тупыми глазами. Она увидала его и остановилась на половине лестницы, немного смущённая его присутствием.

– Ах, это вы! Что это вы? – заговорила она, но, взглянув на него, замолчала.

Он осунулся от бессонной ночи и, расстроенный своими думами, был сух, резок и пугал своими глазами, смотревшими на неё так, как раньше они не смотрели.

Ей стало не столько стыдно перед ним, сколько боязно его, и она, опершись о перила лестницы, не решалась идти дальше, а он не двигался, упорно глядя на неё. Сцена была безмолвна и странна. Эту странность увеличивал свет, проходивший столбом через слуховое окно в крыше и ложившийся сначала на него, а потом, спускаясь вниз по лестнице, падавший ей в лицо, менявшее своё выражение каждую минуту.

Павел, наверное, сам был бы очень удивлён, если б мог видеть себя в этой позе. Он сидел, упёршись локтями в колена, и, подперев ладонями подбородок, смотрел вниз взглядом судьи. Становилось тяжело, и всё тяжелее с каждой минутой. Оба они не двигались, и она бледнела всё больше, начиная уже дрожать под его упорным, осуждающим взглядом, и ей начинало казаться, что его резкое и острое рябое лицо делается всё резче и начинает разгораться гневом и злобой. Чем бы это кончилось, если б на помощь им не явилась кошка? Кошка вскочила, фыркая, в слуховое окно, перепрыгнув через Павла, бросилась по лестнице под ноги Натальи и исчезла.

Я тут не вывожу на сцену ни добрых, ни злых духов. Мной руководит один дух, – это дух правды, и я вывожу кошку, одну из тех маленьких случайностей, которые являются и исчезают, чем иногда создают крупные события, иногда очищают им путь и очень редко позволяют заметить себя. Я не могу сказать, какой величины и масти

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
была эта почтенная кошка, которой я обязан тем, что теперь могу свободно вывести
моих героев из затруднительного положения.

Вскрикнув, Наталья бросилась вверх по лестнице, Павел же вскочил ещё раньше и освободил ей путь.

– Проклятая, как испугала! – задыхаясь, прошептала Наталья, гремя замком у двери.

Натянутые нервы Павла тоже были потрясены, но всё-таки теперь оба они вышли из своего оцепенения, и Наталья, отворив дверь в комнату, развязно пригласила его войти.

Он вошёл молча и с видом человека, что-то твёрдо решившего; прошёл к окну, сел там на стул и стал смотреть, как она отцепляет старомодную кружевную накидку, задевшую за что-то на плече.

– Что же вы так рано сегодня встали? – спросила она, чувствуя, что молчание снова готовится стать тягостным.

Он хмуро посмотрел на неё и вдруг, повинувшись какому-то толчку изнутри, заговорил тяжело и неровно:

– Не ложился ещё я. Вчера, как увидел эту м-морду с вами, и того... это невозможно! Вам бы бросить эту жизнь! разве хорошо? всякий может... надругаться... эх!.. чай, не затем на свет-то вы родились. Непорядок! Непорядок! али это вам приятно?

Приятно это, придёт человек, возьмёт, уведёт... и всё такое?.. нет, вы это бросьте! бросьте, пожалуйста, Наталья Ивановна!..

Он проговорил последние слова тихим, просительным шёпотом, а она, очевидно, не ожидавшая ничего подобного, держа свою накидку в руках, неподвижно и с покрасневшим лицом стояла перед ним и шевелила губами беззвучно и смешно, очевидно, имея что-то сказать, но не умея или не решаясь.

Он, посмотрев на неё, опустил голову и, подождав её слов, снова так же просительно, как и раньше, произнёс:

– Наталья Ивановна?..

Тогда она подошла вплоть к нему и, положив на его плечо руку, заговорила сама, убедительно, тоскливо, тихо и горько:

– Вот что! уж коли на то пошло, не покривлю я душой перед вами и так всё расскажу, как на духу рассказала бы. Знаю ведь я, что вам неприятно это всё, то есть моё поведение. Ох, знаю я это! Но что же я буду делать? Ведь уж это моя жизнь.

И ни к чему я больше не способна. Работать? Не умею и не люблю я работать. Разве это лучше – работать и голодать? Но и стыд у меня тоже есть, – и вот перед вами мне стыдно. Очень стыдно, поверьте! Но – что же я буду делать? а? Ничего нельзя!..

И должна я жить этой жизнью, и буду... и... знаете, я съеду с этой квартиры и не скажу вам куда. Бросьте вы знакомство со мной. На что вам оно? А вы лучше женитесь на хорошей девушке и живите с нею. Есть ведь хорошие для вас девушки?!.

Её последняя фраза гораздо больше походила на вопрос, чем на утверждение.

Павел резко махнул рукой.

– Э, это не то вы говорите всё! Не то совсем! Главная причина – вы, а не я. Я что? Мне очень хорошо. Но вы должны бросить эту жизнь. Погано ведь уж очень!

Посмотрите – пришёл, увёл, – тьфу! Ну и мерзавцы же! Как это они ухитряются!..

Волос дыбом встаёт, как подумаешь!.. Гнусы!..

– Миленький, ведь это уж так нужно!.. – тоном утешения протянула она, глядя его плечо и немного пугаясь горького раздражения и в его словах, и на его лице, искажённом гримасой отвращения и гнева.

– Н..ничего не нужно! Врёте вы всё мне! Али я ребёнок? Ничего не нужно!

Думал я об этом. Гадость! Фу! бросить нужно, бросить!

– Голубчик мой, что ж я могу сделать? – спрашивала она тихим, умиротворяющим тоном, всё более пугаясь и всё более склоняясь над ним.

Теперь он сидел, откинувшись на спинку стула, и, ухватившись одной рукой за подоконник, другой делал резкие жесты и вытирал своё воспалённое гневом и почему-то вспотевшее лицо.

– Сделать! сделать!.. Бросить всё это! Гнать всех! вон!.. к чёрту!..

– Ты не кричи... услышат... не кричи. Давай, поговорим ровненько. Ну, подумай...

– Не хочу. Я уж думал.

– Да нет, ты погоди...

И, собрав всю свою храбрость, она поймала его руку, а так как сесть было ей не на что, то опустила перед ним на колени.

– Ни в какую работу я не гожусь, и никто меня не возьмёт, потому что у меня такой билет... – раздельно начала было она.

– Э!.. – и он, сделав нетерпеливое движение, вдруг поражённый какой-то мыслью, застыл, наклонился к ней и, молча, пристально взглянув ей в глаза, вдруг спокойно и твёрдо сказал:

– Вот что, пойдёшь за меня замуж? Пойдёшь? Пойдёшь? Пойди!.. а? Пойди!..

я тебе... я тебя... – Его голос спустился до робкого шёпота и оборвался.

Она откинулась назад, широко раскрыв глаза, и вдруг вскочила, обняла его и зашептала сквозь слезы:

– Милый... голубчик!.. Меня-то замуж... меня-то... за тебя!.. Ах ты!.. за тебя... я замуж!.. Смешной ты... ребёночек ты...

И она, странно смеясь и вместе с тем плача, стала его целовать, крепко охватив его шею руками.

Это для него было ново, и он сначала только прислушивался к тому, как кровь, кипящей струёй пробегающая по его жилам, сладко туманила его, а потом, конечно, увлёкся и, жадно стиснув её руками, прижал к себе, задыхаясь, пытаясь что-то выговорить и без числа целуя её лицо своими жаркими и жадными губами...

В окно взглянули первые лучи солнца и наполнили комнату нежным, розовым светом.

Павел проснулся первый. В комнате было душно, ослепительно светло и тихо, только издали откуда-то доносился глухой, смутный шум. Солнце смотрело Наталье в лицо. От этого она плотно сжала веки и нахмурили брови, недовольно подняв верхнюю губу, что делало её капризной и строгой, а раскрасневшиеся щёки заставляли его думать, что она не спит, а притворяется. Её русые волосы растрепались во сне и легли вокруг всей головы лёгкими, красиво взбитыми прядями... Одно пухлое белое плечо было обнажено, и тонкие розовые ноздри вздрагивали от дыхания... Вся она как-то просвечивала на солнце и блестела.

Павел, не вставая, стал тихо приглаживать ей волосы. Она открыла глаза, сонно, но всё-таки так ласково улыбнулась ему и отвернулась от солнца.

Павел встал и оделся. Потом взял стул, осторожно, без звука подставил его к постели и, сев, снова стал смотреть на неё, прислушиваясь, как ровно она дышала.

Она казалась ему такой близкой, родной, ценной, как никогда до сей поры. Он молча улыбался и, сидя, строил планы и рисовал картины будущего, как это и надлежало счастливому любовнику, ещё не успевшему утомиться своей любовью.

Ему представлялась мастерская, которую он откроет, когда они обвенчаются.

Это – маленькая комнатка, не такая тёмная и прокопчённая, как у Мирона, а светлая, чистая, и рядом с ней будет другая, их комнатка, – тоже маленькая, только оклеенная голубыми обоями, тогда как первая – жёлтыми, с красными цветами, – это очень красиво.

Окна квартиры – непременно в сад, где они по вечерам станут пить чай и откуда летом ветер вольёт в комнату много сочного запаха зелени... Она будет стряпать, потом он научит её шить сапоги, и у них будут дети... И будет ещё много такого хорошего, тихого, любовного...

Павел встал с видом полного счастья, вздохнул, оглянулся кругом и, подойдя к столу, взял с него самовар, широко улыбнулся и пошёл его ставить на чердак. Как это хорошо он выдумал! Она проснётся, а на столе весело будет кипеть самовар, и он, сидя за ним, хозяйничать!.. Она, наверное, похвалит его...

Подождав, пока прогорела лучина, и положив углей, он, осторожно ступая, пошёл в комнату с намерением всё прибрать в ней и почувствовал себя огорчённым: она проснулась, и его предполагаемый сюрприз был расстроен. Она лежала в постели, закинув обнажённые до плеч руки за голову, и зевала самым прозаическим образом, не выразив на своём лице ничего, кроме того, что она ей знаком, близко знаком, – и всё тут.

– А я поставил самовар!.. – с некоторым сожалением произнёс он.

– Ну? А сколько бы теперь времени? – спросила она.

– Больше полдён! – ответил Павел, и ему показалось очень странным то, что они говорят о таких вещах. По его чувству следовало говорить совсем о другом; но о чём и как, едва ли сказал бы он это ясно. Он снова сел около её кровати на стул.

– Ну что, хорошо? – с улыбкой спросила она его.

– На душе? Эх, хорошо, Наташа! Вот хорошо!.. – восхитился он.

– Ну и ладно! – с усмешкой сказала Наталья. Павлу хотелось её поцеловать.

Он взял её за голову и склонился к ней.

– Ага! видно, понравилось!.. – снова усмехнулась она.

На Павла пахнуло холодом от её слов и усмешки.

– Что это ты? – недоумевая, спросил он.

– Я-то? Я ничего. Так. Что, жениться-то ещё не расхотелось тебе?

Павел слышал, что в её тоне ясно звучит подозрение и насмешка, и задумался, – что бы это значило?

Она стала одеваться, сев на постели. Лицо у неё было грустное и точно немного злое.

– Что ты какая? – робко спросил Павел.

– Какая? – не посмотрев на него, переспросила она. Но Павел не знал, какая именно. Он только чувствовал, что она не такая, как бы это было нужно по ходу дел.

Но у неё были свои причины быть именно такой, какой она была. С ней, как только она проснулась, произошёл резкий переверот. Она сразу припомнила всё, что произошло незадолго перед тем между ними, припомнила и почувствовала, что она

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
потеряла дорогого ей человека, поддавшись тому порыву, который поставил её отношения к нему в известные ей и надоевшие грязные рамки. Ей совсем не нужно было этого; ей нравилось то почтительное и дружеское отношение Павла к ней, которое было ещё несколько часов тому назад и которое теперь должно исчезнуть, казалось ей. Она твёрдо знала, чем кончатся те отношения, которые начинаются всегда одинаково, и хотя видела Павла счастливым и радостным, но не могла думать, что он долго будет таким.. Она потеряла человека!.. И она сердилась на себя за это, на сердце её было много горечи, и хотя пока ещё Павел в её глазах не пошатнулся, всё-таки часть своих чувств она переносила и на него.

Он, глядя, как она одевается, чувствовал, что его всё сильнее и сильнее обуревают желание обнимать и ласкать её, и, не имея сил, да и не считая нужным сдерживаться, обнял её. Она подчинилась ему с холодной, кривой усмешкой на губах и была холодна, но он, полный огня на двоих, не замечал этого..

Минут через десять они пили чай; она, уже умытая и причёсанная, сидела на постели, а он против неё на стуле. Он молчал, полный тихого восторга и утомлённый, а она была грустна и, посматривая на него через блюдечко с чаем, вздыхала.

Вдруг Павел заметил, что по её щекам скатываются крупные слёзы и капают в чай, который она не переставала пить. Едва ли кто-нибудь пил чай со слезами и ухитрился в то же время иметь такое спокойно-равнодушное лицо, как она, эта, кстати сказать, очень нелепая девица!

– Что ты? а? что? о чём? – быстро заговорил Павел, вскочив со стула и бросаясь к ней.

Тогда она бросила блюдечко на стол, расплескала свой чай со слезами и, уже рыдая, заговорила:

– Дура я! обворовала я самоё себя!.. Эх, за всю жизнь один раз соловья слушала, и то сама спугнула! Теперь уж дудочки!.. Шабаш, Наташка!.. Теперь уж я тебе известна!.. О!.. О!.. Дура!.. дура!..

Павел не понимал, в чём дело, и ласкал её, чем невольно подтверждал её подозрения. А она всё плакала. Наконец, он заговорил:

– Ну, полно, Наташа! Перестань. Вот женимся, заживём ах как! Мастерская своя у меня будет, и ты будешь хозяйкой, женой, как все иные бабы! а? Хорошо ведь?

Она отняла его руки, обнимавшие её шею, и сардонически, но и с надеждой, маленькой, еле слышной надеждой, заговорила:

– Сколько времени – неделю, что ли, ты так-то говорить будешь? Знаем мы вас! Э, знаем, мальчик!.. Да не про то я, не про то, не бойся! Всерьёз я этого не приму, женитьбы-то твоей. Не приму, нет! Ты думаешь, я бы согласилась и в самом деле замуж выйти? Даже и за тебя, даром, что ты хорош, не пойду. Не подолгу хорошие-то цветут! А укоров за жизнь мою я слушать не желаю. Не хочу! А ты думаешь, ты бы не стал мне напоминать, что я такая, коли б я женой-то твоей стала? Э, батюшка!.. не меньше кого другого стал бы, уж я знаю это! Нашей сестре во всём болоте ни одной твёрдой кочки нет. Не про то я... Не хочу я женитьбы твоей, а жалею я себя, дуру, за то, что вот ты мне теперь не друг-человек, – и это сама виновата. О! О!!.. дура!..

Павел усиленно старался вникнуть в смысл её речей и не мог. Но её слёзы действовали на него, и вот они родили в нём тоскливое вдохновение и страх за что-то.

– Слышь, Наталья! Ты не терзай мне душу! – сурово сдвинув брови, начал он.

– Не мучь меня словами твоими. Я их понимать не могу. Это не ко мне. Но всё дело и не в том совсем. Я вот что скажу, всё сердце перед тобой выверну – смотри! Первый ты для меня человек на всей земле. Первейший, я так чувствую! И на всё я для тебя пойду. Скажи мне: «Пашка, туши солнце!» Я влезу на крышу и буду дуть на солнце, пока не потушу или не лопну. Скажи мне: «Пашка, режь людей!..» Пойду и буду резать.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorki.umax
Скажи: «Пашка, прыгай из окна!..» Прыгну! Всё, что хошь, сделаю! Скажи: «Пашка, ноги мои целуй!..» – хошь, теперь целовать буду? хошь? Давай!..

И он на самом деле ведь бросился к её ногам, что, как известно, давно уже вышло из моды.

Наталья была поражена этим взрывом. Слушая его первые слова с недоверчивой улыбкой, она улыбнулась уже весело, когда он предложил ей потушить солнце, вздрогнула, когда он хотел в честь её резать людей, – он был страшен, весь пылая и вздрагивая, – а когда он бросился целовать её ноги, она почувствовала дикую гордость и, не сопротивляясь позволила ему делать это.

Поработить человека всегда и для всех – большое наслаждение. Она видела человека, порабощённого ею.. Но ничто человеческое не было чуждо ей, и она жалела его у своих ног. Она наклонилась, подняла его с пола за плечи, – подняла и ласкала так, как не ласкала ещё никого, и так, что, когда они, наконец, успокоились, оба были изломаны и смяты..

Но в них ещё не всё перекипело, и они решили пойти гулять за город, в поле.

Павел забыл о мастерской, о хозяине, обо всём – и шёл с ней глухими улицами, которые выбирала она нарочно, опасаясь встретить знакомых. Они вышли в поле, долго бродили там одни, ни в ком не нуждаясь и разговаривая друг с другом просто, без опасения показаться друг другу смешными или глупыми, без желания насильно навязать друг другу свои мысли и чувства, без взаимного желания заявить о всяческом превосходстве одного над другим, без всего, что необходимо присутствует в любви культурных людей и, делая её более пикантной, делает менее цельной.

Простим же моим героям их некультурность «на основании вышеизложенного», как говорят юристы!..

Наконец, они пришли к реке, сели на берег под кусты тальника, на песок, чисто вымытый волнами, и, посидев, заснули тут, крепко обняв друг друга.

Через несколько дней после происшедшего Павлу стало казаться, что все мужские ноги, мелькающие мимо окон мастерской, шагают не куда иначе, как на чердак к Наталье, и это заставляло его то и дело вскакивать с места и выбегать на двор. Хозяин смотрел на него и посмеивался себе в бороду. Он уже знал от Павла обо всём, и Павел даже привёл его на некоторое время в состояние столбняка, почтительно заявив ему о своём желании иметь в его лице посажёного отца. Мирон Савельич, когда вышел из оцепенения, сказал ему целую речь, начав её так: – Миленький дурачок! Послушай меня, я два раза был женат. Первая жена всё мешала меня с мастерами, а вторая так крепко любила, что я не знаю, как и жив остался, – чем ни попадя и когда угодно дует себе, да и ну!.. точно у ней и папаша и мамаша оба будочники были, до того она колотить людей любила.

Затем он нарисовал полную картину семейной жизни, с горшками, пелёнками, ухватами, стиркой белья, мытьём полов и массой других удобств, заставлявших его, по его описанию, в правдивости которого он клялся, есть щи с мылом, ходить на руках, ощущать на своей голове мокрые пелёнки и пробовать её крепость разных горшков. Потом он пофилософствовал на тему, что такое женщина вообще, и, придя к очень печальному выводу, наконец сказал:

– Чудачина!.. Разве их нет? Чего ж тебе эта нужна? Ведь ты погубишь свою голову с ней, пойми ты! Положим, она вон как тебя перемастерила! совсем человеком стал, и весел, и смеёшься, и разговоры говоришь.. но, душенька, ведь ты ж ей за это уже уплатил. Разве кто другой станет с ней так обращаться, как ты? Ну, и будет с неё этого, довольно будет. А ты, уж коли что, женись-ка по-христиански, я тебе т..такую ш..штучку икряную поддену, ах ты мне! Приданое дадут, мастерскую откроешь.

А с этой вся жизнь тебе в один месяц осточертеет. И как вы будете жить? Нет ничего, ни чашки, ни ложки, делать она ничего не умеет... Э-хе-хе!.. Плюнь ты на неё, каблук моей души, плюнь!

На Павла эта речь подействовала так же, как и на стены мастерской. Он с Натальей за это время сблизился до такой степени, что не только не мог допустить мысли о

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax плевке, но чувствовал, что ему, для того чтоб работать так же усердно и внимательно, как раньше, – необходимо её присутствие в мастерской.

Раз он, кончив работу, пошёл к ней и не застал её дома. Он побледнел, затрясся и сел у двери, где и просидел до её прихода. Она пришла уже после двенадцати, но трезвая и приличная, поскольку могла быть такой. Она сразу успокоила его, заявив, что была в гостях у подруги, которая обещала ей достать место горничной. Он был рад этому, поверил и забыл свои страхи. Но вскоре после этого он, думая о ней, натолкнулся на вопрос – откуда берёт она деньги? Этот вопрос обдал его холодом, и он в тот же вечер спросил у неё.

– Да много ли мне надо-то? – отвечала она ему тоже вопросом.

Но он не отступался.

– Накопила... немного, по грошам. Ну и живу...

Что-то толкнуло его спросить – показать деньги.

– Что же! Можно показать. Изволь.

Но не нашла ключа от сундука, и вопрос остался неразрешённым.

Когда Павел фантазировал о будущей совместной жизни, она молчала, мечтательно закрыв глаза, а когда он, разгорячённый своими фантазиями, ласкал её, она отвечала на его ласки холодно и раз даже заставила его задуматься и выдумать вопрос:

– Тебе, может, это не по душе?

Она поглядела на него, недоумевая, и не скоро ответила ему, тихо и как бы сама не доверяя своим словам:

– Нет... что ты! Очень даже.

Этого ему было достаточно, чтоб успокоиться.

Он приносил ей свои деньги и отдавал, как жене и хозяйке. Однажды купил ей на платье. Но она относилась к этому как-то формально-ласково. В этом отношении к его заботам о ней он почерпнул первые приступы тонкой и острой ревности. Он не понимал этого чувства ясно и умел не высказывать его пока. Но однажды случилось вот что: Они сидели и пили чай, как вдруг на лестнице послышались шаги и весёлое посвистывание, а потом пение тонким тенорком: И я ид...ду к Матане душе, И вот Матанин уголо...ок.

Павел нахмурился и посинел от предвкушения чего-то скверного.

И вот Матанин уголок.

Да...

– Ах, у вас гости!.. – разочарованно протянул певец, остановившись в дверях.

Он был франтоват, имел козлиную бородку, рыженькие, в стрелку усы и в общем – довольно мизерен. Присмотревшись к Павлу, он развязно вошёл в комнату, ещё более развязно повесил свою шляпу на гвоздь и направился к Наталье, улыбавшейся ему навстречу несколько растерянно и виновато.

– Здравсте, бож...жественная Наталья...

– Тебе чего нужно? – возгласил Павел, но не двинулся с места.

Франт посмотрел на него, шевельнул усами и хладнокровно кончил приветствие, галантно потрясая руку Наталье:

– ...Ивановна! Угостите чаешком и просветите мой ум относительно этого чумазого господина с ремешком на голове.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– Пошёл вон! – сказал чумазый господин и поднялся со стула.

– Как-с?.. Наталья Ивановна, это как понимать? – несколько обиженно справился господин у хозяйки.

– Пошёл вон!! – Павел трясся.

– Извольте-с, я пойду! – поспешно согласился посетитель и ушёл; но, спускаясь по лестнице, крикнул: – С законным браком, Наталья Ивановна! Оповещу...

Но кого он хотел оповестить, осталось неизвестным. Оставшиеся в комнате долго сидели молча.

– А скоро они перестанут шнырять? – угрюмо спросил Павел.

– Когда всех разгонишь... – спокойно сказала Наталья.

– Много ещё осталось?

– Не знаю. Не считала. Тебе чего больно не по душе они? – криво усмехнулась она, исподлобья посмотрев на Павла.

– Не могу я этого терпеть! пойми, не могу! Моя ты теперь...

– Вон как?!. Где купил? Что дал за такую? – иронизируя, спросила Наталья.

Павел замолчал и нахмурился.

– Смеёшься ты... Лучше бы не надо этого. Чай, я не вру, коли говорю это.

Моя ты, и дни и ночи, всегда теперь я про тебя только и думаю...

– Ну и ладно! На том и крест поставим! – сухо согласилась Наталья.

С некоторых пор Наталью смущало отношение Павла к её посетителям. Она полагала, что с ними не следует прерывать знакомства; среди их есть хорошие, весёлые люди. Иногда Павел ей казался не только букой, но и человеконенавистником. Она думала, что было бы очень трудно жить, если б он был постоянно рядом. У ней были вкусы, у него – другие, очень странные, чтоб не сказать – смешные. Но за всем этим – он был хороший, чистый, честный человек, любивший её, чем она гордилась, признававший в ней равную, что ей очень льстило. Он говорил с ней обо всём, что было на душе, и она могла говорить с ним так же, а это имело большую цену. Последнее время она часто думала о том, как бы это устроить, чтоб, не теряя его, возможно долее жить так, как жилось до знакомства с ним. Для неё эта жизнь, хотя и грязненькая, но весёлая, имела свою прелесть. Всё, что она получила бы от неё хорошего, она скушала бы сама, а всё дурное разделила бы пополам с ним. И она надеялась, что со временем ей удастся приручить его до такой степени. Его фантазии о женитьбе она очень любила слушать; слушая, мечтательно закрывала глаза, улыбалась и рисовала себе разные картины семейной жизни, картины весёлые, живые, увлекавшие её. Но она была настолько умна, чтоб понимать, что действительность не оправдала бы его фантазии. Она была твёрдо уверена в том, что у него скоро пройдёт это бешенство любви, которое она понимала по-своему, не очень лестно для него, а когда оно пройдёт, на неё посыплются укоры, побои и т. п.

Да и жить до самой смерти всё с одним и тем же человеком в одной комнате, дни и ночи – всё с одним, – это, должно быть, невероятно скучно! А иногда ей казалось, что она могла бы жить с ним хорошо и долго, но что ему это не нужно, что она не стоит его и не согласится выйти за него замуж, как бы он ни просил её об этом, из жалости к нему, такому хорошему и дорогому ей. Она желает ему счастья, и пусть её жизнь пойдёт так, как шла до этой поры.

Такие думы приносили ей с собой странное, сладкое чувство, ей казалось, что она чище и умней, когда думает так, и вот она, бессознательно руководясь женской страстью к кокетству, начала искусственно настраивать себя на такой минорный лад и встречала Павла такой тихой, задумчивой и как бы подавленной чем-то. Его же это настраивало на нежности, от которых он всегда переходил к фантазиям. Так развлекалась она от начинавшей заявлять о себе скуки знакомства с Павлом. Но

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
иногда она не выдерживала роли, чувствовала, что ей скучно с Павлом, срывалась – и показывала когти. Тогда как он, тяготея к ней с каждым днём всё более и более, всё чаще останавливался на желании поговорить с ней окончательно и, наконец, это желание осуществил.

Однажды вечером, гуляя по городу, они забрели в какой-то садик и, немного уставшие, сели на лавочку под густой навес акаций, уже кое-где сверкавших жёлтым листом.

– Ну, так как же, Наташа? – спросил Павел, с серьёзным видом поглядывая на неё сбоку.

– Что? – осведомилась она, помахивая себе в лицо сломанной веткой и, в сущности, догадываясь, о чём он хочет вести речь.

– Когда же, мол, мы венчаться-то?

От лучей луны, проникавших сквозь листву акаций, на Павла и Наталью легла кружевная тень, она легла и на дорожку у их ног, тихо колеблясь на противоположной им скамье. В саду было тихо, а над ним, в небе, спокойном и ясном, задумчиво таяли прозрачные, перистые облака, не скрывая своей пуховой тканью ярких звёзд, сверкавших за ними.

Всё это и утомление от прогулки настраивало Наталью на более мечтательный лад, и выдуманная ею оппозиция Павлу по вопросу о женитьбе теперь казалась ей как нельзя более правдивой и действительно чувствуемой.

– Венчаться? – покачивая головой, переспросила она. – Вот что я тебе скажу: брось ты это. Какая я тебе жена? Просто я гуляющая девка, а ты – честный, рабочий человек – и не пара мы поэтому. Я уж ведь говорила, что не могу я, поганая, быть иной.

Ей доставляло удовольствие это самоуничуждение, позволяя думать о себе как об одной из тех девушек и женщин, о которых она читала в книжках.

– А тебе, – всё более минорно продолжала она, – надо хорошую, честную жену.

Мне же уж на роду написано погибать в мерзости. Одного хотела бы я, – это видеть жизнь твою, когда она пойдёт своим порядком: жена у тебя будет... дети... мастерская...

Тогда... – дрожащим от сдерживаемых слёз голосом уже зашептала она, – я тихонько... приду... к твоему дому... и посмотрю... посмотрю, как... мой милый Паша...

И она разрыдалась. Ей на самом деле стало больно и грустно от всего сказанного.

Ей вспомнилась одна сцена из книжки: любящая и пожертвовавшая своей любовью ради «его» счастья с другой, всеми презираемая Мери Дезире, в рубище, утомлённая долгой дорогой, стоит под окном Шарля Лекомб и видит сквозь стекло, как он, сидя у ног своей жены Флоранс, читает ей книгу, а она мечтательно смотрит в пылающий камин и, одной рукой держа на коленях своё дитя, другой играет волосами Шарля. Бедная Мери пришла пешком издалека и принесла с собой доказательства своей невинности и любви, но увы! Поздно!.. и она замёрзла под окном своего возлюбленного... дальнейшая судьба которого осталась Наталье неизвестной, ибо в книжке были вырваны последние страницы. Когда эта картина встала пред глазами Натальи, она разрыдалась ещё горше и сильнее.

Павел весь дрожал от сострадания и любви, от беспомощности и горя, – дрожал и, крепко прижимая её к себе, сам со слезами, кипевшими в горле, глухо говорил:

– Наташа!.. Наташа!.. полно, перестань!.. люблю... не отдам... ведь... – и ещё какие-то слова.

Когда, наконец, она немного успокоилась, то он, взволнованный и восторженный её любовью и благородством, которое ему инстинктивно было понятно, заговорил торжественно и сильно:

– Слушай! ты – мой человек! мой человек ты потому, что я о тебе думаю и дни и

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
ночи и что у меня, кроме тебя, нет ни души! И никого мне не надо. Никого.

А тебя я возьму себе, хоть ты что хочешь говори! Пойми это, пойми! Никому я не могу тебя уступить, потому что без тебя мне не житьё. Как я буду жить без тебя, коли я только о тебе и думаю! Мой ты человек! Я за тебя сердце отдам! Поняла? И не толкуй больше.

Но она толковала. Она унижалась перед ним и в то же время чувствовала себя всё выше. Громадное, сладкое чувство наполняло всю её по мере того, как она обливала сама себя грязью своих признаний, и, становясь всё откровенней, циничней, дошла до того, что сказала ему, наконец:

– Ты думаешь, за это время я чиста была?.. Бедненький! Каждый день...

Но она не договорила. Павел выпрямился перед ней, положил ей руки на плечи и, трясая её, глухо прошептал:

– Молчи!.. молчи!.. убью!

Затем раздался яростный скрип зубов.

Согнутая его руками, давившими ей плечи, Наталья почувствовала, что пересолила, и её обуял страх. Павел видел, что она дрожит, и жалость к ней немного охладила пыл его ревности, хотя и не уменьшила нанесённое ему оскорбление. Он тяжело опустился рядом с ней. Наступило тяжёлое молчание, продолжавшееся томительно долго. Наталья, всё ещё испуганная, прервала его первая, тихо прошептав:

– Пойдём домой.

Он встал и молча пошёл рядом с ней.

– Не любишь ты меня, коли можешь говорить мне такие слова. Жалости в них нет. Скрывать должна была это. Да!.. – сказал он ей, приведя свои мысли в порядок.

Она глубоко вздохнула, и на её лице отразилось искреннее раскаяние.

– Ну да ладно. Вперёд – помолчи. А разговор наш кончен. Деньги у меня есть – сорок два рубля, да за хозяином – девятнадцать. На свадьбу да на первое время жить хватит. Есть у тебя платье... такое, в котором можно бы в церковь войти... которое ты не надевала ещё... ни разу?..

– Нет! – тихо сказала она.

– Ну... надо сшить. Завтра я тебе куплю.

Она промолчала. Когда они пришли домой, он оставил её у лестницы, тихо сказав:

– Не пойду я сегодня к тебе.

– Хорошо! – кивнула она головой и взбежала по лестнице вверх.

Он послушал, как загредел замок там вверху, и пошел снова на улицу. Он чувствовал себя глубоко обиженным её признанием, и ему казалось, что вся улица дышит на него странным холодом, возрождающим в его груди давно забытые чувства, – одиночество, тоску и его старые думы, которые теперь были почему-то тяжелей и непонятней ему, принося с собой что-то новое, чего прежде в них не было.

А она, войдя в свою комнатку, заперла за собой дверь на крючок, села, не раздеваясь, к открытому окну и облегчённо вздохнула «ф...фу!..», а потом, подперши ладонью щёку, стала смотреть в окно.

Собирались тучи. Они вползали на небо, поднимаясь из густой тьмы, закрывавшей горизонт тяжёлой бархатной завесой. Двигались они так медленно, точно делали это по обязанности, давно уже надоевшей им. Охватывая собой небо, они гасили звёзды одну за другой и, точно жалея о том, что портят небо, стужёвывая собой его украшения и скрывая от земли его мягкий, умиротворяющий блеск, – плакали частыми, крупными каплями дождя. Дождь гулко стучал о железо крыши, и эти звуки казались предупреждающими о чём-то землю сигналами туч.

Наталья, как и Павел, тоже чувствовала себя обиженной и порабощённой, как никогда.

«А, вот ты какой! тоже, как и все, – сегодня любя, а завтра – в зубы. Ну, голубчик, шалишь!.. погодишь!..» – думала она.

Ей вспомнилось его искажённое злобой лицо, его шёпот и скрип зубов... «Молчи!.. убью!..» За что? За то, что она была с ним так откровенна и сказала ему всю правду?

Благородно!.. а ещё друг!.. а ещё любит!.. До сей поры ей никто не обещал убить её, а когда её били, то били просто так, без всякого предупреждения и почти всегда под пьяную руку. Но те господа и он – это разница большая!.. И ей снова стали рисоваться картины жизни с Павлом, последовательно – день за днём, и полно – с утра до вечера, со всеми деталями. Вот они проснулись – рано утром. Ей ещё хочется спать, но нужно ставить самовар, ему пора работать; нужно топить печь и стряпать, коли есть чего стряпать; нужно убрать комнату, потом – накрыть на стол... Обедать, мыть посуду, мести пол, что-нибудь шить себе или ему, снова ставить самовар... и вечер.

Ну, положим, пойдут они гулять вдвоём, коли есть свободное время. Гулять с ним очень скучно. К ним в гости едва ли кто будет ходить – он такой бука и чёрт!..

Придут с прогулки – ужинать и спать. Вот один день. А как работы у него не будет?

А как он начнёт её сначала корить её прошлой жизнью, а потом колотить?.. И, наверное, он будет ревновать её ко всем, с двенадцатилетнего мальчишки до семидесятилетнего старика. А о чём она будет говорить с ним? Он ведь глупее её и неграмотный; она любит читать книжки, где она тогда возьмёт книжек?.. И чем дальше она думала, тем тошней и скучней представлялась ей жизнь с Павлом.

«За что же я ему продам себя?» – поставила она вопрос и быстро нашла, что ему нечем заплатить ей за неё. Тогда она стала вспоминать, что её к нему привязывает и чем она ему обязана. Она с удовольствием открыла, что обязан он ей, а не она ему, и что вся её привязанность к нему основана на том, что он жалкий, одинокий...

«Так что же теперь?!..» Тут она вздохнула, легко и свободно, и укоризненно и громко сказала:

– Ах ты, рябой чёрт! а?.. погоди, я тебе покажу! я тебе докажу, кто я такая!.. ты не поскрипишь у меня больше!.. Ты думаешь, я твоя рабыня? Ну, это дудочки!..

Это, миленький мой, игрушки!..

Вскочив с места, она накинула на себя платок, ещё что-то и быстро вышла из комнаты, не заперев её и несмотря на то, что дождь уже шумел на улице, монотонно колотя по железу крыш, по панелям и в стёкла окон... Она торопилась доказать Павлу, кто она такая, и была полна злобой удали и сознания своей независимости.

Два дня её не было. Павел, как только вошёл поутру первого дня в её комнату, так сразу почувствовал, что совершилось нечто новое и для него далеко не приятное.

Он ждал её весь день, а ночью ходил по городу, заглядывая во все портерные и трактиры; но её нигде не было. Он стиснул зубы, нахмурился, сгорбился и молчал весь день.

Тупая боль и предчувствие чего-то тяжёлого, несчастного давили, и понемногу в нём нарастала злоба против Натальи. На третий день он похудел и осунулся, точно после болезни.

В этот день вечером мимо окон мастерской к воротам подкатили две пролётки.

Павел услышал её смех и, побледнев, бросился на двор.

Она шла под руку с выцветшим человеком в форме военного писаря; у него и усы, и лицо, и мундир – всё как-то слиняло, а она была навеселе, покачивалась, что-то

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
пела и смеялась. За ними шла ещё пара: тоненькая чёрная девица с пожилым
человеком, похожим ни повара.

Павел смотрел из сеней в щель между досками и чувствовал, что в нём всё кипит, что он сейчас задохнётся от злобы; но, когда они скрылись на лестнице, он как-то сразу успокоился и впал в холодное, неподвижное отчаяние. Он сел в сенях на пол и, прижавшись головой к кадке с водой, оцепенел. Ему казалось, что он слышит смех и говор, доносящийся до него с чердака... и перед глазами его в разных позах мелькала Наталья, оживлённая, громко и весело смеющаяся, какой она никогда не была с ним.

«Почему она не была такой со мной?» – вдруг родился у него вопрос. Он скоро и правдиво ответил себе на него: с ним, Павлом, нельзя ей быть такой; он неуклюж, глуп и скучен. Это сознание увеличило его тоску. Значит, он теряет её по своей воле!..

Он теряет её!.. теряет... и остаётся снова такой же, какой был прежде, до встречи с ней, – одинокий, молчаливый... никому не нужный, смешной подкидыш... И, как всегда это бывает, когда женщину любят и теряют, – Паньке ярко вспоминалось всё хорошее в Наталье, и, подавляя собой всё дурное в ней, воображение, наконец, нарисовало ему её такой чистой, ласковой, доброй и необходимо нужной ему, – что его тоска усилилась до какого-то удушья.

И вдруг он вскочил, улыбнулся и с видом крайней решимости бросился через двор к ней на чердак. Он шагал по лестнице, а навстречу ему лился клокочущий, весёлый шум.

Он в дверях. Наталья, возбуждённая, покрасневшая, удало подбоченясь одной рукой и подняв другую, с платком в ней, сверху, очевидно, приготовилась танцевать...

Всё остальное было в тумане, одна Наталья только была ярка, красива и жива...

– Здравствуйте, Наталья Ивановна! – дрожащим голосом, но весело крикнул Павел.

– Ах!.. Это... ты!.. – раздалось тихое восклицание, немного испуганное и дрожащее.

Потом всё стало мёртво и тихо... и всё колыхалось и плыло куда-то... Только Наталья стояла неподвижно и смотрела своими большими голубыми глазами, такими хорошими и светлыми.

– Да... вот я пришёл... к вам... повеселиться. Весело у вас тут... слышу – смеются... дай пойду!.. – растерянно говорил Павел и чувствовал в своей груди какие-то толчки, двигавшие его вперёд. Один из этих толчков был так силен, что сбросил его с порога, где он стоял, прямо к ногам Натальи.

– Наташа! Наташа!.. Я пришёл... выгони их всех вон! Прости меня!.. не могу я жить без тебя, не могу!.. Не могу я! Как же это? Один... невозможно одному! Я же тебя люблю! ведь люблю!.. ведь уж я говорил, что люблю!.. Ведь ты мой человек... на что тебе они?.. Дни и ночи... дни и ночи всё о тебе об одной... все думы... я буду весел... буду весёлый. Смеяться буду и много говорить тоже...

Он обнял её, ткнул свою голову в её колена и бормотал свои слова глухо, просительно и так потрясающе жалко, что сначала подавил всех своим появлением.

Наталья была испугана. Она прислонилась спиной к стене и с побледневшим, искажённым лицом схватила его за голову и пыталась оттолкнуть от себя коленями и руками, но он точно замер, вцепившись в неё, а она беспомощно шевелила синими губами и не могла ничего выговорить...

Но вот в комнате послышалось слабое хихиканье. Это засмеялась чёрненькая девица; её смех подхватили писарь и человек, похожий на повара. Наталья недоумевающе обвела их глазами, взглянула на Павла – и расхохоталась сама. Вся комнатка на чердаке тряслась от громкого, здорового хохота четверых людей.

Изумлённый, раздавленный этим хохотом, Павел сел на пол и смотрел куда-то в угол тупыми, безумными глазами. Он был действительно очень смешон. Его лицо, мокрое от слёз, остановившихся в рябинах, было жалко, растерянно, и всклокоченные

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
волосы, выбившись из-за сдерживавшего их ремня, образовали из себя какую-то фантастическую, клоунскую причёску; тупые глаза, глупо раскрытый рот, рубашка, выбившаяся из-за фартука, и, наконец, какая-то грязная, мокрая тряпка, прицепившаяся к опорку на его ноге, – всё это не могло сделать его трагичными внушающим сострадание. Четыре разнообразно изогнутые от смеха фигуры и он, растерянно, молча и неподвижно сидевший на полу... Кто-то пролил пиво, и по полу потекла тонкая струйка, направляясь к Павлу...

Чёрная девица, в припадке восторга, бросила чью-то женскую шляпу, и она, пролетев через голову Павла, упала к нему на колени... Он взял её в руки и растерянно стал рассматривать.

Это разожгло смех ещё более. Смеющиеся охали, визжали, стонали... Павел встал на ноги... так он был ещё смешнее. Он был смешон и тогда, когда, шатаясь, пошёл к двери, а в двери обернулся и, вытянув по направлению к Наталье руку со шляпкой, бросил шляпку на пол и сквозь зубы сказал:

– П...помни же!.. – и ушёл.

Его провожал неумолкавший хохот.

– Вот так герой!.. – кричал кто-то плачущим от смеха голосом. – Охо-хо!.. ха!.. ха!.. ха!.. Ах, чёрт его побери, ха!.. ха!.. ха!.. Нет, тряпка-то!.. ха!.. ха!.. ха!.. как хвост!.. ой, не могу-у!.. О, ха!.. ха!.. ха!.. волосы-то... ха!.. ха!.. ха!.. на голове... как венец, ха!.. ха!.. ха!.. Ой, чтоб ему... л...лопнуть!.. ха!.. ха!.. ха!..

А на дворе стучал дождь неумолкающей, скучной дробью... Была уже осень...

Целые три дня шёл этот дождь, сбивая последние жёлтые листья с чёрных, намокших ветвей деревьев. С унылой покорностью судьбе деревья качали своими вершинами под злыми ударами холодного ветра, который с гневом и тоской метался по земле, точно отыскивая что-то дорогое ему. Упорный, настойчивый дождь и неустанно завывавший ветер создавали вдвоём то прекрасный реквием умершему лету, то необычайно визгливую здравицу воскресающей зиме. Плотные, скучно серые тучи так крепко окутали небо, точно не хотели уже больше развернуться и показать его измокшей, иззябшей земле... В программу четвёртого дня вошёл снег, носившийся тяжёлыми, мокрыми хлопьями над городом по ветру, всё ещё искавшему чего-то и бешено метавшемуся всюду, налепляя снег на стены и крыши домов белыми пятнами.

Вечером этого дня Павел перешёл двор походкой человека, свободного от занятий и дорожащего чистотой своих сапог, – перешёл и, поднявшись на лестницу, задумчиво стал у двери в комнату Натальи. Одет он был по-праздничному – чисто, лицо у него было покойно; но оно страшно похудело и осунулось. Подумав немного, он постучал в дверь и, переступив с ноги на ногу, стал дожидаться, когда ему отворят, еле слышно насвистывая сквозь зубы.

– Кто это? – спросили из-за двери.

– Это я, Наталья Ивановна! – ровно и громко ответил Павел.

– А!.. – послышалось за дверью, и ему отворили.

– Здравствуйте! – сняв фуражку, поздоровался Павел.

– Здравствуй, чудачина! Ну что, прошло с тобой? Ах, насмешил же ты нас тогда!

Ну и пришёл!.. точно тобой полы мыли. Что бы вот так же одеться, как сейчас!

– Не догадался я об этом, простите! – усмехнулся Павел, не глядя в лицо собеседнице.

– Чай пить будешь? подогрею самовар.

– Нет, благодарствуйте! попил уж я.

Тут Наталья заметила, что Павел изменил местоимение, и спросила его:

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiуmax
– Что это за благодородство такое новое? На «вы» стал говорить.

При этом она несколько презрительно усмехнулась. Теперь он в её глазах уже не отличался ничем особенным от других людей. После того, как он валялся при людях у неё в ногах, цена ему очень пала. Бывало, её били более или менее жестоко за измену, и она от него ждала того же; но он оказался несколько иным, и, по её мнению, эта разница между ним и другими не клонилась в его пользу. Бьют – это значит любят, и когда истинно любят, то не только бьют, убивают, – идут на всё. А он свалился при людях в ноги и плакал, как баба!.. Это не по-мужски, не по-человечески... Нужно не вымалывать, не выплакивать, а добыть, завоевать женщину, тогда она будет твоей. Да и то не совсем...

Павел вздохнул и заговорил:

– Да ведь мы с вами не родня. Дружба между нами была, да она уж лопнула...

Чего ж!..

Наталья изумилась, но не показала вида. «Значит, он прощаться, видно, пришёл!..» Она села на кровать близко к нему и молча ждала, что он скажет ещё.

– Темновато здесь, Наталья Ивановна. Лампочку бы зажечь...

– Можно! – И она зажгла лампу.

Он заговорил снова, вдумчиво поглядывая на неё:

– В последний раз говорю я с вами, Наталья Ивановна. Да, уж больше нам не придётся говорить!..

– Что так? – спросила она, опуская глаза.

Она не знала, как с ним держаться, и выжидала время, когда ей представится возможность взять верный тон. Она находила, что он очень похудел за это время, и её немного удивляло его задумчивое спокойствие.

– Что так говорите вы?

– Да так уж, пришла пора. Подумал я, подумал и решил: надо всё это кончить.

Чего же? ведь нечего мне от вас ждать!?! – Он пытливо посмотрел в её лицо.

Ей стало жалко сначала прошлого, а потом и его самого. Она видела, что, в сущности, он печален и убит, несмотря на своё спокойствие, а она была всё-таки женщина и, как женщина, не могла не жалеть, раз видела перед собой несчастного.

– То есть, как это вы?.. – начала она, подымаясь к нему. – Я ведь всегда согласна...

– Э, не надо! – махнул он рукой. – Конеч. Дело решённое. Да вы и правы: по совести сказать, ничего бы у нас с вами не вышло. Какой я муж? Какая вы жена?

Вот в чём суть...

Он помолчал. Она никак не могла понять, куда он клонит... А в окна мягко стучал мокрый снег, точно хотел что-то предупредить и напомнить...

– Да... Это действительно... плохо бы было... – тихонько прошептала она и почувствовала, что ей становится всё более жалко и его и ещё чего-то...

– Ну, так вот!.. Но оставить я вас так не могу. Невозможно это мне. Носил я вас в моей душе такое долгое время... и много для меня значило... Опять скажу, первым человеком вы мне были. Первейшим. С первой вами я жизнь понимать настояще стал. Очень много вы для меня значили, и не было вам цены. Прямо говорю, в душе вы моей жили!..

У него начал вздрагивать голос, а она чувствовала, что по её щекам потекли слёзы и, почему-то не желая, чтобы он видел это, повернулась к нему боком.

– В душе вы моей жили!.. – ещё раз произнёс он. – Так неужели я могу отдать вас опять на растерзание?!. на поругание?!. на скверну?!. Никогда! Невозможно мне это! Чтобы человека, которого я люблю всем сердцем... который мне дороже всего... такого чтобы человека да другие поносили?! Этого не будет! Не могу я так, Наталья Ивановна, не могу!..

Он говорил это, как-то весь согнувшись и стараясь не смотреть на неё, и в его тоне, кроме горячего убеждения, звучало ещё что-то, просительное и извиняющееся...

Левая его рука лежала на колене, а правую он держал в кармане поддёвки.

– Так как же? – тихо спросила она, едва удерживаясь от рыданий и всё ещё не глядя на него.

– А вот так!..

Павел вынул из кармана длинный нож и ткнул его ей в бок, ровно и твёрдо вытянув руку.

– Ой!.. – слабо крикнула она, повернулась к нему лицом и повалилась с кровати прямо на него.

Он принял её на руки, положил на кровать, оправил на ней платье и посмотрел ей в лицо. На нём застыло удивление, брови были подняты, глаза, теперь уже тусклые, широко раскрылись, и рот был тоже полуоткрыт... щёки были мокры от слёз...

Натянутые нервы Павла не выдержали больше. Он глухо застонал и стал целовать её горячими, жадными поцелуями, рыдая и дрожа, как в лихорадке. А она уже была холодна.

В стёкла окна стучал снег, и в трубе выл ветер холодно и дико. Темно было и на дворе, и в комнате... Лицо Натальи казалось просто белым пятном. Павел замер, склонясь над ней, и в этом положении его нашли к вечеру другого дня. Никто в продолжение почти суток не мешал им: одной – лежать на постели с ножом в левом боку, а другому – плакать, положив на её грудь свою голову, в то время как за окном ему громко вторил осенний ветер, холодный и сырой...

Была уже весна, когда над Павлом Арефьевым Гиблым совершали великий акт человеческого правосудия.

В окна залы заседания весело смотрело молодое весеннее солнце, жестоко накаливая гладко отшлифованные лысины двух господ присяжных, отчего те чувствовали сильную склонность ко сну и, чтоб не дать заметить этого товарищам, публике и суду, принуждены были наклониться вперёд и вытянуть шеи. Это придавало им вид людей, увлечённых процессом.

Один из членов путешествовал глазами по физиономиям публики и, очевидно, не находя среди них ни одной умной, печально помахивал головой; другой крутил ус и внимательно смотрел, как секретарь чинит карандаш.

Председатель только что произнёс:

– На основании... ввиду полного сознания подсудимого... полагаю допрос свидетелей... – и, обращаясь к прокурору, спросил: – Вы ничего не имеете?..

Добродушный господин с таракаными усами любезно улыбнулся председателю и откровенно ответил:

– Ничего-с!

– Господин защитник! Вы ничего не имеете?..

Защитник был искренен не менее прокурора и тоже громко сознался в полном неимении чего-либо, что, впрочем, было ясно начертано на его физиономии.

– Подсудимый! Не имеете ли вы сказать что-либо в своё оправдание?

Подсудимый тоже ничего не имел... Он был туп и производил на всех очень неприятное впечатление своим рябым и неподвижным лицом.

Но все трое – и прокурор, и защитник, и подсудимый, – как оказалось, надули публику, единогласно заявив, что они ничего не имеют.

Прокурор имел удивительную способность придавать своему лицу свирепое выражение голодного бульдога и сильную склонность к аффектации и застрачиванию присяжных тем, что если они отнесутся к подсудимому снисходительно, то он их перережет.

Защитник имел привычку во время речи протестующе сморкаться, патетически ерошить волосы и злоупотреблять жалкими словами. Он красноречиво, внушительно, протестующе и громко воскликнул:

– Господа присяжные заседатели!.. – и, вложив в это восклицание весь свой пафос и всё красноречие, бессовестно ограбил сам себя, ибо весь остаток речи вышел у него бледным, бездушным и ничего не сказавшим сердцам господ присяжных заседателей.

И подсудимый всё время имел тайную мысль, которую и объявил во всеулышание после того, как ему сообщили, что его отправят на двенадцать лет в каторжные работы.

– Покорно благодарю! – поклонился он председателю и просительно проговорил с увлажненными глазами: – Ваше превосходительство! Нельзя ли мне к ней на могилу?

– Что-с?! – строго спросил председатель.

– К ней на могилу сходить!.. – робко повторил осуждённый.

– Нельзя-с! – крикнул председатель и мелкими шажками умчался куда-то в угол коридора.

И двое солдат увели преступника тем же порядком, каким всегда уводят из суда преступников... Вот и весь роман.

Об одном поэте

Был поэт, который умер от нужды, не написав ни одной строчки и поэтому не успев запятнать своей чистой души ни тайным, ни явным презрением к людям, ни поклонением самому себе, ни жадным желанием славы и ничем из того, что вытравливает из душ поэтов то божественное, которое даёт им право на внимание людей.

Был такой поэт однажды, поверьте мне, он был, – и я хочу рассказать о том, что помешало ему жить и сделаться известным вам.

Он жил на чердаке в кривой и грязной улице, крайней улице большого города, и из его окна весь город был виден ему, неуклюжий, шероховатый, в ясные, солнечные дни казавшийся сверху разжиревшей черепахой, шумной и грязной, радующейся тому, что с неба так много падает на её спину солнца.

Он не любил этого города, хотя и жалел его. У него была своя страна, где он настроил иных городов и заселил их людьми иными, чем в этом и во всех других городах земли... Это была беспредельная страна фантазии, где так легко можно заплутаться и где ещё легче потерять силу сердца и ума.

Как большинство поэтов, в молодости мой поэт полагал, что этот город, развернувшийся у его ног, живёт не той жизнью, которой нужно жить, чтоб быть достойным счастья, и, полагая так, он считал себя призванным указать истинные пути к счастью, осветив тьму жизни лучами своего вдохновения и смыв с сердец людей копоть низменных желаний соком нервов своих...

Тихими ночами он сидел у окна и, вслушиваясь в глухой шум борьбы за право жить, долетавший из города до его ушей и уплывавший в кроткое небо, задумчиво раскинувшее свой бархатный полог, расшитый золотыми узорами звёзд, над землёй, утомлённой бешеной нервностью истекшего дня, – вслушиваясь, он грустно качал головой, потому что сух был этот шум и не слышно было в нём кротких нот,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax ласкающих сердце надеждой на лучшее будущее.

И тогда он брал перо и писал, изливая на бумагу свою любовь и своё негодование, свои укоры и свои похвалы, всё то, чем полно было его сердце... Но всякий раз, как иссякало вдохновение и он читал только что созданное, – глубокая скорбь проникала в его сердце, в то сердце, которое ещё так недавно было полно страстного желания делать жизнь. То, что было написано тут, на бумаге, было очень мало похоже на то, что кипело в душе; вместо могучих мыслей явились холодные, всем знакомые слова, их уже не раз слышали люди, и вместо новых идей – старые туманные фразы и намёки...

И тогда он плакал и негодовал, роптал и вновь принимался писать, тихо смеясь над тем, кто первый назвал муки творчества сладкими муками.

Так он жил, мой поэт, до поры, пока с ним не произошло то, о чём я хочу рассказать.

Однажды в лунную ночь, когда он, полный жажды новых слов, сидел у окна и смотрел на город, уснувший внизу, и в небо над ним, пышно горевшее живыми лучами трепетно сверкавших звёзд, и весёлых, и задумчивых, – в эту ночь пред его утомлёнными созерцанием глазами мелькнуло нечто прозрачное, как тень, и неуловимое, как сон, мелькнуло, – и голос, который слышало только его сердце, сказал ему тихо, но звучно: «Слушай!»

Он не смутился, ибо и раньше с ним говорили тайные голоса, – он не смутился и слушал всем существом своим:

– Мы музы, здесь нас три, и с нами прилетели миллионы слов, нужных тебе...

Я – первая из всех. Мои слова холодны и красивы, как куски мрамора; это из моих слов создаются вечные творения, которыми могут наслаждаться только избранные умы и сердца. Ты знаешь, только избранным и чистым сердцам доступно полное понимание прекрасного, того прекрасного, которое всегда так чарующе печально. Оно печально оттого, что одиноко и сознаёт своё бессилие смягчить и окрасить собою жизнь в цвета нежные, яркие, возбуждающие радость.

Мои слова холодны, как солнечные лучи зимой; их редко брали у меня, но из них создавали только великие творения. Те, что создавали, уже умерли, и воздвигнутые им памятники скоро развалятся под ударами времени, но ты видишь жизнь и знаешь людей, ты знаешь и то, что всё осталось тем же, чем было, когда пел великий Вольфганг и раньше его. Я должна тебе напомнить это, ибо я правдива и для меня нет ни печали, ни радости, ни добра, ни зла, – я служу красоте, и она есть высшая правда, та, которую не разрушат ни века, ни тысячелетия. Хочешь ты взять мои прекрасные слова твоим сердцем и меня в подруги себе?

– Зачем? – с грустью ответил мой поэт. – Зачем, когда они и ты так мало влияли на жизнь? Я люблю людей и мои мечты, я хочу счастья всех, я хочу, чтоб жизнь была так же красива и жива, как прибой морских волн в ясный солнечный день, и чтоб она звучала так же легко и музыкально. Я хочу научить людей желать одного только счастья – счастья уважать себя за чистоту и величие своих дум и поступков.

Можешь ты помочь мне в этом?

– Жизнь – как река, но источники её мутны, ибо они вытекают из земли и по земле льются их воды. Ты хочешь очистить источники жизни? Перенеси их в небеса.

Я же служу красоте и знаю, что часто зло бывает красивее добра. И я думаю, что, если бы доброе было так же сильно и так же распространённо, как злое, – последнее было бы предметом твоего желания. Пошло и скучно всё то, чего много. И то, что побеждает, всегда портится и гибнет от гордости, от утомления битвой и от пресыщения победой.

Смотри на солнце, – оно вечно молодо и ярко светит всюду, куда проникают его лучи, и для него нет ни зла, ни добра... Это называется быть объективным, и в этом высшая справедливость, возможная на земле.

Но тут мой поэт сказал, негодуя:

– И в этом нет души. Довольно мыслить, нужно снова научиться чувствовать!

Ибо в жизни нет цельных чувств, как нет ничего цельного. Всё разбито и расшатано могучими ударами ума, и слишком много яда подлила в чашу жизни острая, как игла, и глубокая, как змея, мысль человека. Смотри, какие великие умы есть в жизни, но где – укажи мне – великие души? И жажда жизни исчезает. Как коралловые рифы в море, возвышаются среди жизни иные люди, она же кипит вокруг них и разбивает о их твёрдость тех из пловцов, которые жаждут пристать к чему-либо. Все люди хотят одного – счастья, но они ищут его в разных местах... И нужно открыть им глаза и показать путь к истинному счастью..

– Хорошо, я ухожу! – сказала первая муза, и раздался холодный и звучный, как звон золота, смех.

– Вот я вторая к твоим услугам, и ты, наверное, возьмёшь меня. Мои слова просты, легки, ласковы и так же красивы, как и её. Я сожалею. Я ободряю. Иногда мои слова остры, как иглы из золота, и, вонзаясь в сердце, заставляют его болеть тоской. Я ими вызову слёзы и счастливый смех, – ими я напоминаю о лучшем в жизни.

Они звучат, как тёплая музыка морских волн в тихую южную ночь, полную мягких теней, ласкающих глаз, полную грёз, сладко волнующих душу... Тихий, мечтательный свет лунных лучей, шелест листвы, пение птиц – всё это нужно для жизни. И скорбь, и боль, и все желания твои ты перельёшь в слова..

– Но люди забыли своё призвание быть великими; ты напомнишь о нём, ты разбудишь жажду подвига? – сказал мой поэт. – Смоет ли твой лиризм копоть взаимного недоверия с сердец людей? Смоет ли он ржавчину эгоизма с их душ, очерствелых в бою за право жить?

– Видишь ли, – сказала муза, – я смягчаю и заставляю мечтать о лучшем, чем то, что есть.

– Мечтать – это не значит жить. Нужны подвиги, подвиги! Нужны такие слова, которые бы звучали, как колокол набата, тревожили всё и, сотрясая, толкали вперёд.

Пусть будет ясное сознание ошибок и стыд за прошлое. Пусть отвращение к настоящему будет беспокойной, острой болью и жажда будущего – страстным мучением.

– Ты не знаешь, чего хочешь. Буди любовь, вот всё, что нужно, – сказала муза.

– Ах, полюбить – ещё не значит помочь! Мало любить и смягчать; нужно ненавидеть и быть твёрдым. Всё дело в том, чтобы, не забывая себя, помнить о других и, не унижаясь, возвышаться.

– Я помогу тебе, я! – сказала третья муза. – Мои слова – как бичи и иглы терновника. Ничто так не двинет людей, как удары. О поверь, оскорбления они скорее поймут, чем ласки, они так изощряются, оскорбляя самих себя и друг друга!.. Но они, эти люди, имеют способность привыкать ко всему, и тот, кто любит их, не должен забывать об этом. Для того, чтоб двигать людьми, нужно превзойти их во всём. И нужно быть холодным, как снег, и равнодушным, как камень, чтоб миновать их и не тронуться их стенами. А также не нужно позволять им заметить твою любовь к ним, ибо они сочтут её за слабость и, уверенные в ней, не будут бояться тебя.

– Это страшно! – сказал мой поэт. У него было нежное сердце.

– Это так. Ты знаешь, ещё в детстве мир услышал в первый раз проповедь добра; он слышит её до сей поры и всё-таки остался, как и в детстве. Он колеблется, он всё колеблется, – и не хуже ли он нынче, чем вчера? Попробуем же ещё раз прогнать его сквозь строй огненных упреков и ядовитых укулов совести. Попробуем, – хотя трудно быть более сильным, чем Джонатан Свифт.

Тут муза замолчала, а мой поэт задумался. Он почти понял, чем нужно быть, чтоб решиться поучать людей, и ужаснулся той ответственности пред самим собой,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax которую налагает эта роль. Он вспомнил, что нет виноватых и нет правых, есть только люди, которым хочется жить... И он всё глубже опускался в бездну сомнений, думая о том, как много нужно иметь, чтоб быть живым и справедливым, и как много нужно дать жизни, чтоб, умирая, иметь право сказать: я был справедлив, несмотря на то, что действовал.

И, пока он думал обо всём этом, ему вдруг послышался шёпот, и это шептали слова:

– Мы просим тебя, как честного и чистого, не насилуй нас! Не слагай из нас гимнов идолам и не отуманивай нами идеалов! Не делай нас двусмысленными, как делают многие из робости, другие из цинизма, третьи потому, что они низки душой. Нужно знать душу каждого из нас, и тогда только мы будем во тьме как звёзды и факелы.

И не злоупотребляй нами, не злоупотребляй нами!..

Мой поэт слышал всё это, и ему казалось, что вот его сердце разорвётся от тоски.

Когда же всё умолкло, он долго ещё прислушивался к тишине. И ему стало ясно, что, чем бы он ни был, он не будет справедлив, что ответственность пред самим собой за ошибки по отношению к людям не по силам ему, что никакое деяние не пропадает бесследно в жизни, люди же истомились от ошибок, и что ложное учение или совет рождает несчастье. А несчастий в жизни так много, что вся жизнь стала походить на одно сплошное несчастье.

И тогда он сломал свои перья и сжёг бумагу. Я повторяю – он сломал свои перья и сжёг бумагу. А потом умер от тоски и отчаяния, полный сознания своего бессилия, полный боли за людей и любви к ним. В сущности же он умер оттого, что был не по-человечески честен.

Теперь, когда я рассказал всё это, я должен сознаться, что ничего подобного не было.

А если бы было это или что-либо подобное этому, то тогда в жизни было бы меньше необдуманных теорий, незаслуженных упреков, туманных рассуждений и всего того, чего так много теперь, когда каждый думает, что, умея говорить, он может учить и советовать, указывать и упрекать, и, думая так, засоряет жизнь. А жизнь засорена и без его помощи. Он же, если он хочет очистить её от хлама, – прежде всего пусть очистит свою душу от честолюбия, пусть очистит свой ум от зависимости времени, которое зыблется и исчезает, тогда как идеалы незыблемы и вечны, пусть сознаёт себя и свой путь и только тогда уже пусть осмелится сказать своё слово. Оно должно быть кратко, просто, искренно и горячо, как огонь.

В жизни так много учителей, а учащихся мало, учений много, а истина?

Кто знает, где и в чём истина?

Лучше, поборов торопливое и не всегда чистое желание быть учителем, молча умереть, чем увеличить ложь жизни и умножить ошибки людей.

Вот и всё...

Два босяка
очерк

В первый раз я их увидел в Севастополе. Из группы, человек в двадцать, «голодающих из России», явившихся к подрядчику-землекопу проситься на работы по выемке земли для какой-то канавы, резко выделялись две высокие худые фигуры, в которых с первого взгляда можно было узнать босяков и по костюмам, и по рисовке, и по той бесшабашной независимости, с которой они держались среди пришибленных голодающих, скучившихся на дворе подрядчика, сидевшего на резном крыльчике своего весёленького домика, кругом обсаженного тополями.

Сняв шапки, голодающие стояли понуро, говорили тихо и просительно, и из каждой складки их рваных армяков сияло печальное сознание беспомощности и той угнетённости духа, которая, подавляя человека, делает его каким-то деревянным автоматом, в одну секунду готовым подчиниться чужой воле.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
С подрядчиком говорил низенький чернородый мужик с жёлтым лицом и живыми, но подёрнутыми дымкой печали глазами.

Углы рта у него были опущены книзу, и к ним от переносья легли те две резкие морщины, которые придают такое характерное страдальческое и измождённое выражение ликам святых на иконах русской школы. Говорил он медленно и округлённо:

– Будь благодетелем, господин, возьми! Мы за всякую цену согласны, нам бы на кусок только, потому как больно уж мы ослабли животами!

Сзади его раздавались вздохи. Подрядчик, сырой и толстый человек средних лет, с болезненным лицом и серыми сощуренными глазами, задумчиво барабанил пальцами по своему животу и разглядывал артель.

– Возьми, сделай милость. Мы те в ножки поклонимся!.. – И мужик стал опускаться книзу.

– Ну, ну! Не надо, – сказал подрядчик, махнув рукой. – Ладно, беру. Всех беру. Полтина в день, харчи ваши..

Мужик почесался и, вздохнув, оглянул свою артель. У нескольких из его товарищей по грустным лицам прошла как бы неуловимая тень, и они тоже вздохнули. Чернородый мужик крикнул и переступил с ноги на ногу.

– У тебя вон работают на твоих, харчах по шесть гривен.. – робко заявил он.

– Ну? – строго спросил подрядчик.

– Ничего.. мы бы не хуже..

– Не хуже! Знаю я. Те смоленские, исконные землекопы.

– Больше всё наши как будто..

– Какие это ваши?

– Самарски.. пензенски, симб..

– А ты вот что: хошь работать, – иди и становись, а не хошь, – пошёл..

Ну? То-то! Иди.. Сколько человек?

– Нас-то? Нас восемнадцать.. А трое вон не наши.. – мужик кивнул головой в сторону, где стоял я и двое босяков.

Подрядчик поднялся, поглядел на нас, и на его толстом лице появилась злая гримаса.

Щёки и губы дрогнули, он сжал кулак и, подняв его, закричал:

– Вы опять пришли, дьяволы? Ах ты!.. И скоро ли это вас в каторгу сошлют!

Где лопаты? Где кирки? Воры! Мерзавцы! Ведь кабы время мне, я бы вас усадил в одно место..

Один из босяков, пониже ростом, в рыжей шляпе без полей и бритый, передёрнул плечами и спокойно заявил:

– А ты, Сергейка, не лай.. а то мы тебя прежде к мировому-то сведём за оскорбление словом. Вник? Лопаты!.. Кирки!.. Дура жирная. Ты видел, что мы твои лопаты взяли?

Подрядчик затопал ногами и закричал ещё громче:

– Вон, черти!.. Пшли! Гони их, ребята, всех троих! Гони..

Ребята нерешительно посмотрели на нас и расступились. Другой босяк, в солдатской

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
кепи старого образца, с сивой бородой, широкой и волнистой, и с чёрными,
мрачными глазами, проговорил густо и звучно:

– Не дашь работы?

– Пошли! Иди вон!..

– Не ори, Сергейка, лопнешь! – посоветовал бритый. – Идём, Маслов..

Его сивобородый товарищ круто повернулся и, важно покачиваясь, пошёл со двора.

Голодающие торопливо расступались перед его солидной и крупной фигурой.

Он смотрел куда-то вдаль, через и мимо коренастых приволжан.

– Ну, так прощай, Сергейка! Издохнешь ежели до встречи, всё равно – я тебе и на том свете трёпку дам..

Он тоже пошёл со двора, а я отправился за ними, идя сзади их.

Маслов был одет в синюю кретоновую блузу и штаны из бумазеи, а его товарищ – в белую некогда, а теперь серую от грязи, короткую поварскую курточку, надетую прямо на голое тело, и в новенькие клетчатые серые брюки.

– Вот мы, Миша, и опять ни при чём. Не везёт, хвост те на голову! Надо нам из этой дыры вон... а? – заговорил бритый.

– Пойдём... Куда? – ответил и спросил товарищ.

– Как куда? Куда хотим. Все пути-дороги нам открыты. Куда желаем, туда и дёрнем. В Астрахань, примерно... А по дороге на Кубань... Теперь там скоро молотьяба.

– А по дороге в Архангельск... Теперь там скоро зима... Может, и...

– Сдохнем от мороза? Бывает. Но только ты не вскисай. Нехорошо с такой-то бородищей...

– Ничего у нас нет?

– То есть это насчёт еды? Чистота!..

– Как же?

– Не знаю. Надо поискать... Ежели бог не выдаст, то свинья не съест...

Лучше мы её...

Товарищи замолчали. Бритый шёл, посвистывая и заложив руки за спину. Его товарищ одной рукой гладил бороду, а другую засунул за пояс штанов.

– Серёжка-то расходился как!.. Не может... про лопаты... Вот бы теперь нам лопату! Можно бы ей пятака три-четыре загрести. «Вон!» – говорит... И того выгнал из-за нас... Длинный тут стоял такой, видел ты?

– Вон он сзади идёт... – не оборачиваясь, сказал Маслов.

Без сомнения, и его товарищ знал, что я иду на два шага сзади его; он не мог не слышать стука моей палки по панели и моих шагов, но, очевидно, ему почему-то не нужно было показывать это мне.

– А!.. – воскликнул он, оглядываясь и разом смерив меня подозрительным и пытливым взглядом насмешливых карих глаз. – Что, брат, прогнали? Из-за нас это.

Откуда?

Я сказал откуда.

Бритый пошёл рядом со мной и первым делом бесцеремонно ощупал мою котомку.

– А ведь у тебя есть хлеб! – сделал он открытие. Маслов тоже остановился и тоже недоверчиво смерил меня своими мрачными глазами.

– Есть! – сказал я. – И деньги есть.

– И деньги! – изумился бритый. – Много денег?

– Восемьдесят четыре копейки! – гордо сообщил я.

– Дай мне двугривенный! – решительно сказал Маслов и положил мне на плечо свою мохнатую, тяжёлую руку, не сводя с меня своих глаз, загоревшихся жадным огоньком.

– Давайте пойдём все вместе! – предложил я.

– Идёт! – крикнул бритый. – Аи да ты! Славно!.. Молодец!.. Только вот что скажи мне: деньги у тебя есть, хлеб есть..

– Ещё хохлацкого сала два фунта! – постепенно возвышал я себя в глазах новых знакомых.

Маслов довольно засмеялся и с твёрдой уверенностью сказал:

– Всё съедим, до крошки!

– Дв-ва ф-фунта сала!.. – изумился бритый. – И ты пришёл к Серёжке на работу наниматься со всем этим, а?!.

– Ну? – спросил я, не понимая, в чём дело.

– Да зачем? Ведь у тебя харч есть, деньги есть! Али ты дом каменный хочешь строить? Тьфу!.. Кабы нам столько.. Сейчас бы в трактир. Чаю! Бутылку! Калача!..

Тррр!..

Через час от моих капиталов оставалось только одно приятное ощущение живительной теплоты в желудке и лёгонький туман в голове. Мы сидели в закопчённом трактире.

Кругом нас колыхался тяжёлый, опьяняющий шум и облака табачного дыма, а в раскрытые окна мы видели море, синее и блестящее на солнце.

Маслов смотрел на него, а бритый, которого звали Степок, положив локти на стол, разговаривал со мной. Переговорив о многом материальном, мы говорили уже о душе, и Степок развивал предо мной свои взгляды по этому вопросу.

– Я, брат, думаю, что душа бывает разная. Как жизнь на неё дохнёт, – вот в чём дело. Дохнёт ласково, – душа ничего, весёлая, светлая, а ежели дохнёт сентябрём, – душа будет тусклая, дряблая. Человек тут ни при чём. Он что может? Он растёт себе, и душа растёт. вот он, примерно, дорос до двадцати годов... Тут смотри в оба, коли хочешь сам себе атаманом быть. В это время душа чуткая... как струна. Терпи, значит... не давай ей дребезжать от всякой малости... держи себя в руках. Не сумел – шабаш!

Сейчас тебя или в комок сожмёт, или во все четыре стороны потащит... рвать будет на части... понял? Потому жизнь – как машина, – ходи осторожно... тут – колёсики с крючочками, там – зубчики остренькие, тут разные пудовые тютю летают... Поглядывай, не зевай, а то шкуру изорвёшь и кости изломаешь. А без футляра душе невозможно... как частному приставу без канцелярии.

Закончив таким образным сравнением своё, Степок дёрнул товарища за блузу и обратился к нему:

– Миша! Как же, на Кубань, что ли? Здесь нам не будет фарту, очень уж мы у всех в зубах навязли...

– Идём. Я люблю ходить... – не оборачиваясь, сказал Маслов.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– Зна-аю! Значит, – идём?! Важно! Друг, ты как? Идёшь с нами? – обратился ко мне Степок.

– Я туда и иду.

– Туда? Ну вот, превосходно! Значит, втроём. Ловко! Деньжищ заробим – мешок! и потом у меня там субботница одна черноглазая есть...

– Сектантка? – спросил я.

– Истинно! староверка... замуж вышла, а всё по-старому меня любит...

– А я думал, в самом деле субботница... – сказал я.

– Вот те крест, правда! – побожился Степок. – Всегда она меня по субботам ночевать к себе водит... – И он смеялся.

Маслов всё смотрел в даль моря, облокотясь на подоконник. Волосы у него были длинные, до плеч, и это, вместе с блузой, делало его похожим на художника.

Ещё через час мы уже шагали по дороге к Ялте, решив идти до Керчи берегом.

Когда село солнце, мы остановились на ночёвку, выбрав себе славную нишу в горе, завешенную естественным драпри из зелени кустарников, росших перед входом в эту нишу, как бы специально предназначенную ласковой природой Крыма для ночлегов бродяг. Судя по куче листьев, насланных в ней, и по остаткам костра, мы были тут не первыми гостями.

Степок по дороге наполнил свои карманы яблоками и грушами, и даже, отбежав от нас на полчаса, достал каким-то таинственным способом большую ковригу пшеничного хлеба. Теперь он растянулся под кустами и весело уничтожал яблоки, гримасничая, как обезьяна, что очень шло к его шероховатой, неправильной физиономии, поросшей густой щетиной. Маслов молча собирал сучья. Я невдалеке открыл ручей и умывался ледяной водой.

Вокруг нас от деревьев ложились узорчатые тени...

– Ты что, костёр хочешь? – спросил Степок товарища.

– Да...

– Ведь тепло...

– Холодно будет ночью.

– Ну, действуй...

Маслов скрывался и появлялся с громадными охалками мелкого валежника. Вспыхнул костёр. Сырая тьма, наполнявшая наше помещение, дрогнула и густыми тенями стала ползать по камням то вверх, то вниз.

Маслов молчал и улыбался, глядя в костёр.

– Теперь мы вроде как разбойники! – вдруг произнёс он.

Я взглянул на него и изумился. Он гораздо более походил на замечтавшегося ребёнка, чем на разбойника. Его чёрные глаза уже не были мрачны, и хотя были глубоки, но в них светилось только ласковое добродушие и что-то очень печальное. Морщины от улыбки сделали его овальное лицо круглее и сгладили неприятную надутую мину, раньше портившую это лицо, довольно ещё свежее и благообразное, несмотря на отёки под глазами и красные жилки, выступавшие сквозь густой загар кожи щёк.

– Дитяtko! Игрушечки всё... – усмехнулся Степок. – Вот, гляди, Максим, – обратился он ко мне, – душа-то у человека какова может жить!.. Половинка – как снег, а другая – как сажа. Почему? Опять-таки потому, что жизнь по-разному дышит: с этой стороны тепленько, а с той – холодком. И вышел человек сам по себе ребёнок, а при людях – чёрт...

– Пошёл гудеть!.. – недовольно заметил Маслов и отвернулся от костра в сторону.

Сквозь кустарники, закрывавшие вход к нам, видна была узкая полоса каменистой дороги, проходившей мимо них; за дорогой гора круто обрывалась, из-за обрыва смотрели вершины деревьев, уже освещённые луной, а далеко за ними, на горизонте, лежало неподвижное море, блестящее, как стекло...

Речь Степка рождала звучное эхо... Больше не было звуков.

– Разве я что сказал обидное? Ничего. Вот Максим говорит... человек, говорит, должен свою душу беречь... то есть учить... или как там? А я говорю – человек ни при чём в этом деле. Он – как перо: куда ветер дует – там оно и будет. И выходит что? Выходит – наплевать на всё! Знай себе летай веселей, безо всяких соображений.

О чём соображать? Как ни живи – издохнешь. Да и издохнешь – то неизвестно когда, – может, сейчас, а может, завтра. Начальство об этом тебе не объявляет. Было раз со мной, когда я ещё в Москве артельщиком служил...

– Говорил ты про это ведь. Не раз уж... Молчал бы... теперь... Слышишь, как тихо... Лист не дрогнет... – Маслов начал говорить с раздражением, а кончил задумчиво и грустно.

– Лист – пущай. А я хочу про себя заявить, – не унимался Степок, отчего-то всё более возбуждавшийся, тогда как его товарищ становился всё задумчивее и мрачнее.

– Я хочу сказать, что, мол, я тут? Живу и прочее... Миша! Давай, споём песню!

Болгарскую этакую, а? Не могу я видеть тебя в таком духе. У нас, московских, дух лёгкий, и мы у других такой видеть хотим. Что, право! И не пели мы давно...

Споём! Разыгрался бы ты...

Степок вдруг изменил свой весёлый и бойкий тон на просительно-жалобный.

– Петь можно... Это не мешает, – согласился Маслов и, подвинувшись к товарищу, сказал: – Ну, начинай!

– Любимую? – снова встрепенулся Степок. Маслов кивнул головой. Они сидели против меня по другую сторону костра, и их лица то ярко освещались огнём, то исчезали в клубах дыма. Степок встал на колени, потрогал рукой горло, немного закинул голову назад и приставил к глотке палец.

«Эх, да разгони-и...»

– тенорком начал Степок, блеснув на меня глазами. Он часто нажимал пальцем на глотку, и от этого длинные ноты дрожали мелкой трелью.

«Разгони ты, ветер, тучи грозные!..»

– попросил Маслов речитативом и странно качнул головой, как бы не надеясь, что ветер исполнит его просьбу.

«Ты разве-ей...»

– взмахнув рукой в воздухе и плавно поводя ею, продолжал Степок песню. Он повышал голос и приказывал.

«Ты разве-ка грусть-тоску-у мою-у...»

– вытягивал Маслов речитатив, и постепенно слова песни рождали из себя ту заунывную русскую мелодию, прерываемую краткими криками, что всегда заставляет воображение слушающего рисовать погибающего, его безнадежные жалобы и стоны и последние вспышки угасающей энергии. Маслов пел баритоном, очень густым и гибким; иногда в голосе дребезжало что-то надтреснутое и хриплое, но это не портило песню, а только придавало ей больше задушевности и той простой красоты, которая и есть красота истинная.

«...Чтоб светило ясно солнышко...»

– всё выше поднимался Степок, щуря глаза и краснея от напряжения.

«Чтоб жилось мне, добру молодцу...»

– просил и жаловался Маслов, тоже повышая голос.

«Эх, беззаботно, вольно... весело!..»

Искусственно вибрировавший голос Степка порвался, а баритон Маслова ещё выводил сильно и красиво:

«Эй, вольно... весело-о!..»

Степок встал и, взмахнув рукой, залился, крепко зажмурил глаза:

«Эх, да ходят в небе...»

«Тучи грозныя-а...»

– тоскливо подхватил Маслов.

«А тоска изъела сердце мне...»

– Э-э-эх!.. – громко вздохнул Степок, не открывая глаз.

А глаза Маслова были открыты, и он был бледен. Он сидел, вытянув ноги, и, откинув корпус назад, упёрся руками в землю. Выгнутая вперёд грудь высоко поднималась и опускалась, и из раскрытого рта волной пились слова песни, тоскливые, рыдающие... и всё более звучные.

Я смотрел на него, не отрывая глаз, и переживал то странное и сильное ощущение, которое так метко охарактеризовано словами «за сердце берёт».

Голоса товарищей то сливались в одну струю, то звучали каждый отдельно, оттеняя и подчёркивая выразительность другого.

Маслов не шевелился, Степок стоял и раскачивался из стороны в сторону. На его шероховатой физиономии сияло блаженство, а красивое лицо Маслова нервно вздрагивало и, – казалось, – всё более бледнело, точно из груди певца, вместе с голосом, выливалась и кровь. Его тоскливые чёрные глаза смотрели прямо на меня, но я чувствовал, что он не видит ничего – ни меня, ни горы, к которой прислонился... Видно было, что грудь этого человека полным-полна тяжёлой, едкой болью и что песня – единственное лекарство, которое облегчает эту боль. Он в одно время и выпевал свою тоску и почти отпевал себя... Иногда судорога, пробегающая по его лицу, заставляла меня ожидать, что он сейчас заплачет... и тогда я испытывал желание бежать от этого человека, такого сильного, красивого и замученного до слёз...

Песня рыдала то тише, то сильнее... и с каждой новой нотой всё более становилась похожа на причитание по умершем, а Маслов, опрокидываясь назад, всё круче выгибал грудь, как бы этим желая облегчить исход звукам, переполнявшим его. Степок выделял удивительные фиоритуры и триоли, постукивая себя пальцем по глотке и, не открывая глаз, из стороны в сторону мотал головой, поводил плечами, взмахивал рукой в воздухе... жил весь в песне.

– Mon dieu! Comme c'est beau! Quelle poesie!.. Feu au montagne et la chanson!.. [3] Это похоже на гномов! Je veux les voir... [4] – затрещал звонкий женский голос.

– Эй! Кто это поёт? Идите сюда! – крикнул барский басок.

Песня оборвалась. Маслов широко открыл рот и тупо посмотрел на дорогу...

Степок вздрогнул, оскалил зубы и зло сощурил глаза.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Сквозь ветви мы видели двух лошадей; на одной из них сидела тоненькая дама в белой вуали, а с другой прыгнул человек в светлом костюме. Он бросил поводья на луку седла и обернулся к даме.

– По-огоди!.. – прошептал Степок и вдруг со всех ног бросился на дорогу, шумя кустами и дико воя:

– Идѐ-ем... Ваше благородие!!.

– Ай!.. – взвизгнула дама.

– О чёрт!.. Стой!..

Но обе испуганные лошади шарахнулись и помчались... Издали, вместе с топотом, доносился визг дамы.

– Осёл! Лови!.. – закричал барин, замахиваясь на Степка хлыстом.

– Как бы под гору не слетели!.. – уклоняясь от удара, сказал Степок и наклонил голову в сторону шума.

Барин метнулся и побежал туда, высоко вскидывая ноги. Степок захохотал и сел на дорогу.

– Вот так лупит!.. Охо-хо-хо!.. чёрт его!..

Маслов мрачно и безучастно молчал. Топот коней и бежавшего барина пропал вдали...

– А ловко я их!.. А, Миша? – И Степок фыркнул. – Вот что нашёл... видишь?

– Он показал товарищу хорошенький хлыстик и обшитый кружевами носовой платок.

Тот молча посмотрел на это.

– Рассыпалась барыня!.. Нет, ка-ак он поскакал-то!.. Ах буйвол чёртов!..

А за эти штучки мы полтину поймаем.

– Брось! ну их... – сказал Маслов, махнув рукой.

– Бросить?! Зачем? Они песню слушали? Ну – и квит! А может, мне бы лучше, не пугая их, попросить у них на чай? а? Ч-чёрт!.. Вот не догадался!..

– Плюнь, Степок – стыдился бы!.. – раздражённо крикнул Маслов.

– Чего стыдиться? На чай-то попросить?! Они песню слушали!

– Молчи ин!.. – И Маслов крепко ругнул товарища. – А то вот двину... – Он сунул в его сторону кулаком и посмотрел на него дикими глазами, сразу налившимися кровью.

– Поехало!.. – Степок скептически свистнул. – Что за барство такое! П-пэ!..

Давно ли это появилось? Что, ты сам не занимался этим?.. В Одессе-то, помнишь, у француза... и вообще... Смехота!

– Стёпка! Брось, молчи!.. Дратья буду... – тихо и внушительно заговорил Маслов.

Степок лёг на землю.

– А ты не обижай товарища... – как бы извиняясь, проговорил он.

...Песня исчезла, как сон. И настроение, рождённое ею, исчезло... Костёр чуть пылал. Маслов ломал сучки и задумчиво подбрасывал их в огонь. Скоро захрапел Степок... Я смотрел на море сквозь ветви и в лицо Маслова сквозь дым костра. Море было тихо и пустынно... а Маслов задумчив. Тени от костра бегали по его бороде, щекам и по лбу...

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
– Ну, ты чего тарачишь на меня глаза? – сухо сказал он мне.

Видно, ему хотелось остаться один на один с самим собой. Я отвернулся и лёг. Ночью, сквозь сон, я слышал тихую песню и, открыв глаза, видел Маслова. Он, всё так же сидя у костра, качал головой и, глядя в огонь, вполголоса пел...

Когда же поутру я проснулся, друзей уже не было. Они, не разбудив меня, ушли и взяли у меня из котомки две мои рубашки, благородно оставив мне третью. Я решил, что они раздумали идти на Кубань, и пожалел об этом.

Порядившись в одной из кубанских станиц на молотьбу, я поехал на телеге в степь вместе с кучей бойких казацких дивчат и моим спутником–грузином. Дивчата пели и болтали. Станица утонула в дали, и кругом нас развернулась широкая степь...

– У барабана стоит кацап... Дьявол такой, что ух! Глазищи чёрные, бородатый, злющий–презлющий!.. Чуть подавальщики опоздают со снопом, как он рывкнет!.. Работает, как огонь... Орёт – труба! и гонит, гонит!.. Машинист лает: «Машину, говорит, портите».

А Тотенко своё: «А ты, говорит, и аренду бы получал, да и машина бы не носилась!»

А кацап ревёт: «Гони, давай!» И как ругнётся, так и присядешь!.. – рассказывала одна девица, уже бывшая в степи.

– Все кацапы ругаются здорово... – заметила басом могутная машина с толстущей косой и жирными, красными щеками, с самого выезда со двора уничтожавшая яблоки, которых у неё в подоле было насыпано с добрую меру.

– А некрасивые–то все какие!.. мозглявые, хлипкие!.. – заявила с презрительным сожалением черноволосая юркая и тоненькая змейка.

– Не все!.. – коротко сказала третья, шатенка, с овальным решительным лицом.

Подруги захохотали, глядя на неё.

– Ишь, заступилась за своего!..

Вдали показался дымок.

– Вон она – молотилка, дышит... – сказала шатенка.

– Рада ты, что уж близко? – спросили её.

– А и рада... Всякая была бы рада...

– Добра–то!.. – скептически воскликнула одна из подруг.

– Чай, станичники лучше...

– Кто что любит. Чего много, – то не дорого... – стояла на своём шатенка.

Впереди выросли золотые бугры снопов и за ними чёрная труба молотилки...

Маленькие люди сновали вокруг них, слышался шум, смех и характерный торопливый и жадный стук машины... Туча пыли и полумы, мешаясь с дымом из трубы, неподвижно стояла в воздухе, чёрной шапкой покрывая оживлённый оазис в желтоватой пустыне, раскинувшейся во все стороны.

Девки посыпались с телеги, ещё не доехав до места, и побежали к редутам из соломы, расставленным рядом и ослепительно сиявшим на солнце.

– Обед! – крикнули где–то.

Шум машины оборвался. Запылённые и обвешанные соломой люди, иные в больших очках с сетками, направились в одну сторону. Кто–то, подойдя сзади, хлопнул меня по плечу.

– Маслов!..

– Я... Пришёл и ты? Ловко! А мы тогда тово... раздумали было... да вот пришли всё же. Куда ещё идти?!.

– И Степок здесь?

– Здесь... в Ханской, вёрст пятнадцать отсюда. Гуляет... Кума у него там есть. Ты снопы подавал когда? Умеешь? Хорошо! Ну, так подавай мне... А то никто не успевает. Худо работают, черти!.. не втягивает их работа. А я не могу... Мне не по душе, коли эта самая машина жрёт и ещё просит. Я всегда хочу ей в глотку столько насовать, чтоб она подавилась... Чтоб и ей, дьяволу, тоже трудно пришлось. Она мнёт, а я ей подсыпаю, я ей подсыпаю!.. на, жри, давьсь, трещи... Эта здоровая, стерва... тысяч до двенадцати, чай, перебьёт в день-то... А две уж я скормил... Сломались.

Трах! Фррр... готово! Стоп! Машинист лает. Хозяин стонет. А мне весело... Ей-богу, весело! Этакую штуку поганую выдумали!.. Наверное, немецкая пасть... Если эта чёртова животина и завтра выстоит, я её угощу!.. Шкворень суну в сноп... Трах! Все зубы ломает... свинячья челюсть!..

– Ты за что же это их не любишь? – спросил я его, кивая на молотилку.

– Да не знаю... Так... Деревянные они, без всякого смысла, а как бы живые.

Суёшь ей в хайло снопы – жрёт, сунь руку – оборвёт, сунь ребёнка – сжамкает. Я бы запретил все машины, кроме, разве, паровых да железнодорожных... Те – ничего, пытит себе, везёт... А все другие – сволочь. Я на одной ткацкой фабрике в Томашеве жил... всякой этой дряни там гибель! Вертится, крутится, стучит... и всё сама делает, а человек при ней дурак дураком... Обида! И чуть что – джик! черть! Готово! Был человек, а остались одни кусочки... Много я видал их!.. А главное дело, звереешь от них. Стоишь, стоишь, и дойдёшь до того, что так вот и хочется зло сделать!..

Без всякой причины, просто так, взял бы, да и разворотил что ни то... изничтожил бы... Так, знаешь, злоба заберёт, что, кажется, малого ребёнка зубами бы загрыз...

Право. От этого самого фабричные и есть все сорванцы да сорви-головы... и убийства от этого.

Мы сидели с ним под копной, уже разобранной наполовину; в ней суетились испуганные мыши-полевки, и вся она звучала шорохом. Маслов был оживлён, и его чёрные глаза ярко блеснули. В бороде, усах и бровях у него торчала солома, и от его славной, крупной фигуры веяло чем-то сильным и здоровым.

– Уф!.. – вздохнул он. – Вот люблю в степи работать! Ширь!.. Воздух!.. Люди вот только – мразь... гады. Жадные, – каждый норовит твоей крови напиться, а кой сыт, так тот хоть так укусит, ради памяти о себе. У кого нанимался? У хозяина али у хозяйки? Степок у обоих нанялся, сначала – у него, на неделю, за десять рублей, – рубль задатку взял... Потом ухитрился к ней, – и у ней задаток уткнул, – два рубля, да в ночь из станицы-то и марш! Нарвётся когда-нибудь, – убьют до смерти. А хозяева-то пеняли мне: «Вот, говорит, товарищ-то твой жулик какой!» – «Что ж, мол, не я его жить-то учил...» А оно конечно... свинья Стёпка. А сами они не жулики? Обрадовавшись, что в этом году голодных много, и давай вместо двух рублей в день – восемь да шесть гривен платить! А урожай вон какой!.. На сноп не меньше прошлого-то года, ещё, надо быть, и больше. Так разве им не всё равно за работу отдать и нынче столько же, сколько в прошлом году они отдали? Скареды!.. Хоть бы своими руками работали!..

Видно, Маслов давно ни с кем не говорил и теперь нагонял потерянное, не справляясь, слушаю ли я его, и не глядя на меня.

– Ты чего обедать не идёшь? Не хочешь!.. Харчи здесь, брат, погань одна...

Всё галушки да галушки... точно свиной кормят. А нанимал, так чуть не кур обещал, и она, толстуха его, тоже... «Кормим, говорит, мы важно!..» Мокрица жирная! Глаза, брат, у ней видел? Ага?.. Хороши глаза... так тебя и глядят. И он сам – казак

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
статный.

Ах, и хорош здесь народ! не как у нас в России – выродки да заморыши... Водки не хочешь ли? У меня бутылки с полторы есть. Я четверть взял с собой. Дорога здесь водка. Идём, угощу. Не забыть мне, как ты тогда в Севастополе всё, что было, скормил нам! Ловко это! Нашему брату так и надо. Есть – бери, нет – идём добывать. По-птичьи.

Нет, и не так... потому птица – хозяйка, у неё дом, хозяйство есть... а мы ещё чище... значит, нам ещё крепче друг за друга надо держаться. Много нашего брата, и, смотрю я, с каждым годом больше всё прибывает. В этом году прибыль будет больно велика, тучи народу с земли сорвало... А я спать хочу. Давай поспим, а? А потом встанем и будем кормить антихристово пузо.

Мы легли на кучу соломы и, поговорив ещё немного, крепко заснули.

– Вставай!.. Вставай к барабану!.. Эй!..

Машина уже стучала. Воз снопов стоял готовым у молотилки, другой подъезжал. Маслов живо взобрался к барабану и крикнул мне:

– Давай с возу! Ещё двух девок сюда, развязывать снопы! На воз становись двое! Жи-вво!.. Вали-давай!

Мне попались славные вилы, и я, памятуя желание Маслова, начал сильно и часто кидать девкам снопы. Мой товарищ, какой-то белобрысый вятч, «голодающий», но бойкий и весёлый малый, не желая отставать от меня, сопел и всё норовил сбить снопом которую-нибудь из девок, хватавших дачки прямо с вил.

– Дуй во всю, детки!.. – возбуждённо покрикивал Маслов.

Взглядывая на него, я видел, как он, чуть не вырывая из рук дивчат развязанные снопы, совал их в барабан, низко наклоняясь над ним и рискуя сунуть туда же свою бороду.

– Давай, давай, давай!.. Торопись, возись, поворачивайся!.. Корми, дьявола!.. – орал он, краснея.

– Тише подавай! Полова затирает!.. – кричал кто-то.

– Сожрёт!.. Сыпь, девки!.. Максим, вилами девок!.. Ворочайся, вы, стряпухи!.. Размахивай рука-ми!..

Четыре девки, забрасываемые снопами, лихорадочно метались, боязливо пододвигая развязанные снопы Маслову. Он загребал хлебные колосья и ровным толстущим слоем спускал в барабан, сверкая чёрными глазами, нахмуренный и кипевший злобой, тою обдуманной, мстительной злобой, которая всегда доходит до цели.

– Ахти!.. – вздыхал вятч, подбрасывая снопы.

Из нашего воза выпрягли лошадь и увели её, подавая нам на телегу снопы с другого воза, поставленного рядом с ней. С меня лил градом пот, но, возбуждаемый криками Маслова, я махал вилами во всю мочь, с головой уходя в этот своеобразно поэтический и дикий процесс кормления деревянного зверя, стонавшего от жадности.

Маслов, красный, потный, с оскаленными зубами, хрипло кричал, не переставая:

– Возись, девки!.. Мокрицы, ползай!.. Засыпай их снопами, ребята!..

Девки и так уже не успевали развязывать...

– Солома не идёт... забила!.. Дьявол! Чёрт! тише!.. – кричали откуда-то сзади.

– Молодцы! Водки ставлю.. ведро! Барабанщик, жги!.. Спасибо! Ладно...

Хорошо!.. – кричал казак-хозяин.

– Тише, черти!.. Остановлю машину!.. – кричал машинист.

– Ничего!.. Сожрёт... Действуй, Максимка!.. Вячкой, гни хребет!.. Девки!..

Убью, дьяволицы!!.. – бесился Маслов.

Подо мной ходила телега, и, казалось, – всё кругом колеблется и хочет оторваться от земли. Машина лихорадочно-торопливо щёлкала челюстями и хрипела. Шум оглушал и опьянял. Проклятая машина, действительно, была безжалостна к нам, пожирая снопы с удивительной быстротой. На месте Маслова мне бы тоже захотелось своротить ей жадные челюсти. Высоко подобрав подола, девки на крыше метались, как бешеные, побуждаемые Масловым, а он, до плеч засучив рукава, изогнутый над барабаном, всклоченный и красный, становился страшен в своем диком вдохновении... И вдруг он низко наклонился и весь дрогнул, точно его сильно дёрнули вниз... Что-то тёплое брызнуло мне на руки и лицо... Вятский тихо крикнул, живо спрыгнул с телеги и куда-то помчался.

Машина лихорадочно грохотала...

– Ба-атюшки!!.. – отвратительно тонко и громко взвизгнула одна девица.

Маслов повозился и замер.

– Ай!.. Остановите машину! – крикнула другая.

– Стой!.. Машинист, стой!!.. – завывли несколько голосов.

Я хотел прыгнуть на крышу молотилки и, оборвавшись, упал на землю. Машина торжествующе заворчала и умолкла... Стало тоскливо-тихо. Люди суетились молча или говоря вполголоса...

– ...Умер?

– ...Ну, разве с этого умрёшь!..

– Стой!.. – крикнул хозяин. – Чего распоряжаешься? Вези прямо его в станицу...

– По жаре-то... Надо завязать бы... Пыль тоже...

– Завяжут бабы...

Маслова спустили сверху. Он был бледен и без памяти. Его несли, держа за голову, за ноги и за правое плечо. Вместо левой руки у него болталась какая-то красная рвань, из которой струйками бежала, капала и брызгала кровь. Между безобразных кусков мяса и прямо из них торчали острые белые куски костей и виднелись жилы...

– Ф-фа!.. – сказал маленький усатый машинист. – Как раскатало!.. и кости вдрызг. Сила, чёрт её...

И, очевидно, довольный работой своего детища, он задумчиво улыбнулся и покачал головой, отходя от Маслова. Он же, бледный до синевы, не шевелился.

– Клади!

Маслова положили на землю.

– Ну-ка, я обвяжу её... – тихо сказала какая-то баба и тут же, при людях, стала раздеваться, сняв сарафан, она спустила и рубашку; потом, не особенно торопясь, надела сарафан и стала разрывать рубашку. – Чистая! Утром надела только. Ей-богу, право! – Она наклонилась над больным и подняла истерзанную руку... – Господи, благослови!

– Напрочь? – открыв глаза, спросил Маслов и отвернулся направо, как бы не желая видеть истерзанную руку.

– Вдребезги рассадило, батюшка. Совсем уж, надо думать, лишишься, – ласково сказала баба.

Маслов спокойно плюнул в сторону.

– Тише, ты! Чай, не чулок выворачиваешь... – заметил он, когда баба стала обвязывать руку.

Я наклонился, чтоб помочь ей.

– Вот что, Максим, – сказал он мне, – сходи ты в Ханскую до Степка, Там, против церкви, казака Макарши дом... Сходи, скажи ему, как вот это... отгрызла, проклятая... Нарвался я... Чай, поди-ко, – цела, дьяволова игрушка, не испортила зубов об мои-то кости... Иди скорее... будь другом! А без него сдохну я тут...

Родной души нет... Иди, а? близко тут.

– Хорошо... прощай, брат! Я пойду.

– Не воротись сюда?

– Нет, не ворочусь уж.

– Прощай. Живы будем... – он махнул рукой и улыбнулся... – Увидимся скоро. Пути наши известны... Прощай!

Он ещё улыбнулся мне своими чёрными глазами, в которых давно уже погасло возбуждение и светилась только тоска и боль. Я пошёл к Степку...

В Ханскую я пришёл часов в семь вечера, сразу нашёл хату казака Макарши и вошёл во двор. На колодезном срубе сидела девушка-казачка и плела себе косу.

– Тебе чего? – спросила она.

Я объяснил.

– Иди вон в огород... Да палку брось, а то собаки нарвут...

Я бросил палку и пошёл в огород. Вышли две собаки, понюхали мне ноги и, очевидно, решив, что мной заниматься не стоит, равнодушно ушли в кусты. Впереди раздавался голос Степка:

– Ты говоришь – нельзя? Наплевать – нельзя!.. Ду-рашка-чудашка! мо-ожно!..

Нам всё можно... Ты мне кум? И тебе можно... Ты думаешь – кум, так и нельзя? Да что такое кум? Стучусь я к тебе ночью в хату... так? Кто там? Я, пустите ночевать.

Хорошо!.. Ты говоришь – иди, добрый человек, иди! У меня жена родит, иди! Так? ага!

Я пришёл, жена родила; ты говоришь – будь кумом, потому такое есть поверье... Это...

О ба-а!.. Друг!.. Т-ты!.. Вот так май!.. Птичка божия! Відкіля? – закричал он, увидав меня.

Он сидел в тени, под ветвями черешни, против рыжего казака в одной рубахе, пьяного, нелепо вытаращившего на меня тупые и круглые глаза филина. Перед ними на какой-то пёстрой тряпице стояла баклага вина, лежала грудка яблок, варёное мясо и огурцы.

– Макарша! Видишь человека? – толкая меня к казаку, кричал Степок.

– В-вижу! – вздохнул Макарша и почему-то сокрушённо и жалобно заморгал глазами и закачал головой, точно собираясь заплакать.

– погоди, Степок... – сказал я.

– Видишь?.. – не хотел гонить Степок, основательно пихая меня сзади кулаками и коленями. – Ну, так целуй его... Потому как оба вы горчайшие пьяницы... значит – братья родные, вот и всё. Ты знаешь, кто он таков, этот человек? И-ди-и ты, чучело!..

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Наконец Степок подпихнул меня к казаку, тот расставил руки и вкусно зачмокал губами. Степок наклонил меня, толкнул, и я чикнулся носом в мокрые усы казака, который сейчас же уцепился мне за шею.. Но я вывернулся из его рук.

– Ну, вот! – удовлетворился Степок. – Теперь готово! Теперь, стало быть, друзья! Ты, Макарша, цени его.. знаешь, кто это? Московский купеческий сын! ага-а?..

Пропил че-т-тыре трёхэтажных дома и семь лавок с красным товаром!.. Миллион! понял?

– Понял! Всё пропил.. и допил до штанов!.. – сказал казак и с грустью махнул рукой.

– Ха-ха!.. Это он до штанов пьёт!.. то есть до той поры, что кума стащит с него штаны и тю-тю!.. казаку до шинка нет дорожі! А дома горилки для чоловіка чорт-ма! понял? – объяснил мне Степок.

– Маслов умер, – сказал я, улучив, наконец, минуту. Степок сразу замолчал и с жалкой, недоверчивой улыбкой посмотрел на меня.

– На молотилке его изувечило.. – добавил я.

– Так! Моя правда!! – взвыл Степок и, побледнев, нелепо замахал руками.

– Я ему, дураку, говорил, – берегись, чёрт, не лезь!.. А он своё: «Не люблю, говорит, я их!» Изувечили, значит?.. Казаки?.. Вот эти?.. пьяницы?.. – Степок ткнул пальцем в лоб кума и кстати уж двинул его в бок ногой. – Эхма!.. Как же теперь?.. Я-то что?..

Где же Маслов?.. Что ты, чёрт деревянный, молчишь?! – вдруг освирепел он, обратясь ко мне. – Говори, как всё это? Ну, сломал он машину, ну? Ну, они его бить... ну?

Он и умер.. а? до смерти? Что т-ты, дьявол, молчишь?! – Он сделал страшную рожу и полез на меня с кулаками: – Говори, жердь сухая!!.. Ну?.. Э, чёрт с тобой! Пьян я или нет?

Он вертелся на месте, потирал руки, всплескивал ими, тёр себе лоб, дёргал усы и то бледнел, то краснел. Хмель выходил из его головы. Я не торопился сказать истину, желая знать, в какой мере эффект моего сообщения Степку о смерти товарища зависит от хмеля и сколько от эффекта останется, когда хмель пройдёт. Макарша смотрел то на того, то на другого из нас и вдруг дико заревел..

Степок рассеянно взглянул на него, на меня, на свою лошадь и молча опустил на землю. Я тоже молчал, соображая, что может из этого выйти, и ожидая, когда пары вина совершенно освободят мозги Степка.

– Ты чего ревьешь? – удивлённо спросил он казака. Тот выл и мазал себя по лицу руками.

– Ты чего, рыжий чёрт, ревьешь?! – строго повторил вопрос Степок.

– Чоловік... вмер!.. – сквозь слёзы сказал казак.

– А тебе что за дело? Молчи! Не твой человек. Дурак... Молчи, говорю.

– Буду плакати... Бо жалію... чоловіков, которы вмерли!..

– я тебе в морду дам!..

Казак плакал и мотал головой.

– Уйдём, Максим! – решительно поднялся с земли Степок. – Идём куда ни то.

Он стоял на ногах твёрдо, и его возбуждение понемногу исчезало. Всё-таки он пока ещё для чего-то поминутно надувал себе щёки и, шумно выпуская воздух, сильно махал руками.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
– Тверёз я? а? Чёрт её знает, голова какая! трещит... третий день пью... и ничего не понимаю... Верно это? Умер уж он? Эх, брат, да говори ты!

– Нет, не умер...

Степок остановился и внимательно оглядел меня.

– Ты, друг, так не шути... – внушительно заговорил он и многообещающе повёл плечами, сжимая кулаки. – Не шути!.. А то я из тебя душу вышибу. Вник? А теперь говори по порядку.

Тогда я рассказал ему всё по порядку, и, по мере того как я рассказывал, он приходил в себя. Я кончил. Он задумчиво насупился и молчал. За кустами, недалеко от нас, возился и ворчал пьяный казак:

– Куме! Эй, куме, лядаці собакі пришлі... и поедають усе. Геть!.. Степане!

Хиба ж тобі вже и не треба мяса, що тіи псы... геть!.. Се кумово!.. геть!..

– Та-ак... Значит, машинка ручку ам-ам?! Непорядочно и невесело... Пойти к нему... Надо думать, что теперь ему капут... сгинет вконец. Ах, чёрт вас возьми!..

Иду... В больницу отправили? Ну-ну... Ид-ду. Такочки!.. Ты куда? Дальше? Ну, иди дальше... прощай! Скажи, жалко парня тебе? Жалко... Ххе!.. А мне-то! Пятый год живём душа в душу... Прощай, брат... На Беслан пойдёшь? Ну, увидимся. Спроси там Костьку Игрока. Славный парень... закадышный нам друг, певун... Вор только очень. Скажи ему про Маслова. Кланяться Маслову? Поклонюсь... Н-ну, я сейчас же и тово... куму только надо повидать... куму... А ты идёшь? Ночуй. А, ну иди. Совсем ему руку-то?

Т-те... По плечо... Сжечь бы эту штуку! а? Очень это просто, сунул спички ей в пузо и готово... кстати и хлеб бы весь погорел... а? Ей-богу, погорел бы... близко всё. Ну, вали... иди. Прощай, брат. Я тоже в ночь свистну туда.

Он потускнел и говорил, низко опустив голову. Его короткие фразы падали, как камни, и, сказав что-нибудь, он вскидывал на меня глазами. В них было много такого, что заставило меня убедиться в любви Степка к товарищу. Крепко пожал друг другу руки, мы разошлись.

На Беслане, станции, от которой в то время только что начали прокладывать владикавказо-петровскую линию железной дороги, – я не нашёл Степка.

Справившись о Костьке Игроке, узнал, что сей субъект стащил болты и гайки и посажен за кражу в тюрьму, но что «это ерунда, и Костьке за это ничего не будет».

Сообщив такую приятную весть, рванный и острый человек, рассказавший мне всю суть Костькина деяния, объяснил:

– Ничего не будет! Почему?.. Потому что Костька-то умер в остроге от тифу... понял?

Я понял и, порадовавшись за Костьку, ушёл через два дня из Беслана в Закавказье.

Прошло с год времени. Приехав в Астрахань из Баку, я, в ожидании парохода вверх по Волге, пошёл бродить по городу и попал на Кутум. Одет я был в длинное клетчатое пальто, с хлястиком назади, совершенно новенькое, имел на голове шляпу, тоже новенькую, и на ногах – калоши, тоже новенькие... Весьма культурный вид... И на носу тёмные очки...

Около бабы, продававшей с лотка подозрительное мясо серого цвета, испускавшее кислый пар, стоял Степок, без шапки, худой, но весёлый, как всегда, с ляжкой на спине, крюком в руке, и отправлял в рот крупные ароматические куски её товара, расплачиваясь с ней покуда прибаутками. Сначала я не решался подойти к нему, стыдясь своей культурности... но поборол себя и подошёл, предварительно сняв очки и спрятав их в карман.

– Степок!..

– Э... Ба... гля!.. Тю-тю-тю!.. фрр!.. В рот те ноги прямо пятками! С чего это тебя так взъерепенило?! Ваше благородие! Подайте товарищу пятак на хлеб и два на выпивку!..

И он, мстительно и дерзко сощурился, одной рукой сделал под козырёк, а другую протянул мне вверх ладонью.

После такого приветствия моё культурное пальто не могло не покраснеть, калоши потемнели, шляпа съжилась, и всё это вместе вдруг стало мне узко, тесно и тяжело... Степок отнял руки и подмигнул:

– Сколько цапнул? тыщу? Больше! Сказывай где, и я туда пойду. Вот так диковинка, Ивановна! – обратился он к торговке, с диким любопытством вытаращившей на меня чёрные круглые и выпуклые рачьи глаза, – Товарищ ведь! Верь господу, который нас вместе рядом видел, как мы по разным местам гуляли и прочее этакое... Холеру мне в кишки, коли вру! Спроси его, сам скажет! И... Эдакий... а!.. – Степок, подавленный комическим удивлением, сел предо мной на корточки. – Господин! Как мне по одной земле с вами ходить? На руках буду для отлички...

Я сказал Степку несколько тёплых и укоризненных слов и пригласил его в трактир; но это не произвело на него никакого впечатления.

– Ивановна! Вникай! иду в трактир... Пью шампанское и ем... жареных соловьёв!

Ива-ановна!!.. – на весь Кутум заорал Степок, перекувыркнулся на земле и – о подлец!

– смазал своими лаптищами пёстрые полы моего культурного пальто...

Я чувствовал себя наинелепейше... Кругом нас собиралась толпа.

– Идём, Степок, коли хочешь! – сурово сказал я.

– Слушаю, вашеблагоррр... – и он поскакал рядом со мной, сняв шляпу и гордо оглядываясь по сторонам.

О, он тонко умел мстить и на пространстве десяти сажен до дверей трактира заставил меня перечувствовать столько неприятного, сколько его не встретишь на добрых пяти верстах. Но вот двери трактира затворились за нами. Я сел за стол и спросил:

– Чаю хочешь?

Он вдруг нахмурился и подозрительно оглянул меня.

– Или водки?

– А что ты... – начал Степок, но оборвался.

– Ну? – спросил я.

– Дай мне рубль... я уйду... – глухо сказал он.

Но я уговорил его остаться и спросил о Маслове. Он посмотрел на меня и вдруг улыбнулся знакомой мне улыбкой, подавшей надежду на то, что мы сойдёмся и он не станет издеваться надо мной.

– Помнишь разве Маслова? Ишь!.. Умер Маслово... Антонов огонь сжёг его. Умер...

Зарыли всего в чёрных пятнах, точно он с печной трубой обнимался. Умер! Эх ты!

Вот так парень был он... для меня... н-да! Ду-уша!

Он снова замолчал и как-то отупел на минуту, потух, сжался... Принесли чай и водку. Степок посмотрел на это и снова улыбнулся, но уже скептически.

– Ну-ка, скажи, как разбогател... Интересно...

Тогда я рассказал ему. Он слушал внимательно и молча. Я кончил.

– Так!.. Значит... что же? Не по природе ты босяком-то был... а так, из любопытства?..

– Да...

– Ишь ты? Тоже любопытство... А теперь назад... не понравилось? Л-ловко сделано!..

– я ещё хочу походить.

– Н-ну... не знаю... Значит, просто ты... походишь, и всё?..

– А что же?

– Ничего... Так я... – он покусал ус. – Без всякой задачи, значит... походил и домой? На печку?..

– Нет, задача была. Хотел узнать, что за люди...

– Зачем?

– Чтобы знать...

– Д-да!.. Больше ничего? Просто посмотрел, и всё тут?

– Может, опишу... в газете.

– В газете?! А кому это нужно... знать про это? Или это так, для похвалки, – вот, мол, как я могу?!

Малый бил метко, надо отдать ему справедливость. Малый знал человеческую душу и – скажу по совести – весьма смущал меня своим вопросом.

– Нет, вообще... чтобы люди знали.

– Про нас?! – Степок широко улыбнулся и ехидно поднял брови.

– Про вас...

– Тэк!.. Так!.. трататак!..

Он встал и посмотрел на меня зло сощуренными глазами.

– Знаешь ли что, Максим? – спросил он.

– что?

– Оч-чень это подлость большая! – выразительно произнёс он, погрозил мне кулаком и, не простясь, ушёл.

Я сидел и смотрел на чайные приборы, бутылку с водкой... Смотрел и думал о том, за что меня Степок ругал? Прав он или нет?

– Давай рубль! – сунул он руку в окно.

Я дал.

– Ффу!.. Богат, видно, очень – целых три!.. Уррр! А ты в помойные ямы не лазаешь из любопытства? а?

– Нет.

– Жаль!.. я бы тебе помог! В самую глубокую сунул бы!

И он скрылся.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
Мой спутник

I

Встретил я его в одесской гавани. Дня три кряду моё внимание привлекала эта коренастая, плотная фигура и лицо восточного типа, обрамлённое красивой бородкой.

Он то и дело мелькал предо мной: я видел, как он по целым часам стоял на граните мола, засунув в рот набалдашник трости и тоскливо разглядывая мутную воду гавани чёрными миндалевидными глазами; десять раз в день он проходил мимо меня походкой беспечного человека. Кто он?.. Я стал следить за ним. Он же, как бы нарочно поддразнивая меня, всё чаще и чаще попадался мне на глаза, и, наконец, я привык различать издали его модный, клетчатый, светлый костюм и чёрную шляпу, его ленивую походку и тупой, скучный взгляд. Он был положительно необъясним здесь, в гавани, среди свиста пароходов и локомотивов, звона цепей, криков рабочих, в бешено-нервной суতোлке порта, охватывавшей человека со всех сторон. Все люди были озабочены, утомлены, все бегали, в пыли, в поту, кричали, ругались. Среди трудовой суতোлки медленно расхаживала эта странная фигура с мертвенно-скучным лицом, равнодушная ко всему, всем чужая.

Наконец, уже на четвёртый день, в обед, я натолкнулся на него и решил во что бы то ни стало узнать, кто он. Расположившись неподалёку от него с арбузом и хлебом, я стал есть и рассматривать его, придумывая, – как бы поделикатнее завязать с ним беседу?

Он стоял, прислонясь к груде цыбиков чая, и, бесцельно поглядывая вокруг себя, барабанил пальцами по своей трости, как по флейте.

Мне, человеку в костюме босяка, с ляжкой грузчика на спине и перепачканному в угольной пыли, трудно было вызвать его, франта, на разговор. Но, к моему удивлению, я увидел, что он не отрывает глаз от меня и они разгораются у него неприятным, жадным, животным огнём. Я решил, что объект моих наблюдений голоден, и, быстро оглянувшись вокруг, спросил его тихонько:

– Хотите есть?

Он вздрогнул, алчно оскалил чуть не сотню плотных, здоровых зубов и тоже подозрительно оглянулся.

На нас никто не обращал внимания. Тогда я сунул ему пол-арбуза и кусок пшеничного хлеба. Он схватил всё это и исчез, присев за грудку товара. Иногда оттуда высывалась его голова в шляпе, сдвинутой на затылок, открывавшей смуглый, потный лоб. Его лицо блестело от широкой улыбки, и он почему-то подмигивал мне, ни на секунду не переставая жевать. Я сделал ему знак подождать меня, ушёл купить мяса, купил, принёс, отдал ему и стал около ящиков так, что совершенно скрыл франта от посторонних взглядов.

До этого он ел и всё хищно оглядывался, точно боялся, что у него отнимут кусок; теперь он стал есть спокойнее, но всё-таки так быстро и жадно, что мне стало больно смотреть на этого изголодавшегося человека, и я повернулся спиной к нему.

– Благодарю! Очэн благодарю! – Он потряс меня за плечо, потом схватил мою руку, стиснул её и тоже жестоко стал трясти.

Через пять минут он уже рассказывал мне, кто он.

Грузин, князь Шакро Птадзе, один сын у отца, богатого кутаисского помещика, он служил конторщиком на одной из станций Закавказской железной дороги и жил вместе с товарищем. Этот товарищ вдруг исчез, захватив с собой деньги и ценные вещи князя Шакро, и вот князь пустился догонять его. Как-то случайно он узнал, что товарищ взял билет до Батума; князь Шакро отправился туда же. Но в Батуме оказалось, что товарищ поехал в Одессу. Тогда князь Шакро взял у некоего Ваню Сванидзе, парикмахера, – тоже товарища, одних лет с собой, но не похожего по приметам, – паспорт и двинулся в Одессу. Тут он заявил полиции о краже, ему обещали найти, он ждал две недели, проел все свои деньги и вот уже вторые сутки не ел ни крошки.

Я слушал его рассказ, перемешанный с ругательствами, смотрел на него, верил ему, и мне было жалко мальчика, – ему шёл двадцатый год, а по наивности можно было

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
дать ещё меньше. Часто и с глубоким негодованием он упоминал о крепкой дружбе, связывавшей его с вором-товарищем, укравшим такие вещи, за которые суровый отец Шакро наверное «зарэжет» сына «кынжалом», если сын не найдёт их. Я подумал, что, если не помочь этому малому, жадный город засосёт его. Я знал, какие иногда ничтожные случайности пополняют класс босяков; а тут для князя Шакро были налицо все шансы попасть в это почтенное, но не чтимое сословие. Мне захотелось помочь ему. Я предложил Шакро пойти к полицеймейстеру просить билет, он замялся и сообщил мне, что не пойдёт. Почему?

Оказалось, что он не заплатил денег хозяину номеров, в которых стоял, а когда с него потребовали денег, он ударил кого-то; потом он скрылся и теперь справедливо полагает, что полиция не скажет ему спасибо за неплатёж этих денег и за удар; да, кстати, он и нетвёрдо помнит – один удар или два, три или четыре нанёс он.

Положение осложнялось. Я решил, что буду работать, пока не заработаю достаточно денег для него на проезд до Батума, но – увы! – оказалось, что это случилось бы не очень скоро, ибо проголодавшийся Шакро ел за троих и больше.

В то время, вследствие наплыва «голодающих», подённые цены в гавани стояли низко, и из восьмидесяти копеек заработка мы вдвоём проедали шестьдесят. К тому же, ещё до встречи с князем, я решил пойти в Крым, и мне не хотелось оставаться надолго в Одессе. Тогда я предложил князю Шакро пойти со мной пешком на таких условиях: если я не найду ему попутчика до Тифлиса, то сам доведу его, а если найду, мы распростимся.

Князь посмотрел на свои щегольские ботинки, на шляпу, на брюки, погладил курточку, подумал, вздохнул не раз и, наконец, согласился. И вот мы с ним отправились из Одессы в Тифлис.

II

Когда мы пришли в Херсон, я знал моего спутника как малого наивно-дикого, крайне неразвитого, весёлого – когда он был сыт, унылого – когда голоден, знал его как сильное, добродушное животное.

Дорогой он рассказывал мне о Кавказе, о жизни помещиков-грузин, о их забавах и отношении к крестьянам. Его рассказы были интересны, своеобразно красивы, но рисовали предо мной рассказчика крайне нелестно для него. Рассказывает он, например, такой случай: к одному богатому князю съехались соседи на пирушку; пили вино, ели чурек и шашлык, ели лаваш и пилав, и потом князь повёл гостей в конюшню. Оседлали коней.

Князь взял себе лучшего и пустил его по полю. Горячий конь был! Гости хвалят его стати и быстроту, князь снова скачет, но вдруг в поле выносятся крестьянин на белой лошади и обгоняет коня князя, – обгоняет и... гордо смеётся. Стыдно князю перед гостями!.. Сдвинул он сурово брови, подозвал жестом крестьянина, и когда тот подъехал к нему, то ударом шашки князь срубил ему голову и выстрелом из револьвера в ухо убил коня, а потом объявил о своём поступке властям. И его осудили в каторгу...

Шакро передаёт мне это тоном сожаления о князе. Я пытаюсь ему доказать, что жалеть тут нечего, но он поучительно говорит мне:

– Кназей мало, крестьян много. За одного крестьянина нельзя судить князя.

Что такое крестьянин? Вот! – Шакро показывает мне комок земли. – А князь – как звезда!

Мы спорим, он сердится. Когда он сердится, то оскаливает зубы, как волк, и лицо у него делается острым.

– Молчи, Максим! Ты не знаешь кавказской жизни! – кричит он мне.

Мои доводы бессильны пред его непосредственностью, и то, что для меня было ясно, ему – смешно. Когда я ставил его в тупик доказательствами превосходства моих взглядов, он не задумывался, а говорил мне:

– Ступай на Кавказ, живи там. Увидишь, что я сказал правду. Все так делают, значит – так нужно. Зачем я буду тебе верить, если ты один только говоришь – это

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
не так, – а тысячи говорят – это так?

Тогда я молчал, понимая, что нужно возражать не словами, а фактами человеку, который верит в то, что жизнь, какова она есть, вполне законна и справедлива. Я молчал, а он с восхищением, чмокая губами, говорил о кавказской жизни, полной дикой красоты, полной огня и оригинальности. Эти рассказы, интересуя и увлекаая меня, в то же время возмущали и бесили своей жестокостью, поклонением богатству и грубой силе. Как-то раз я спросил его: знает ли он учение Христа?

– Канэчно! – пожав плечами, ответил он.

Но далее оказалось, что он знает столько: был Христос, который восстал против еврейских законов, и евреи распяли его за это на кресте. Но он был бог и потому не умер на кресте, а вознёсся на небо и тогда дал людям новый закон жизни...

– Какой? – спросил я.

Он посмотрел на меня с насмешливым недоумением и спросил:

– Ты христиэнин? Ну! Я тоже христиэнин. На зэмлэ почти всэ христиэнэ. Ну, что ты спрашиваешь? Видишь, как всэ живут?.. Это и есть закон Христа.

Я, возбуждённый, стал рассказывать ему о жизни Христа. Он слушал сначала со вниманием, потом оно постепенно ослабевало и, наконец, заключилось зевком.

Видя, что меня не слушает его сердце, я снова обращался к его уму и говорил с ним о выгодах взаимопомощи, о выгодах знания, о выгодах законности, о выгодах, всё о выгодах... Но мои доводы разбивались в пыль о каменную стену его миропонимания.

– Кто силён, тот сам себе закон! Ему не нужно учиться, он, и слепой, найдёт свой дорога! – лениво возразил мне князь Шакро.

Он умел быть верным самому себе. Это возбуждало во мне уважение к нему; но он был дик, жесток, и я чувствовал, как у меня иногда вспыхивала ненависть к Шакро. Однако я не терял надежды найти точку соприкосновения между нами, почву, на которой мы оба могли бы сойтись и понять друг друга.

Мы прошли Перекоп и подходили к Яйле. Я мечтал о южном берегу Крыма, князь, напевая сквозь зубы странные песни, был хмур. У нас вышли все деньги, заработать пока было негде. Мы стремились в Феодосию, там в то время начинались работы по устройству гавани.

Князь говорил мне, что и он тоже будет работать и что, заработав денег, мы поедем морем до Батума. В Батуме у него много знакомых, и он сразу найдёт мне место дворника или сторожа. Он хлопал меня по плечу и покровительственно говорил, сладко прищёлкивая языком:

– Я тэбэ устрою т-такую жизнь! Цце, цце! Вино бу-дэшь пить – сколько хочэшь, баранины – сколько хо-чэшь! Жэнишься на грузынкэ, на толстой грузынкэ, цце, цце, цце!.. Она тэбэ будэт лаваш печь, дэтэй родить, много дэтэй, цце, цце!

Это «цце, цце!» сначала удивляло меня, потом стало раздражать, потом уже доводило до тоскливого бешенства. В России таким звуком подманивают свиней, на Кавказе им выражают восхищение, сожаление, удовольствие, горе.

Шакро уже сильно потрепал свой модный костюм, и его ботинки лопнули во многих местах. Трость и шляпу мы продали в Херсоне. Вместо шляпы он купил себе старую фуражку железнодорожного чиновника.

Когда он в первый раз надел её на голову, – надел сильно набекрень, – то спросил меня:

– Идэт на мэна? Красыво?

III

И вот мы в Крыму, прошли Симферополь и направились к Ялте.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
Я шёл в немом восхищении перед красотой природы этого куска земли, ласкаемого морем. Князь вздыхал, горевал и, бросая вокруг себя печальные взгляды, пытался набивать свой пустой желудок какими-то странными ягодами. Знакомство с их питательными свойствами не всегда сходило ему с рук благополучно, и часто он со злым юмором говорил мне:

– Если мэна вывэрнэт наизнанку, как пойду далшэ? а? Скажи – как?

Возможности что-либо заработать нам не представлялось, и мы, не имея ни гроша на хлеб, питались фруктами и надеждами на будущее, а Шакро начинал уже упрекать меня в лени и в «роторазэвайствэ», как он выражался. Он вообще становился тяжёл, но больше всего угнетал меня рассказами о своём баснословном аппетите. Оказывалось, что он, позавтракав в двенадцать часов «маленким барашкэм», с тремя бутылками вина, в два часа мог без особых усилий съедать за обедом три тарелки какой-то «чахахбили» или «чихиртмы», миску пилава, шампур шашлыка, «сколки хочишь толмы» и ещё много разных кавказских яств и при этом выпивал вина – «сколко хотэл». Он по целым дням рассказывал мне о своих гастрономических наклонностях и познаниях, – рассказывал чмокая, с горящими глазами, оскаливая зубы, скрипя ими, звучно втягивая в себя и глотая голодную слюну, в изобилии брызгавшую из его красноречивых уст.

Как-то раз, около Ялты, я нанялся вычистить фруктовый сад от срезанных сучьев, взял вперёд за день плату и на всю полтину купил хлеба и мяса. Когда я принёс купленное, меня позвал садовник, и я ушёл, сдав покупки эти Шакро, который отказался от работы под предлогом головной боли. Возвратившись через час, я убедился, что Шакро, говоря о своём аппетите, не выходил из границ правды: от купленного мной не осталось ни крошки. Это был нетоварищеский поступок, но я смолчал, – на моё горе, как оказалось впоследствии.

Шакро, заметив моё молчание, воспользовался им по-своему. С этого времени началось нечто удивительно нелепое. Я работал, а он, под разными предлогами отказываясь от работы, ел, спал и понукал меня. Мне было смешно и грустно смотреть на него, здорового парня; когда я, усталый, возвращался, кончив работу, к нему, где-нибудь в тенистом уголке дожидавшемуся меня, он так жадно щупал меня глазами! Но ещё грустнее и обиднее было видеть, что он смеётся надо мной за то, что я работаю. Он смеялся, потому что выучился просить Христа ради. Когда он начал собирать милостыню, то сначала конфузился меня, а потом, когда мы подходили к татарской деревушке, он стал на моих глазах приготавливаться к сбору. Для этого он опирался на палку и волочил ногу по земле, как будто она у него болела, зная, что скупые татары не подадут здоровому парню. Я спорил с ним, доказывая ему постыдность такого занятия...

– Я нэ умею работать! – кратко возражал он мне.

Ему подавали скудно. Я в то время начинал прихварывать. Путь становился труднее день ото дня, и мои отношения с Шакро всё тяжелей. Он теперь уж действительно требовал, чтоб я его кормил.

– Ты мэна вэдешь? Вэди! Разве можно так далэко мэна идти пэшком? Я нэ привык.

Я умэрэть могу от этого! Что ты мэна мучаишь, убиваишь? Эсли я вумру, как будит всэ? Мать будит плакать, атэц будит плакать, товарищи будут плакать! Сколько это слэз?

Я слушал такие речи, но не сердился на них. В то время во мне начала закрадываться странная мысль, побуждавшая меня выносить всё это. Бывало – спит он, а я сижу рядом с ним и, рассматривая его спокойное, неподвижное лицо, повторяю про себя, как бы догадываясь о чём-то:

– Мой спутник... спутник мой...

И в сознании моём порою смутно возникала мысль, что Шакро только пользуется своим правом, когда он так уверенно и смело требует от меня помощи ему и забот о нём. В этом требовании был характер, была сила. Он меня поработал, я ему поддавался и изучал его, следил за каждой дрожью его физиономии, пытаюсь представить себе, где и на чём он остановится в этом процессе захвата чужой личности. Он же чувствовал себя прекрасно, пел, спал и подсмеивался надо мной, когда ему этого хотелось. Иногда мы с ним расходились дня на два, на три в

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
разные стороны; я снабжал его хлебом и деньгами, если они были, и говорил, где
ему ожидать меня. Когда мы сходились снова, то он, проводивший меня
подозрительно и с грустной злобой, встречал так радостно, торжествуя и всегда,
смеясь, говорил:

– Я думал, ты убёжал адын, бросил мэня! Ха, ха, ха!..

Я давал ему есть, рассказывал о красивых местах, которые видел, и раз, говоря о
Бахчисарае, кстати рассказал о Пушкине и привел его стихи. На него не
производило всё это никакого впечатления.

– Э, стихи! Это пэсни, не стихи! Я знал одного человекэ, грузына, тот пэл пэсни!
Это пэсни!.. Запоёт – ай, ай, ай!.. Громко... очэн громко пэл! Точно у него в
горлэ кинжалом ворочают!.. Он зарэзал одного духанщика, Сибирь тепэр пошёл.

После каждого возвращения к нему я всё больше и ниже падал в его мнению, и он не
умел скрывать этого от меня.

Дела наши шли нехорошо. Я еле находил возможность заработать рубль-полтора в
неделю, и, разумеется, этого было менее чем мало двоим. Сборы Шакро не делали
экономии в пище. Его желудок был маленькою пропастью, поглощавшей всё без
разбора – виноград, дыни, солёную рыбу, хлеб, сушёные фрукты, – и от времени она
как бы всё увеличивалась в объёме и всё больше требовала жертв.

Шакро стал торопить меня уходить из Крыма, резонно заявляя мне, что уже – осень,
а путь ещё далёк. Я согласился с ним. К тому же я успел посмотреть эту часть
Крыма, и мы пошли на Феодосию, в чайнии «зашибить» там «деньгу», которой у нас
всё-таки не было.

Отойдя вёрст двадцать от Алушты, мы остановились ночевать. Я уговорил Шакро идти
берегом, хотя это был длиннейший путь, но мне хотелось надыхаться морем. Мы
разожгли костёр и лежали около него. Вечер был дивный. Тёмно-зелёное море билось
о скалы внизу под нами; голубое небо торжественно молчало вверху, а вокруг нас
тихо шумели кустарники и деревья. Исходила луна. От узорчатой зелени чинар пали
тени.

Пела какая-то птица, задорно и звучно. Её серебряные трели таяли в воздухе,
полном тихого и ласкового шума волн, и, когда они исчезали, слышалось нервное
стрекотанье какого-то насекомого. Костёр горел весело, и его огонь казался
большим пылающим букетом красных и жёлтых цветов. Он тоже рождал тени, и эти
тени весело прыгали вокруг нас, как бы рисуясь своею живостью пред ленивыми
тенями луны. Широкий горизонт моря был пустынен, небо над ним безоблачно, и я
чувствовал себя на краю земли, созерцающим пространство – эту чарующую душу
загадку... Пугливое чувство близости к чему-то великому наполняло мою душу, и
сердце трепетно замирало.

Вдруг Шакро громко расхохотался:

– Ха, ха, ха!.. Какой тебэ глупая рожа! Савсэм как у барана! А, ха, ха, ха!..

Я испугался, точно надо мной внезапно грянул гром. Но это было хуже. Это было
смешно, да, но – как же это было обидно!.. Он, Шакро, плакал от смеха; я
чувствовал себя готовым плакать от другой причины. У меня в горле стоял камень,
я не мог говорить и смотрел на него дикими глазами, чем ещё больше усиливал его
смех. Он катался по земле, поджав живот; я же всё ещё не мог придти в себя от
нанесённого мне оскорбления..

Мне была нанесена тяжкая обида, и те немногие, которые, я надеюсь, поймут её, –
потому что, может быть, сами испытали нечто подобное, – те снова взвешают в своей
душе эту тяжесть.

– Перестань!! – бешено крикнул я.

Он испугался, вздрогнул, но всё ещё не мог сдержаться, пароксизмы смеха всё ещё
схватывали его, он надувал щёки, тарашил глаза и вдруг снова раздражался хохотом.
Тогда я встал и пошёл прочь от него. Я шёл долго, без дум, почти без сознания,
полный жгучим ядом обиды. Я обнимал всю природу и молча, всей душой объяснял
ей в любви, в горячей любви человека, который немножко поэт... а она, в лице

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
Шакро, расхохоталась надо мной за моё увлечение! Я далеко зашёл бы в составлении обвинительного акта против природы, Шакро и всех порядков жизни, но за мной раздалась быстрые шаги.

– Не сэрдысь! – сконфуженно произнёс Шакро, тихонько касаясь моего плеча.

– Ты молился? Я нэ знал.

Он говорил робким тоном нашалившего ребёнка, и я, несмотря на моё возбуждение, не мог не видеть его жалкой физиономии, смешно искривлённой смущением и страхом.

– я тэбя нэ трону болше. Вэрно! Ныкогда!

Он отрицательно тряс головой.

– Я выжу, ты смиренный. Работаешь. Мэня не заставляешь. Думаю – почэму?

Значит – глупый он, как баран...

Это он меня утешал! Это он извинялся предо мной! Конечно, после таких утешений и извинений мне ничего не оставалось более, как простить ему не только прошлое, но и будущее.

Через полчаса он крепко спал, а я сидел рядом с ним и смотрел на него. Во сне даже сильный человек кажется беззащитным и беспомощным, – Шакро был жалок. Толстые губы, вместе с поднятыми бровями, делали его лицо детским, робко удивлённым. Дышал он ровно, спокойно, но иногда возился и бредил, говоря просительно и торопливо по-грузински.

Вокруг нас царил та напряжённая тишина, от которой всегда ждёшь чего-то и которая, если б могла продолжаться долго, сводила бы с ума человека своим совершенным покоем и отсутствием звука, этой яркой тени движения. Тихий шорох волн не долетал до нас, – мы находились в какой-то яме, поросшей цепкими кустарниками и казавшейся мохнатым зевом окаменевшего животного. Я смотрел на Шакро и думал:

«Это мой спутник... Я могу бросить его здесь, но не могу уйти от него, ибо имя ему – легион... Это спутник всей моей жизни... он до гроба проводит меня...»

Феодосия обманула наши ожидания. Когда мы пришли, там было около четырёхсот человек, чаявших, как и мы, работы и тоже принуждённых удовлетвориться ролью зрителей постройки мола. Работали турки, греки, грузины, смоленцы, полтавцы. Всюду – и в городе, и вокруг него – бродили группами серые, удручённые фигуры «голодающих» и рыскали волчьей рысью азовские и таврические босяки.

Мы пошли в Керчь.

Мой спутник держал своё слово и не трогал меня; но он сильно голодал и прямо-таки по-волчьи щёлкал зубами, видя, как кто-нибудь ел, приводя меня в ужас описаниями количеств разной пищи, которую он готов был поглотить. С некоторых пор он начал вспоминать о женщинах. Сначала вскользь, со вздохами сожаления, потом чаще, с алчными улыбками «восточного чэлавэка», он, наконец, дошёл до того, что не мог уже пропустить мимо себя ни одной особы женского пола, каких бы лет и наружности она ни была, чтоб не поделиться со мной какой-нибудь практически-философской сальностью по поводу той или другой её статьи. Он трактовал о женщинах так свободно, с таким знанием предмета и смотрел на них с такой удивительно прямой точки зрения, что я только отплёвывался. Однажды я попробовал доказать ему, что женщина – существо ничем не худшее его, но, видя, что он не только обижается на меня за мои взгляды, а даже готов прийти в бешенство за унижение, каковому, по его мнению, я подвергал его, – оставил мои попытки до поры, пока он будет сыт.

На Керчь мы шли уже не берегом, а степью, в видах сокращения пути, в котомке у нас была всего только одна ячменная лепёшка фунта в три, купленная у татарина на последний наш пятак. Попытки Шакро просить хлеба по деревням не приводили ни к чему, везде кратко отвечали: «Много вас!..» Это была великая истина: действительно, до ужаса много было людей, искавших куска хлеба в этот тяжёлый год.

Мой спутник терпеть не мог «голодающих» – конкурентов ему в сборе милостыни.

Запас его жизненных сил, несмотря на трудность пути и плохое питание, не позволял ему приобрести такого испитого и жалкого вида, каким они, по справедливости, могли гордиться как некоторым совершенством, и он, ещё издали видя их, говорил:

– Опэт идут! Фу, фу, фу! Чэго ходят? Чэго едут? Развэ Россия тэсна? Нэ понимаю! Очень глупый народ России!

И когда я объяснял ему причины, побудившие глупый русский народ ходить по Крыму в поисках хлеба, он, недоверчиво качая головой, возражал:

– Нэ понимаю! Какы можно!.. У нас в Грузии нэ бывает таких глупостэй!

Мы пришли в Керчь поздно вечером и принуждены были ночевать под мостками с пароходной пристани на берег. Нам не мешало спрятаться: мы знали, что из Керчи, незадолго до нашего прихода, был вывезен весь лишний народ – босяки, мы побаивались, что попадём в полицию; а так как Шакро путешествовал с чужим паспортом, то это могло повести к серьёзным осложнениям в нашей судьбе.

Волны пролива всю ночь щедро осыпали нас брызгами, на рассвете мы вылезли из-под мостков мокрые и иззябшие. Целый день ходили мы по берегу, и всё, что удалось заработать, – это гривенник, полученный мною с какой-то пощады, которой я отнёс мешок дынь с базара.

Нужно было переправиться через пролив в Тамань. Ни один лодочник не соглашался взять нас гребцами на тот берег, как я ни просил об этом. Все были восстановлены против босяков, незадолго перед нами натворивших тут много геройских подвигов, а нас, не без основания, причисляли к их категории.

Когда настал вечер, я, со зла на свои неудачи и на весь мир, решился на несколько рискованную штуку и с наступлением ночи привёл её в исполнение.

IV

Ночью я и Шакро тихонько подошли к таможенной брандвахте, около которой стояли три шлюпки, привязанные цепями к кольцам, ввинченным в каменную стену набережной.

Было темно, дул ветер, шлюпки толкались одна о другую, цепи звенели... Мне было удобно раскатать кольцо и выдернуть его из камня.

Над нами, на высоте аршин пяти, ходил таможенный солдат-часовой и насвистывал сквозь зубы. Когда он останавливался близко к нам, я прекращал работу, но это было излишней осторожностью; он не мог предположить, что внизу человек сидит по горло в воде. К тому же цепи стучали непрерывно и без моей помощи. Шакро уже растянулся на дне шлюпки и шептал мне что-то, чего я не мог разобрать за шумом волн. Кольцо в моих руках... Волна подхватила лодку и отбросила её от берега. Я держался за цепь и плыл рядом с ней, потом влез в неё. Мы сняли две настоящие доски и, укрепив их в уключинах вместо вёсел, поплыли...

Играли волны, и Шакро, сидевший на корме, то пропадал из моих глаз, проваливаясь вместе с кормой, то подымался высоко надо мной и, крича, почти падал на меня. Я посоветовал ему не кричать, если он не хочет, чтобы часовой услышал его. Тогда он замолчал. Я видел белое пятно на месте его лица. Он всё время держал руль. Нам некогда было перемениться ролями, и мы боялись переходить по лодке с места на место. Я кричал ему, как ставить лодку, и он, сразу понимая меня, делал всё так быстро, как будто родился моряком. Доски, заменявшие весла, мало помогали мне. Ветер дул в корму нам, и я мало заботился о том, куда нас несёт, стараясь только, чтобы нос стоял поперёк пролива. Это было легко установить, так как ещё были видны огни Керчи. Волны заглядывали к нам через борта и сердито шумели; чем дальше выносило нас в пролив, тем они становились выше. Вдали слышался уже рёв, дикий и грозный... А лодка всё неслась – быстрее и быстрее, было очень трудно держать курс. Мы то и дело проваливались в глубокие ямы и взлетали на водяные бугры, а ночь становилась всё темней, тучи опускались ниже.

Огни за кормой пропали во мраке, и тогда стало страшно. Казалось, что

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki.umax
пространство гневной воды не имело границ. Ничего не было видно, кроме волн,
летевших из мрака.

Они вышибли одну доску из моей руки, я сам бросил другую на дно лодки и крепко схватился обеими руками за борта. Шакро выл диким голосом каждый раз, как лодка подпрыгивала вверх. Я чувствовал себя жалким и бессильным в этом мраке, окружённый разгневанной стихией и оглушаемый её шумом. Без надежды в сердце, охваченный злым отчаянием, я видел вокруг только эти волны с беловатыми гривами, рассыпавшимися в солёные брызги, и тучи надо мной, густые, лохматые, тоже были похожи на волны... Я понимал лишь одно: всё, что творится вокруг меня, может быть неизмеримо сильнее и страшнее, и мне было обидно, что оно сдерживается и не хочет быть таким. Смерть неизбежна. Но этот бесстрастный, всё нивелирующий закон необходимо чем-нибудь скрашивать – уж очень он тяжёл и груб. Если бы мне предстояло сгореть в огне или утонуть в болотной трясине, я постарался бы выбрать первое – всё-таки как-то приличнее...

.....
– Поставим парус! – крикнул Шакро.

– Где он? – спросил я.

– Из моего чэкмэня...

– Бросай его сюда! Не выпускай руля!..

Шакро молча завозился на корме.

– Дэржы!..

Он бросил мне свой чекмень. Кое-как ползая по дну лодки, я оторвал от наста ещё доску, надел на неё рукав плотной одежды, поставил её к скамье лодки, припёр ногами и только что взял в руки другой рукав и полу, как случилось нечто неожиданное...

Лодка прыгнула как-то особенно высоко, потом полетела вниз, и я очутился в воде, держа в одной руке чекмень, а другой уцепившись за верёвку, протянутую по внешней стороне борта. Волны с шумом прыгали через мою голову, я глотал солёно-горькую воду.

Она наполнила мои уши, рот, нос... Крепко вцепившись руками в верёвку, я поднимался и опускался на воде, стучаясь головой о борт, и, вскинув чекмень на дно лодки, старался вспрыгнуть на него сам. Одно из десятка моих усилий удалось, я оседлал лодку и тотчас же увидел Шакро, который кувыркнулся в воде, уцепившись обеими руками за ту же верёвку, которую я только что выпустил. Она, оказалось, обходила всю лодку кругом, пролетая в железные кольца бортов.

– Жив! – крикнул я ему.

Он высоко подпрыгнул над водой и также брякнулся на дно лодки. Я подхватил его, и мы очутились лицом к лицу друг с другом. Я сидел на лодке, точно на коне, всунув ноги в бечёвки, как в стремя, – но это было ненадёжно: любая волна легко могла выбить меня из седла. Шакро уцепился руками за мои колени и ткнулся головой мне в грудь. Он весь дрожал, и я чувствовал, как тряслись его челюсти. Нужно было что-то делать! Дно было скользко, точно смазанное маслом. Я сказал Шакро, чтоб он спускался снова в воду, держась за верёвки с одного борта, а я так же устроюсь на другом. Вместо ответа он начал толкать меня головой в грудь. Волны в дикой пляске то и дело прыгали через нас, и мы еле держались; одну ногу мне страшно резало верёвкой.

Всюду в поле зрения рождались высокие бугры воды и с шумом исчезали.

Я повторил сказанное уже тоном приказания. Шакро ещё сильнее стал стучать меня своей головой в грудь. Медлить было нельзя. Я оторвал от себя его руки одну за другой и стал толкать его в воду, стараясь, чтоб он задел своими руками за верёвки. И тут произошло нечто, испугавшее меня больше всего в эту ночь.

– Топишь мэня? – прошептал Шакро и взглянул мне в лицо.

Это было действительно страшно! Страшен был его вопрос, ещё страшнее тон вопроса, в котором звучала и робкая покорность, и просьба пощады, и последний вздох человека, потерявшего надежду избежать рокового конца. Но ещё страшнее были глаза на мертвенно-бледном мокром лице!..

Я крикнул ему:

– Держись крепче! – и спустился в воду сам, держась за верёвку. Я ударился о что-то ногой и в первый момент не мог ничего понять от боли. Но потом понял. Во мне вспыхнуло что-то горячее, я опьянел и почувствовал себя сильным, как никогда...

– Земля! – крикнул я.

Может быть, великие мореплаватели, открывавшие новые земли, кричали при виде их это слово с большим чувством, чем я, но сомневаюсь, чтоб они могли кричать громче меня. Шакро завыл и бросился в воду. Но оба быстро охладели: воды было ещё по грудь нам, и нигде не виделось каких-либо более существенных признаков сухого берега. Волны здесь были слабее и уже не прыгали, а лениво перекачивались через нас. К счастью, я не выпустил из рук шлюпки. И вот мы с Шакро стали по её бортам и, держась за спасательные веревки, осторожно пошли куда-то, ведя за собой лодку.

Шакро бормотал что-то и смеялся. Я озабоченно поглядывал вокруг. Было темно.

Сзади и справа от нас шум волн был сильнее, впереди и влево – тише; мы пошли влево.

Почва была твёрдая, песчаная, но вся в ямах; иногда мы не доставали дна и гребли ногами и одной рукой, другой держась за лодку; иногда воды было только по колено.

На глубоких местах Шакро выл, а я дрожал в страхе. И вдруг – спасение! – впереди нас засверкал огонь...

Шакро заорал что есть мочи; но я твёрдо помнил, что лодка казённая, и тотчас же заставил его вспомнить об этом. Он замолчал, но через несколько минут раздались его рыдания. Я не мог успокоить его – нечем было.

Воды становилось всё меньше... по колено... по щиколотки... Мы всё тащили казённую лодку; но тут у нас не стало сил, и мы бросили её. На пути у нас лежала какая-то чёрная коряга. Мы перепрыгнули через неё – и оба босыми ногами попали в какую-то колючую траву. Это было больно и со стороны земли – негостеприимно, но мы не обращали на это внимания и побежали на огонь. Он был в версте от нас и, весело пылая, казалось, смеялся навстречу нам.

У

...Три громадные, кудлатые собаки, выскочив откуда-то из тьмы, бросились на нас. Шакро, всё время судорожно рыдавший, взвыл и упал на землю. Я швырнул в собак мокрым чекменём и наклонился, шаря рукой камня или палки. Ничего не было, только трава колола руки. Собаки дружно наскakивали. Я засвистал что есть мочи, вложив в рот два пальца. Они отскочили, и тотчас же послышался топот и говор бегущих людей.

Через несколько минут мы были у костра в кругу четырёх чабанов, одетых в овчины шерстью вверх.

Двое сидели на земле и курили, один – высокий, с густой чёрной бородой и в казацкой папахе – стоял сзади нас, опершись на палку с громадной шишкой из корня на конце; четвёртый, молодой русский парень, помогал плакавшему Шакро раздеваться.

Сажень в пяти от нас земля на большом пространстве была покрыта толстым пластом чего-то густого, серого и волнообразного, похожего на весенний, уже начавший таять, снег. Только долго и пристально всматриваясь, можно было разобрать отдельные фигуры овец, плотно прильнувших одна к другой. Их было тут несколько тысяч, сдавленных сном и мраком ночи в густой, тёплой и толстый пласт, покрывавший степь. Иногда они блеяли жалобно и пугливо...

я сушил чекмень над огнём и говорил чабанам всё по правде, рассказал и о способе, которым добыл лодку.

– Где ж она, та лодка? – спросил меня суровый седой старик, не сводивший с меня глаз.

Я сказал.

– Пойди, Михал, взглянь!..

Михал, – тот, чернобородый, – вскинул палку на плечо и отправился к берегу.

Шакро, дрожавший от холода, попросил меня дать ему тёплый, но ещё мокрый чекмень, но старик сказал:

– Годи! Побегай прежде, чтоб разогреть кровь. Беги круг костра, ну!

Шакро сначала не понял, но потом вдруг сорвался с места и, голый, начал танцевать дикий танец, мячиком перелетая через костёр, кружась на одном месте, топая ногами о землю, крича во всю мочь, размахивая руками. Это была уморительная картина.

Двое чабанов покатывались по земле, хохоча во всё горло, а старик с серьёзным, невозмутимым лицом старался отбивать ладонями такт пляски, но не мог его уловить, присматривался к танцу Шакро, качая головой и шевеля усами, и всё покрикивал густым басом:

– Гай-га! Так, так! Гай-га! Буц, буц!

Освещённый огнём костра, Шакро извивался змеёй, прыгал на одной ноге, выбивал дробь обеими, и его блестящее в огне тело покрывалось крупными каплями пота, они казались красными, как кровь.

Теперь уже все трое чабанов били в ладони, а я, дрожа от холода, сушился у костра и думал, что переживаемое приключение сделало бы счастливым какого-нибудь поклонника Купера и Жюля Верна: кораблекрушение, и гостеприимные аборигены, и пляска дикаря вокруг костра...

Вот Шакро уже сидит на земле, закутанный в чекмень, и ест что-то, поглядывая на меня чёрными глазами, в которых искрилось нечто, возбуждавшее во мне неприятное чувство. Его одежда сушилась, повешенная на палки, воткнутые в землю около костра.

Мне тоже дали есть хлеба и солёного сала.

Пришёл Михал и молча сел рядом со стариком.

– Ну? – спросил старик.

– Есть лодка! – кратко сказал Михал.

– Её не смоят?

– Нет!

И они все замолчали, разглядывая меня.

– Что ж, – спросил Михал, ни к кому собственно не обращаясь, – свести их в станицу к атаману? – А может, – прямо к таможенным?

Ему не ответили. Шакро ел спокойно.

– Можно к атаману свести... и к таможенным тоже... И то гарно, и другое, – сказал, помолчав, старик.

– Погоди, дед... – начал я.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Но он не обратил на меня никакого внимания.

– Вот так-то! Михал! Лодка там?

– Эге, там...

– Что ж... её не смоеет вода?

– Ни... не смоеет.

– Так и пускай её стоит там. А завтра лодочники поедут до Керчи и захватят её с собой. Что ж бы им не захватить пустую лодку? Э? Ну вот... А теперь вы... хлопцы-рванцы... того... як его?.. Не боялись вы оба? Нет? Те-те!.. А ещё бы полверсты, то и быть бы вам в море. Что ж бы вы поделали, коли б выкинуло в море? А? Утонули бы, как топоры, оба!.. Утонули бы, и – всё тут.

Старик замолчал и с насмешливой улыбкой в усах взглянул на меня.

– Что ж ты молчишь, парнюга?

Мне надоели его рассуждения, которые я, не понимая, принимал за издевательство над нами.

– Да вот слушаю тебя! – сказал я довольно сердито.

– Ну, и что ж? – поинтересовался старик.

– Ну, и ничего.

– А чего ж ты дразнишься? Разве то порядок дразнить старшего, чем сам ты?

Я промолчал.

– А есть ты не хочешь ещё? – продолжал старик.

– Не хочу.

– Ну, не ешь. Не хочешь – и не ешь. А может, на дорогу взял бы хлеба?

Я вздрогнул от радости, но не выдал себя.

– На дорогу взял бы... – спокойно сказал я.

– Эге!.. Так дайте ж им на дорогу хлеба и сала там... А может, ещё что есть? то и этого дайте.

– А разве ж они пойдут? – спросил Михал.

Остальные двое подняли глаза на старика.

– А чего ж бы им с нами делать?

– Да ведь к атаману мы их хотели... а то – к таможенным... – разочарованно заявил Михал.

Шакро завозился около костра и любопытно высунул голову из чекменя. Он был спокоен.

– Что ж им делать у атамана? Нечего, пожалуй, им у него делать. После уж они пойдут к нему... коли захотят.

– А лодка как же? – не уступал Михал.

– Лодка? – переспросил старик. – Что ж лодка? Стоит она там?

– Стоит... – ответил Михал.

– Ну, и пусть её стоит. А утром Ивашка сгонит её к пристани... там её возьмут до

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax Керчи. Больше и нечего делать с лодкой.

Я пристально смотрел на старого чабана и не мог уловить ни малейшего движения на его флегматичном, загорелом и обветренном лице, по которому прыгали тени от костра.

– А не вышло бы греха какого часом... – начал сдаваться Михал.

– Коли ты не дашь воли языку, то греха не должно бы, пожалуй, выйти. А если их довести до атамана, то это, думаю я, беспокойно будет и нам и им. Нам надо своё дело делать, им – идти. – Эй! Далеко ещё вам идти? – спросил старик, хотя я уже говорил ему, как далеко.

– До Тифлиса...

– Много пути! Вот видишь, а – атаман задержит их; а коли он задержит, когда они придут? Так уж пусть же они идут себе, куда им дорога. А?

– А что ж? Пускай идут! – согласились товарищи старика, когда он, кончив свои медленные речи, плотно сжал губы и вопросительно оглянул всех их, крутя пальцами свою сивую бороду.

– Ну, так идите же к богу, ребята! – махнул рукой старик. – А лодку мы отправим на место. Так ли?

– Спасибо тебе, дед! – скинул я шапку.

– А за что ж спасибо?

– Спасибо, брат, спасибо! – взволнованно повторил я.

– Да за что ж спасибо? Вот чудно! Я говорю – идите к богу, а он мне – спасибо! Разве ты боялся, что я к дьяволу тебя пошлю, э?

– Был грех, боялся!.. – сказал я.

– О!.. – и старик поднял брови. – Зачем же мне направлять человека по дурному пути? Уж лучше я его по тому пошлю, которым сам иду. Может быть, ещё встретимся, так уж – знакомы будем. Часом помочь друг другу придется... До свидки!..

Он снял свою мохнатую баранью шапку и поклонился нам. Поклонились и его товарищи. Мы спросили дорогу на Анапу и пошли. Шакро смеялся над чем-то...

VI

– Ты что смеёшься? – спросил я его.

Я был в восхищении от старого чабана и его жизненной морали, я был в восхищении и от свежего предрассветного ветерка, веявшего прямо нам в грудь, и оттого, что небо очистилось от туч, скоро на ясное небо выйдет солнце и родится блестящий красавец-день...

Шакро хитро подмигнул мне глазом и расхохотался ещё сильнее. Я тоже улыбался, слыша его весёлый, здоровый смех. Два-три часа, проведённые нами у костра чабанов, и вкусный хлеб с салом оставили от утомительного путешествия только лёгонькую ломоту в костях; но это ощущение не мешало нашей радости.

– Ну, чего ж ты смеёшься? Рад, что жив остался, да? Жив, да ещё и сыт?

Шакро отрицательно мотнул головой, толкнул меня локтем в бок, сделал мне гримасу, снова расхохотался и, наконец, заговорил своим ломаным языком:

– Нэ панымаишь, почэму смэшно? Нэт? Сэчас будишь знать! Знаишь, что я сдэлал бы, когда бы нас павэли к этому атаману-таможану? Нэ знаишь? Я бы сказал про тэбя: он мэня утопить хотэл! И стал бы плакать. Тогда бы мэня стали жалэть и не посадыли бы в турму! Панымаишь?

Я хотел сначала понять это как шутку, но – увы! – он сумел меня убедить в серьёзности своего намерения. Он так основательно и ясно убеждал меня в этом,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
что я, вместо того чтобы взбеситься на него за этот наивный цинизм, преисполнился к нему чувством глубокой жалости. Что иное можно чувствовать к человеку, который с светлейшей улыбкой и самым искренним тоном рассказывает тебе о своём намерении убить тебя? Что с ним делать, если он смотрит на этот поступок как на милую, остроумную шутку?

Я с жаром пустился доказывать Шакро всю безнравственность его намерения.

Он очень просто возражал мне, что я не понимаю его выгод, забываю о проживании по чужому билету и о том, что за это – не хвалят...

Вдруг у меня блеснула одна жестокая мысль...

– погоди, – сказал я, – да ты веришь в то, что я действительно хотел топить тебя?

– нэт!.. Когда ты мэня в воду толкал – вэрил, когда сам ты пошёл – нэ вэрил!

– слава богу! – воскликнул я. – Ну, и за это спасибо!

– нэт, нэ гавари спасыбо! я тэбэ скажу спасыбо! Там, у костра, тэбэ холодно было, мне холодно было... Чэкмэнь твой, – ты нэ взял его сэбэ. Ты его высушил, дал мне. А сэбэ ничэго нэ взял. Вот тэбэ спасыбо! Ты очэнь хороший человек – я панымаю.

Придём в Тыфлыс, – за всё получишь. К отцу тэбя павэду. Скажу отцу – вот человек!

Карми его, пои его, а мэня – к ишакам в хлэв! Вот как скажу! Жить у нас будэшь, садовником будэшь, пить будэшь вино, есть чэго хочэшь!.. Ах, ах, ах!.. Очень харашо будэт тэбе жить! Очэнь просто!.. пей, ешь из адной чашка со мной!..

Он долго и подробно рисовал прелести жизни, которую собирался устроить мне у себя в Тифлисе. А я под его говор думал о великом несчастье тех людей, которые, вооружившись новой моралью, новыми желаниями, одиноко ушли вперёд и встречаются на дороге своей спутников, чуждых им, неспособных понимать их... Тяжела жизнь таких одиноких! Они – над землёй, в воздухе... Но они носятся в нём, как семена добрых злаков, хотя и редко сгнивают в почве плодотворной...

Светало. Даль моря уже блестела розоватым золотом.

– я спать хочу! – сказал Шакро.

Мы остановились. Он лёг в яму, вырытую ветром в сухом песке недалеко от берега, и, с головой закутавшись в чекмень, скоро заснул. Я сидел рядом с ним и смотрел в море.

Оно жило своей широкой жизнью, полной мощного движения. Стаи волн с шумом катились на берег и разбивались о песок, он слабо шипел, впитывая воду. Взмахивая белыми гривами, передовые волны с шумом ударялись грудью о берег и отступали, отражённые им, а их уже встречали другие, шедшие поддержать их. Обнявшись крепко, в пене и брызгах, они снова катились на берег и били его в стремлении расширить пределы своей жизни. От горизонта до берега, на всём протяжении моря, рождались эти гибкие и сильные волны и всё шли, шли плотной массой, тесно связанные друг с другом единством цели...

Солнце всё ярче освещало их хребты, у далёких волн, на горизонте, они казались кроваво-красными. Ни одной капли не пропадало бесследно в этом титаническом движении водной массы, которая, казалось, воодушевлена какой-то сознательной целью и вот – достигает её этими широкими, ритмичными ударами. Увлекательна была красивая храбрость передовых, задорно прыгавших на молчаливый берег, и хорошо было смотреть, как вслед за ними спокойно и дружно идёт всё море, могучее море, уже окрашенное солнцем во все цвета радуги и полное сознания своей красоты и силы...

Из-за мыса, рассекая волны, выплыл громадный пароход и, важно качаясь на взволнованном лоне моря, понёсся по хребтам волн, бешено бросавшихся на его борта.

Красивый и сильный, блестящий на солнце своим металлом, в другое время он, пожалуй, мог бы навести на мысль о гордом творчестве людей, поработающих стихии... Но рядом со мной лежал человек-стихия.

VII

Мы шли по Терской области. Шакро был растрёпан и оборван на диво и был чертовски зол, хотя уже не голодал теперь, так как заработка было достаточно. Он оказался неспособным к какой-либо работе. Однажды попробовал стать к молотилке отгрести солому и через полдня сошёл, натерев граблями кровавые мозоли на ладонях. Другой раз стали корчевать держидерево, и он сорвал себе мотыгой кожу с шеи.

Шли мы довольно медленно, – два дня работаешь, день идёшь. Ел Шакро крайне несдержанно, и, по милости его чревоугодия, я никак не мог скопить столько денег, чтоб иметь возможность приобрести ему какую-либо часть костюма. А у него все части – были сонмищем разнообразных дыр, кое-как связанных разноцветными заплатами.

Однажды в какой-то станице он вытащил из моей котомки с большим трудом, тайно от него скопленные пять рублей и вечером явился, в дом, где я работал в огороде, пьяный и с какой-то толстой бабой-казачкой, которая поздоровалась со мной так:

– Здравствуй, еретик проклятый!

А когда я, удивлённый таким эпитетом, спросил её, – почему же я еретик?

– она с апломбом ответила мне:

– А потому, дьявол, что запрещаешь парню женский пол любить! Разве ты можешь запрещать, коли закон позволяет?.. Анафема ты!..

Шакро стоял рядом с ней и утвердительно кивал головой. Он был очень пьян и когда делал какое-либо движение, то весь развинченно качался. Нижняя губа у него отвисла. Тусклые глаза смотрели мне в лицо бессмысленно-упорно.

– Ну, ты, чего ж вытаращил zenки на нас? Давай его деньги! – закричала храбрая баба.

– Какие деньги? – изумился я.

– Давай, давай! А то я тебя в войсковую сведу! Давай те полтора рубля, что взял у него в Одессе!

Что мне было делать? Чёртова баба с пьяных глаз в самом деле могла пойти в войсковую избу, и тогда станичное начальство, строгое к разному странствующему люду, арестовало бы нас. Кто знает, что могло выйти из этого ареста для меня и Шакро!

И вот я начал дипломатически обходить бабу, что, конечно, стоило не больших усилий.

Кое-как при помощи трёх бутылок вина я умиротворил её. Она свалилась на землю между арбузов и заснула. Я уложил Шакро, а рано утром другого дня мы с ним вышли из станицы, оставив бабу с арбузами.

Полубольной с похмелья, с измятым и опухшим лицом, Шакро ежеминутно плевался и тяжело вздыхал. Я пробовал разговаривать с ним, но он не отвечал мне и только помахивал своей кудлатой головой, как баран.

Мы шли узкой тропинкой, по ней взад и вперёд ползали маленькие красные змейки, извиваясь у нас под ногами. Тишина, царившая вокруг, погружала в мечтательно-дремотное состояние. Следом за нами по небу медленно двигались чёрные стаи туч. Сливаясь друг с другом, они покрыли всё небо сзади нас, тогда как впереди оно было ещё ясно, хотя уже клочья облаков выбежали в него и резво неслись куда-то вперёд, обгоняя нас.

Далеко где-то рокотал гром, его ворчливые звуки всё приближались. Падали капли дождя. Трава металлически шелестела.

Нам негде было укрыться. Вот стало темно, и шелест травы зазвучал громче, испуганно. Грянул гром – и тучи дрогнули, охваченные синим огнём. Крупный дождь полился ручьями, и один за другим удары грома начали непрерывно рокотать в пустынной степи. Трава, сгибаемая ударами ветра и дождя, ложилась на землю. Всё дрожало, волновалось.

Молнии, слепя глаза, рвали тучи.. В голубом блеске их вдали вставала горная цепь, сверкая синими огнями, серебряная и холодная, а когда молнии гасли, она исчезала, как бы проваливаясь в тёмную пропасть. Всё гремело, вздрагивало, отталкивало звуки и родило их. Точно небо, мутное и гневное, огнём очищало себя от пыли и всякой мерзости, поднявшейся до него с земли, и земля, казалось, вздрагивала в страхе пред гневом его.

Шакро ворчал, как испуганная собака. А мне было весело, я как-то приподнялся над обыкновенным, наблюдая эту могучую мрачную картину степной грозы. Дивный хаос увлекал и настраивал на героический лад, охватывая душу грозной гармонией..

И мне захотелось принять участие в ней, выразить чем-нибудь переполнившее меня чувство восхищения перед этой силой. Голубое пламя, охватывавшее небо, казалось, горело и в моей груди; и – чем мне было выразить моё великое волнение и мой восторг?

Я запел – громко, во всю силу. Ревел гром, блистали молнии, шуршала трава, а я пел и чувствовал себя в полном родстве со всеми звуками.. Я – безумствовал; это простительно, ибо не вредило никому, кроме меня. Буря на море и гроза в степи! – Я не знаю более грандиозных явлений в природе.

Итак, я кричал, будучи твёрдо уверен, что не обеспокою никого таким поведением и никого не поставлю в необходимость подвергнуть строгой критике мой образ действий. Но вдруг меня сильно дернуло за ноги, и я невольно сел в лужу..

В лицо мне смотрел Шакро серьёзными и гневными глазами.

– Ты сошел с ума? Нэ сошел? Нэт? Ну, за-амалчи! Нэ кричи! Я тэбэ разорву глотку! Паньмайшь?

Я изумился и сначала спросил его, чем я ему мешаю..

– Пугайшь! Понял? Гром гремит – бог гаворит, а ты арэшь.. Что ты думаешь?

Я заявил ему, что я имею право петь, если хочу, равно как и он.

– А я нэ хачу! – категорически сказал он.

– Не пой! – согласился я.

– И ты нэ пой! – строго внушал Шакро.

– Нет, я уж лучше буду..

– Послушай, – что ты думаешь? – гневно заговорил Шакро. – Кто ты такой?

Есть у тэбэ дом? Есть у тэбэ мать? Отэц? Есть родные? Зэмли? Кто ты на зэмле? Ты – человек, думаешь? Это я человек! У менэ всё есть!.. – Он постукал себя в грудь.

– Я кнэзь!.. А ты.. ты – нычего! Нычего нэт! А мэнэ знаит Кутаис, Тыфлыс!.. Паньмайшь?

Ты нэ иди протыв мэнэ! Ты мне служишь? – Будьшь доволен! Я заплачу тэбэ дэсять раз!

Ты так дэлаешь мне? Ты нэ можешь дэлать иное; ты сам гаварыл, что бог вэлел служить всем бэз награда! Я тэбэ награжу! Зачэм ты мэнэ мучайшь? Учишь, пугайшь? Хочешь, чтобы я был как ты? Это нэ харашо! Эх, эх, эх!.. Фу, фу!..

Он говорил, чмокал, фыркал, вздыхал.. Я смотрел ему в лицо, разинув рот от

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
изумления. Он, очевидно, выливал предо мной все возмущения, обиды и недовольства мною, накопленные за всё время нашего путешествия. Для вящей убедительности он тыкал мне пальцем в грудь и тряс меня за плечо, а в особенно сильных местах налезал на меня всей своей тушей. Нас поливал дождь, над нами непрерывно грохотал гром, и Шакро, чтоб быть услышанным мною, кричал во всё горло.

Трагикомизм моего положения выступил предо мной яснее всего и заставил меня расхохотаться что было моих сил...

Шакро, плюнув, отвернулся от меня.

VIII

...Чем ближе мы подходили к Тифлису, тем Шакро становился сосредоточеннее и угрюмее. Что-то новое появилось на его исхудалом, но всё-таки неподвижном лице.

Недалеко от Владикавказа мы зашли в черкесский аул и подрядились там собирать кукурузу.

Проработав два дня среди черкесов, которые, почти не говоря по-русски, беспрестанно смеялись над нами и ругали нас по-своему, мы решили уйти из аула, испуганные всё возрастающим среди аульников враждебным отношением к нам. Отойдя вёрст десять от аула, Шакро вдруг вытащил из-за пазухи свёрток лезгинской кисеи и с торжеством показал мне, воскликнув:

– Больши нэ надо работать! Продадым – купым всего! Хватыт до Тыфлыса!

Паньмаишь?

Я был возмущён до бешенства, вырвав кисею, бросил её в сторону и оглянулся назад. Черкесы не шутят. Незадолго пред этим мы слышали от казаков такую историю: один босяк, уходя из аула, где работал, захватил с собой железную ложку. Черкесы догнали его, обыскали, нашли при нём ложку и, распоров ему кинжалом живот, сунули глубоко в рану ложку, а потом спокойно уехали, оставив его в степи, где казаки подняли его полуживым. Он рассказал это им и умер на дороге в станицу. Казаки не однажды строго предостерегали нас от черкесов, рассказывая поучительные истории в этом духе, – не верить им я не имел основания.

Я стал напоминать Шакро об этом. Он стоял предо мной, слушал и вдруг, молча, оскалив зубы и сощуриив глаза, кошкой бросился на меня. Минут пять мы основательно колотили друг друга, и, наконец, Шакро с гневом крикнул мне:

– Будэт!..

Измученные, мы долго молчали, сидя друг против друга... Шакро жалко посмотрел туда, куда я швырнул краденую кисею, и заговорил:

– За что дрались? Фа, фа, фа!.. Очэнь глупо. Развэ я у тэбэ украл? Что тэбэ – жалко? Минэ тэбэ жалко, патаму и украл... Работаишь ты, я нэ умэю... Что минэ делать? Хотэл помочь тэбэ...

Я попытался объяснить ему, что есть кража...

– Пожалуйста, ма-алчи! У тэбэ галава как дерево... – презрительно отнёсся он ко мне и объяснил: – Умирать будишь – воровать будишь? Ну! А развэ это жизнь?

Малчи!

Боясь снова раздражить его, я молчал. Это был уже второй случай кражи. Ещё раньше, когда мы были в Черноморье, он стащил у греков-рыбаков карманные весы.

Тогда мы тоже едва не подрались.

– Ну, – идём далшэ? – сказал он, когда оба мы несколько успокоились, примирились и отдохнули.

Пошли дальше. Он с каждым днём становился всё мрачнее и смотрел на меня странно, исподлобья. Как-то раз, когда мы уже прошли Дарьяльское ущелье и спускались с

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Гудаура, он заговорил:

– Дэнь-два пройдёт – в Тыфлыс придём. Цце, цце! – почмокал он языком и расцвёл весь. – Приду домой, – гдэ был? Путэшествовал! В баню пайду... ага! Есть буду много... ах, много! Скажу матэри – очэнь хачу есть! Скажу отцу – просты мэнэ! Я видэл мынога горя, жизнь видэл, – разный! Босяки очэнь харроший народ! Встрэчу когда, дам рубль, павэду в духан, скажу – пей вино, я сам был босяк! Скажу отцу про тэбэ... Вот человек, – был минэ как старший брат... Учил мэнэ. Бил мэнэ, собака!.. Кормил. Тэперь, скажу, корми ты его за это. Год корми! Год корми – вот сколько! Слышишь, Максым?

Я любил слушать, когда он говорил так; он приобретал в такие моменты нечто простое и детское. Такие речи были мне и потому интересны, что я не имел в Тифлисе ни одного человека знакомого, а близилась зима – на Гудауре нас уже встретила вьюга. Я надеялся немного на Шакро.

Мы шли быстро. Вот и Мцхет – древняя столица Иберии. Завтра придём в Тифлис.

Ещё издали, вёрст за пять, я увидел столицу Кавказа, сжатую между двух гор.

Конец пути! Я был рад чему-то, Шакро – равнодушен. Он тупыми глазами смотрел вперёд и сплёвывал в сторону голодную слюну, то и дело с болезненной grimасой хватаясь за живот. Это он неосторожно поел сырой моркови, нарванной по дороге.

– Ты думаешь, я – грузински дыварянин – пайду в мой город днём такой, рваный, грязный? Нэ-эт!.. Мы падаждем вэчера. Стой!

Мы сели у стены какого-то пустого здания и, свернув по последней папироске, дрожа от холода, покурили. С Военно-Грузинской дороги дул резкий и сильный ветер.

Шакро сидел, напевая сквозь зубы грустную песню... Я думал о тёплой комнате и других преимуществах осёдлой жизни пред жизнью кочевой.

– Идём! – поднялся Шакро с решительным лицом. Стемнело. Город зажигал огни.

Это было красиво: огоньки постепенно, один за другим, выпрыгивали откуда-то во тьму, окутавшую долину, в которую спрятался город.

– Слушай! ты дай мэнэ этот башлык, чтоб я закрыл лицо... а то узнают мэнэ знакомые, может быть...

Я дал башлык. Мы идём по Ольгинской улице. Шакро насвистывает нечто решительное.

– Максым! Видишь станцию конки – Верийский мост? Сыди тут, жди!

Пожалуста, жди! Я зайду в адын дом, спрошу товарища про своих, отца, мать...

– Ты недолго?

– Сэйчас! Адын момэнт!..

Он быстро сунулся в какой-то тёмный и узкий переулок и исчез в нём – навсегда.

Я никогда больше не встречал этого человека – моего спутника в течение почти четырёх месяцев жизни, но я часто вспоминаю о нём с добрым чувством и весёлым смехом.

Он научил меня многому, чего не найдёшь в толстых фолиантах, написанных мудрецами, – ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей.

О мальчике и девочке, которые не замёрзли
Святочный рассказ

В святочных рассказах издавна принято замораживать ежегодно по нескольку бедных мальчиков и девочек. Мальчик или девочка порядочного святочного рассказа обыкновенно стоят перед окном какого-нибудь большого дома, любят сквозь стекло ёлкой, горящей в роскошных комнатах, и затем замерзают, перечувствовав много неприятного и горького.

Я понимаю хорошие намерения авторов святочных рассказов, несмотря на их жестокость по отношению к своим персонажам; я знаю, что они, авторы, замораживают бедных детей для того, чтоб напомнить о их существовании богатым детям, но лично я не решусь заморозить ни одного бедного мальчика или девочки, даже и для такой вполне почтенной цели...

Я никогда не замерзал сам, никогда не присутствовал сам при замерзании бедного мальчика или девочки и боюсь наговорить смешных вещей при описании ощущений замерзания...

Да потом и неловко как-то умерщвлять одно живое существо для того, чтобы напомнить о факте его существования другому живому существу...

Вот почему я предпочитаю рассказать о мальчике и девочке, которые не замёрзли.

Было часов шесть вечера – святочного вечера. Дул ветер, вздымая тут и там прозрачные тучки снега. Эти холодные тучки, неуловимых очертаний, красивые и лёгкие, как куски смятой кисеи, летали всюду, попадали в лицо пешеходов и кололи ледяными уколами кожу щёк, осыпали морды лошадей, – лошади мотали головами и звучно фыркали, выпуская из ноздрей клубы горячего пара... На телеграфных проволоках висел иней, и они казались шнурами из белого плюша... Небо было ясно, и в нём сверкало много звёзд. Они сверкали так ярко, что казалось, будто их к этому вечеру кто-то прилежно вычистил щёткой с мелом, чего, конечно, не могло быть.

На улице было шумно и оживлённо. Мчались рысаки, шли пешеходы, причём одни из них шли торопливо, а другие неторопливо, и эта разница, очевидно, зависела от того, что первые имели некоторые дела и заботы или не имели тёплых пальто, а вторые не имели никаких дел и забот и имели не только тёплые пальто, но даже и шубы.

К одному из людей, не имевших забот, но обладавших шубой с пышным воротником, прямо под ноги к одному из таких господ, шагавшему медленно и важно, подкатились два маленькие комка лохмотьев и, вертясь перед ним, тоскливо заныли в два голоса:

- Батюшка-барин... – тянул звонкий голос девочки.
- Ваше благородие, господин... – помогал ей хриплый голос мальчика.
- Подайте убогеньким деткам...
- Копеечку на хлебец! Для праздника!.. – закончили они оба вместе.

Это были мои герои – бедные дети, мальчик – Мишка Прыщ и девочка – Катька Рябая...

(Не желая шокировать благовоспитанную публику, предлагаю переименовать героев моих в Мишеля и Катрин).

Господин шёл, а они юрко сновали у его ног, то и дело перебегая ему дорогу, и Катька, задыхаясь в волнении ожидания, полушёпотом повторяла: «Под-дайте!..», тогда как Мишка старался как можно более мешать господину идти.

И вот господин, когда они порядочно надоели ему, распахнул шубу, достал портмоне и, поднося его к своему носу, стал сопеть. Затем он вынул монету и сунул её в одну из протянутых к нему маленьких и очень грязных рук.

Два комка лохмотьев мгновенно исчезли с дороги господина в шубе и сразу очутились в нише ворот, где, прижавшись друг к другу, некоторое время молча посматривали в ту и другую сторону улицы.

- Не видал, чёрт!.. – тоном злого торжества шепнул бедный мальчик Мишка.
- Он к извозчикам пошёл, за угол... – ответила его подруга. – Сколько дал барин-то?
- Гривенник! – равнодушно сказал Мишка.

– А сколько стало?

– Семь гривен с семишником!

– Ого, уж сколько!.. А скоро домой? Холодно..

– Поспеешь! – скептически сказал Мишка. – Ты мотри, не суйся так сразу, бутáшник-то увидит – заберёт и чёлку надерёт... Вот баржа плывёт! Вали!

Баржой оказалась дама в ротонде, из чего ясно видно, что Мишка был мальчик очень злой, невоспитанный и непочтительный к старшим.

– Родимая, ба-арыня... – пел он.

– Пода-айте Христа ради!.. – тянула Катька.

– Три копейки отвалила! Эво!.. Чёртова кукла!.. – выругался Мишка и снова юркнул в нишу у ворот.

А по улице всё метались лёгкие тучки снега, и холодный ветер становился острее. Телеграфные столбы глухо гудели, визгливо скрипел снег под полозьями саней, и где-то далеко по улице рассыпался свежий и звонкий женский смех...

– Тётка-то Анфиса и сегодня будет пьяная? – спросила Катька, плотнее прижимаясь к товарищу.

– А что же! Что ей не пить-то! Будет... – солидно ответил Мишка.

Сбрасывая с крыш снег, ветер стал тихонько насвистывать какую-то святочную ариетту, и где-то завизжал дверной блок. Потом раздался дребезг стеклянной двери, и звучный голос крикнул:

– Извозчик!

– Пойдём домой! – предложила Катька.

– Ну! заскулила!.. – огрызнулся на неё солидный Мишка. – Чего дома-то?

– Тепло... – кратко пояснила она.

– Тепло!.. – передразнил её товарищ. – А как соберутся все, да плясать заставят, – хорошо? А то накачают тебя водкой, – опять рвать станет... Тоже – домой!..

И он поёжился с видом человека, который знает цену себе и твёрдо уверен в справедливости своего взгляда на дело. Катька судорожно зевнула и присела на корточки в угол ворот.

– А ты молчи себе... холодно – потерпи... Ничего!.. Мы, брат, отогреемся за милу душу... Уж я знаю! Я, брат, хочу...

Он остановился с целью заставить свою товарку проявить интерес к тому, чего он хочет. Но она, сжимаясь всё плотнее, не проявляла никакого интереса. Тогда Мишка несколько тревожно предупредил её:

– Ты смотри, не засни... обморозишься! Катюшка?!

– Нет... я ничего... – стуча зубами, ответила она.

Не будь с ней Мишки, она, может быть, и замёрзла бы; но этот опытный пострелёнок твёрдо решил всячески мешать ей сделать этот обыкновенный святочный поступок.

– Ты встань! А то так-то хуже. Стоя-то ты больше, морозу-то и труднее тебя пробрать. С большим ему не сладить... Вон лошади, – те никогда не зябнут. А человек меньше лошади... он зябнет... Встань, мол! Вот до рубля добьём – и марш!

Катька встала, вся вздрагивая мелкой дрожью.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
– Уж больно... холодно... – тихонько шепнула она. Действительно, становилось всё холодней. И тучки снега понемногу превращались в густые вихристые клубы. Они крутились по улице, тут – в форме белых столбов, там – в виде длинных полос пышной ткани, осыпанной бриллиантами... Было приятно смотреть, когда такие полосы извивались над фонарями или летели мимо ярко освещённых окон магазинов. Тогда они вспыхивали массой разноцветных искр, холодных и колющих глаз своим острым блеском.

Но, хотя всё это и было красиво, оно ничуть не интересовало пару моих героев.

– Те-те!.. – сказал Мишка, высунув нос из своей норы. – Плывут! Целая куча!.. Катька, не зевай!

– Милостивые господа-а!.. – дрожащим и прерывающимся голосом заняла девочка, выкатываясь на улицу.

– Подайте бе-е... Катюшка, беги!! – взвизгнул Мишка.

– Ах вы! Я в-в-вас!.. – крикнул и зашипел высокий полицейский, вдруг появляясь на панели.

Но их уже не было. Они быстро покатались от него двумя большими лохматыми шарами и исчезли.

– Убегли, чертенята! – сказал себе под нос полицейский и, поглядев вдоль улицы, добродушно улыбнулся.

А чертенята бежали и хохотали. Катька, запутываясь в подоле своих лохмотьев, то и дело падала, восклицая:

– Господи! Опять... – и вставая, оглядывалась назад со страхом и смехом.

– Догоняет?..

Мишка, держась за бока, хохотал во всё горло и, поминутно натываясь на прохожих, получал щелчки.

– Будет... ну те к чёрту!.. Ка-ак она кувыркается!.. Ах ты дурёха! Шлёп!..

Господи! Опять шлёп! Ну уж с...смешно!..

Падения Катьки настроили его на добродушный лад.

– Не догонит теперь, айда тише! Он... ничего... хороший... Тот, тогдашний, засвистел... Я бегу – и прямо в брюхо караульнику!.. Так лбом об колотушку и треснул...

– Я помню! Шишка... вскочила... – И Катька снова рассыпчато захохотала.

– Ну ладно! – серьёзно сказал Мишка. – Будет уж. Слушай дело...

Они шли рядом друг с другом степенной походкой людей серьёзных и озабоченных.

– Я даве тебе наврал... Барин-то двугривенный сунул... и раньше тоже врал... чтоб ты не говорила – пора домой. Сегодня день больно удачный! Знаешь, сколько насбирали? Рупь пять копеек! Много!..

– Да-а!.. – прошептала Катька. – На столько, пожалуй, целые башмаки купишь... на толчке ежели...

– Ну, башмаки! Башмаки я тебе украду... ты погоди... Я давно прицеливаюсь к одним... Погоди, стяну уж их... А ты вот что... Пойдём сейчас в трактир... понимаешь?

– Тетенька-то опять узнает, да и задаст... по-тогдашнему!.. – вдумчиво протянула Катька; но в тоне её всё-таки уже звучала нота предвкушения близости тепла.

– Задаст? Не задаст! Мы, брат, такой трактир выберем, где нас ни едина душа не знает.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– Эдак-то!.. – с надеждой шепнула Катька.

– Вот... купим перво-наперво полфунта колбасы, – восемь копеек; фунт белого хлеба, – пятачок... Это будет... тринадцать! Потом по трёхкопеечной слойке... две слойки – шесть копеек; это уж – девятнадцать! Да за чай, за пару, шесть... вышел четвертак! Эво! А остаётся...

Мишка замолчал и остановился. Катька смотрела в его лицо вопросительно и серьёзно.

– Много больно уж так-то... – робко повторила она.

– Молчи... Погоди... Ничего не много... Мало ещё. Ещё проедем восемь копеек...

Тридцать три! Вали вовсю! Теперь святки-прятки... А остаётся... ежели четвертак... то... восемь гривен... а как тридцать три... так семь гривен с лишком! Вишь сколько!

Чёрта ей ещё надо, ведьме?.. Айда!.. Скоро ходи!..

Взявшись за руки, они вприпрыжку побежали по панели. Снег летел им навстречу и слепил глаза. Иногда снежное облако покрывало их с головой и завёртывало обе маленькие фигурки в прозрачную пелену, которую они быстро разрывали в своём стремлении к теплу и пище...

– Знашь, – заговорила Катька, задыхаясь от быстрой ходьбы, – ты как хочешь... а коли она узнает... я скажу, что это ты всё... выдумал... Как хочешь! Ты убежишь, и всё... а мне хуже... меня она всегда ловит... и дерёт больнее, чем тебя... Она меня не любит... Я скажу, смотри!..

– Айда! Говори! – кивнул Мишка. – Поколотит, – заживёт... Ничего...

Говори...

Он весь был переполнен бравадой и шёл, закинув голову назад и посвистывая.

Лицо у него было худое, с плутоватыми, но не по-детски сухими глазами и с острым, немного горбатым носом.

– Вон он, трактир-то... Два! В который бы?

– Айда в низенький. Прежде в лавку... Ну!

И, купив в лавке всё, что было ими намечено, они пошли в низенький трактир.

Трактир был полон пара, дыма и кислого, одуряющего запаха. В густой, дымчатой мгле сидели за столами извозчики, босяки, солдаты, между столов сновали идеально грязные половые, и всё это кричало, пело, ругалось...

Мишка зорко усмотрел свободный столик в углу и, ловко лавируя, прошёл к нему, быстро разделся и отправился к буфету. Катька тоже стала раздеваться, робко поглядывая по сторонам.

– Дяденька! – сказал Мишка буфетчику. – Позвольте мне пару чаю! – и легонько стукнул по буфету кулаком.

– Чаю тебе? Изволь! Бери сам... и за кипятком сходи... Да смотри не разбей чего. Тогда я те!..

Но Мишка уже помчался за кипятком.

Минуты через две он с своей товаркой степенно сидел за столом и, откинувшись на спинку стула, с важной миной хорошо поработавшего ломового извозчика – сосредоточенно крутил себе сигарку из махорки. Катька смотрела на него с уважением к его уменью держать себя в общественном месте. Она так вот никак не могла ещё привыкнуть к могучей, оглушающей гармонии кабака и втайне всё ожидала, что их обоих «турнут по шеям» отсюда, или выйдет ещё что-либо худшее. Но ей не хотелось выказать перед Мишкой своих тайных опасений, и, приглаживая ручонками льняные волосы на голове, она старалась смотреть вокруг себя независимо и

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki۱۱max просто. Эти усилия то и дело вызвали краску на её грязные щёки, и её голубые глазки смущённо щурились. А Мишка степенно поучал её, стараясь подражать в тоне и фразе дворнику Сигнею, очень солидному человеку, хотя и пьянице, и недавно отсидевшему три месяца в тюрьме за кражу.

– Вот, ты, примерно сказать, канючишь... Как ты канючишь? Никуда не годится, ежели говорить по правде. «По-адайте, по-адайте!..» Рази в этом штука? А ты под ноги ему, проходящему-то, суйся... А ты норови так, чтобы он опасился упасть через тебя...

– Я так и буду... – покорно согласилась Катька.

– Ну вот!.. – важно тряхнул головой её товарищ. – Так и надо. Потом ещё: ежели, примерно сказать, тётка Анфиса... Что такое Анфиса?.. Пьяница, первое дело! А потом...

И Мишка откровенно объявил, чем была потом тетка Анфиса.

Катька утвердительно кивнула головой, вполне согласная с определением Мишки.

– Ты вот не слушаешься её... Это надо не так делать. Ты скажи ей, что, мол, я, тётенька, ничего... я, мол, вас буду слушаться... Замажь ей, значит, широкую-то глотку. А потом и делай, что хошь... Так-то...

Мишка замолчал и солидно почесал себе живот, как всегда это делал Сигней, кончая речь. Больше у него никаких тем не оказалось. Тогда он встряхнул головой и сказал:

– Ну, давай есть...

– Давай! – согласилась Катька, давно уже измерявшая жадным взглядом хлеб и колбасу.

И вот они стали есть свой ужин среди сырой, пахучей мглы плохо освещённого закоптелыми лампами трактира, в шуме циничных ругательств и песен. Ели они оба с чувством, с толком, с расстановкой, как истые гастрономы. И если Катька, сбиваясь с такта, жадно откусывала большой кусок, отчего её щёки распирало и у неё смешно тарацились глаза, степенный Мишка насмешливо бурчал:

– Ишь ты, матушка, навалилась!..

А её это смущало, и она, чуть не давясь, старалась скорее прожевать вкусную пищу.

Ну, вот и всё. Теперь я спокойно могу оставить их оканчивать свой святочный вечер. Они – поверьте мне – уж не замёрзнут! Они на своём месте... Зачем бы я их заморозил?..

По моему мнению, крайне нелепо замораживать детей, которые имеют полную возможность погибнуть более просто и естественно.

Челкаш

Потемневшее от пыли голубое южное небо – мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, паровых винтов, острыми киями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревушие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат – все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятужно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, – к ним вздымаются с земли все новые и новые волны звуков – то глухие, рокошущие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, – рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди – все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудями товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестявшие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, – машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, – в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум – подавлял, пыль, раздражая ноздри, – слепила глаза, зной – пек тело и изнурял его, и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышной. Это – наступило время обеда.

I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговков разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках, – появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубашке с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

- Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.
- Ну? – спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.
- Чего – ну? Ищут, мол. Больше ничего.
- Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать? И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгауз Добровольного флота.
- Пошел к черту! Товарищ повернул назад.

– Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

– Давно не видал! – крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

– Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, тарщило глаза и было очень смешно.

– Сказано тебе – в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? – грозно кричал сторож.

– Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались, – спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

– Хоть бы век тебя не видеть! Иди, иди!.. Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

– Вот что скажи, – продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и приятельски-фамильярно потряхивая ее, – ты Мишку не видал?

– Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

– Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», – стоял на своем Челкаш.

– С которым воруешь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыкой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

– Ага, ишь ты! а ты говоришь – не знаю Мишки... Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?..

– Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!.. Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

– Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, сказывай, как живешь?.. жена, детки – здоровы? – И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: – В гости к тебе собираюсь, да все времени нет – пью все вот...

– Ну, ну, – ты это брось! Ты, – не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

– Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семеныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

– Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! – крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

– Я – босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не напороть, – ответил Челкаш.

Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной суতোлке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился товарищ, Мишка, – он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русский, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» – и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

– Что, брат, погулял, видно, здорово!.. – обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

– Было дело, сосунок, было этакое дело! – улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. – С косовицы, что ли?

– Как же!.. Косили версту – выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду – уйма! Голодающий этот самый приплелся, – цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

– Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека там трешку платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу – русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и – получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

– Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

– Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

– Поди ты!.. – махнул рукой парень. – Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
– Я-то? – переспросил Челкаш и, подумав, сказал: – Рыбак я...

– Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

– Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда – все! Удочки такие есть для этого...

– Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидывали сети По сухим берегам Да по амбарам, по клетям!..

– А ты видал таких? – спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

– Нет, видать где же! Слышал...

– Нравятся?

– Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

– А что тебе – свобода?.. Ты разве любишь свободу?

– Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел – куда хошь, делай – что хошь... Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, – первое дело! Гуляй знай, как хошь, бога только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

– Сейчас вот мое дело... – говорил тот. – Отец у меня – умер, хозяйство – малое, мать-старуха, земля высосана, – что я должен делать? Жить – надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятя в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь – теть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заработать, сейчас бы я на ноги встал и – Антипу-то – на-кося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! – Парень вздохнул. – А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятя идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублей два ста тяпну, – шабаш! барин!.. Ан не выгорело. Ну и пойдешь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятя. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

– Теперь куда ж ты?

– Да ведь – куда? известно, домой.

– Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался.

– В Ту-урцию!.. – протянул парень. – Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!..

– Экой ты дурак! – вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил...

Смутно, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

– Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? – начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

– Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

– Чего работать? – недоверчиво спросил парень.

– Ну, чего!.. Чего заставлю.. Рыбу ловить поедем. Грести будешь..

– Так... что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... темен ты..

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

– А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет..

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

– Ну? – сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятя зажиточный мужик, – за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашем, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

– Ведь я... не прочь... – заговорил он. – Работы ведь и ищу. Мне все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, – больно уж тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да еще и не таких, как ты.

– Ну, ладно, ладно! Согласен? – уже мягче переспросил Челкаш.

– Я-то? Аида!.. с моим удовольствием! Говори цену.

– Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

– Это мне не рука, брат! Челкаш вошел в роль:

– Не толкуй, погоди! Идем в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш – с важной миной хозяина, покручивая усы, парень – с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

– А как тебя звать? – спросил Челкаш.

– Гаврилом! – ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегда заказал бутылку водки, щей, поджарку из мяса, чаю

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику:

«В долг все!» – на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважения к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

– Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру...

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который – славный человек! – так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

– Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..

– Друг!.. – лепетал Гаврила. – Не бойсь! я тебе уважу!.. дай поцелую тебя!.. а?..

– Ну, ну!.. На, еще клюкни!

Гаврила пил и дошел наконец до того, что у него в глазах все стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

– Ну-ка, идем! – сказал Челкаш, вставая. Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

– Развезло! – молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испить ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно – нечто отеческое и хозяйственное. Мало было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

II

– Ну, готов? – вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами.

– Сейчас! Уключина вот шатается, – можно разок вдарить веслом?

– Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь от борта судов о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

– Едем! – сказал Гаврила, спуская весла в воду.

– Есть! – Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, – длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

– Ну, что голова? болит? – ласково спросил Челкаш.

– Страсть!.. как чугун гудит.. Намочу ее водой сейчас.

– Зачем? Ты на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, – и он протянул Гавриле бутылку.

– Ой ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

– Эй ты! рад?.. Будет! – остановил его Челкаш. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов.. Вдруг она вырвалась из их толпы, и море – бесконечное, могучее – развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков – лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые.. Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно всплывать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей – разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

– Хорошо море? – спросил Челкаш.

– Ничего! Только боязно в нем, – ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел и все блестела теплым голубым светом фосфора.

– Боязно! Экая дура!.. – насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желанием ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki.umax

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, – охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют – первые – остроту, вторая – цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты...

– А снасть-то где? – вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку. Челкаш вздрогнул.

– Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

– Ты вот что – сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.

– Греби!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

– Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

– Кто кричит? – раздался с моря суровый окрик.

– Ну, дьявол, греби же!.. тише!.. убью, собаку!.. Ну же, греби!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. – шипел Челкаш.

– Богородице... дево... – шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

– Эй! кто орет? – донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

– Сам ты и орешь! – сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву:

– Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами – конец тебе. Чувешь? Я бы тебя сразу – к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился:

– Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

– Какие дела? – сурово спросил Челкаш. – А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
– Темные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?.. а?.. Милый...

– Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? – ну и молчи!

– Господи! – вздохнул Гаврила.

– Ну-ну!.. куксись у меня! – оборвал его Челкаш. Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами.

– Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем – молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

– Эхма!.. – безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: – Судьбина моя пропащая!..

– Не ной! – внушительно шепнул Челкаш. Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

– Стой! – шепнул Челкаш. – Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тише, черт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей на камне слизи.

– Стой!.. Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь – на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, – какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашем; он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась все зловещей... Но вот за стеной мола послышался плеск, рох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет...

– Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. – раздался глухой голос Челкаша.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

– Устал? – спросил он.

– Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там – получиай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?

– Н-нету! – Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теревил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

– Эй! – усмехаясь, тихо заговорил он. – Что, здорово ты перепугался? а?

– Н-ничего!.. – выдохнул Гаврила и крякнул.

– Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти... Отдохни-ка...

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

– Ну, гребни тише, чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы серьезные... Как раз из ружья пошालить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море – тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

– Эх, кабы дождь пошел! – прошептал Челкаш. – Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания – баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

– Кордоны!.. – чуть слышно шепнул Челкаш. С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет, – кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматриванья тьмы, из которой – он ждал – вот-вот

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, – он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе.. Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот, – но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

..Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой, голубой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, – поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды.. Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевающая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

– Дурак, это крейсер таможенный.. Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, черт, и себя и меня! Ну!..

И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку.

– Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, черт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. фонарь – только и всего. Тише веслами!.. Кислый черт!.. За контрабандой это следят. Нас не заденут – далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы.. – Челкаш торжествуя оглянулся кругом. – Конечно, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеросовая!..

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем – он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали наконец из него все человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядываясь кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную Думу.

– Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь тебя как – точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

– Я слышу, – тихо сказал он.

– То-то! Мякиш.. Ну-ка, садись на руль, а я – на весла, устал, поди!

Гаврила машинально переменял место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiуmax
взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

– Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

– Мне – ничего не надо. Только на берег бы... Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, – и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

– Ну, скажи мне, – заговорил Челкаш, – придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку?

– Какой уж смак! – робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

– Правее держи! – сказал Челкаш. – Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работа важная! Вот видишь как?.. Ночь одна – и полтысячи я тяпнул!

– Полтысячи?! – недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: – А это что же будет за вещь?

– Это – дорогая вещь. Все-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

– Н-да-а?.. – вопросительно протянул Гаврила. – Кабы мне так-то вот! – вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбежавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи... – Эх, важно бы!.. – грустно вздохнул он.

– Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгрозил – ну, для дома денег, положим, маловато...

– Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

– Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

– Лошадь? Она и есть, да больно стара, черт.

– Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?

– Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!

– Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо... Отец-то был из первых богачей в селе...

Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, – он постепенно увлекся и вместо того, чтобы спрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

– Главное в крестьянской жизни – это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
тебя твой дом – грош ему цена – да он твой. У тебя земля своя – и того ее горсть
– да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от
всякого требовать уважения к тебе... Так ли? – воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел перед собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

– Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие – самолюбие бесшабашного удальца – бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

– Замолол!.. – сказал он свирепо, – ты, может, думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!

– Да чудак человек!.. – снова оробел Гаврила. – Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, – много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающих...

– Садись, тюлень, в весла! – кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменялись местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашем быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца – рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда...

Челкаш чувствовал себя овечьим примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

– Эй! а куда же мы едем? – спросил вдруг Гаврила. Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

– Ишь черт занес!.. Гребни-ка погуще...

– Задумался? – улыбаясь, спросил Гаврила.

– Устал...

– Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? – Гаврила ткнул ногой в тюки.

– Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... Н-да!

– Пять сотен?

– Не меньше.

– Это, тово, – сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..

– По крестьянству?

– Никак больше! Сейчас бы...

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, ступенчатое пониженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высывавшемуся из воды.

Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

– Стой! Тише! – скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

– Спят, что ли, черти?.. – ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. – Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

– Селкаш это? – раздалось сверху ласковое мурлыканье.

– Ну, спускай трап!

– Калимера, Селкаш!

– Спускай трап, копченый дьявол! – взревел Челкаш.

– О, сердытый пришел сегодня... Элоу!

– Лезь, Гаврила! – обратился Челкаш к товарищу. В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

– Припаси к утру деньги, – коротко сказал ему Челкаш. – А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

– Спать бы... – ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игрившей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок, и очень шел к нему,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki.umax
делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

– Эй, теленок, вставай!.. – толкнул он ногой Гаврилу. Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

– Ишь ты какой!.. – широко улыбнулся наконец Гаврила. – Баринном стал!

– У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

– Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

– Ну, а еще раз поехал бы? а?

– Еще?.. Да ведь это – как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

– Ну ежели бы две радужных?

– Два ста рублей, значит? Ничего... Это можно...

– Стой! А как душу-то загубишь?..

– Да ведь, может... и не загубишь! – улыбнулся Гаврила. – Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься. Челкаш весело хохотал.

– Ну, ладно! будет шутики шутить. Едем на берег... И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые, соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево – целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

– Эх, разыграется к вечеру-то добре! – кивнул Челкаш головой на море.

– Буря? – спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

– Эге!.. – подтвердил Челкаш. Гаврила пытливо посмотрел на него...

– Ну, сколько ж тебе дали? – спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговор.

– Вот! – сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана.

Гаврила увидел пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

– Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это – сколько?

– Пятьсот сорок!

– Л-ловко!.. – прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. – Э-эх-ма!.. Кабы этикие деньги!.. – И он угнетенно вздохнул.

– Гульнем мы с тобой, парнюга! – с восхищением вскрикнул Челкаш. – Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделю... Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

– Коли не обидно тебе – что же? я приму! Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

– Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу,
Страница 238

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiуmax прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурился, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

– А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... – задумчиво сказал Челкаш.

– Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. – воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

– Приехали! – прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

– Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подалеже, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой – прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

– Нет... я... не пойду... я... – Гаврила задышался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

– Что это тебя корчит? – спросил он.

– Так... – Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

– Ну тя к черту! – махнул рукой Челкаш. – Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али расставанье со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

– Уходишь?! – звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:

– Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?.. Ведь в одну ночь – только в ночь... А мне – года нужны... Дай – молиться за тебя буду! Вечно – в трех церквях – о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы – в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна – и богат! Сделай доброе дело! Пропаций ведь ты... Нет тебе пути... А я бы – ох! Дай ты их мне!

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki۷max
Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

– На! Жри... – крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

– Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь – нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаете!..

– Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. – визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. – Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям закажу – молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он – вор, гуляка, оторванный от всего родного – никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

– Осчастливил ты меня! – кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался:

– Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его – тебя – веслом... рраз!.. денежки – себе, его – в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться – как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

– Дай сюда деньги!.. – рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два, – другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи – и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

– Что, счастлив ты? – сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

– Рраз!..

Челкаш крикнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с него и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды – сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

– Брат, встань-кось! – шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

– Поди прочь!..

– Брат! Прости!.. дьявол это меня.. – дрожа, шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

– Иди... Ступай... – хрипел тот.

– Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

– Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! – вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. – Чего тебе еще? Сделал свое дело.. иди! Пошел! – И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

– Тьфу! – плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

– Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

– Гнус!.. и блудить-то не умеешь!.. – презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. – Деньги взял? – сквозь зубы процедил он.

– Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!.. Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

– Возьми и ступай!

– Не возьму, брат... Не могу! Прости!

– Бери, говорю!.. – взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

– Прости!.. Тогда возьму... – робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

– Врешь, возьмешь, гнус! – уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

– Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

– Брат! а простишь меня? Не хошь? а? – слезливо спросил он.

– Родимой!.. – в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. – За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

– Эх, брат, брат!.. – скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно.

Два человека помолчали.

– Ну прощай! – насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

– Прости, брат!.. – еще раз попросил Гаврила.

– Ничего! – холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкоими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду и землю... ветер ревел... Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.

Старуха Изергиль

I

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины – бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки – веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развеивал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее.

Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто, слышался смех...

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут – мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там – резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Все это – звуки и запахи, тучи и люди – было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И все как бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

– Что ты не пошел с ними? – кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

– Не хочу, – ответил я ей.

– У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали
кружевные тени от листьев, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево
от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали
прозрачней и светлей.

– Смотри, вон идет Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и
видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие,
плыла быстрее и ниже сестер, – она падала от клочка облака, которое плыло ближе
к земле, чем другие, и скорее, чем они.

– Никого нет там! – сказал я.

– Ты слеп больше меня, старухи. Смотри – вон, темный, бежит степью!

Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.

– Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?

– Потому что это – он. Он уже стал теперь как тень, – пора! Он живет тысячи лет,
солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может
сделать бог с человеком за гордость!..

– Расскажи мне, как это было! – попросил я старуху, чувствуя впереди одну из
славных сказок, сложенных в степях. И она рассказала мне эту сказку.

«Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на
восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и
стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от
солнца, жестоко жаркого там.

Вот какая щедрая земля в той стране!

Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою
силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел,
спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на
землю. Тогда пошли искать девушку, но – не нашли ее. И забыли о ней, как
забывают об всем на земле».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это
роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо
вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его
берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша,
красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И, когда ее спросили, где
была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой.
Вот его сын, а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз
высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы,
на смерть разбился о них..

Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их,
только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а
он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил
с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной
стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются
тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них,
отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их – он не хочет делать
этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

– Ему нет места среди нас! Пусть идет куда хочет.

Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, – к одной красивой девушке, которая
пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь
одного из старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax потому что боялась отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

Всех, кто видел это, оковал страх, – впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, – не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же – слишком просто и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными, тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и все обильнее лил на степь голубоватую мглу...

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления... Хотели разорвать его лошадьми – и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали много – и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

– Спросим его, почему он сделал это? Спросили его об этом. Он сказал:

– Развяжите меня! я не буду говорить связанный! А когда развязали его, он спросил:

– Что вам нужно? – спросил так, точно они были рабы...

– Ты слышал... – сказал мудрец.

– Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

– Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно ты умрешь ведь... Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем...

– Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, – что меня оттолкнула она... А мне было нужно ее.

– Но она не твоя! – сказали ему.

– Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги... а владеет он животными, женщинами, землей... и многим еще...

Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда – жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

Когда люди увидели это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, – тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

– Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему – в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

И тут произошло великое. Грянул гром с небес, – хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон, – юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его – не был человеком... А этот – был

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек – все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго – не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

– Не троньте его. Он хочет умереть!

И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож – точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

– Он не может умереть! – с радостью сказали люди. И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел – высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков – ничего. И все ищет, ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне. И стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели, – странно запели. Сначала раздался контральто, – он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый все лился впереди его... – третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами...

II

– Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? – спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

– Не слышал. Никогда не слышал...

– И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь, – красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже – поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот – поют.

– Но здоровье... – начал было я.

– Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье – то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила – хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.

Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:

– Я жила с матерью под фальчи, на самом берегу Бырлада; и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна:

«Эй, нет ли у вас вина... и поесть мне?» Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит: «Вот какая красавица живет тут!.. А я и не знал про это!» Точно он уж знал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свинины... А через четыре дня дала уже и всю себя... Мы все катались с ним в лодке по ночам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. И едем... Он был рыбаком с Прута, и потом, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривал все меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла. Но мне уж не нравился он тогда – только поет да целуется, ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут... Так вот тем – весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке, – и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил богатые – легко же ведь доставалось все им! И пирует у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их... Как ее звали? Забыла как... Все стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, все забудешь! Она меня познакомила с молодцом. Был хорош... Рыжий был, весь рыжий – и усы, и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо... А я, как кошка, вскочила ему на грудь да и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее...

– А рыбак куда девался? – спросил я.

– Рыбак? А он... тут... Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала все уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом – ничего, пристал к ним и другую завел... Их обоих и повесили вместе – и рыбака и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!..» Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли... Все-таки румыну заплатили после... Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.

– Это ты сделала? – наудачу спросил я.

– Много было друзей у гуцулов, не одна я... Кто был их лучшим другом, тот и справил им поминки...

Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн, – задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возрастающим шорохом волн... ибо усиливался ветер.

– А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила, –

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
ничего... Но скучно стало... – все женщины, женщины... Восемь было их у него... Целый
день едят, спят и болтают глупые речи... Или ругаются, квохчут, как курицы... Он был
уж немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил – как
владыка... Глаза были черные... Прямые глаза... Смотрят прямо в душу. Очень он любил
молиться. Я его в Букурешти увидела... Ходит по рынку, как царь, и смотрит так
важно, важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли
к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. «Едешь
ко мне?» – говорит. «О да, поеду!» – «Хорошо!» И я поехала. Богатый он был, этот
турок. И сын у него уже был – черненький мальчик, гибкий такой... Ему лет
шестнадцать было. С ним я и убежала от турка... Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку...
Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего – уже
не помню.

Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна
девушка, полька... и к ней из монастыря другого, – около Арцер-Паланки, помню, –
ходил брат, тоже монашек... Такой... как червяк, все извивался предо мной... И когда я
выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его.

– погоди!.. А где маленький турок?

– Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви... но стал сохнуть он,
так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца... так и сох
все... Помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а все еще в
нем горит любовь... И все просит наклониться и поцеловать его... Я любила его и,
помню, много целовала... Потом уж он совсем стал плох – не двигался почти. Лежит и
так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я
ложилась. Ляжешь с ним... он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж
холодный... мертвый... Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его.
Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная... а он – что же?..
Мальчик!..

Она вздохнула и – первый раз я видел это у нее – перекрестилась трижды, шепча
что-то сухими губами.

– Ну, отправилась ты в Польшу... – подсказал я ей.

– Да... с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была
женщина, он ластился ко мне котом и с его языка горячий мед тек, а когда он меня
не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки,
и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. Я рассердилась! Я закипела,
как смола! Я взяла его на руки и, как ребенка, – он был маленький, – подняла
вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила
его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а
он барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не встречалась с ним. Я была
счастлива на это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила.
Это нехорошие встречи, все равно как бы с покойниками.

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот
огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него,
наверное, были холодные, голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и
твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на
его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы,
смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый,
важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и
хрупкий цветок Востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный
и жестокий, красноречивый и холодный... И все они – только бледные тени, а та,
которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без
тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, – тоже почти тень.

Она продолжала.

– В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. я не знала их
змеиного языка. Все шипят... Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то,
что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать
с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня; не для себя
купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить – надо уметь
что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала
тогда, что ведь, если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
Бырлад, я порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дралась из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго и раз вот что сделал: пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стучали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо, и живот – как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, хотя он и говорил, что продал все земли свои, и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Все лицо было у него изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек!.. Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены... Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, – те просто лентяи или трусы или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно... О, этот, рубленный, был хороший человек! Он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи!..

И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замолчала сама, задумалась.

– Знала также я и венгра одного. Он однажды ушел от меня, – зимой это было, – и только весной, когда стаял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как! Видишь – не меньше чумы губит любовь людей; коли посчитать – не меньше... Что я говорила? О Польше... Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича... Вот был красив! Как черт. Я же стара уж была, эх, стара! Было ли мне четыре десятка лет? Пожалуй, что и было... А он был еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал... да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой, ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему... И уже в Кракове жила. Тогда у меня все было: и лошади, и золото, и слуги... Он ходил ко мне, гордый демон, и все хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним... Я даже, – помню, – дурнела от этого. Долго это тянулось... Я взяла свое: он на коленях упрашивал меня... Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара... Ох, это было мне не сладко! Вот уж не сладко!.. Я ведь любила его, этого черта... а он, встречаясь со мной, смеялся... подлый он был! И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж горько было мне, скажу! Но он был тут, близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать... И решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу.

Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши... и что он в плену, недалеко в деревне.

«Значит, – подумала я, – не увижу уже его больше!» А видеть хотелось. Ну, стала стараться увидеть... Нищей оделась, хромой, и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты... дорого мне стоило быть там! Узнала я, где поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне это было. И вот ночью поползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит на моей дороге... А уж слышно мне – поют поляки и говорят громко. Поют песню одну... к матери бога... И тот там же поет... Аркадэк мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше за мной ползали... а вот оно, пришло время – и я за человеком поползла змеей по земле и, может, на смерть свою ползу. А этот часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне? Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу: «Погоди!..» А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне штык. Я говорю ему шепотом: «Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть! Не могу тебе ничего дать, а прошу тебя...» Он опустил ружье и также шепотом говорит мне: «Пошла прочь, баба! пошла! Чего тебе?» Я сказала ему, что сын у меня тут заперт... «Ты понимаешь, солдат, – сын! Ты ведь тоже чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня – у меня есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне посмотреть на него, может, он умрет скоро... и, может, тебя завтра убьют... будет плакать твоя мать о тебе? И ведь тяжело будет тебе умереть, не взглянув на нее, твою мать? И моему сыну тяжело же. Пожалей же себя и его, и меня – мать!..»

Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил нас. Ветер выл и ревел, и толкал

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiyamax
меня то в спину, то в грудь. Я стояла и качалась перед этим каменным солдатом... А он все говорил: «Нет!» И каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадэка... Я говорила и мерила глазами солдата – он был маленький, сухой и все кашлял. И вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, все упрашивая его горячими словами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтоб он не кричал. Он не кричал, а только все барахтался, стараясь сбросить меня с своей спины. Я же обеими руками втискивала его голову глубже в грязь. Он и задохнулся... Тогда я бросилась к амбару, где пели поляки. «Аркадэк!..» – шептала я в щели стен. Они догадливые, эти поляки, – и, услышав меня, не перестали петь! Вот его глаза против моих. «Можешь ты выйти отсюда?» – «Да, через пол!» – сказал он. «Ну, иди же». И вот четверо их вылезло из-под этого амбара: трое и Аркадэк мой. «Где часовые?» – спросил Аркадэк. «Вон лежит!..» И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро так шли. Аркадэк держал меня за руку, и его рука была горяча и дрожала.

О!.. Мне так хорошо было с ним, пока он молчал. Последние это были минуты – хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Ох, как они долго и много говорили мне что-то! Я все слушала и смотрела на своего пана. Что же он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так важно... Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня... И стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева!» Вот какая лживая собака была это!.. Ну, тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он предо мной... Стоят и те трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на них... Мне тогда стало – помню – только скучно очень, и такая лень напала на меня... Я сказала им: «Идите!» Они, псы, спросили меня:

«Ты воротишься туда, указать наш путь?» Вот какие подлые! Ну, все-таки ушли они. Тогда и я пошла... А на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидела я, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой! Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели... Пора, пора! Тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. И вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! Одна живу... Нет, не одна, а вон с теми.

Старуха махнула рукой к морю. Там все было тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал тотчас же.

– Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все... И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю: «Вот и я, было время, такая же была... Только тогда, в мое время, больше было в человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше... Да!..»

Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то... может быть, молилась.

С моря поднималась туча – черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака... Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова... На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.

– Видишь ты искры? – спросила меня Изергиль.

– Вон те, голубые? – указывая ей на степь, сказал я.

– Голубые? Да, это они... Значит, ле-таки! Ну-ну... Я уж вот не вижу их больше. Не

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
могу я теперь многого видеть.

– Откуда эти искры? – спросил я старуху. Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.

– Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем... И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это... Тоже старая сказка... Старое, все старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А теперь вот нет ничего такого – ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину... Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь... Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старину зорко – там все отгадки найдутся... А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого... Я не вижу разве жизнь? Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а все примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут – судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится все меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа.

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.

И вот она начала рассказ.

III

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой – была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна – назад, – там были сильные и злые враги, другая – вперед, – там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опутив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди весь сидели и думали. Но ничто – ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, – и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче ... Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни... Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди... «Данко – один из тех людей, молодой красавец. Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

– Не своротить камня с пути думаю. Кто ничего не делает, с тем ничего не станет. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец – все на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его
светилось много силы и живого огня.

– Веди ты нас! – сказали они.

Тогда он повел...»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повел их Данко. Дружно все пошли за ним – верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гнев обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, – вот как!

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

– Ты, – сказали они, – ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!

– Вы сказали: «Веди!» – и я повел! – крикнул Данко, становясь против них грудью. – Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

Но эти слова разъярили их еще более.

– Ты умрешь! Ты умрешь! – ревели они. А лес все гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они – как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...

– Что сделаю я для людей?! – сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали
как камни.

– Идем! – крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца.

И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была – там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что была горячей струей из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, – кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и – умер.

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

– Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: «Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?» И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи, медленно, скучно... Море шумело глухо и печально.

Однажды осенью

..Однажды осенью мне привелось стать в очень неприятное и неудобное положение, в городе, куда я только что приехал и где у меня не было ни одного знакомого человека, – я очутился без гроша в кармане и без квартиры.

Продав в первые дни всё то из костюма, без чего можно было обойтись, я ушёл из города в местность, называемую Устье, где стояли пароходные пристани и в навигационное время кипела бойкая трудовая жизнь, а теперь было пустынно и тихо, – дело происходило в последних числах октября.

Шлёпая ногами по сырому песку и упорно разглядывая его с желанием открыть в нём какие-нибудь остатки питательных веществ, я бродил одиноко среди пустынных зданий и торговых ларей и думал о том, как хорошо быть сытым...

При данном состоянии культуры голод души можно удовлетворить скорее, чем голод тела. Вы бродите по улицам, вас окружают здания, недурные по внешности и – можно безошибочно сказать – недурно обставленные внутри: это может возбудить у вас отрадные мысли об архитектуре, о гигиене и ещё о многом другом, мудром и высоком; вам встречаются удобно и тепло одетые люди, – они вежливы, всегда сторонятся от вас, деликатно не желая замечать печального факта вашего существования. Ей-богу, душа голодного человека всегда питается лучше и здоровее души сытого, – вот положение, из которого можно сделать очень остроумный вывод в пользу сытых!..

..Наступал вечер, шёл дождь, с севера порывисто дул ветер. Он свистел в пустых ларях и лавчонках, бил в заколоченные досками окна гостиниц, и волны реки от его

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax ударов пенились, шумно плескались на песок берега, высоко взмётывая свои белые хребты, неслись одна за другой в мутную даль, стремительно прыгая друг через друга... Казалось, что река чувствовала близость зимы и в страхе бежала куда-то от оков льда, которые мог в эту же ночь набросить на неё северный ветер. Небо тяжело и мрачно, с него неустанно сыпались еле видные глазом капельки дождя; печальную элегию в природе вокруг меня подчёркивали две обломанные и уродливые ветлы и опрокинутая вверх дном лодка у их корней.

Опрокинутый чёлн с проломленным дном и ограбленные холодным ветром деревья, жалкие и старые... Всё кругом разрушено, бесплодно и мертво, а небо точит неиссякаемые слёзы. Пустынно и мрачно было вокруг – казалось, всё умирает, скоро останусь в живых я один, и меня тоже ждёт холодная смерть.

А мне тогда было семнадцать лет – хорошая пора!

Я ходил, ходил по холодному и сырому песку, выбивая зубами трели в честь голода и холода, и вдруг, в тщетных поисках съестного, зайдя за один из ларей, – увидел за ним скорченную на земле фигуру в женском платье, мокрым от дождя и плотно приставшем к склонённым плечам. Остановившись над ней, я присмотрелся, что она делала.

Оказалось, она роет руками яму в песке, подкапываясь под один из ларей.

– Это зачем тебе? – спросил я, присаживаясь на корточки около неё.

Она тихо вскрикнула и быстро вскочила на ноги. Теперь, когда она стояла и смотрела на меня широко раскрытыми серыми глазами, полными боязни, – я видел, что это девушка моих лет, с очень миловидным личиком, к сожалению, украшенным тремя большими синяками. Это его портило, хотя синяки были расположены с замечательной пропорциональностью – по одному, равной величины, под глазами и один – побольше – на лбу, как раз над переносицей. В этой симметрии была видна работа артиста, очень изощрившегося в деле порчи человеческих физиономий.

Девушка смотрела на меня, и боязнь в её глазах постепенно гасла... Вот она отряхнула руки от песка, поправила ситцевый платок на голове, поёжилась и сказала:

– Ты, чай, тоже есть хочешь?.. Ну-ка, рой, у меня руки устали. Там, – она кивнула головой на ларь, – наверно хлеб есть... Этот ларь торгует ещё...

Я стал рыть. Она же, немного подождав и посмотрев на меня, присела рядом и стала помогать мне...

Мы работали молча. Я не могу сказать теперь, помнил ли я в этот момент об уголовном кодексе, о морали, собственности и прочих вещах, о которых, по мнению сведущих людей, следует помнить во все моменты жизни. Желая быть возможно ближе к истине, я должен признаться, – кажется, я был настолько углублён в дело подкопа под ларь, что совершенно позабыл о всём прочем, кроме того, что могло оказаться в этом ларе...

Вечерело. Тьма – сырая, мозглая, холодная – всё более сгущалась вокруг нас.

Волны шумели как будто глуше, чем раньше, а дождь барабанил о доски ларя всё звучнее и чаще... Где-то уж продребезжала трещётка ночного сторожа...

– Есть у него пол или нет? – тихо спросила моя помощница. Я не понял, о чём она говорит, и промолчал.

– Я говорю – есть пол у ларя? Коли есть, так мы напрасно ломаемся. Подроем яму, – а там, может, толстые доски ещё... Как их отдерёшь? Лучше замок сломать... замок-то плохонький...

Хорошие идеи редко посещают головы женщин; но, как вы видите, они всё-таки посещают их... Я всегда ценил хорошие идеи и всегда старался пользоваться ими по мере возможности.

Найдя замок, я дёрнул его и вырвал вместе с кольцами... Моя соучастница мгновенно изогнулась и змей вильнула в открывшееся четырёхугольное отверстие ларя. Оттуда

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
раздался её одобрительный возглас:

– Молодец!

Одна маленькая похвала женщины для меня дороже целого дифирамба со стороны мужчины, будь мужчина сей красноречив, как все древние ораторы, взятые вместе. Но тогда я был настроен менее любезно, чем теперь, и, не обратив внимания на комплимент девушки, кратко и со страхом спросил её:

– Есть что-нибудь?

Она монотонно принялась перечислять мне свои открытия:

– Корзина с бутылками... Мешки пустые... Зонт... Ведро железное.

Всё это было несъедобно. Я почувствовал, что мои надежды гаснут... Но вдруг она оживлённо крикнула.

– Ага! вот он...

– Кто?

– Хлеб... Каравай... Только мокрый... Держи!

К ногам моим выкатился каравай и за ним она, моя доблестная соучастница.

Я уже отломил кусочек, засунул его в рот и жевал...

– Ну-ка, дай мне... Да отсюда надо и уходить. Куда бы нам идти? – Она пытливо посмотрела во тьму на все четыре стороны... Было темно, мокро, шумно... – Вон там лодка опрокинута... айда-ка туда?

– Идём! – И мы пошли, обламывая на ходу нашу добычу и набивая ею рты...

Дождь усиливался, река ревела, откуда-то доносился протяжный насмешливый свисток, – точно некто большой и никого не боящийся освистывал все земные порядки, и этот скверный осенний вечер, и нас, двух его героев... Сердце болезненно ныло от этого свиста: тем не менее я жадно ел, в чём мне не уступала и девушка, шедшая с левой стороны от меня.

– Как тебя зовут? – зачем-то спросил я её.

– Наташа! – отвечала она, звучно чавкая.

Я посмотрел на неё – у меня больно сжалось сердце, я посмотрел во тьму впереди меня и – мне показалось, что ироническая рожа моей судьбы улыбается мне загадочно и холодно...

...По дереву лодки неугомонно стучал дождь, мягкий шум его наводил на грустные мысли, и ветер свистел, влетая в проломленное дно – в щель, где билась какая-то щепочка, билась и трещала беспокойным и жалобным звуком. Волны реки плескались о берег, они звучали так монотонно и безнадежно, точно рассказывали о чём-то невыносимо скучном и тяжёлом, надоевшем им до отвращения, о чём-то таком, от чего им хотелось бы убежать и о чём всё-таки необходимо говорить. Шум дождя сливался с их плеском, и над опрокинутой лодкой плавал протяжный, тяжёлый вздох земли, обиженной и утомлённой этими вечными сменами яркого и тёплого лета – осенью холодной, туманной и сырой.

Ветер носился над пустынным берегом и вспенённой рекой, носился и пел унылые песни...

Помещение под лодкой было лишено комфорта: в нём было тесно, сыро, в пробитое дно сыпались мелкие, холодные капли дождя, врывались струи ветра... Мы сидели молча и дрожали от холода. Мне хотелось спать, помню Наташа прислонилась спиной к борту лодки, скорчившись в маленький комок. Обняв руками колени и положив на них подбородок, она упорно смотрела на реку, широко раскрыв свои глаза, – на белом пятне её лица они казались громадными от синяков под ними. Она не

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
двигалась, эта неподвижность и молчание – я чувствовал – постепенно родит во мне
страх перед моей соседкой...

Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал, с чего начать.

Она заговорила сама.

– Экая окаянная жизнь!.. – внятно, отдельно, с глубоким убеждением в тоне произнесла она.

Но это не была жалоба. В этих словах было слишком много равнодушия для жалобы.

Просто человек подумал, как умел, подумал и пришёл к известному выводу, который и высказал вслух и на который я не мог возразить, не противореча себе. Поэтому я молчал. А она, как бы не замечая меня, продолжала сидеть неподвижно.

– Хоть бы сдохнуть, что ли... – снова проговорила Наташа, на этот раз тихо и задумчиво. И снова в её словах не звучало ни одной ноты жалобы. Видно было, что человек, подумав про жизнь, посмотрел на себя и спокойно пришёл к убеждению, что для охранения себя от издевательств жизни он не в состоянии сделать что-либо другое, кроме того, как именно – «сдохнуть».

Мне стало невыразимо тошно от такой ясности мышления, и я чувствовал, что если буду молчать ещё, то наверное заплачу... А это было бы стыдно пред женщиной, тем более, что вот – она не плакала. Я решил заговорить с ней.

– Кто это тебя избил? – спросил я, не придумав ничего умнее.

– Да всё Пашка же... – ровно и громко ответила она.

– А он кто?

– Любовник... Булочник один...

– Часто он тебя бьёт?..

– Как напьётся, так и бьёт...

И вдруг, придвинувшись ко мне, она начала рассказывать о себе, Пашке и существующих между ними отношениях. Она – «девица из гуляющих, которые...», а он – булочник с рыжими усами и очень хорошо играет на гармонике. Ходил он к ней в «заведение» и ей очень понравился, потому что человек он весёлый и одевается чисто.

Поддёрка в пятнадцать рублей и сапоги с «набором» у него... По этим причинам она в него влюбилась, и он стал её «кредитным». А когда он стал её «кредитным», то занялся тем, что отбирал у неё те деньги, которые ей давали другие гости на конфеты, и, напиваясь на эти деньги, стал бить её, – это бы ещё ничего, – а стал «путаться» с другими девицами на её глазах...

– Али это мне не обидно? Я не хуже других прочих... Значит, это он издевается надо мной, подлец. Третьего дня я вот отпросилась у хозяйки гулять, пришла к нему, а у него Дунька пьяная сидит. И он тоже под шефе. Я говорю ему: «Подлец ты, подлец!

Жулик ты!» Он избил меня всю. И пинками и за волосы – всячески... Это бы ещё ничего!

А вот порвал всю... это как теперь? Как я к хозяйке явлюсь? Всё порвал: и платье и кофточку – новенькая ещё совсем... и платок сдёрнул с головы... Господи! Как мне теперь быть? – вдруг взвыла она тоскующим, надорванным голосом.

И ветер выл, становясь всё крепче и холоднее. У меня снова зубы принялись танцевать. А она тоже ёжилась от холода, придвинувшись настолько близко ко мне, что я уже видел сквозь тьму блеск её глаз..

– Какие все вы мерзавцы, мужчины! Растоптала бы я вас всех, изувечила. Издыхай который из вас... плюнула бы в морду ему, а не пожалела! Подлые хари! Канючите,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
канючите, виляете хвостом, как подлые собаки, а поддастся вам дура, и готово
дело!

Сейчас вы её и под ноги себе... Шематоны паршивые...

Ругалась она очень разнообразно, но в ругательствах её не было силы: ни злобы, ни ненависти к «паршивым шематоном» не слышал я в них. Вообще тон её речи был несоответственно содержанию спокоен и голос грустно беден тонами.

Но всё это действовало на меня сильнее самых красноречивых и убедительных пессимистических книг и речей, которые я слышал немало и раньше, и позднее, и по сей день слышу и читаю. И это потому, видите ли, что агония умирающего всегда гораздо естественнее и сильнее самых точных и художественных описаний смерти.

Мне было скверно – наверное, больше от холода, чем от речей моей соседки по квартире. Я тихонько застонал и заскрипел зубами.

И почти в то же мгновение ощутил на себе две холодные маленькие руки, – одна из них коснулась моей шеи, другая легла мне на лицо, и вместе с тем прозвучал тревожный, тихий, ласковый вопрос:

– Ты что?

Я готов был подумать, что это спрашивает меня кто-то другой, а не Наташа, только что заявившая, что все мужчины мерзавцы, и желавшая всем им гибели. Но она заговорила уже быстро и торопливо...

– Что ты? а? Холодно, что ли? Смерзаешь? Ах ты какой! Сидит и молчит... как сыч! Да ты бы давно сказал мне, что холодно, мол... Ну... ложись на землю... протягивайся... и я лягу... вот! Теперь обнимай меня руками... крепче... Ну вот, и должно быть тебе тепло теперь... А потом – спинами друг к другу ляжем... Как-нибудь скоротаем ночь-то... Ты что, запил, что ли? С места прогнали?... Ничего!..

Она меня утешала... Она меня ободряла...

Будь я трижды проклят! Сколько было иронии надо мной в этом факте! Подумайте!

Ведь я в то время был серьёзно озабочен судьбами человечества, мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах, читал разные дьявольски мудрые книги, глубина мысли которых, наверное, недосыгаема была даже для авторов их, – я в то время всячески старался приготовить из себя «крупную активную силу». И меня-то согривала своим телом продажная женщина, несчастное, избитое, загнанное существо, которому нет места в жизни и нет цены и которому я не догадался помочь раньше, чем она мне помогла, а если б и догадался, то едва ли бы сумел помочь ей чем-либо.

Ах, я готов был подумать, что всё это происходит со мной во сне, в нелепом сне, в тяжёлом сне...

Но, увы! мне нельзя было этого подумать, ибо на меня сыпались холодные капли дождя, крепко к моей груди прижималась грудь женщины, в лицо мне веяло её тёплое дыхание, хотя и с легоньким букетом водки... но – такое живительное... Выл и стонал ветер, стучал дождь о лодку, плескались волны, и оба мы, крепко сжимая друг друга, всё-таки дрожали от холода. Всё это было вполне реально, и я уверен, никто не видал такого тяжёлого и скверного сна, как эта действительность.

А Наташа всё говорила о чём-то, говорила так ласково и участливо, как только женщины могут говорить. Под влиянием её речей, наивных и ласковых, внутри меня тихо затеплился некий огонёк, и от него что-то растаяло в моём сердце.

Тогда из моих глаз градом полились слёзы, смывшие с сердца моего много злобы, тоски, глупости и грязи, накипевшей на нём пред этой ночью... Наташа уже уговаривала меня:

– Ну, полно, миленький, не реви! Полно! Бог даст, поправишься, опять на место поступишь... и всё такое...

И всё целовала меня. Много, без счёта, горячо...

Это были первые женские поцелуи, преподнесённые мне жизнью, и это были лучшие поцелуи, ибо все последующие страшно дорого стоили и почти ничего не давали мне.

– Ну, не реви же, чудак! Я тебя завтра устрою, коли тебе некуда деваться...

– как сквозь сон слышал я тихий убедительный шёпот...

...До рассвета мы лежали в объятиях друг друга...

А когда рассвело, вылезли из-под лодки и пошли в город... Потом дружески простились и более не встречались никогда, хотя я с полгода разыскивал по всем трущобам эту милую Наташу, с которой провёл описанную мною ночь, однажды осенью...

Если она уже умерла – как это хорошо для неё! – в мире да почитет! А если жива – мир душе её! Да не проснётся в душе её сознание падения... ибо это было бы страданием излишним и бесплодным для жизни...

Ошибка

Сельский учитель не у дел, Кирилл Ярославцев, опершись локтями о стол и туго сжав виски ладонями, смотрел тупыми глазами на рассыпанные пред ним статистические карточки и пытался выдавить из своих утомлённых работой мозгов представление о том, что же надлежит теперь делать с этими четырёхугольными листами бумаги?

Это никак не удавалось ему. В голове глухо шумело, и ему казалось, что она налита чем-то густым и тяжёлым, что больно давит изнутри на глаза, стремясь излиться наружу. Цифры с карточек то вдруг исчезали, то появлялись и снова холодно и сухо свидетельствовали о чём-то; иногда они уменьшались до крохотных, неясных каракулек и вдруг вырастали в крупные, странные и поджарые фигуры. Ярославцев следил за их игрой и чувствовал, что в нём, где-то глубоко, вырастает и формируется тяжёлая и беспокойная мысль. Она ещё была неясна ему, но она непременно появится, и тогда ему будет ещё хуже и больнее, чем теперь.

Последнее время его стали всё чаще и чаще преследовать эти мысли, гнетущие душу. Окрашивая всё в тёмный цвет, сырые и холодные, точно осенние тучи, они оставляли за собой на душе ржавчину тоски и тупого равнодушия ко всему. Было что-то роковое в медленности, с которой они формировались в сознании, и никогда и ничем ему не удавалось задержать их рост и развитие. Он делал такие попытки: вставал из-за стола, ходил по комнате и пел или шёл к кому-нибудь из знакомых, но они заглушали песню и всюду ползли за ним, не оставляя его и вне дома.

Сначала он упорно боролся с ними, но потом увидал, что эта борьба не влечёт за собой никаких последствий, кроме утомления души, и всегда ведёт к тому, что они давят его сильнее, становясь образнее и ярче от его сопротивления им. Тогда он уступал, и уж если чувствовал, что вот они идут, то валился на диван и, заложив руки под голову, отдавал себя во власть им.

Так оставался он часа по два, по три, а иногда и целые ночи, как бы расколотый на две части, причём одна, от времени становившаяся все меньше, жалобно и беспомощно следила за другой, которою овладели эти тяжёлые думы, перетиравшие, подобно жерновам, всё хорошее и светлое, что есть в жизни, и всё, чем наделяет её мечта, в сухую, бесцветную, едкую пыль.

Он лежал, упорно глядя в потолок да слушая биение своего сердца и звук маятника часов в комнате квартирной хозяйки. Так-так! Так-так! – мерно бил маятник и точно подтверждал своим уверенным и твёрдым звуком справедливость того, что навязывали думы сознанию Кирилла Ивановича. Наконец он привык к ним и только чувствовал смутный страх, когда они давали знать о том, что идут на него. Потом этот страх временно исчезал, подавленный их работой, и вдруг через некоторое время являлся снова.

Но он являлся уже в новой форме – в форме тоскливой, ожидающей, неотвязной боязни, которая всё возрастала и всё напряжённое ждала какого-то страшного факта.

Кириллу Ивановичу казалось, что вот появится нечто суровое и торжествующее, появится, станет у дивана и, грозя, ехидно скажет:

– А ведь я вижу, о чём вы думаете! Вижу. Я всё вижу; самомалейший изгиб вашего мозга мне ясен. Как же вы решаетесь думать о том, что не подлежит ведению вашему, – ведению человека, к жизни непрichaстного и от неё отторгнутого, а? Как же это вы, государь мой? А вы знаете, что за это вас можно... – и он покажет, что за «это» можно сделать с человеком.

Представляя себе такую картину, Ярославцев вздрагивал и жалобно смотрел на дверь.

Дверь была тоненькая и хлипкая, а крючок проволочный. От посещения этого всезнающего существа она не оградит и – ничто не оградит от его посещения. Ярославцеву казалось, что оно проникло бы и сквозь каменные стены. И в ожидании его он страдал, вздрагивая при каждом шуме, и чувствовал, что эта тоскливая боязнь, с каждым своим возрождением, становится всё сильнее, охватывает его всё крепче и вот-вот она возрастет, поглотит его... и тут уж воображение останавливалось перед чем-то тёмным, полным леденящего душу ужаса.

«Как избавиться от всего этого? – думал он в более светлые моменты и отвечал себе: – Подчиниться. Пусть оно совершенно охватит меня, и тогда я перестану его чувствовать...»

И в этот раз он тоже хотел было лечь на диван, но вдруг услышал торопливый скрип двери за свою спиной, быстрые шаги и утомлённый голос:

– Вы дома? Ну, наконец, нашёл одного!.. Ф-фу!

Кирилл Иванович обернулся на стуле и увидел одного из знакомых статистиков, которого в бюро прозвали Минорным. Он сел на стул и, держа в одной руке белую фуражку, другою вытирал со лба крупный пот. Лицо у него было бледно и измято, глаза воспалены, и весь он производил впечатление человека, крайне уставшего.

Ярославцев крепко, молча, с удовольствием пожал ему руку. Этот человек своим появлением отдалял приступ дум.

– Бегал по жаре, как сумасшедший, – никого! – говорил Минорный, с неудовольствием поджимая губы, и, зажмурив глаза, нервно провёл по ним пальцем, как бы смахивая с ресниц что-то.

– А кого вам нужно? – хотел спросить Кирилл Иванович, но не успел.

– Вот видите что... вы только, пожалуйста, не отказывайтесь... потому что я больше не могу! Две ночи напролёт возился, будет! Это свинство со стороны всех.

Да, ведь я не сказал вам, в чём дело... Этот... как его?.. Кравцов! Сошёл с ума... да! Третий день... Всё, знаете, говорит, говорит, чёрт не разберёт, что такое! Впрочем, иногда очень сознательные и умные вещи. Ну, так вот... я был при нём кряду два дня и больше не могу... Страшно устал. Он буен, если ему противоречить, лезет драться.

Ерундит страшно! Начал мазать стены ваксой... Разделся донага и давай себе чистить щёткой голую грудь. Воображает себя гением добра и дерётся. Смешно и жалко... Бывает доктор. Хлопочут о помещении в больницу, но всё так медленно. А главное, возмутительно формальны и черствы мы все! Приходят, знаете, посмотрят на него в дверную щель, посочувствуют и удерут. Всем некогда, у всех какие-то дела явились. Я больше не могу, уверяю вас! Пойдите вы, голубчик, а? Там теперь Лыжин... Вы, я знаю, мало знакомы были с этим несчастным; но разве это теперь не всё равно? Не так ли? Вы пойдёте?

– Да, я – конечно. Я могу – хоть сейчас! – медленно протянул Кирилл Иванович.

– Именно сейчас! – внушительно и торопливо воскликнул Минорный и пояснил:

– Этот Лыжин и остался там только на условии, что его часа через два сменят... Вот и прекрасно... идите-ка! Вы сильный, вам это будет нетрудно. И как это я не догадался давеча прямо к вам махнуть?.. Не измаялся бы так... Ну, так вы идёте?

– Хорошо... идёте.

Минорный поднялся со стула, быстрым жестом бросил себе на голову фуражку, поправил её и, отворив дверь, оглянулся на Ярославцева.

Последний задумчиво и медленно натягивал на себя пальто, закусив нижнюю губу и упорно глядя на ноги Минорного.

– Знаете что? – живо заговорил тот. – Ведь вам известна его квартира? Так идите, милый, один, а я домой прямо, а? Хорошо? Ну, и спасибо! Не поверите, ну, чёрт знает, до чего я...

Заключительные слова фразы Минорный унёс с собой в глубь сеней, и там они были заглушены тонким визгом двери. От этого визга Ярославцев вздрогнул, скорчил болезненную гримасу и опустил на стул, побуждённый к этому гнетущей тяжестью сообщения Минорного.

Как только Минорный сказал фамилию Кравцова, Кирилл Иванович воспроизвёл перед собой фигуру человека среднего роста, сухого, угловатого, нервного, с чёрными, всегда вздрагивавшими усами и с горящим, блуждающим взглядом миндалевидных чёрных же глаз. По морщинистому белому лбу этого человека страшно двигались густые брови, то всползая к жёстким, ершистым волосам, то вдруг спрыгивая вниз и совершенно закрывая впадины глаз. В разговоре он иногда удерживал одну бровь – левую, прижимая её длинным пальцем левой же руки; это не мешало другой брови всползать к волосам, и тогда всё лицо говорившего перекашивалось и принимало мучительно острое выражение напряжённого желания проникнуть куда-то недостижимо для других, глубоко, и постичь что-то непостижимое никому. Глаза же в это время метали искры, и в них было целое море не то тоски, не то мучительного восторга.

Давно уже все считали его человеком ненормальным, и он каждый день подтверждал этот взгляд, высказывая сегодня желание учиться математике, чтобы постичь тонкости астрономии; завтра – уйти в деревню, чтобы обрести там равновесие души; уехать в Америку и бродить в степях, конвоируя гурты скота; поступить на фабрику, чтобы развивать среди рабочих теории социализма; учиться музыке, ремеслу, рисованию. Необходимость для себя всего этого он доказывал всегда уверенно и ясно, а если его оспаривали – с бешеной горячностью. Главным источником своих желаний он выставлял чувство самосохранения.

«Ничего не делая, погибнешь чересчур глупо для человека. Все скоты делают нечто, я же человек и должен творить!» – вспомнил Кирилл Иванович две его фразы.

Принято было называть его «метафизиком» за такие и другие, в этом же роде, речи.

Он никогда не умел привести строго логических доводов в пользу того или другого из своих воззрений, поступков, желаний и всегда отделялся краткими афоризмами в догматическом тоне, и за пристрастие к таким афоризмам считался человеком, живущим прежде всего для громкого слова. К нему привыкли и не обращали на него особенного внимания. Ярославцев, встречаясь с ним, никогда не пытался представить себе, с кем он имеет дело, вполне полагаясь на чуткость и верность взгляда тех людей, которые дали Кравцову эпитет ненормального и психопата.

Но теперь этот Кравцов вдруг стал мучительно интересен. Дней пять тому назад Кирилл Иванович вместе с ним катался в лодке и ничего особенного не заметил за ним.

Они сидели в лодке рядом, и он своим отрывистым стилем, но веско и вполне ясно для него, Кирилла Ивановича, доказывал, что демонизм, символизм и иные болезненные формы мысли есть бешеная, но необходимая реакция против распространения материализма и что кредит материализма скоро и непременно будет подорван в глазах всех мыслящих людей. Кирилл Иванович снова вспомнил металлически звеневшие фразы:

«Причина современного шатания мысли – в оскудении идеализма. Те, что изгнали из жизни весь романтизм, раздели нас донага; вот отчего мы стали друг к другу сухи, друг другу гадки. Ещё мы не настолько психически окрепли, чтоб без вреда для себя до конца выслушивать правду. Кто знает, может быть, высшая истина не только не выгодна, но и прямо-таки вредна нам?»

«А что же теперь говорит этот человек, – теперь, когда он сумасшедший? И что

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
такое быть сумасшедшим?»

Ярославцев вспомнил, что кто-то определил сумасшествие, как преобладание деятельности какого-нибудь одного из свойств психики над всеми другими, а ещё кто-то – как поражение памяти каким-либо одним фактом или мыслью.

Ему представилась внутренность какого-то пружинного механизма: массы спиральных пружин сокращаются и расширяются, взаимно сообщая друг другу силу и движение, и из этого движения рождается мысль. Вдруг одна из пружин почему-то начинает сокращаться сильнее других – полная путаница среди остальных, пока они не возьмут нового такта или пока она не возьмёт старого такта. Или вдруг в их систему вторгается извне нечто тяжёлое, поражающее и падает как раз на ту пружину, что записывает прошедшее, и вот она, поражённая ударом, не может уж больше отметить чего-либо иного и вечно пишет одну и ту же мысль, воспроизводит одно и то же впечатление.

«Всё это очень просто и очень жалко. Зачем нужно, чтоб человек сходил с ума? Разве на его долю мало всех иных болезней и несчастий?» – подумал Ярославцев и вспомнил, что ему нужно идти туда, к больному.

Но он не встал и не пошёл, а продолжал думать, сидя на стуле, в пальто и фуражке.

«А вдруг он стал теперь гением?.. Ведь было доказано, что гении – сумасшедшие.

Никто не рассказал, как создаются гении. Может быть, сходя с ума, отдаваясь в рабство идее...»

Кирилл Иванович ощущал в себе желание повторять каждое слово по нескольку раз, но почему-то боялся делать это. Слова казались ему разноцветными пятнами, вроде лёгких облаков, рассеянных в безграничном пространстве. Он летает за ними, ловит их и сталкивает друг с другом; от этого получается радужная полоса, которая и есть мысль. Если её вобрать в себя вместе с воздухом и затем выдохнуть, то она зазвучит, и от этого получается речь.

– Однако как это всё просто! – Он засмеялся. – Декаденты – тонкие люди.

Тонкие и острые, как иглы, – они глубоко вонзаются в неизвестное, – с удовольствием, щёлкнув пальцами, произнёс он.

Дверь отворилась, и в отверстие просунулась голова квартирной хозяйки.

– Сидит одетый, смеётся и разговаривает сам с собой... Тоже занятие!

Самовар подавать, али уходите куда?

Хозяйка говорила ворчливо, а смотрела ласково. Глаза у неё были маленькие, но живые; от них к вискам легли складки тонких морщинок, и это придавало им улыбающийся блеск.

От её речи Ярославцев почувствовал себя как бы только что возвратившимся откуда-то и очень утомлённым.

– Самовар? Нет... не надо! – Он махнул рукой. – Я ухожу... может быть, до утра. Знаете, один мой знакомый сошёл с ума. Как вы полагаете, это что такое?

– Чтой-то, господи! Один недавно пристрелился, другой сошёл с ума... ну друзья у вас!.. ай-ай!.. Что такое – говорите? Известно что – божья воля.

– Божья воля? – задумчиво произнёс Кирилл Иванович и зачем-то снял с головы фуражку. – Это странно, знаете... очень странно... да!

– Который это сошёл, русский, трёпанный, в серых штанах, или тот – весёлый, в золотом пенсне? – спросила хозяйка.

На её толстом, морщинистом лице и в тоне её вопроса звучало много жалости, отчего Кириллу Ивановичу стало грустно.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
– Нет, не эти, а знаете – чёрный, в крылатке, с тростью и с прыгающими бровями,
– серьёзно и тихо отвечал Кирилл Иванович и почувствовал, что у него щекочет в
горле и на глаза навёртываются слёзы.

– Не заметила такого. Видно, редко бывал, не встречала. Идите. Да долго-то не
надо там торчать... Сам-то вон какой жёлтый стал! – сурово говорила хозяйка.

Ярославцев снова надел фуражку, встал и молча пошёл из комнаты, полный грустного
чувства и утомления.

– Дверь-то закройте! – крикнула вслед ему хозяйка.

– Не надо! – печально кивнул он головой.

Было уже около шести часов вечера, но июльский зной ещё не растаял – им дышали и
камни мостовой, и стены зданий, и безоблачное небо. Пыльные листья деревьев,
перевешиваясь через заборы, не шелестели; всё было неподвижно и казалось
ожидющим какого-то толчка.

Из открытых окон белого дома хлынула волна растрёпанных и негармоничных звуков
рояля; они бестолково запрыгали в воздухе, Ярославцев вздрогнул и оглянулся
вокруг, желая посмотреть, что делается с улицей от этого шума. Но всё
оставалось неподвижным, а звуки уже исчезли так же бессмысленно, как и явились.

«Кратко бытие звука!» – мелькнула у Кирилла Ивановича посторонняя мысль, и, как
бы в виде эха её, в нём разлилось острое желание взять высоким фальцетом
несколько нот – а-о-э-о-а! – как делают певцы. Но он подавил в себе это желание
и пошёл дальше, наклонив голову под наплывом стаи новых мыслей и стараясь
формировать их в слова, сообразно с тактом шагов. От этого каждое слово
раздавалось где-то внутри его, как удар в большой барабан. Эти думы в такт шагов
вызывали за собой ощущение приятной лёгкости и пустоты в груди, в животе, во
всём теле. Казалось, что мускулы растаяли от жары и остались только тонкие,
упругие нервы, настроенные меланхолически, но выжидательно, как и всё кругом.

«О чём он теперь говорит и как думает? – размышлял Ярославцев о Кравцове.

– И что я с ним буду делать? Понимать его, наверно, нельзя... Зачем же я при нём
буду?... И с какими моральными фундами? С любопытством? Сумасшествие – это почти
смерть. Если он ещё не совсем сошёл с ума, то я буду присутствовать при его
агонии.

Замечательно, почему человек возбуждает к себе больше внимания, когда он
погибает, а не тогда, когда он здоров и в безопасности? Иногда мы при жизни
совершенно не замечаем человека, нимало не интересуемся им, и вдруг, услышав,
что он при смерти или помер уже, жалеем, говорим о нём... Точно смерть или её
приближение сблизают и нас друг с другом. Тут, наверное, есть глубокий смысл...
Если только тут нет крупной лжи, исстари привычной нам и поэтому незаметной для
нас. А может, наблюдая чужую гибель, мы вспоминаем о необходимости погибнуть и
самим нам и жалеем себя в лице другого.

В этом есть нечто хитрое и, пожалуй, постыдное... А впрочем, и всё обыденное в
этой жизни – хитрое и постыдное... А вот сожаление – жестоко... Жалость и
жестокость!..

Да ведь это два совершенно однородные слова!.. Удивительно, как этого до сей
поры никто не замечал! Надо написать об этом статью... Пусть одною ошибкой будет
меньше».

Вместе с этим открытием Кирилл Иванович восстановил в памяти случай из своей
жизни в деревне: упала в овраг тёлка, сломав себе обе передние ноги. Чуть не вся
деревня сбегалась смотреть на неё... А она, такая жалкая, лежала на дне оврага и,
жалобно мыча, смотрела на всех большими влажными глазами и всё пыталась встать,
но снова падала. Толпа стояла вокруг неё и больше с любопытством, чем с
состраданием, наблюдала за её движениями и слушала её стоны. И он тоже смотрел,
хотя это было неинтересно и очень грустно. Вдруг откуда-то появился кузнец
Матвей, высокий, суровый, выпачканный углями. Рукава у него были засучены, и в
одной руке он держал тяжёлую полосу железа. Вот он обвёл всех строгим, тяжело
укоряющим взглядом чёрных глаз, нахмурил брови и, качнув головой, громко сказал:

– Дураки! чем любуетесь?

А потом взмахнул своею железной и ударил тёлку по голове! Удар прозвучал глухо и мягко, но череп всё-таки раскололся, и это было очень страшно. Тёлка больше не мычала и не жаловалась на боль своими большими и влажными глазами... А Матвей спокойно ушёл.

«Вот он как жалел, этот Матвей! Может быть, он так же бы поступил и с человеком безнадежно больным. Морально это или не морально?»

– Ярославцев! стойте, вы куда? – раздался звучный окрик.

Он вздрогнул: на крыльце хорошенького домика стоял Лыжин, засунув руки в карманы. Ярославцев вспомнил, что тут именно и живёт Кравцов.

– Я к вам... то есть к нему...

– Ага! Ну, вот спасибо, что поторопились, а то у меня, знаете, работищи без конца. Это Минорный вытащил меня, соскучившись слушать премудрости Кравцова.

Всё, знаете, говорит! Только сейчас задремал. Доктор определил, что пока это не опасно, просто сильное нервное возбуждение, по-моему – тоже. Говорит он, право, не бессмысленнее, чем всегда говорил, но вот много чересчур – это так. Ну, так вы мне позвольте улетучиться. Придёт Ляхов, скажите ему: доктор был и рекомендовал кали, кали и кали... До свидания.

Он протянул Ярославцеву руку, тот молча стиснул её и, задержав в своей руке, шёпотом спросил:

– Отчего это он, по-вашему?

– Отчего? Гм... Как это скажешь? Знаете, всегда ведь он был с зайцем в голове... Захочет пить – давайте из бутылки на окне, это тоже какая-то умиротворяющая специя, вроде кали. Ну-с, иду! Addio!

Он перекинул на руку пальто и пошёл.

Ярославцев посмотрел вслед ему и стал соображать, что теперь делать: идти в комнату, где лежит тот, или ожидать здесь, когда он проснётся и заговорит? Ему представлялось, что как только Кравцов проснётся, так сейчас же выкрикнет высокую, звонкую ноту, вслед за ней начнёт говорить быстро и громко, так, как говорят бойкие бабы-торговки, и это будет походить на барабанную дробь.

Он думал и шёл, наклонив голову, не отдавая себе отчёта в том, куда идёт.

Все его думы вдруг как бы сгорели, на душу осыпался их пепел, – осыпался и покрыл её тёплым пластом тихой печали.

Скверный аптечный запах заставил его очнуться. Он стоял перед дверью в маленькую комнату, в ней царил хаос: стулья были сдвинуты на середину и стояли неправильным полукругом перед койкой; на полу валялись рваные бумажки, книги, черепки тарелки, красный вязаный шарф. Перед койкой стоял круглый стол со стаканом жидкого чая. Из-за доски стола не видно было головы человека, спокойно вытянувшегося, вверх грудью, на койке. Одно из двух окон комнаты было завешено синею тряпкой, другое заставлено банками цветов, и сквозь них видны были кусты шиповника, акации и сирени в палисаднике.

Осмотрев всё это, Ярославцев поднялся на цыпочки, подняв кверху указательный палец правой руки, как бы предостерегая от чего-то сам себя, и двинулся к койке, плавно взмахивая в такт своих движений левой рукой. Подойдя к столу, он нагнулся через него и, удерживая дыхание, заглянул в лицо больного.

Оно очень похудело с той поры, как Ярославцев видел его в последний раз, но и только. Вообще же оно было спокойно, как у всех спящих людей. Ярославцев облегчённо вздохнул. Он представлял себе, что болезнь наложила на лицо Кравцова какой-нибудь уродливый отпечаток, искривила, изломала его. И он отошёл прочь, улыбаясь, в высшей степени довольный своей ошибкой.

Но вдруг, обернувшись в сторону, он увидел, что со стены на него смотрит чьё-то искривлённое странной улыбкой лицо, бледное, с прищуренными глазами и всё дрожащее от сдерживаемого возбуждения. В уровень с этим лицом была поднята рука с вытянутым указательным пальцем, – она как бы грозила и, вместе с лицом, была полна ехидного торжества.

По жилам Ярославцева пролилась холодная тоска, сжав ему сердце предчувствием чего-то неотразимого, рокового, и, подавленный ею, он тихо опустился на стул. Потом он почувствовал, что под кожей левого бока у него вздуваются и тотчас же лопаются какие-то пузырьки, отчего ему стало тоскливо-неприятно. Он снова встал, стараясь не смотреть на ту стену, с которой ему грозили, и с гнетущим ужасом вспоминая, где он видел раньше это исковерканное лицо, в котором есть черты, знакомые ему?

«Неужели это оно, – то существо, которому всё известно?»

Перед Ярославцевым вдруг распахнулась тёмная пропасть без дна и края, полная бесформенного, гнетущего мрака. Он отшатнулся, крепко зажмурил глаза. Его тянуло вниз, и он почувствовал, что если не откроет глаз, то сейчас же полетит туда и будет лететь без конца, замирая от страха и с каждой секундой всё сильнее ощущая его.

Он дрогнул, быстро взглянул перед собой и вздохнул свободно и легко: он был тут, в комнате Кравцова, и под ногами у него был твёрдый пол, в чём Кирилл убедился, сильно надавив его ногой. Тогда ему снова страстно захотелось ещё раз взглянуть туда, на стену... Осторожно приподнимаясь со стула и в то же время поворачиваясь назад, он увидел его, это лицо; но теперь оно было только жалко и, выражая напряжённое и боязливое ожидание чего-то, замерло в этой мине. Он узнал себя.

«Это зеркало... Д-да-а!» – догадался он и увидел, что рама зеркала была сверху, справа и слева закрыта повешенным на него белым полотенцем, а снизу её скрывали рамки карточек; обои комнаты были тоже белые, – вот почему зеркало было незаметно и так напугало его. Но это открытие не убило в нём тоскливого предчувствия, даже ещё принесло с собой нечто, подчёркивающее это предчувствие. Кирилл Иванович, глядя на своё отражение, задумался.

«А ведь это я сам схожу с ума!» – вдруг проникся он весь острою мыслью, вызвавшей во всём его существе тихую, ноющую боль, точно все его мускулы сразу напитались промозглою и влажною сыростью погреба. Ему захотелось кричать, звать на помощь, он чувствовал, что уже оторвался от земли и падает куда-то сквозь палящие зноем слои воздуха. В его груди нестерпимо ныло, – он схватился за неё руками и стал крепко растирать её, – в голове билась уничтожающая мысль и, не затемняя её, кружились ещё какие-то обрывки мыслей, воспоминаний, целый вихрь, точно в его мозгах всё было разорвано, разбито, исковеркано и в ужасе разбегалось перед этою мыслью о безумии.

Он открыл рот, глубоко вздохнул и, вобрав в себя страшно много пахучего воздуха комнаты, напряг грудь, чтобы крикнуть.

– Дурак! Противная рожа! – раздался презрительный и насмешливый голос. – Что ты строишь себе гримасы, когда ты сам не более, как гнусная гримаса природы?

Шпион! Ф-фа!..

Кирилл Иванович быстро обернулся с выпяченною вперёд грудью. С койки, упершись локтями в подушку и подпирая подбородок ладонями, смотрел на него Кравцов глазами, полными ядовитой иронии и лихорадочного блеска. Усы его ехидно вздрагивали, а брови всползли к щетинистым волосам, стоявшим на голове ершом. Губы были искривлены в сардоническую улыбку; он поводил ноздрями; всё лицо его неустанно содрогалось, образуя тут и там кривые узоры морщин, – он был уродлив и страшен.

«Вот кто сумасшедший! Он, – не я!» – вспыхнул новою мыслью Ярославцев, и эта новая мысль уничтожила ту, которая угнетала его.

Он выдохнул из себя целый столб воздуха и почувствовал, что холод и ужас, сковавшие его мозг, исчезли. Ему было невыразимо приятно смотреть на искажённое

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
лицо Кравцова, и чем больше он смотрел, тем полнее сознавал себя.

«Вот что значит – сумасшедший! – воскликнул он внутренно. – На кого он похож?..

На дьявола, которого один святой поймал в своём рукомойнике и запечатал его там своим крестным знамением!»

Это сравнение ещё более подняло Кирилла Ивановича в своих глазах, и он сейчас же, вслед за ним, с глубокою верою в себя и с восхищением подумал:

«Разве это не верно? Разве человек с мыслью, затемнённой безумием, способен на такой широкий шаг в прошлое за образом, нужным его мысли?»

А Кравцов всё говорил едкие слова, не сводя с него пылающих глаз.

– Слушай, ты – шпион!

Ярославцев подвинул стул ближе к койке и с приятной улыбкой, протянув руку Кравцову, сказал:

– Марк Данилович, что с вами? это я!

– Ну да, это ты! Я знаю, ты шпион и пришёл наблюдать, как я думаю. Ты не узнаешь, не откроешь ни одной моей мысли. А я спасу их всех, я знаю, что им нужно... Я понял!

– Марк Данилович! – убедительно, ласково и радостно говорил Ярославцев.

– Разве вы меня забыли?

– Тебя? Забыть? Нет, вас нельзя забыть, вы всюду... Вы – это мухи, вы – это тараканы, клопы, блохи, пыль, камни стен! Вам прикажут – и вы принимаете на себя все формы, воплощаетесь во всё, исследуете всё, – и следите, как, о чём и зачем люди думают. Но вы всё-таки слабы! Я же – могуч! Во мне пылает бессмертный огонь желания подвига! И вот я, как Моисей из Египта, выведу вас из жизни, из помойной ямы, где вам так хорошо дышится. Выведу, и придём мы в обетованную страну, где воздух слишком чист для вас и где, поэтому, вы не можете жить. Там я напою моих братии из Кастанльского источника свободы, и воспрянут души их к жизни творчества... к жизни подвигов... к жизни всепрощения и воссоздания человека! А вы, как египтяне, погонитесь за нами и исчезнете, потонете, захлебнётесь в море собственной гнусности, найдёте смерть! Ибо вы в себе носите смерть!

«Это он о чём?» – думал Ярославцев, теряя свою радость под торжественные и громкие речи. Глаза Кравцова испускали острые, светлые лучи, коловшие лицо и грудь тонкими, палящими уколами.

«А! он ведь читал отцов церкви... Августина... и Златоуста... Зачем он это читал? Разве нечего читать кроме? Значит, он давно уж... Очень смешной человек!..

О чём он говорит? Ба! – просиял Ярославцев. – Он меня называет шпионом, – значит, у него мания преследования! Он говорит про себя: «Я как Моисей!» – значит, у него мания величия! Господи, как всё это просто! Наука! Вот наука! Она всегда как факел. Бедный человек!»

Он почувствовал, что сейчас заплачет от жалости к Кравцову, снова охваченный тёплым и радостным сознанием правильности своей мысли.

А с его бедною мыслью творилось что-то странное: то она опускалась в какой-то мрачный ухаб, теряя горизонты; то вдруг поднималась куда-то высоко и свободно, охватывая огромное пространство; то текла медленно и лениво, как бы изнемогая; то быстро стремилась к чему-то, задевая по дороге массу разнородных предметов; и снова точно падала вниз, исчезала. Тогда Кирилл Иванович чувствовал только тревожное биение своего сердца и больше ничего.

Кравцов вдруг весь извился змей и сел на койке, в одном белье, с раскрытою грудью, возбуждённый и мрачно торжественный.

– Ты, слушай! Я пойду и созову всех их в поле. Там соберёмся все мы, нищие

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax духом, и грустно уйдём от жизни, нищие духом! Но – не радуйся! И все твои – пусть они не радуются нашему поражению, хотя мы и признаём его, ибо уходим с разбитыми щитами надежд в руках и без брони веры, потерянной нами в битвах. Мы воротимся богатые силой творить и вооружённые крепкою верой в себя, её же нет крепче оружия! Ты понял?

Тыпустишь меня на этот подвиг? Зато я, по возвращении в жизнь, прошу тебя первого. Эй, ты! Пусти меня!

«Кого он хочет спасти и обновлять?» – медленно вертелись мысли в голове Кирилла Ивановича.

Ему уже снова не жалко было Кравцова, он даже немного злился на него за то, что он, не переставая, говорил торжественные слова и они, звеня в голове, мешают уловить некоторую важную мысль. Дело в том, что в голове Ярославцева всё вдруг окрасилось в разные цвета, он ясно почувствовал и видел это: перед его глазами плавали и кружились круглые пятна – жёлтые, синие, красные. Их было много, все они быстро вертелись, из них выбивалось и никак не могло выбиться одно, ярко-зелёное и многообещающее.

Это непременно что-нибудь о вере. Но голос Кравцова сотрясал воздух, и всё дрожало, сливалось, путалось между собой.

«Ах, как он громко! – с тоской воскликнул про себя Ярославцев. – Чего он хочет? Э, урод! Что такое – вон из жизни?»

Он вспомнил картинку: человек, с дудочкой во рту, стоял на берегу реки и играл на своей дудочке, а к нему со всех сторон бежали крысы и мыши. В этом человеке было что-то общее с Марком Кравцовым. Смешно! И Ярославцев вдруг расхохотался, качаясь на стуле из стороны в сторону.

Больной откинулся назад, опёрся спиной о стену и замолчал, наклонив на грудь голову.

– Вот – торжествует Иуда! – громко прошептал он.

Они долго молча рассматривали друг друга, Кирилл – выжидательно и робко, а Кравцов – пылливо и угрюмо. Ярославцев почувствовал, что лучистые глаза больного притягивают его к себе, и, наклонясь на стуле, облокотился у ног Кравцова о койку.

Стало тихо. На улице уже стемнело, от кустов палисадника на стёкла окон и подоконники легли вечерние тени. Наконец Кравцов вдруг улыбнулся и тихо сказал:

– А ведь я вас знаю!

– Конечно! – утвердительно кивнул головой Ярославцев и добавил почти шёпотом: – Вы бы говорили. А то очень страшно... уже ночь.

– Говорить? С вами? Ведь я вас знаю! Вы – Ярославцев, статистик? Вам теперь стыдно?

– Мне? Нет, ничего. Но – страшно.

– Да! Это так! Страшно! Бойтесь будущего!

Они оба теперь говорили шёпотом, и оба старались сказать каждую новую фразу ещё тише, чем предыдущую. Несмотря на сумрак в комнате, Кирилл ещё видел лицо больного и улыбку на нём. Его всё сильнее тянуло к этому человеку с лучистыми глазами.

– Вы думаете, что вашу статистику и ограничивается всё, да? – внушительно прошептал Кравцов. – Нет, вы ошиблись! Есть ещё статистика совести, ею управляю – я! Я не даю пощады, – и знаю цену факта! Я вас уже подсчитал!

– Не надо пугать человека! – жалобно попросил Кирилл Иванович собеседника.

– Человека – да, но шпиона – надо! Зачем вы шпион? Зачем вы следите, как я

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki.umax
думаю? Боже мой, ведь я только думаю! От этого вредно мне, только мне! Думать – это даже благонамеренно, потому что от дум человек погибает сам, и вы не тратите своих копеек на то, чтобы погубить его!

Шёпот Кравцова вдруг порвался, и металлически звякнуло громкое слово:

– День-ги! А, да! Вы хотите денег за мою свободу думать? Вы продаётесь?

Сколько?

– Послушай! – сказал убедительно, но всё-таки шёпотом Ярославцев. – Не кричи, услышат! Они всегда близко!

– Услышат?.. А ты тоже боишься? Почему же? Ведь ты мерзавец, и тебе можно говорить громко. Слушай,пусти меня! Я иду делать простое и полезное дело. Оно легально, уверяю тебя. Я хочу вывести вон из жизни всех тех людей, которые, несмотря на свои пятна, есть всё-таки самые светлые люди в жизни... Они погибают от тоски одиночества и вашего гонения на них. Они задыхаются в смраде жизни, которым ты дышишь легко.

Это твоя стихия – но они... Дай мне спасти их! – крикнул он громко.

Ярославцева охватила волна едкой злобы. Он встал перед койкой и тихо, оскорбительно ясно зашипел в лицо Кравцову:

– Ты не кричи! Я тебе скажу... Ты – сумасшедший, вот что! Понимаешь? Ты со-шёл с ума! Да... Спасти!.. кого? Я – Ярославцев, Кирилл Ярославцев, а ты – сошёл с ума!.. Ляг! Понял?! Ну?! и всё...

Он снова опустился на стул, тяжело дыша, часто моргая глазами. Кравцов схватил себя за голову и страшно закачался из стороны в сторону.

Снова стало внушительно и пугающе тихо. Взошла луна, в душный сумрак комнаты через окно влился голубой свет и лёг полосой на полу.

Вспышка злобы ослабила Кирилла Ярославцева, а страх перед будущей минутой всё рос в нём. В тишине и глубоком полумраке комнаты безмолвно совершалось нечто таинственное и стройное – происходила какая-то разрушительная работа.

На голубую полосу лунного света на полу пали узоры теней от цветов на окне, и вместе это походило на некоторую хартию, исчерченную гиероглифами, говорившими о глубоких тайнах жизни и о бессилии ума перед ними. Кирилл взглянул на это и быстро отвернулся, ощущая в груди какие-то толчки.

– Всё кончается! – тихо прошептал он, и ему стало невыразимо грустно.

Кравцов поднял голову и молча посмотрел на него, двинув бровями. Кирилл вдруг заплакал, обнял его ноги, крепко сжал их и ткнулся в них головой, всхлипывая, как ребёнок.

– Мне... страшно...

– Будущего? – тихим и торжествующим восклицанием спросил Кравцов, нагибаясь над ним и весь вздрагивая мелкою дрожью.

– Говорите... говорите! – шептал Кирилл.

– Ага! Я победил ещё одного! – тоже шептал Кравцов, отдирая его голову от своих ног. – Это хорошо... Победа... с первого шага!.. Ты каешься, да?.. Садись... иди сюда, я расскажу тебе всё.

Он пытался отнять руки Кирилла от своих ног, стиснутых ими, и поднять его голову, но тот не уступал ему, всё крепче прижимаясь и что-то бормоча сквозь рыдания.

Наконец Кравцов оставил его в покое; наклонясь над ним, упёрся руками в койку и заговорил тихо, но торжественно и важно:

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892-1894. Максим Горький gorkiymax
– Ты знаешь людей в плену у жизни? Это те люди, которые хотели быть героями, а стали статистиками и учителями. Они некогда боролись с жизнью, но были побеждены ею и взяты в плен её мелочами.. Вот о них-то говорю я и это их хочу спасти.. Ты понял? Они погибают, ибо гонимы, ибо все смотрят на них как на врагов, а сами они враги себе. Рассеянные повсюду, они погибают от сомнения и тоски.. от невозможности свободно ходить, говорить и думать.. И вот их я соберу воедино, и выведу вон из жизни в пустыню; и там устрою им будку всеобщего спасения. Ты видишь – будка, а не коммуна, не фаланстер, будка – это легально, не правда ли? А я один стану над всеми ими и научу их всему, что знаю. Я знаю много, больше, чем есть материала для знания, ибо я знаю всё, плюс – моё знание!.. Мы источим по капле соки наши на песок пустыни и оживим её, застроив зданиями счастья! Среди нас будет возвышаться над всеми будка всеобщего спасения, и на вершине её, под стеклянным колпаком, буду вечно вращаться я сам и смотреть за порядком среди тех, что вручены мне судьбой. Я буду строг, но не по-человечески справедлив. Я знаю высшую справедливость. Я наложу на всех одну обязанность – творить. «Твори, ибо ты человек!» – прикажу я каждому. Это будет грандиозно! И когда мы создадим своё царство, в котором всё будет в гармонии, то созовём всех шпионов и всех сильных земли, и все глупые народы созовём, и скажем им: «Вот – вы гнали нас, а мы создали вам вечный образец жизни! Вот он, следуйте ему! Мы же, возрождённые из пепла, идём творить, вечно творить.. Вот наша задача».

И мы, бывшие бедняки, уйдём, обогатив бывших крёзов богатством духа и силы жить.

Победа!.. Тогда я скажу всему миру: «Люди, оденьтесь в светлое, ибо ночь исчезла и не придёт больше». Вот какую идею родил я из несчастий и мук моей жизни, я, гонимый и затравленный, я, измученный. Ты хочешь быть? – твори новое! Дай что-нибудь людям, дай им, ибо они – жалки и бедны! Тогда как ты – со мной, значит – ты объединился с истиной. Ты будешь первый ученик мой – не плачь! Эй, ты, ребёнок, ты слаб ещё!

Ты тоже оскорблён? Ничего! Скоро ты возродишься к жизни новой, к жизни, в которой мы, наконец, будем принимать участие и будем вслух, громко, без боязни говорить о всём, о чём хотим! Ты не веришь мне? Верь!.. Хотя это кажется и несбыточным, но – верь всё-таки. Я твой добрый гений, я орёл будущего! Ручаюсь тебе, что все слова твоего сердца и ума получают жизнь, их услышат, над ними будут думать, их поймут, и ты получишь должное – славу человека, который жил для жизни и людей. Верь мне, мы напьёмся из полной чаши жизни, и все наши чувства будут удовлетворены. Знаешь ты, что сказал Григорий Богослов о Юлиане, который и есть отвлечённая формула отступления от истины и угнетения веры? И ты, может быть, как все, тоже думал, что Юлиан – это цезарь? Голубчик! Не верь этой пошлой истине, она стара; возьми из неё идею, но забудь о ней. Жизнь – в будущем, и там она наша. В прошлом только идеи, там нет лиц. А мы с тобой – лица и потому возьмём идеи, которые нужны нам для ступенек к лестнице счастья, по которой мы войдём в вечное блаженство, как ангелы во сне Иакова, как творцы жизни, обновители духа!

Его торжественный шёпот превратился, наконец, в поток слов, всё реже и реже оживлявшийся мыслью, и, наконец, просто в слова без смысла, связанные между собой, казалось, только единством звука.

– Спасение.. Паскаль.. пока..

Кирилл давно уже поднял голову и стал перед койкой на колени, всё обнимая ноги Кравцова. Теперь он закинул голову немного назад и с восхищением смотрел в лицо больного, не отрываясь ни на секунду от него.

На полу ещё лежала эта голубая хартия луны и теней, но начертанные на ней гиероглифы изменились, стали проще формой, но ещё темнее цветом. Вся комната была заполнена волнующимися звуками торжественного шёпота. Тихая и тёмная ночь смотрела в окно.

Две человеческие фигуры, лицом к лицу друг с другом, не обращали внимания на то, что в дверь поочередно заглядывали то голова женщины в чёрном платке, то голова мужчины в шапке и с чёрной бородой. За дверью тоже слышался шёпот. А Кравцов, всё так же упираясь руками в койку, склонился к лицу Кирилла и всё говорил, говорил.

Это продолжалось почти до рассвета. И уже когда мгла за окном посерела, он,

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
измученный, свалился на подушку и сразу замер.

Кирилл Иванович быстро встал, пугливо оглянулся и подскочил к нему. Рассветало.

Он сдёрнул с себя пальто, занавесил им окно и, снова подойдя к койке, прошептал:

– Ничего, говори!

Но Кравцов, должно быть, уже не мог говорить; он только кивнул головой и, вздохнув, отвернулся к стене. Тогда Кирилл сел у него в ногах на койку и, обняв свои колени руками, стал смотреть глазами любви и восторга на создателя будки всеобщего спасения.

В четырёхугольном белом пятне подушки его чёрная голова сначала выделялась резко, а потом стала таять и растаяла. Тогда на месте её появилась жёлтая, безбрежная и сухая пустыня, и в ней всё трупы, – много трупов людей, лежащих в разных позах и отдыхающих от утомления в пути. А далеко на краю пустыни сиял кроваво-красный шар, спускаясь куда-то вниз, а с неба падали мягкие и тёмные тени, окутывая усталых людей... Потом наступила ночь, явился сон, и раздался в тишине пустыни бред спящих.

Среди них один человек не спал, стоя посреди спящих, зорко глядя в небо, где было много звёзд, а ниже их неподвижно стояли в воздухе три чёрные точки. Это были орлы пустыни, и человек смотрел на них подозрительно и в ожидании.

И потом Кирилл видел дорогу, заполненную людьми, исходящими из плена жизни.

Их было много. Среди них были и дети; они плакали на руках матерей и отцов. А отцы и матери молча шли в пыли и в рубищах, и через их глаза Кирилл видел их души в тоске и в лохмотьях, – изорванные, изношенные души много страдавших людей. Впереди всех шёл он, великий человек, которого все слушались и на которого смотрели с надеждой, а рядом с ним Кирилл видел себя. Являлась тьма и всё скрывала собой.

Кирилл Ярославцев видел работу созидания будки всеобщего спасения... и снова тьму... И видел торжественное возвращение в жизнь... И снова тьму... И, наконец, только тьму, которой не было края и дна и которая дышала на него – в лицо ему и в душу – печальным холодом. От дуновения тьмы он качался, чувствовал, что вот сейчас он оторвётся от земли и полетит куда-то, и жил этим острым чувством, мешавшим ему сделать малейшее движение. И ему было тоскливо-больно, холодно, страшно...

Всё крепче сжимаясь в комок, он широко раскрывал глаза, стараясь увидеть вдали тьмы то, что должно было случиться с ним, ибо он чувствовал, что уже скоро, сейчас, в будущую секунду явится нечто освободить его из власти ужаса.

Лучи солнца упали ему в лицо. Он вздрогнул, зажмурил глаза и улыбнулся бледною улыбкой больного ребёнка.

И затем так же неподвижно, как и раньше, но уже с закрытыми глазами, сидел долго...

Поутру, часов в семь, пришли Ляхов, Минорный и человек в золотых очках и с самоуверенным лицом. Они вошли в дверь тихо, по одному, и за ними в сенях остались какие-то странные фигуры людей.

– Ну, что? Не буянил? – сказал Ляхов, высокий человек с печальным и бледным лицом, Кириллу, который при их появлении спустил ноги с койки и смотрел на них с ясною улыбкой.

Кирилл пожал протянутую ему руку Ляхова и с тихим восторгом посмотрел ему в лицо.

– Вы уже пришли?.. Значит, пора?

– Да... – произнёс Ляхов и пристально посмотрел в лицо спящего Кравцова.

– Как же, дождёмся, когда проснётся? – спросил Минорный господина в очках.

– Я полагаю, прямо так взять и в карету. Идите сюда!

Он махнул рукой к себе, и в дверь вошли двое здоровых ребят в белых фартуках.

– Возьмите осторожно больного!

Тут Кирилл Иванович подошёл к койке, стал у её изголовья так, что закрыл лицо Кравцова, удивлённо посмотрел на всех и тихо, но внушительно спросил:

– Куда взять?.. Его взять? Куда взять?

– В дом, конечно, – сказал Минорный.

– В лечебницу, – одновременно произнёс доктор и пристально уставился чрез очки в лицо Ярославцева.

Тот крепко потёр себе лоб, как бы с усилием вспоминая что-то.

– Д-да!.. В лечебницу!.. А зачем же, собственно?.. И кто вы? – и Кирилл тихонько дотронулся до рукава доктора.

– Я – доктор, заведующий домом для душевнобольных, – сказал господин в очках, не переставая рассматривать его.

«Интеллигентный человек, значит!» – сообразил Кирилл и протянул ему руку.

– Мне приятно видеть вас... и я рад, что вы тоже идёте за ним, – сказал он, кивнув на Кравцова.

– Мы приехали в карете, – вмешался Минорный, тоже подозрительно оглядывая Кирилла.

– Ну, это напрасно, – махнул рукой Ярославцев, – мы пойдём все пешком, он – особенно.

– Да ведь он буянить будет на улице! – тихо воскликнул Минорный.

– То есть как это? – удивился Кирилл.

– Да вы что, батенька?.. Образумьтесь! Или вы тоже как он, с ума сошли?..

– Позвольте! – остановил доктор Минорного.

Кирилл вспыхнул и оглянул всех с улыбкой недоверия, со страхом в глазах.

Трое людей стояли и смотрели на него с боязливым любопытством и догадкой. Кирилл то краснел, то бледнел от внутренней работы. Улыбка исчезла из его глаз, и они, странно расширившись, вдруг ярко вспыхнули мыслью.

– Господа! – просительно зашептал он, сжимая руки и хрустя пальцами. – Господа!

Что вы? Это ошибка! Вы считаете его безумным? Это обидная ошибка, господа! Оскорбительная ошибка! Послушайте меня – оставьте его так, как он есть. Дайте ему исполнить задуманное им дело. Это великое, необходимое дело! Вы знакомы с его идеей? Нет? Как же вы, господа, решаетесь на такое отношение к нему?.. Это... странно! Вы послушайте! Я постиг его, я усвоил его идею. Ведь согласитесь, я же – разумный человек. Вот Бабкин засвидетельствует это и Ляхов. Да!.. Как же вы?.. Это возмутительно! Это недостойно вас! Вы вникните в суть его учения: мы подлеем, умирая морально, мы умираем смертью безумия, мы пошло умираем физически. Всё это от тоски по желаниям, от скорби одиночества, от недостатка жизни, в которой нам не дают места. Разве я говорю неразумно? Господа!..

Нам запрещено жить. Почему запрещено, господа? Разве мы преступны?.. И ещё скажите, разве он, предлагая нам выйти с ним за границы жизни в песчаные, необитаемые пустыни, – разве он не прав? Он приведёт нас обратно сюда... когда мы воскреснем духом. Господа, господа!.. Что вы хотите делать... Ведь так у вас все сумасшедшие, все, кто хочет счастья другим и кто простирает руки помощи... кто

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki.umax горячо жалеет и много любит бедных, загнанных жизнью и затравленных друг другом людей...

Наконец он задохнулся и умолк, обводя всех испуганными глазами, из которых текли крупные слёзы. Губы у него дрожали. Казалось, вот он сейчас зарыдает. И у Минорного тоже дрожали губы.

– Вот видите, как оно заразительно!.. а я двое суток... – шептал он доктору.

Тот почесал себе пальцем переносицу, приподняв очки, и, видимо, тоже поражённый, пробормотал: – Д-да, знаете... Странный случай!

Ляхов стоял и смотрел на всех, странно улыбаясь и всё покусывая себе губу.

Все молчали. Кирилл смахивал со щёк слезинки, стоя с убитым лицом. В его глазах светилось море меланхолии. Он стоял и обводил глазами комнату. За троими людьми против него стояло ещё двое в белых фартуках, и за дверью в сенях виднелись ещё головы... И все они упорно и молча ждали чего-то, ждали именно от него, ибо все смотрели в его сторону. Кирилл печально улыбнулся и робко сказал:

– Простите меня, господа! Вы правы, так как вас много! Я не оспариваю ваше право... я ухожу... если могу?

– Подождите минуточку! – любезным жестом остановил его доктор.

– Извольте! – и Кирилл покорно сел на стул, согласно указанию доктора.

Проснулся Кравцов. Он быстро поднялся, сел на койке и, сурово оглянув публику, наполнявшую комнату, громко спросил:

– Вы кто?

– Слушай, Марк, хочешь кататься? – спросил его Ляхов.

– Не обманывай меня, иезуит! Ты хочешь чего-то... Я знаю тебя... и всех вас!.. А! Вы пришли взять меня!.. Но я не дамся без борьбы! Нет!.. Я вас рассею, как пыль!.. Меня взять! нет!..

На него накинули какой-то длинный мешок. Он барахтался в нём, пока его не спеленали, как ребёнка. Вот его подняли на руки и понесли, а он, рыдая и извиваясь всем корпусом, кричал:

– Нет!.. Нет!.. Нет!..

В комнате остался Ляхов. Он подошёл к стене, снял с неё какую-то фотографию и, обратясь к Кириллу, который с неподвижно до ужаса сосредоточенностью в глазах смотрел куда-то в угол, ласково сказал ему:

– Ну, пойдёмте и мы!

Кирилл покорно встал и, не сказав ни слова, пошёл.

– Я ворочусь через час! – сказал Ляхов какой-то женщине, запирая дверь комнаты Кравцова.

– Я ворочусь через час! – как эхо повторил за ним Кирилл Ярославцев, взглянув на него своими мёртвыми глазами.

Теперь они оба в лечебнице – Кирилл Иванович Ярославцев и Марк Данилович Кравцов. На выздоровление Кравцова есть надежды, на выздоровление его ученика – нет.

Они встречаются друг с другом на прогулках в саду заведения. Когда Кирилл издали увидит черноусое и всегда пылающее возбуждением лицо Марка, он мелкими шажками бежит к нему и, снимая колпак, тихо шепчет:

– Говори, учитель!..

Кирилл говорит очень мало и всегда не иначе, как робким шёпотом. Если Кравцов ходит, то Кирилл, согнувшись, подпрыгивая, бежит за ним, а если он сидит, то Ярославцев садится у его ног, жалко смотрит ему в лицо и изредка просительно шепчет:

– Говори, учитель!..

И учитель говорит своему ученику возмущённо и строго о гонениях духа и страданиях духа, торжественно и важно о будке всеобщего спасения и с гордостью о самом себе, великом учителе и пророке разбитых жизнью людей.

Песня о Соколе

Море – огромное, лениво вздыхающее у берега, – уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звёзд. Кажется, что небо всё ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чём шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые тёплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали чёрные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены – все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, ещё скрытой за горными вершинами.

– А-ала-ах-а-акбар!.. – тихо вздыхает Надыр-Рагим-Оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожжённый южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, – у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращён к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращённой к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том настроении, когда всё кажется прозрачным, одухотворённым, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота – это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

– Верный богу человек идет в рай. А который не служит богу и пророку? Может, он – вот в этой пене... И те серебряные пятна на воде, может, он же... кто знает?

Тёмное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на нём появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льёт свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

– Рагим!.. Расскажи сказку... – прошу я старика.

– Зачем? – спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

– Так! Я люблю твои сказки.

– Я тебе всё уж рассказал... Больше не знаю... – Это он хочет, чтобы я попросил его.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymax
Я прошу.

– Хочешь, я расскажу тебе песню? – соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

I

«Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень...

А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твёрдый камень...

Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в очи:

– Что, умираешь?

– Да, умираю! – ответил Сокол, вздохнув глубоко. – Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

– Ну что же – небо? – пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет...»

Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повёл очами...

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье тёмном и пахло гнилью.

И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

– О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»

И предложил он свободной птице: «А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и поживёшь ты ещё немного в твоей стихии».

И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошёл к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

И подошёл он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и – вниз скатился.

И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

Волна потока его схватила и, кровь оmyвши, одела в пену, умчала в море.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
А волны моря с печальным ревом о камень бились... И труп птицы не видно было в
морском пространстве...

II

В ущелье лёжа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

– А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полётам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать всё это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

Сказал и – сделал. В кольцо свернувшись, он прынул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рождённый ползать – летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

– Так вот в чём прелесть полетов в небо! Она – в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам всё знаю! Я – видел небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье – землёй живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

Блестело море, всё в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

В их львином рёве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поём мы славу!

Безумство храбрых – вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истёк ты кровью...

Но будет время – и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жадной свободой, света!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поём мы песню!..»

...Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде всё больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывая шум, ползёт к голове Рагима.

– Куда идёшь?.. Пшла! – машет на неё Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нимало не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Всё кругом смотрит странно живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, ещё не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По тёмно-синему небу золотым узором звёзд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Всё дремлет, но дремлет напряженно чутко, и кажется, что вот в следующую секунду всё встрепенётся и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как
призрачный огонёк, и увлекут с собой душу высоко в тёмно-синюю бездну, откуда
навстречу ей трепетные узоры звёзд тоже зазвучат дивной музыкой откровения...

Комментарии

Девушка и смерть

Впервые напечатано в 1917 году. Вошло в сборник рассказов «Ералаш» и во все собрания сочинений. Начиная со сборника «Ералаш», печатается с подзаголовком «Сказка».

Сказка, по свидетельству самого Горького, написана в 1892 году. Горький послал сказку в «Волжский вестник», но она не была помещена в газете по цензурным условиям.

11 октября 1931 года А.М. Горький читал сказку «Девушка и Смерть» посетившим его И.В.Сталину и К.Е. Ворошилову. На последней странице текста сказки товарищ Сталин тогда же написал: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гёте (любовь побеждает смерть)».

Страница сказки М. Горького «Девушка и Смерть» с надписью И. В. Сталина

Печатается по тексту, подготовленному Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

Емельян Пиляй

Впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1893, номер 213, 5 августа.

Рассказ был передан редакции «Русских ведомостей» без ведома А.М.Горького его товарищем Н.З.Васильевым. Опубликование «Емельяна Пиляя» в «Русских ведомостях» было первым выступлением Горького в столичной прессе.

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М.Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

Макар Чудра

Первое опубликованное произведение М. Горького.

Впервые напечатано в тифлисской газете «Кавказ», 1892, номер 242, 12/24 сентября под псевдонимом: М.Горький.

Рассказ написан в 1892 году в Тифлисе, где Горький работал в мастерских Закавказских железных дорог.

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

О маленькой фее и молодом чабане. Валашская сказка

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 98, 11 мая; номер 100, 14 мая; номер 105, 20 мая; номер 106, 21 мая; номер 107, 24 мая, с подзаголовком «Валашская сказка». В воспоминаниях «В.Г.Короленко» Горький говорит о том, что сказка была написана ещё в Тифлисе, то есть в 1892 году. Одна из песенок чабана, начинающаяся словами «В лесу над рекой жила фея», неоднократно переиздавалась под названиями: «Легенда о Марко», «Валашская сказка», «Валашская легенда», «Фея», «Рыбак и фея». Текст этой песни после первой публикации был значительно исправлен стилистически, изменена концовка стихотворения и прибавлено заключительное четверостишие.

В собрания сочинений сказка не включалась.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Биограф [ия]
«Биограф[ия]» является продолжением «Изложения фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца». Написана, очевидно, вскоре после «Изложения». Отдельные эпизоды соответствуют событиям, описанным в повести «В людях».

Трактовка событий и образов «Биограф[ии]» и «В людях» различная, так же как в «Изложении фактов и дум» и «Детстве».

Начало рукописи до слов: «Следует возвращение в недра семейства моих хозяев» не связано непосредственно с «Изложением...» и носит характер обращения к корреспонденту, которому адресована вся рукопись, все воспоминания о годах жизни «в людях». Исходя из фактов биографии, следует предположить, что это обращение к О.Ю. Каминской, которая послужила прототипом героини позднейшего рассказа «О первой любви».

Печатается впервые по рукописи, хранящейся в Архиве А.М.Горького.

Дед Архип и Лёнька
Впервые напечатано в нижегородской газете «Волгарь», 1894, номер 35, 13 февраля; номер 37, 16 февраля; номер 39, 18 февраля; номер 41, 20 февраля; номер 43, 23 февраля.

В оригинале набора для собрания сочинений в издании «Книга» Горький, уточняя время написания рассказа, исправил дату 1894 на 1893 год.

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца
Впервые напечатано в сборнике Института мировой литературы им. А.М.Горького «Горьковские чтения», 1940.

«Изложение фактов и дум» – черновой набросок. Некоторые эпизоды близки эпизодам повести «Детство», но произведения, отделённые по времени написания почти двадцатилетием, содержат различную трактовку образов, различны и по стилю.

Вся последняя часть «Изложения» после слова «Стоп!» не связана тематически с повествованием и носит характер обращения к некоей Адели. Рассуждения же и выводы о смысле жизни идейно близки «Изложению». Это и послужило основанием для того, чтобы печатать черновую рукопись как единое целое.

Написано в 1893 г. В собрания сочинений не включалось.

Печатается по рукописи, хранящейся в Архиве А.М.Горького.

Мечь. Параллели
Впервые напечатано с цензурными изъятиями в газете «Волжский вестник», 1893, номер 211, 18 августа; номер 212, 19 августа; номер 214, 21 августа. Подпись: М. Г-ий. Цензорский экземпляр был обнаружен после смерти Горького в казанском архиве.

Как видно из письма к С.П.Дороватовскому от 18 октября 1898 г., Горький предполагал включить «Мечь» в III т. «Очерков и рассказов».

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту газеты с восстановлением вычеркнутого цензурой.

О чихе, который лгал, и о дятле – любители истины
Впервые напечатано в газете «Волжский вестник», 1893, номер 220, 4 сентября. Подпись: М. Г-ий. Включалось во все собрания сочинений.

Начиная с первой публикации, текст печатался с цензурными изъятиями.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Готовя текст к собранию сочинений в издании «Книга», Горький внёс многочисленные стилистические исправления, но не восстановил вычеркнутого цензурой, по-видимому, потому, что не имел под руками цензурованного экземпляра, обнаруженного после смерти Горького в казанском архиве. В настоящем издании вычеркнутое царской цензурой восстановлено. Впервые печатается полный текст рассказа.

Приводим части текста, где были сделаны цензурные изъятия. Выделено вычеркнутое цензором.

«...птицы, испуганные и угнетённые внезапно наступившей серенькой и хмурой погодой»

«...в них преобладали тяжёлые, унылые и безнадёжные»

«И вот вдруг зазвучали свободные, смелые песни»

«...когда птицы пели свободные, звучные гимны солнцу»

«Но тут один находчивый щеглёнок, журналист по профессии, спросил чижа»

«...общественное сознание» (вместо слова «общественное» цензор написал «наше»)

«...там мы, великие, свободные, всё победившие птицы, насладимся созерцанием нашей силы»

«Туда – в страну счастья! где ждёт нас великая победа, где мы будем законодателями мира и владыками его, где мы будем владыками всего».

В остальном рассказ печатается по тексту, подготовленному Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

Разговор по душе. История мало вероятная, но вполне возможна
Впервые напечатано в газете «Волжский вестник», 1893, номер 233, 12 сентября, с цензурными изъятиями. Подпись: М. Г-ий.

После смерти Горького цензурный экземпляр газеты был найден в казанском архиве.

Сохранилась черновая рукопись рассказа с несколькими различными концами спора между Пороком и Добродетелью – героями произведения.

Рассказ в собрания сочинений не включался.

Печатается по тексту, опубликованному в «Волжском вестнике» с восстановлением вычеркнутого цензурой.

Нищенка

Впервые напечатано в газете «Волгарь», 1893, номер 259, 31 октября. Первый рассказ из серии «Маленькие истории», печатавшейся в нижегородской газете «Волгарь» осенью-зимой 1893–1894 года.

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту газеты «Волгарь».

Исключительный факт

Впервые напечатано в газете «Волгарь», 1893, номер 279, 24 ноября.

Второй рассказ из цикла «Маленькие истории». В основу рассказа положен действительный факт: 29 апреля 1893 года в Н.Новгороде хоронили писателя-шестидесятника, историка Нижегородского края А.С.Гацисского. О его могиле и идёт речь в рассказе. Уже в советские годы в письме к племяннику Гацисского – К.Александрову, Горький писал: «...смерть и похороны А.С.Гацисского действительно взволновали меня, и я напечатал в газете «Волгарь» рассказ, который был озаглавлен, если не ошибаюсь, «Двоеточие» или «Над могилой» («Горьковская коммуна», 1934, номер 248). Название своего рассказа Горький запомнил».

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту газеты «Волгарь».

Убежал

Впервые напечатано в нижегородской газете «Волгарь», 1893, номер 303, 23 декабря; номер 307, 29 декабря; номер 309, 31 декабря. Четвёртый рассказ из серии «Маленькие истории».

Рассказ в собрания сочинений не включался.

Печатается по тексту газеты «Волгарь».

На соли

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 18, 22 января и номер 21, 26 января.

Рассказ был послан одновременно с «Емельяном Пиляем» в «Русские ведомости» летом 1893 года, но не был напечатан. Указания на это содержатся в письмах В.Г.Короленко к М.А.Саблину и к И.Г.Короленко.

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

Горемыка Павел

Впервые напечатано в нижегородской газете «Волгарь» в 1894 году в двадцати пяти номерах газеты: с номера 80 – 8 апреля по номер 152 – 6 июля.

В письме к А.М.Горькому от 7 января 1910 года доктор В.Н.Золотницкий сообщал, что в среде нижегородских знакомых Горького возникла мысль об издании сборника его ранних произведений с благотворительной целью. Золотницкий упоминал при этом и повесть «Горемыка Павел». Прося разрешения на публикацию, Золотницкий указывал, что ранние рассказы будут собраны и присланы Горькому на просмотр. В письме (без даты) с острова Капри Горький ответил, что он будет очень благодарен, если В.Н. Золотницкий и другие лица, заинтересованные в издании его рассказов, помогут их собрать.

Горький указывал, что более подходящим для данной цели, возможно, окажется «Горемыка Павел», просил достать комплект «Волгаря» и перепечатать повесть на машинке. Просьба, по-видимому, была выполнена – в Архиве А.М. Горького сохранилась машинопись с текстом рассказа, являющимся перепечаткой газетной публикации. Текст машинописи имеет авторские исправления. На первых четырёх листах правка очень значительна, дальнейший текст до двадцать второго листа содержит замены и вычерки отдельных слов.

Исправленный А.М. Горьким текст следует считать началом второй, незаконченной редакции повести.

В письме от 18 августа 1930 года к директору Литературного музея имени А.М. Горького в Нижнем Новгороде А.И. Елисееву А.М. Горький сообщал, что повесть «Горемыка Павел» перед публикацией в «Волгаре» «портили в две руки: редактор «Волгаря» А.А. Дробыш-Дробышевский, человек сухой, самовлюблённый и упрямый, вычеркнул из повести фигуру повара, которая проходила с начала повести до конца, а затем цензор» (письмо опубликовано в «Комсомольской правде», 1939, 21 июня).

В собрания сочинений повесть не включалась.

Так как новая редакция повести была только начата, – в настоящем издании «Горемыка Павел» печатается по тексту газеты «Волгарь».

Об одном поэте

Впервые напечатано в газете «Волжский вестник», 1894, номер 163, 29 июня.

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту «Волжского вестника».

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiуmax
Два босяка

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1894, номер 212, 16 октября; номер 217, 22 октября; номер 219, 27 октября; номер 222, 30 октября. С этого рассказа начинается сотрудничество Горького в «Самарской газете».

В собрания сочинений не включался.

Печатается по тексту «Самарской газеты».

Мой спутник

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1894, номер 254, 11 декабря; номер 257, 15 декабря; номер 258, 16 декабря; номер 264, 25 декабря; номер 265, 29 декабря; номер 267, 31 декабря.

Рассказ написан в 1894 году.

Рассказ включался во все собрания сочинений.

В основу рассказа положен один из эпизодов путешествия Горького пешком из Одессы в Тифлис осенью 1891 года с неким Цулукидзе, послужившим прототипом князя Шакро.

Печатается по тексту, подготовленному Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

О мальчике и девочке, которые не замёрзли

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1894, номер 349, 25 декабря.

Рассказ полемически заострён против традиционного жанра сентиментального святочного рассказа.

В собрания сочинений не включался.

Печатается по тексту «Нижегородского листка».

Челкаш

Впервые напечатано, при содействии Короленко, в журнале «Русское богатство», 1895, номер 6.

Первое произведение Горького, напечатанное в журнале. Рассказ написан летом 1894 года.

Рассказ включался во все собрания сочинений.

С одесским босяком, послужившим прототипом Челкаша, Горький познакомился в больнице города Николаева. Босяк, сосед Горького по больничной койке, рассказал случай, о котором идёт речь в «Челкаше».

Печатается по тексту, подготовленному Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

Страница рассказа «Челкаш» с текстом, исправленным М. Горьким для для собрания его сочинений в издании «Книга».

Старуха Изергиль

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 80, 16 апреля; номер 86, 23 апреля; номер 89, 27 апреля.

Написано, по-видимому, осенью 1894 года. Датировка подтверждается письмом В.Г.Короленко от 4 октября 1894 года члену редакции «Русских ведомостей» М.А.Саблину. В этом письме В.Г.Короленко писал: «Дня три назад я послал в редакцию рукопись Пешкова (псевд. Максим Горький), заглавие «Старуха Изергиль» (В.Г.Короленко, Избранные письма, III т., Гослитиздат, 1936, стр. 86).

Рассказ включался во все собрания сочинений.

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorki.umax
Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании
«Книга».

Однажды осенью

Впервые напечатано, с подзаголовком «Рассказ бывалого человека», в «Самарской газете», 1895, номер 154, 20 июля и номер 156, 22 июля.

В письме к С. П. Дороватовскому 14 декабря 1898 года, который в это время готовил к изданию III том «Очерков и рассказов», Горький писал: «...среди рассказов, посланных мною Вам для III тома, есть один, озаглавленный «Однажды осенью». Возвратите его мне; так как он автобиографического характера, я должен буду, изменив, включить его в то, над чем работаю теперь для «Жизни».

Горький работал в это время над романом «Фома Гордеев», но в процессе работы, очевидно, отказался от мысли использовать «Однажды осенью» в романе, и рассказ вошёл в III том «Очерков и рассказов» изд. Дороватовского и Чарушникова 1899 года и во все собрания сочинений. Подзаголовок сохранялся до издания 1903 года.

Печатается по тексту, подготовленному Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

Ошибка

Впервые напечатано в журнале «Русская мысль», 1895, номер 9. Рассказ включался во все собрания сочинений. Рассказ основан на одном из эпизодов жизни Горького в Тифлисе в последних числах декабря 1891 года. Прототипом Кравцова был грузин Г. Читадзе, сын крестьянина, деятель революционного движения. Около заболевшего Читадзе дежурили его товарищи, революционно настроенная молодёжь; среди них был и Горький.

Печатается по тексту, подготовленному Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

Песня о Соколе

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 50, 5 марта под названием «В Черноморье», с подзаголовком «Песня», в серии «Теневые картинки». Рассказ старого Рагима имел подзаголовок: «О соколе и уже». В первое издание (Дороватовского и Чарушникова) «Очерков и рассказов», 1898 года, произведение вошло под названием «Песня о Соколе», подзаголовок «О соколе и уже» был снят. В остальном рассказ подвергся небольшим стилистическим изменениям. В следующем издании «Очерков и рассказов» «Песня о Соколе» была уже изменена не только стилистически. Горький создал новую редакцию «Песни», в которой значительно заострена политическая направленность произведения, усилено революционное звучание образа Сокола. Полностью переработаны последние строфы. Эта редакция 1899 года легла в основу всех последующих публикаций произведения.

«Песня о Соколе» включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному для собрания сочинений в издании «Книга».

Ввиду важности изменений, которым подверглось произведение, приводим полностью первую редакцию песни «О соколе и уже» по тексту, опубликованному в «Самарской газете»:

«О соколе и уже»

I

Высоко в горы вполз уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

Высоко в небе сияло солнце, и горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень...

И по ущелью, во тьме и в брызгах, поток стремился навстречу морю, скача чрез камни.

Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

Вдруг в то ущелье, где уж свернулся, пал с неба сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твёрдый камень...

Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

Подполз он ближе к разбитой птице и прошипел ей прямо в очи:

– Что, умираешь?

– Да, умираю! – ответил сокол, вздохнув глубоко. – Я славно пожил... Я много прожил... Я храбро бился... И видел небо. Ты не увидишь его так близко... Эх ты, бедняга!

– Ну, что же небо? – пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

Так уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет...»

Но сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повёл очами.

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье тёмном и пахло гнилью.

И крикнул сокол с тоской и болью, собрав все силы: – О, если б в небо хоть раз подняться!..

А уж подумал; «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»

И предложил он свободной птице: – А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и поживёшь ты ещё немного в твоей стихии.

И дрогнул сокол и, слабо крикнув, пошёл к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

И подошёл он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и вниз скатился.

И сам, как камень, скользя по камню, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

Волна потока его схватила и, кровь оmyвши, одела в пену, умчала в море.

А волны моря с печальным плеском о камень бились... И тупа птицы не видно было в морском просторе...

II

В ущелье лёжа, уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

– А что он видел, умерший сокол, в пустыне этой без дна и края?

– Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полётам в небо? Что им там ясно?

– А я ведь мог бы узнать всё это, взлетевши в небо хоть ненадолго...

Сказал и сделал. В кольцо свернувшись, он прынул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рождённый ползать – летать не может... Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

– Так вот в чём прелесть полётов в небо! Она – в паденье... Смешные птицы!

ние сочинений в тридцати томах. Том 1. Повести, рассказы, стихи 1892–1894. Максим Горький gorkiymaxim.ru
– Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной.

– Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу.

– Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний?!

– И скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!

– Но не обманут теперь уж больше меня их речи. Я сам всё знаю! Я видел небо.

– Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю.

– Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом... Я знаю правду.

– И их призывам я не поверю. Земли творенье – землёй живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

Блестело море, всё в южном солнце, и с шумом волны о берег бились.

В их тихом шуме звучала песня о смелой птице, любившей небо.

О, смелый сокол! Ты, живший в небе, бескрайнем небе, любимец солнца!

О, смелый сокол, нашедший в море, безмерном море себе могилу!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь купаться в небе, свободном небе, где нет помехи размаху крыльев свободной птицы, летящей кверху!..»

Примечания

1 В этом месте рукопись оборвана. – Ред.

2 Далее в рукописи Горький вычеркнул слова: «одним или двумя существами, подобными мне». – Ред.

3 О боже, как это красиво! Какая поэзия! Огонь на горе и песня! – Ред.

4 Я хочу их видеть... – Ред.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!